ФЕДОР ГЛАДКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ЭНЕРГИЯ

Роман в пяти частях

ЧАСТИ I—III

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

ЭНЕРГИЯ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ПРИЗРАК СЫНА

1

Ветер рвал кепку с головы Мирона, обжигал уши и щеки, и было приятно сидеть в каретке мотоцикла и чувствовать, как упруго дрожит машина в стремительном полете. Вечернее небо спокойно горело над лиловыми холмами, ослепительно плавилось на западе облачко снизу, пологие взгорья тихо волновались созревшей пшеницей, и казалось, что по этой оранжевой зыби роями летают искры и языки пламени. Гнев, который душил Мирона полчаса назад, остывал, таял, и теперь дышалось уже легко и бодро. Ну, поволновался, подрался немного... все это — в порядке вещей... и если не совсем победно вышел из этой драки, сто́ит ли из-за такой обычной истории терять равновесие?..

В бюро райкома по докладу о прорыве крыли его жестоко. Он не защищался, не оправдывался, а сам бил со свойственной ему прямолинейностью. Он обвинял бюро в недостаточном внимании к стройке, в неумении регулировать реальные силы в районе: райком занят по существу одной областью работы — деревенскими делами. Правда, весь их район — сплошь земледельческий, в деревне сейчас происходит большой социально-экономический переворот, но такие

грандиозные сооружения, как электрогидрострой и металлургические комбинаты, неразрывно связаны с революцией в сельском хозяйстве. В этом нарушении системы и кроются главные причины прорыва. Он согласен, что в его руководстве много изъянов, но нельзя же все грехи сваливать только на него. Что же сделано самим райкомом для действительной связи строительства с деревней? Где пропаганда среди деревенских масс великого значения для социалистического земледелия будущей гидроцентрали и заводских гигантов? Где действительная помощь райкома, хотя бы в смысле посылки партработников и насыщения стройки рабочей силой? Разве не было случаев, когда лучшие работники отзывались райкомом в свое распоряжение, а на стройку посылались нередко штрафные и мало пригодные для дела люди?

Смеялись:

— Это, брат, Ситный — наш заворг — тебе удружил...

Этот заворг Ситный, с лицом китайца, ненавидел Ватагина мрачно и безнадежно. Сегодня он настроен был к нему особенно непримиримо, а Мирон не обращал на него внимания: он чувствовал к нему что-то вроде брезгливого сожаления и держался с ним пренебрежительно и высокомерно. Ситный был болезненно самолюбив и злопамятен. Он не мог простить Мирону того, что тот послан сюда из Москвы, и часто ехидничал над его «столичным происхождением». Всем было видно, что Ситный страдал: его обошли, оттеснили в сторону, с ним не посчитались в областкоме, а Ватагина вот назначили.

Подбор работников в райкоме был все-таки неплохой, и к Мирону относились там тепло и дружески. Весь гидрострой и стройкомбинат — это одна из общесоюзных индустриальных баз, и в формировании партруководства на этом важном участке в большой степени заинтересован центр. Здесь должны быть люди с большим опытом, с разносторонним знанием хозяйственной и политической жизни. В этом случае их роль — роль работников райкома — создать благоприятную обстановку для Ватагина, помочь ему сколотить

крепкий и работоспособный коллектив и обеспечить бесперебойность в производстве великих работ. Вот почему сегодня они сосредоточили весь свой огонь на последних событиях.

С некоторого времени начался отлив рабочей силы с разных участков стройки. Он шел волнами — отлив сменялся приливом. Но за эти дни не только сезонники-каменоломы, бетонщики, плотники, но и некоторые кадровики хлынули со строительства. Нужно было спешно принимать самые решительные меры.

Ситный упрямо смотрел в стол и говорил глухо, как в бочку, на густое «о».

— Ведь это же позор, политический скандал, товарищи! Довести строительство до такого отчаянного состояния! Разве этот прорыв — случайность? Мы — диалектики, мы — ленинцы: мы никакой случайности не признаем. Это есть следствие бессистемности в работе парторганизации. Это не только политическая близорукость, но и полное незнание местных условий. Не все то золото, что блестит (он ехидно улыбнулся). Надо немедленно, беспощадно сделать соответствующие выводы и раз навсегда положить конец такому безобразию.

Мирон сидел неподвижно и невозмутимо, и всем казалось, что он совсем не. слушает Ситного. Он смотрел в окно и думал о чем-то, скучая. Потом взял со стола газету и начал читать, ковыряя спичкой в зубах.

Секретарь Дубяга, похожий на Тараса Шевченко, слушал, молчал, пристально и лукаво поглядывал на Мирона, и его украинские усы вздрагивали от усмешки.

Когда прения были прекращены, он оглядел всех и сказал с удовольствием:

— Ну, погрелись маленько и — хорошо. Ватагину это на пользу. Греть-то мы его грели, а себя забыли. Самокритика-то у нас колченогая, ребята. С райкома спросится в первую голову.

И уже в дверях Мирон услышал позади себя глухой, чахоточный голос милого Байкалова, своего старого боевого друга:

— Нельзя, товарищи, здоровую критику обращать в склочную борьбу. Мы все одинаково горим нашей стройкой... и все одинаково в ответе... Я Ватагина знаю очень хорошо... лучше вас знаю...

Пока Мирон ждал моториста, к нему вышел Байкалов, опираясь на толстую палку. Весь он был костлявый до жалости, только нос был непомерно велик, похож на топор, а глаза — здоровые, горячие.

— Ты, Ватагин, не придавай значения. Все обойдется. Борьба продолжается... и какая борьба!..

Мирон ласково пожал его руку.

— Как еще много в тебе, Байкалыч, романтики от нашего боевого прошлого!

— А разве это плохо? Будущее, голубчик, рождается в настоящем. Наша мечта о будущем — наше дело. Помнишь, как Ильич говорил о мечте?

Когда моторист сел за руль, Мирон не утерпел и обнял Байкалова.

— Ну, жду тебя, друг. Приезжай поскорее!

Впереди, на западе, небо горело успокоенным морем, и пепельные облака казались островами. На севере, над далекими увалами, жирно клубилось большое облако, точно где-то на краю земли произошел гигантский взрыв. Вдали лучились острыми ресницами частые созвездия огней строительства.

Еще год назад все эти пространства были пустынны: горели и зябли в ветрах крестьянские пашни и бурьянные пастбища, и курганные горизонты дышали миражами древних былин. По вечерам выползали из нор и свистали суслики, а днем над бурьянами и косогорами кружились коршуны, звенели в синеве невидимые жаворонки, и в бездорожье дремотно трусила деревенская лошаденка, отмахиваясь хвостом от телеги. В знойных волнах стояли распятые ветряки. А вот сейчас все эти поля с половецкими курганами скоро исчезнут: через год здесь будет целый город промышленных комбинатов.

На переезде через железнодорожную линию, у шлагбаума, стояло несколько парней. Тут обычно останавливались автобусы, которые курсировали между городом и гидроэлектростроем. По шоссе навстречу несся

грузный кузов машины. Мирон оглянулся и увидел другую машину, которая маячила вдали на спуске шоссе. Когда он пронесся мимо ребят, они замахали руками и пронзительно засвистели.

Он вздрогнул и оглянулся. Почудилось, что среди этих парней мелькнуло лицо Кирюшки. Те же угрюмые брови, то же подергивание головы... Дымилась густая пыль позади, и не видно было ни ребят, ни шлагбаума.

Неужели это он? Ведь восемь лет продолжаются розыски — и никакого результата. Восемь лет и он и Ольга публикуют в газетах обращения к организациям и учреждениям помочь им найти сына, печатают призывы и к нему, Кирюшке, и — никаких откликов.

Восемь лет — большой срок: мальчик вырос, поумнел, много передумал — он отозвался бы и, конечно, сам дал бы о себе знать. Но он или погиб в неизвестных далях, или утонул в то памятное весеннее половодье.

Москва-река вышла тогда из берегов и залила Кремлевскую набережную и улицы Замоскворечья. Был солнечный апрельский день. Толпы людей с утра до вечера кишели на берегах и смотрели на ледоход. Стояла та таинственная тишина, когда шорохи и вздохи льдин волнуют душу и манят в незнаемые дали. Мальчик ушел из дому и больше не возвращался. Поиски были мучительные, долгие, но ребенок пропал бесследно. Ольга до сих пор не верит в его гибель и в каждом письме пишет о нем, как о живом.

Промчался мимо автобус, набитый людьми, и в лицо ударил горячий вихрь пыли и бензинного перегара. Со стороны строительства, играя колесами, двигался порожний состав товарного поезда.

...Почему же не может быть такой внезапной и неожиданной встречи? Почему он уверен, что Кирюшка погиб в половодье? Предоставленный себе, мальчик жил своей жизнью, и его беспризорность стала его желанной свободой. Что же тут невозможного?

Ватагин попросил моториста повернуть назад. Мотоцикл сделал крутой поворот и помчался обратно. Сторожка маячила очень далеко, и Мирон удивился: он не заметил, как пролетел около километра. Автобус

пылил уже за переездом. Видно было, как опускали шлагбаум. От остановки автобуса бежали к путям несколько человек.

Мотоцикл остановился как раз в тот момент, когда поезд пересекал шоссе. Видно было, как люди взбирались на ходу на тормозные тамбуры вагонов. И когда поезд прогромыхал через переезд, уже никого из людей не было. Только сторож, бородатый старик, перебирал руками цепочку шлагбаума, журавлем уплывающего вверх, и скучно бормотал:

— Допрыгаетесь, шарлатаны!.. Озорники!.. Уши бы нарвать, да руки заняты.

— Это ты насчет парней, старина? Куда же они смылись?

— А сатана их знает... Тут и автобус, тут и состав... Озоруют. Развязанный народ... бездомники...

Гнаться за автобусом или за поездом? За поездом не погонишься по пашням и рытвинам. Поезд идет на городскую товарную: туда — двадцать километров в объезд. Надо мчаться за автобусом. Много рабочих живет в городе: строительство не может вместить всех в казармах общежитий. Эта молодежь, видимо, обитает в городских предместьях и только недавно пришла на работу гидростроя.

— Гони-ка вперед, Бабаев. Наддай хорошенько.

Пронесся мимо встречный автобус. В окнах мелькнули лица Фени и Татьяны. У Фени — кудрявая голова мальчишки и вздернутый нос-недоросток. У Татьяны — обычно холодное лицо. Феня засмеялась, метнулась к стеклу и запоздало потрепала рукой.

Мотоцикл обогнал первый автобус, и Мирон с мотористом подняли руки перед кабинкой шофера.

Машина захрипела и остановилась. Толстушка в красной повязке, с саквояжем на животе, открыла дверцу и зычно, с сердитым вызовом, прикрикнула:

— Чего надо? Угорели вы, что ли? Ишь какие красивые! — и задорно засмеялась.

— Скажи-ка, девочка, на переезде пассажиры были?

— Да ты скажи, золотце, в какое место тебя муха укусила?..

Засмеялись; и в автобусе стало весело.

— Не скажу, серебряная.

Кондукторша озлилась:

— Так нечего дурака валять. Туда же машину останавливает. Подумаешь, какой интересный! Только и есть в руках, что головотяпский портфель. Я и тебя не посажу, ежели местов нема.

...Надо было тогда же остановить мотоцикл, а он распустил нюни, идиотски промахнул целый километр. А если он, Кирюшка, тоже узнал его? Может быть, он ждал автобуса, но в последнюю минуту, опасаясь погони, воспользовался поездом и спутал следы. Ежели вернуться в город — на товарную, все равно опоздаешь. Там поезд затеряется в путях, а по путям надо шагать пешком. Как все это вышло нелепо!..

— Ну? Куда же теперь, товарищ Ватагин?

Мирон молча махнул рукою.

2

Было очень душно, застойно дымилась пыль над дорогой, и от этого воздух казался пережженным и по-вечернему задумчивым. Липы перед домом были седые, точно листья испепелились за день. Прямо против окна, за палисадником, синел домик предрабочкома Осокина. Окна были распахнуты, и во тьме комнаты мутно огнилась полуотворенная дверь в кухню. Сейчас Осокин сидит за столом с женой и ребятишками и пьет чай. Он, должно быть, держит младшего соплячка на коленях (он любит сажать за столом ребят на колени) и умильно наслаждается домашним уютом. Рядом с ним сидит жена, утомленная материнством и домашними заботами, дремлет и прислушивается к себе. Она беременная четвертым, а Осокин благодушно улыбается и иногда ласково шлепает ее по животу.

Всюду переливаются электрические огни. На скалистом холме, за домами, изломанной террасой поднимается каменная широкая лестница. На вершине — кирпичное казарменное здание рабочего клуба. Там сейчас кино. Слышно даже, как трещит киноаппарат.

Не хочется зажигать огня, — приятно отдохнуть в одиночестве. В теле еще чувствуется дрожь мотоцикла.

...Кирюшка это был или кто-то другой, похожий на него? Ольге не надо писать об этом...

...Как это было? Мирон приходил ночью с работы. Кирюшка уже спал, а по утрам, когда они сидели за завтраком, Мирон был по-деловому равнодушен к ребенку. Иногда он шутил с ним неумело, по-взрослому, насмешливо, и мальчик угрюмо замыкался. Мирон не знал, как он проводит время, чем занят, о чем мечтает. Знал только, что Кирюшка — в пионеротряде, учится в школе. Этого было достаточно, а понять его, войти в его мир — не было ни желания, ни времени.

А вот теперь он вдруг ощутил в себе незнакомую раньше боль и что-то вроде мучительного раскаяния. Теперь бы он, кажется, никогда не оторвался от него, и у него нашлись бы задушевные слова для сына. В бегстве мальчика виноват больше всего он, а не Ольга. У нее для мальчика находились нужные слова, и она могла, несмотря на не меньшую занятость, отдавать себя ребенку как мать, а Мирону даже и в голову не приходило принудить себя к ласке. Вероятно, это было потому, что в детстве он тоже не испытал сердечного внимания отца. Отец всегда казался ему недоступным и страшным. Запомнился на всю жизнь один случай. Мирону было лет четырнадцать. На дворе, стреляя из пращи, он убил голубя из стаи, которая кружилась над соседним двором. Любитель голубей, дьякон бродил в подряснике около голубятни, посвистывал, очарованно, с шестом в руках, смотрел на свое крылатое сокровище, забавляясь полетом птиц в солнечной синеве. Голуби сверкали в воздухе, кувыркались, трепетали над голубятней, а он, дьякон, задирал голову и был похож на святого. Мирон почему-то очень ненавидел этого дьякона, который постоянно ссорился с соседями из-за своих голубей. С замирающим сердцем он натянул резину пращи и с треском опустил камешек. Один из голубей прыгнул в воздухе и закувыркался вниз. Отец вышел на крыльцо, вызванный визгливыми криками дьякона, молча направился к Мирону и очень больно

схватил его двумя пальцами за волосы. Мирон видел, как шел к нему отец, и застыл от ужаса. Он был парализован только одним этим неотразимым медленным его приближением. И когда отец вел его за волосы и встряхивал головенку, Мирон с тошнотным холодом в животе почувствовал, как по ногам льются теплые ручьи и штанишки прилипают к телу мокрыми тряпками.

Должно быть, Кирюшка перед ним, Мироном, испытывал такой же ужас. С ним однажды произошло то же, что и с Мироном. Как-то утром мальчик отказывался есть за столом и сидел упрямый и замкнутый.

Ольга уговаривала его, сердилась и вздыхала, и в глазах ее дымилось отчаяние. Мирону надоела эта канитель. Он крикнул на Ольгу с неожиданной злобой:

— Да оставь ты его в покое! Чего ты обхаживаешь его, болвана?..

И вдруг безотчетно схватил Кирюшку за плечо и встряхнул так неосторожно, что мальчик слетел со стула. Кирюшка смертельно позеленел, не заплакал, а только взглянул на него обреченно. Головенка задергалась, как от ударов по лицу. Ольга ничего не сказала, подняла Кирюшку под мышки и отвела к кровати. На том месте, где он сидел, темнела теплая лужица.

Ольга в это утро сказала ему сурово:

— Мы считаем себя революционерами... Мы призваны социализм строить... А вот в семье — в тысячу раз хуже буржуев. Не умеем любить и воспитывать детей.

А он ответил ей ехидно, еще не остыв от раздражения:

— Ну, что ж... Оставь тогда партийную и хозяйственную работу... Возьмись за воспитание младенцев...

Она рассеянно посмотрела мимо него в окно и вздохнула.

— Глупо, Мирон. Мы очень рьяно и смело распоряжаемся в сложных и трудных делах, а в самых

простых вещах позорно дики. Нас занимают большие вопросы, а человек калечится. И в результате — или больные, или жулики.

А Мирон насмешничал:

— Не приличествует, Ольга, большевичке впадать в панику.

И тогда же он отметил, что упреки ее смешны: она меньше всего была занята семьей и ребенком. По утрам уходила из дому обычно раньше, чем он, а приходила позднее, утомленная, в запахах фабрики. Часто она забывала подойти к спящему ребенку, поправить постель и посмотреть на него сонного, а говорила о фабричных событиях, о борьбе внутри треугольника, о внутрипартийном положении.

Расстались они незаметно, по-деловому.

...Посасывая трубку, опираясь локтем о подоконник, Мирон вглядывался в вереницы молодежи, снующей по лестнице на холме, и ему было больно и от зависти к этой молодежи и от воспоминаний о прошлом.

Где-то очень далеко металлически звенели колеса телеги. Где-то — должно быть, на холме, на площади, в сквере — заливалась гармоника. Стрекотал киноаппарат в клубе. Дерево на горе, похожее на пальму, еще четко вырезывалось на прохладном отблеске угасающей зари. Завыла сирена на берегу и долго спускала сиплую струну до еле слышного хрипа.

Кучка рабочих заботливо прошагала по той стороне улицы. Некоторые из них с любопытством посматривали в его открытое окно, но его не замечали во тьме оконной пустоты.

Куда они идут? Это рабочие центральных механических мастерских. Сегодня нет никаких собраний. Может быть, что-нибудь учинил Осокин? Он без этой постоянной толкотни среди рабочих жить не может.

За оградой палисадника промелькнули две четкие тени, и в комнату ворвался голос, сочный, молодой, самоуверенный:

— Ни черта подобного! Люди, брат, не родятся, а делаются...

Это — Кольча, комсомолец, слесарь из центральных механических мастерских. Он работает здесь с год и

как-то незаметно и быстро стал на виду — его знает весь актив. Он ведет за собой комсомольцев и беспокоит рабочих. Каждый раз на общих собраниях обязательно выступает рьяно, с нахрапом и готовыми предложениями и, не стесняясь, бьет по самым больным местам. Он немного сутулится, у него угловатое лицо и большой рот.

«Люди не родятся, а делаются». Это может сказать только взрослый, много поживший человек. Парень не глуп. Он вырос раньше своих лет.

— Эй, товарищ Ватагин!.. Чую по запаху, что дома...

Через ограду, между деревцами, перегибался к нему Кольча.

Мирон высунулся из окна и оглядел улицу в обе стороны.

— Куда это идет народ-то?

— Чего ты сумерничаешь? От бани, что ли, отдыхаешь? Говорят, у тебя там в городе здоровая буча была...

«Откуда они знают? Не успел приехать, а уже все — в курсе дела».

— Сейчас мы во дворе парткома собираемся. Человек пятьдесят верных. В цеху сегодня, в обеденный перерыв, немножко помитинговали. Решили вечером пойти в котлован. Ребята здорово всколыхнулись. Кое-кто побузил маленько, ну их отшили... Ты-то сегодня будешь в котловане?

— Сейчас пойду. Чуть-чуть передохну после поездки.

— Нет худа без добра, товарищ Ватагин... Парень я не то чтобы этак со слабым сердцем и нервами... но, понимаешь... дух захватило...

— А как по другим объектам?

— На шлюзе тоже засуматошились... Репей звонил... там маловато, но все же... Одна опора — это центральные мастерские...

Кольча оглянулся и крикнул в кусты палисадника:

— Сенька! пошли... Забегай, брат, в общежитие — тащи ребят-то...

И он исчез в кустах.

II. ГРАНИТЫ

1

Огненные веревочки бежали и вились по реке. Вода подпиралась перемычками и гребенкой бычков. Прибрежные осыпи песку уже в этом году покрылись разливом. А через год вода вползет на берега и затопит все эти дворы и избушки, которые сползали в низины отлогих склонов приречья. Вон там, где живут Кряжич и Феня с Татьяной, под откосом, за скалами, река заплещет в стены домов, и они разрушатся, растворившись в рыжих волнах.

На перемычках взметнулись дымно-зеленые хвосты прожекторов. Они прорезывали ночную даль, разлетались в противоположные стороны, потом мгновенно скрещивались, врезались в террасы земляных и каменных отвалов, в ущелья, в скалы, в каменные и бетонные аркады причальной стенки шлюза на верхнем бьефе. Весь хаос скал, утесов, каменных разработок и бетонных сооружений оживал в четких светотенях, как лунный пейзаж. Кубические бадьи, странно маленькие и невесомые, стремительно летали на невидимых паутинах над причудливой архитектурой опалубок. Это бетонировалось здание электростанции. И здесь, внизу, на работах, и на том берегу, на шлюзе, на ряжевых мостах, под бычками, вскрикивали строительные паровозики.

По песчаному кургану осыпи Мирон прошел на ряжи и по дощатым настилам направился к котловану среднего протока. Слева вода зеркально расстилалась вдаль, как озеро. Справа, из провалов котлована, вздымались бетонные башни с крылатыми кружевными лесами на вершинах. На площадке жесткого деррика стоял такелажник, пристально смотрел вниз, в пропасть, и дирижировал руками.

Взвивался над пропастью широкий короб, раскаленный добела прожектором, и качался, как зыбка.

Всюду чувствовалась затихающая глубина. Уже не слышно было грохота напряженного труда. Только дре-

безжали перфораторы где-то далеко впереди да глухо грохотали большие барабаны — это работали на горе компрессоры. Недалеко, над средним котлованом, дышали паровозы, громыхали думпкары и вагонные площадки с бадьями бетона. Воздух застойно смердил болотной прелью.

Хлопотливо ходили рабочие и десятники по перемычке. В скалистом котловане, залитом пыльным светом прожекторов, возились между кучами камней и щебня каменоломы. В скалах и утесах стояли бурильщики и, опираясь на перфораторы, дрожали всем телом. В ногах у них курилась пыль.

Играли вспышками огня ручьи внизу, в камнях, в расщелинах монолитов. Сверху они казались на большой глубине горными речками. Экскаваторы неуклюже и тяжело ползали на гусеницах. Как гигантский богомол, один из них опускал длинную шею и погружал зубастый ковш в груды гранитных обломков. Он кряхтел, дышал с громом и свистом и поднимал в пасти изуродованные отколы скалы.

Мирон остановился перед лестницей, которая коленчато спускалась в котлован по стене ряжа. Навстречу ему поднимались двое рабочих: они несли на плечах длиннейший металлический стержень. Это отработанный бур, который сейчас идет на новую закалку. За ними по нижнему колену лестницы поднималась другая пара с другим стержнем.

Подошел прораб Вихляев в неизменном буром макинтоше. У него опаленное солнцем и пылью лицо с сизым носом, густые усы цвета соломы и бородка клочком. При блеске электричества глаза его горели зелеными переливами, как у ночной птицы. Пожимая руку Мирона, он сказал озабоченно:

— Я на строительных работах — двадцать лет, товарищ Ватагин, а этого вот не наблюдал до сего дня. Оторопь берет.

— Да, немножко жутко, товарищ Вихляев. Это похоже на стихийное бедствие.

— Нет-с, это — катастрофа, товарищ Ватагин.

— Ну, это сильно сказано. Катастрофа — это крушение и никаких надежд. Вы заразились паникой. Это

не годится для такого испытанного прораба, как вы. Труд, товарищ Вихляев, имеет свои законы: он — в непрерывном движении. Именно теперь проблема труда решается как технологическая задача. В такие переходные моменты люди, привыкшие к примитивному труду, приходят в замешательство. Всякая революция — дело трудное и ошеломляющее, а революция в процессах труда смущает даже людей больших знаний и высоких квалификаций. Привычка, как говорится, вторая натура. Взять хотя бы вас, товарищ Вихляев. Вы до сих пор имели дело с кем? С грабарями, с каменоломами...

— О, я-то их хорошо знаю... — оживился Вихляев. — Замечательный народ!.. А мастера-то какие. Эти люди умели чуять друг друга. А какие они пели песни! Наплачешься и напляшешься... Ведь они, эти полтавские мужички, Панамский канал построили... Вот вам и Америка, вот вам и революция...

Мирон стоял, облокотившись на парапет, и смотрел вниз, в безлюдную гигантскую ямину, загроможденную камнями и невзорванными гранитными скалами. Там фырчали кое-где перфораторы и бухали сандерсоны. Одинокие фигуры рабочих в блузах из мешковины возились среди камней или бродили с какими-то инструментами в руках. Только в опалубках плясали, уминая бетон, рабочие в комбинезонах, сливаясь с серой опалубкой. В разных местах под ослепительными лучами прожекторов стояли ряды вагонеток, и черные экскаваторы с хрипом и свистом глотали своими ковшами камни и щебень. Игрушечно маленький паровозик, чихая паром, тащил за собою целый состав вагонеток, нагруженных камнями. Покрикивая, он повернул влево и скрылся под аркой высоких ряжей.

— Я понимаю вас, товарищ Вихляев, — задумчиво ответил Мирон, не отрываясь от гранитной пропасти, залитой огнями. — Может быть, в труде и в быту грабарей много поэзии. Но такая поэзия нам чужда. Ведь там, где работает экскаватор и кран, бушует настоящая буря. Лопатки и колымажки кажутся сейчас смешными и жалкими. Огромные глыбы гранита и целые

горы камней могут выбросить только гиганты — могучие механизмы. Разве в этом нет поэзии?

Вихляев смущенно засмеялся. Он робко положил руку на плечо Мирона и вздохнул.

— Чувствую, товарищ Ватагин... Вы тоже поэт. Но эту поэзию надо пережить, чтобы заново родиться. Милый мой, ведь вновь родиться — значит умереть.

Он грустно помолчал и вдруг засмеялся.

— Вот брожу я в этой яме и ищу живую душу. И что же? Эта живая душа трусливо улетучилась. Впрочем, приходят и другие простые души в чаянии всяких благ. И представьте такой камуфлет: мы уже не понимаем друг друга. Они удирают, а я хохочу: они удирают, а экскаватор-то срывает с них старые лапти.

Вихляев был хороший прораб и среди своих грабарей и сезонников пользовался общей любовью. Он знал каждого по имени, входил в их интересы и домашние дела. Он не считался со своими рабочими часами: его всегда можно было видеть на работах — и днем и ночью. Часто спал он вместе с ними под открытым небом или в палатках и бараках и в свободный час пел с артелью деревенские песни. На его участке не было скандалов, бунтарских настроений, прогулов, и работы выполнялись вовремя, честно, превосходно, с особой, присущей грабарям, красотой и мастерством. Управление строительства очень высоко ценило его опыт, организаторские таланты и прекрасное знание дела. Голос его был певучий, задушевный, убеждающий. Такой голос бывает только у русских южан и украинцев.

— А все-таки и вы, товарищ Вихляев, еще не расквитались с лаптями... — засмеялся Мирон. — Не храните ли вы их под лавкой для всякого случая?..

— А чем черт не шутит!..

Вдали по мосткам шла толпа рабочих с красным флагом. Они громко разговаривали, смеялись, пытались петь, но сразу же обрывали песню задорным криком и хохотом.

Все сгрудились у лестницы и побежали один за другим по ступенькам вниз. Красный флаг вспыхнул над парапетом, заколыхался и погас. Вих-

ляев, размахивая полами макинтоша, широко зашагал к толпе.

Когда последние парни исчезли за парапетом, прибежала Феня. Эта маленькая девушка, похожая на подростка, курносенькая, юркая, в яркой тюбетейке на золотых кудрях, совсем не похожа была на инженера. Лицо ее раскраснелось от возбуждения, глаза весело смеялись. Она запыхалась, должно быть долго бежала, догоняя отряд. Как сменный прораб, она сегодня дежурила на плотине.

— Какой молодец этот Кольча!.. — крикнула она со звонким смехом. — Сколько народу сбил! Эти сто́ят целой смены сезонников... Бегу, бегу, Ватагин! — крикнула она, отмахиваясь от Мирона, который хотел удержать ее. — Мне надо быть там, с ними... сходи вниз — я и тебе найду работу.

И затопала башмаками по доскам лестницы.

«Милая девочка...» — провожая ее взглядом, улыбнулся Мирон. Он прошел на площадку лестницы. Внизу, около застывшего крана, рабочие окружили Вихляева, который что-то объяснял им, размахивая руками. Феня легко и бойко слетала с лестницы, и кудри ее трепыхались от встречного ветра, а тюбетейка искрилась от яркого света электричества.

«Милая девочка, — любовался ею Мирон, — она не падает духом. Кажется, что она не замечает даже этой пустоты и молчания. Все-таки почему она тревожит меня? Что меня связывает с нею? Где и когда сталкивала нас судьба?»

2

Гранитные глыбы пересыпались искрами, кучи щебня громоздились отвалами у разрушенных скал. Эти глыбы лежали уже несколько суток, кучи щебня не таяли, и Мирону показалось, что они как будто выросли и густо засорили всю площадку котлована. В прорыве между ряжевыми устоями непроглядно чернела тьма, и только мгновенный луч прожектора молнией вспыхивал на пегом бетоне шандоров и ослепительно брызгал капелью фильтрующей воды.

В этом широком ущелье отряд Кольчи совсем растаял среди клыкастых скал и длинного квартала опалубок. Ведь для того, чтобы заметить здесь живое движение труда, нужно бросить сюда десятки тысяч людей. А вот сейчас тут работает только несколько бригад бетонщиков, и не успевшие убежать десятки каменоломов, да те из рабочих, которые обслуживают краны, экскаваторы, долбильные машины, потом — бурильщики, подпальщики и железнодорожники. Машины как будто приковали их к себе, и оторваться от них эти люди уже не могли и не хотели. И Мирон как-то неожиданно заключил: сезонникам здесь делать нечего — их давят и отбрасывают механизмы. Он даже остановился, пораженный этим выводом. Нужно ли сожалеть об этих людях? Превратить их в действующую силу можно только тогда, когда преобразит их машина. Вот Феня и Кольча живут в мире этих механизмов, как в родной стихии, и сердцем переживают их мощь и красоту. Молоты, кайлы и лопаты выбиты из рук деревенских людей. Жесткие деррики вскидывают свои металлические стрелы высоко к небу. Под грохот взрывов и звон подъемных кранов лапотники с кайлами и лопатами толпами побежали в деревни и в те места, где труд еще примитивно прост и нетороплив.

Неожиданно он наткнулся на группу сезонников, которые возились над подъемом крупных камней. Но деррик застыл в бездействии, а такелажник наверху от скуки напевал песенку, опираясь на парапет. Мужики сидели на камнях и курили цигарки. Один из них был тщедушный, костлявый, с жиденькой бороденкой. Он дышал хрипло и жалко улыбался. Меж ногами он любовно держал свой ломик. Другой, крупнотелый, вихрастый, с раздутым злым лицом, попыхивая цигаркой, говорил нудным басом:

— Ты, Микита, и без лома хорош. Чужой лом кости ломит, сорока-барыня. Тебе только быть на деревенских харчах: лежи на печи да три кирпичи. В колхозе все едино зачтут. А тут какие-то термоза, а из термозов этих идет питание. Питание, арапы! Вша заела. А отчего — вша? От дурноты жизни — от думы, от тоски. Ты полагаешь: вот, мол, я с ломом-то трясу

портками на свое способие, а оно мелет тебя кажин день своей шестерней. Вот, голова, о чем подумать надо. Жуть берет. Оттого — и вша... оттого и человек — в бегах...

Никита задыхался и сидел на камне, вцепившись в лом, и виновато улыбался.

— Ну, а... куда же податься, Матвей?

Матвей зажег спичку и поднес ее к цигарке, хотя она мерцала красной искоркой. Его лицо, мясистое, обросшее щетинистой бородой, вспыхнуло, потом погасло и опять вспыхнуло. Он злобно посмотрел на огонек спички и погасил ее пальцами.

— Глупый твой вопрос, сорока-барыня. Ворочаем вот эти камни своим горбом, а оно — гроб...

— Выходит... стало быть, капкан?

— Мо-огила, сорока-барыня. Нас здесь за именинный стол не посадят... В степь бы вот податься к киргизам...

К нему подошел бойкий парень в кепке на затылке, рябой, и оскалил зубы со щербиной под верхней губой.

— Ты чего это тут, балда, кулацкую агитацию разводишь? Гляди, как бы тебя в подвал, а не к киргизам отправили. У тебя только один зад тяжелый за башку думает.

Мужик смерил парня с головы до ног и беззлобно огрызнулся:

— Арап ты, сорока-барыня... балаболка! Плох твой отец, а то привязал бы тебя к лошадиному хвосту аль пришил бы гвоздями к сохе-бороне...

Парень бросился к Мирону, весело засмеялся и развел руками:

— Тут, товарищ Ватагин, не то ли что трудиться с этими дуболомами, а помышление есть вставить им кишку от пневматики... Черт меня связал с ними, с домовыми... Никак от них отпаяться не могу... К тому же — по бабам стосковались да по навозному духу...

Этого парня Мирон видел где-то, но вспомнить никак не мог. А отразился он в памяти бойкостью озорника и смелой, вызывающей шуткой.

— Переведите меня на бетон, товарищ Ватагин, или на кран. Здесь я, в среде этих лапотников, —

пешка. Вся энергия впустую. Один сплошной тормоз. А я имею красноармейскую гордость и честь...

— А вот эта твоя красноармейская честь и обязывает тебя повести за собой людей, а не отступать перед трудностями. Ты откуда? тоже сезонник?

— Нет, что вы! Я — здешний. Пошел добровольцем. Микешин — фамилия. Прокопом зовут... Живу в одном порядке с инженерами.

Мирон вспомнил: это был сосед Фени и Татьяны, к которому они ходили пить молоко.

— Это правильно, товарищ Ватагин, — смущенно засмеялся Прокоп, — а без коллективного духа не обойдешься. Народ этот требует буксира... Под силой дисциплины любой вахлак героем делается.

Тщедушный мужик ласково прохрипел:

— Парнишка-то он душевный, хороший парнишка... Дружок... Он с нами горе и радость веревочкой вьет...

— Болтай там, Микита-мякина, — промычал Матвей, растирая лаптем цигарку. — Придет час, я ему, сорока-барыня, все-таки прозвонки сломаю... Клещ, а не человек...

Парень понравился Мирону. В нем есть закалка и здравый смысл. Должно быть, упрям, самолюбив и знает себе цену. Очевидно, сезонники привыкли к нему и остались на своей работе под его влиянием. Возможно, что они даже привязались к нему и по-своему полюбили его.

— Поднимайтесь, ребята, — подбодрил их Мирон, — и шагайте к Фене Отдушиной или Вихляеву: они включат вас в бригаду металлистов, — или на бетон, или на погрузку... А потом видно будет: возможно, что приставим вас к механизмам.

— Вот спасибочко, товарищ Ватагин! — радостно крикнул Прокоп. — Доказывал же я вам, друзья посконные: без борьбы и выдержки победы не бывает. Пошли, заре навстречу!

Мирон прошел через весь котлован и впервые увидел, как бойко спускались и поднимались на тросах бадьи, как вгрызались в отвалы щебня и камней экскаваторы, как мчались паровозики с длинными составами вагонеток. Людей не было видно, но люди чувствова-

лись всюду. Видел он, как озабоченно пробежала впереди него Феня к опалубкам. И опять нежно дрогнула какая-то струнка в сердце Мирона.

3

С берега на мостовой переход спустилась группа людей. Они пошли не по пешеходному настилу, а по широкой площадке, исполосованной ветвистыми рельсами. Мирон еще издали увидел высокую, коренастую фигуру начальника строительства Балеева в длинном сером пальто, наброшенном на плечи, в поношенной шляпе. Рядом с ним мягко и зыбко шагал его заместитель Стрижевский во всем белом. Из-за них видна была роскошная длинная борода главинжа Шлиппе, которая резко выделялась на фоне светло-серого плаща. И, конечно, за ними шел и Кряжич, начальник гидротехнических работ, своенравный «неистовый» человек, с нервным лицом и порывистыми жестами.

Встреча эта была неприятна Мирону: с Балеевым у него были с самых первых дней совместной работы напряженные отношения. Балеев был груб в обращении, со всеми говорил срывка, не терпел возражений, а с Ватагиным держался с насмешливой небрежностью. Он считал, что партийный комитет узурпирует права начстроя, когда вмешивается во все процессы строительства. Функции парторганизации — это агитация и пропаганда, укрепление рабочей дисциплины и повышение производительности труда. Последние события на плотине, когда рабочие толпами бросали работу и уходили со строительства, Балеев приписывал беспомощности и попустительству парткома и профкома. При крутом своем характере начстроя держал себя с Ватагиным высокомерно и не раз пытался третировать его, но Мирон однажды дал ему суровый отпор, сохранив невозмутимое спокойствие и достоинство человека крепкой воли. С тех пор он был с Балеевым официально учтив, деловито осторожен и не раз удивлял «хозяина» широкой осведомленностью во всех областях строительства. Его тугой взгляд и неподат-

ливость действовали на Балеева неотразимо: он как будто спохватывался, энергично проводил ладонью по волосам и сдержанно усмехался в бородку. Его хрящеватый нос, острый, как клюв, делал лицо его недобрым и жестким. Но когда шла у них беседа, Мирон чувствовал, что Балеев по натуре хотя и властный человек, но прямой и честный. Это был художник своего дела. Суровая же его замкнутость, неприветливость и грубые окрики — от недоверия к людям, от застенчивости и внутренней сосредоточенности одинокого человека.

Мирон встретил их молча и пожал им руки с холодной предупредительностью.

— Ну, что?.. Быть или не быть, как говорит Гамлет?.. — с грубоватой иронией спросил Балеев, подходя к перилам. — Наработали черта лысого... А теперь трагически переоцениваем ценности?

— Нет, Викентий Михайлович, проще и ближе к жизни: решаю проблему кадров. Техника требует мастеров. Этих мастеров мы должны создать сами. Как видите, механизмы продолжают работать, хотя сезонники и дезертировали.

— Как же совершилось это чудо?

Стрижевский вкрадчиво, поблескивая зубами, ехидно заметил:

— Это — идея: надо заморозить стройку хотя бы на год, чтобы решить задачу, как создать из ничего нечто.

Кряжич презрительно фыркнул и отошел в сторону, точно считал зазорным принимать участие в этой нелепой перепалке, но не удержался и злорадно отозвался:

— Дикари никогда еще не поднимались выше огня. Америка же создала высокую культуру; она взнуздала и заставила работать дикарей как безгласную силу.

Мирон терпеть не мог этого инженера. Он считал его неприкрытым врагом и был убежден, что рано или поздно Кряжич найдет себе применение в другом месте. Его ядовитые наскоки всегда приводили Мирона в бешенство. Но в эти минуты он был с ним невозмутимо вежлив.

— Не забывайте, товарищ Кряжич, — сказал он с кроткой иронией, — что Америка разжирела на рабстве и на кровавом истреблении дикарей. Не думаю,

что вы так кровожадны, чтобы завидовать американцам. Наша сила — в человечности.

Кряжич зло огрызнулся:

— Эта ваша человечность принудила нас, париев, забыть свою биографию.

— Судя по вас, я этого не вижу, — сухо отозвался Мирон. — Вы не уважаете себя.

— Так кто же все-таки работает на участках? — сдерживая раздражение, обратился к нему Балеев.

— Рабочие механических мастерских, Викентий Михайлович. Они решили в свободные часы работать на плотине.

— Это не выход из положения. Почему не доложили мне?

— Произошло это стихийно и внезапно. Надо поддержать инициативу рабочих.

— Этот энтузиазм веселит сердце, как забавная игра, — снасмешничал Стрижевский, — но это только подчеркивает неизбежность консервации.

Балеев, к удивлению Мирона, добродушно поправил Стрижевского:

— Я обрадую вас, Евгений Григорьевич. Плотину мы закончим к сроку. Пошлем вас вербовать деревенщину, а Кряжича — рабочих.

Стрижевский фальшиво засмеялся.

— Браво! Мы поймаем щуку в мутной воде и запоем: «Чижик, пыжик, где ты был?..»

Шлиппе пристально осматривал котлован и гладил свою бороду. Это был простодушный человек с широкой натурой. Его ничто никогда не выводило из ясного равновесия. И было непонятно: не то он искренно видел во всем только хорошее, не то притворялся оптимистом. Он часто говорил, поглаживая свою бороду:

— Ничто не ново под луной, и все совершается к лучшему в этом лучшем из миров. Наш народ — самый удачливый народ в мире.

Как и всегда, он и сейчас выразил свои чувства с беззаботностью добряка:

— Смотрите, Викентий Михайлович: работа идет на всех механизмах. Верно. О чем тут, собственно, беспокоиться? Все совершается, как надо. Мир творился,

невзирая на некоторые уродства. У господа-бога тоже были ошибочки и некоторые прорывы. Упрекать нам друг друга не в чем... Народ вывезет, как всегда. Вывезет.

Стрижевский отпрянул от него, играя своими красивыми зубами.

— Вы — опасный человек, как Панглос. Вы и в аду видите рай. Неисправимый эпикуреец!

— Я стоик, Евгений Григорьевич, стоик. Я считаю, что человек сильнее смерти и мудрее черта.

Внезапно выступил инженер Шепель, сухопарый, с крупными морщинами на лбу и щеках. Одевался он как-то бесцветно: и пиджак, и брюки, и кепка были холщовые, да и волосы были белобрысы, под цвет костюма, а брови и бородка казались пыльными. Лицо его было застывшее, неподвижное, без всякого выражения, как у человека, сосредоточенного на одной мысли.

— Разрешите заметить, Викентий Михайлович, — сказал он бесстрастно. — Я убежден, что только люди, неразрывно связанные с механизмами, произведут переворот в методах труда. Товарищ Ватагин прав: нам нужно создать свои кадры. У меня никто не оставил механизмов.

И он скромно отошел в сторону. Балеев молча проводил его глазами и неодобрительно пробормотал что-то себе под нос. Потом широкими шагами пошел дальше по плотине. Мирон постоял, подумал и опять спустился в котлован. Он улыбался, щелкая пальцами: до сих пор эти люди были непреоборимой силы, и борьба с ними была изнурительной. Сейчас они в панике: почва из-под ног у них выбита, и они растерялись перед грозной неотвратимостью новых перемен.

III. СТРОИТЕЛЬ

1

Викентий Михайлович вставал по утрам ровно в шесть. Перед раскрытым окном он делал несколько гимнастических упражнений, а потом одевался.

Широкий дубовый письменный стол пламенел на солнце. На белой стене, у карниза, кудрявились золотые облачка солнечных отражений. Книжный шкаф из золотого дуба улыбался важно и гордо. И за рамой, в другом, далеком мире, в фотографической дымке чеканился строгий дворец электростанции, которую Викентий Михайлович строил на северных озерах еще при жизни Ленина.

Владимир Ильич! Как всегда, он встречал Викентия Михайловича из-за рамы обычной дружеской улыбкой. В кепке с широким козырьком, надвинутым на глаза, он застыл, охваченный невидимым движением, и морщинки около глаз дрожат взволнованно. Викентий Михайлович на мгновение видел его живым — экспансивным и юношески порывистым. Чудилось, что вот он сейчас, как бывало, быстро повернется к нему и засмеется, радостно протягивая руку.

И Викентий Михайлович каждый раз вспоминал горячий голос Ильича:

— Мы строим коммунизм, несмотря на необычайные трудности. Но мы не боимся этих трудностей и дальних сроков. Поколение, которому теперь пятьдесят лет, не увидит коммунизма, но те, которым сейчас пятнадцать лет, они увидят и будут творцами коммунистического общества. Мы должны создать социалистическое хозяйство на базе высочайшей техники. Основа же этой техники электрификация. На это нужно не менее десяти лет, и за эти десять лет мы построим до тридцати крупных электростанций.

Балеев пришел к Ленину после того, как механически выбыл из партии. Ленин сидел за столом, а около него — товарищи, с которыми Балеев когда-то работал в подполье.

— Он — путаник, этот Викентий Михайлович. Он простодушно думает, что революция кончилась и теперь настало время только строить электростанции... Чудак! Теперь он хочет только сооружать, а остальное — не его дело... Так мыслить коммунист не может.

И засмеялся, играя искрами в глазах.

— Ах, какой же вы чудак, товарищ Балеев! И какой же вы нетерпеливый человек!

И улыбался ему одним глазом. Это было в тяжелый момент отступления на польском фронте.

«Да, это было трудное время... Но... я не раскаялся, Владимир Ильич. Овому — талант, овому — два. Я предпочитаю жить с одним талантом. Ибо несколько талантов взаимно исключают друг друга: один талант неизбежно пожирает другой, а в результате — дилетантизм, любительство или чиновничья мелкотравчатость и политиканство».

Вспоминал, как Ленин приезжал когда-то на стройку одной из первых электростанций, где он, Балеев, был главинжем. Владимир Ильич смеялся, мечтал о будущем, прижимая локоть Балеева к своему горячему боку, и Балеев слышал, как билось его сердце.

Викентий Михайлович распахнул окно. Утро было прозрачное. Река оранжево горела даже в глубинах. Она плавилась разливно, без всплесков. Она так же стара и так же бессмертна, как мир. Так же, как и сейчас, в бездне времен текла она широко, спокойно и так же цвела перламутром.

Перед окном дымился густой зеленью сад. Плескалась вместе с волнами воздуха яркая пена цветов. А ниже, по крутому спуску, до железной решетки ограды, — буйные заросли сирени, фруктовые деревья, голубые ели. Ограды не видно: она запутана космами винограда и хмеля. В другой половине особняка жил его заместитель, инженер Стрижевский. Балеев занимал три комнаты, а Стрижевский — семь. Стрижевский — барин: он и его жена привыкли к простору и роскоши. У их девочки — гувернантка-англичанка. Между Балеевым и Стрижевским нет никакой близости: их общение только в стенах управления.

Молния вырвалась из скал на том берегу, и голубое облако выросло над гранитами, как гигантское дерево. Взрыв. Боль в перепонке и колючее щекотанье. Удар воздуха тверд и упруг. Грохот взрыва долго отдавался эхом по далеким холмам, как утихающий гром.

И вдруг — тишина до звона в ушах. Тишина и пустота. Кажется, что воздух исчез и нечем дышать.

Кучи камня и щебня летят веером, вырываясь из облаков. Они летят птицами в разные стороны, падают

в реку, и вода фонтанами бьет вверх и рассыпается брызгами.

Балеев любил эту канонаду взрывов, эти могучие извержения огня, камней и дыма: вместе с первым громом и сверканием молний пробуждалась в нем молодость. Когда-то он обследовал, изучал эти дикие берега и своенравие этой реки. Полстолетия бились инженеры над разрешением вопроса, как бы ее обуздать. Это были смелые люди, с большой дерзостью мысли. Но они состарились, умерли, и от их замыслов остались одни пожелтевшие клочья бумаг. И вот только ему, инженеру Балееву, подпольщику в прошлом, удалось в годы революции создать грандиозный план сооружений, который американские и немецкие эксперты нашли блестящим по своей смелости и простоте. Вот он сам осуществляет в жизни эту мечту: он — в центре этих великих работ. Он несет огромную ответственность перед всей страной, перед целым миром. И както странно и удивительно: его былые страстные порывы постепенно перерождались в холодную расчетливость и математическое бесстрастие. Почему он, бывший пропагандист, сейчас молчалив, нелюдим и крут характером? Бородка кажется жесткой, колючей, и к ней неприятно прикасаться. И нос острый и твердый, как клюв, — недобрый, безжалостный нос.

Балеев быстро прибрал постель и вышел в столовую. Стол уже серебрился чистой скатертью и блеском посуды.

В комнате — пусто. Сестра Варя, по обыкновению, — на кухне: она готовит ему кофе.

Ага, обычный приветственный писк! Проволочный цилиндр шуршал в быстром вращении. Внутри прыгала белка, встряхивая пышным хвостом.

Он прошел в ванную, разделся и пустил душ.

Каждое утро он выходил в столовую новый и бодрый. Обычно неразговорчивый, затяжеленный, в свой утренний час он являлся к столу свежим и веселым.

Сестра Варя, седовласая, но румяная, с зоркими молниеносными вспышками пенсне, сидела обособленно около никелевого чайника. Она похожа была на хозяйку конспиративной квартиры: чутко ко всему

прислушивалась, быстро вскидывала голову, озабоченно настораживалась, и ни одно движение Викентия Михайловича, ни один звук за дверьми и окнами не пролетал мимо нее.

— Сегодня ты, Викентий, опять лег очень поздно. Это возмутительно. Не бережешь ты своего сердца.

Перед ним стоял стакан кофе с молоком, горячая котлета и яичница. Викентий Михайлович прошел мимо сестры и с суровой застенчивостью погладил ее по волосам.

— Ты, Варя, по обыкновению, трогательно деспотична. Я старше твоего Константина на двадцать лет, а ты относишься ко мне с большей нетерпимостью, чем к нему. Советую тебе пристальнее присмотреться к Косте: он любопытен. Мне кажется, что ты кое-что проглядела в нем.

Опять грохнул потрясающий взрыв. Задребезжали стекла, и зазвенела посуда.

— Представь, Викентий, я так привыкла к этому грому, что жду его в положенный час. Если бы вдруг день прошел без этих взрывов, он был бы глухим и незначительным. Сердце замирает, когда подумаешь, какую ты громоздишь махину... Тебя знает вся страна...

— Вношу поправку, Варя: не я строю, а мы строим. Это — заметь.

— Ах, да... массы... Как это просто!.. Без творца эти массы — сырая, стихийная сила.

— Ты смешна, Варя.

— Не хитри, Викентий. Талант — беспокоен и неудобен для множества, и его стараются обезличить. А ты — скромен и застенчив. Ты беззаботен к самому себе.

— Ты заблуждаешься, мама: дядя творчески обособлен больше, чем ты думаешь. Но Сольнесы теперь — нелепость, а индивидуализм — это самоубийство для человека нашей эпохи.

Константин порывисто отодвинул стул и с возбужденным лицом сел за стол.

Переплетались и играли в этом лице противоречивые настроения: вызывающий задор, готовность к смеху и пристальная, молчаливая сосредоточенность. Он

жадно хватал глазами всякую мелочь, прислушивался и к словам и к шумам на улице и вспыхивал от взрывов. У него — жадные глаза, жизнерадостный голос, густая шерсть на руках. Он заботливо быстро намазывал маслом хлеб.

Викентий Михайлович улыбался в усы и смотрел в стол. Ему почему-то было неприятно слушать Константина: будто сын Вари развенчивал его — силу его превращал в самомнение, а творческую волю — в самолюбование. Но хмурился не он, а мать.

— Как можно, Костя, отрицать самое драгоценное в человеке? Ведь человек ценен только своей оригинальностью и одухотворенностью. Ты стал нечистоплотен с собой. Это — духовное босячество.

— Ох, мама-Варя!.. — Константин весело засмеялся. — Право, когда ты рассуждаешь, ты становишься сварливой. Мне кажется, что все философы похожи на ночных сторожей, которые не видят величия дневной жизни, не выносят людей и обозлены на солнце. Это, конечно, относится исключительно к философам, а не к тебе.

— Не дури, Константин. Я не шучу. Ты — музыкант. Твое призвание — творчество. Зачем ты сюда приехал?

Константин строго взглянул на ломоть хлеба.

— Видишь ли, мамаша... мне нужно жить искусством созидания новой жизни. Я хочу быть участником великих событий. Короче, я хочу строить социализм. Мир звуков и образов — это мир человеческих действий, это я, который хочет воплотиться в эпоху. Надеюсь, понятно?

— Ну, разумеется, Костя. Ты достойно выполняешь творческую роль... табельщика на земельно-скальном. Не менее высокое искусство — топтать бетон на плотине. Прекрасные возможности для пианиста!

Константин смеялся и гладил плечо матери.

— А что же, мама-Варя... Великая идея уравнивает и пианиста и каменолома.

— О, как это у тебя просто, Костя!

— Я хочу жить, мамаша, — жить, как настоящий рабочий наших дней. Для меня сейчас нет иной музы-

ки, кроме музыки массового труда. Я хочу расти каждый день на вершок и чувствовать настоящее солнце.

— Ну, Костя, если в тебе это засело прочно, ты погиб.

Балеев взглянул на расстроенную сестру и скрыто усмехнулся.

— Ты как на этот счет, дядя?

— Я не понимаю музыки: мне она всегда казалась скучной и пустой. Судить не могу. Мне представлялось всегда, что она — и не женского и не мужского рода.

— Ах, этот Викентий!.. Разве он судья? Зачем глухих спрашивать о пенье соловья? Он утилитарист... Он никогда не понимал искусства. Нашел кого спросить...

— А по-моему, дядя говорит дельно. Традиционная музыка для него — не только бесплодное, но и вредное занятие, как, скажем, курение опиума.

— О, разумеется! — Варвара Михайловна скорбно опустила голову. — Не лучше ли прекратить этот разговор? Он мне невыносим.

— Я уже оговорился, Варя: я — глух к музыке. Но я знаю другую музыку, — правда, грубую, хаотическую, — музыку из первоисточников, музыку взрывов, музыку машин и электричества. Конечно, это мелодия другого порядка...

Константин слушал Балеева с любопытством.

— Слышишь, мама-Варя? Музыка не творится из головы и пустоты. Художник только тогда сила, когда он, как вдохновенный мастер, всякие шумы жизни умеет претворить в музыку эпохи. А для этого надо иметь мужество быть активным рабочим наших дней.

— Вас не переспоришь. Я старая идеалистка. А теперь это не в моде.

Викентий Михайлович, обычно скупой на слова, сейчас был добродушно-насмешлив (это признак веселости):

— Тебя, Костя, нужно перевести на экскаватор. Твои взгляды на искусство я приемлю. Чтобы рояль был созвучен эпохе, надо, чтобы пальцы твои чувствовали психику двигателя. Тогда и клавиши зазвучат новой мелодией, чудовищной для уха Вари. Но она привыкнет, как привыкла к взрывам.

Костя заиграл пальцами и засмеялся. Потом быстро вышел из комнаты, точно вспомнил о чем-то важном. Раза два грохнули за дверью могучие аккорды без мелодии громоподобно и бурно.

Викентий Михайлович покосился на дверь и усмехнулся.

— Это у него ловко выходит... Тут совсем твоей музыкой не пахнет... Из него выйдет толк...

Он по-юношески вскочил со стула, быстро отвернул ворот рубашки на груди. В комнате было солнечно. Далеко, в воздушной глубине, стекали зелеными и рыжими потоками склоны холмов, а на огненно-красных террасах земляных разработок и развороченных взрывами скалах вихрями горела пыль, точно пылала земля, зажженная солнцем.

Викентий Михайлович стоял около клетки и весь светился от улыбки. Никогда ни один из инженеров, служащих и рабочих не видел у него такого лица.

Белка цепко и юрко, ящерицей, с гимнастической гибкостью бегала по его рубашке. Она дымилась на солнце, и по шерсти ее струились огоньки. Хвост ее вскидывался кверху, а ушки брызгали пучками искр. Вся она была заряжена электричеством: поднеси к ее горящей шерсти палец — и из каждого волоска стрельнет ослепительная иголка.

Викентий Михайлович нежно прикасался к сизому зверьку, а зверек гибко выскальзывал из-под руки и, воркуя, хватался за его уши и тыкался в них мордочкой, порхал по груди, зарывался в складки.

Варвара Михайловна мыла посуду и грустно прислушивалась к музыке сына.

Какая судьба! Он, Костя, который не знал иной жизни, кроме жизни симфоний, который был воплощением музыкальных образов, сейчас — табельщик на скальных выемках. Он жизнерадостен и по-прежнему налит здоровьем. Он даже стал крепче и мускулистее. Но нет уже в нем той внутренней озаренности и особой, свойственной артисту, одержимости, которая вдруг охватывала его в неожиданные мгновения. Теперь он стал будничным, бесцветным, множественным. Он уже

не говорил о музыке, а толковал о кубатуре вырытого камня и щебенки, о подрывных работах, о думпкарах, кранах, экскаваторах, о рабочих бригадах, об интенсивности труда. Что это такое?

Варвара Михайловна посматривала на дверь, будто еще видела его у порога и ловила его улыбку — улыбку ординарного человека. Она взглянула на Викентия Михайловича и снисходительно усмехнулась.

— Ну, иди, зверушка! Иди погуляй, пошали...

Балеев с улыбкой растроганного человека прошел к своему стулу очень осторожно, на цыпочках, точно нес на плече стакан с водою. Глаза его гладили и нежили белку.

Он сел на стул и накрыл ее ладонью. Она опять заворковала и быстро слетела на колени. Потом зайчиком запрыгала по столу, и хвост и уши ее рвались кверху веером искр. Она завиляла среди посуды, любопытно тыкаясь мордочкой в блюдечки, хватаясь за их края, быстро выхватила из сахарницы кусок сахару и закрутила в лапках.

Варвара Михайловна отмахнулась от нее с трусливым отвращением:

— Пошла, пошла... убирайся!.. Нечего тебе здесь... До смерти боюсь... укусишь еще...

Балеев смеялся.

— Я никогда не видела, Викентий, чтобы ты так нежно ласкал детей. Сколько у тебя любви к этой живой игрушке!

— Нет, ты посмотри, Варя, на зверушку: как много в ней жизни, ловкости и изобретательности!

Варвара Михайловна облокотилась на край стола и с пристальной пытливостью уставилась стеклышками пенсне в лицо брата. Он встал, небрежно подхватил белку и швырнул ее в клетку.

— Я все думаю, Викентий, откуда у Кости этот нигилизм. Это началось еще с первых лет военного коммунизма. Вдруг, ни с того ни с сего, он выкопал где-то флютгармонию и пошел по рабочим дворам, в красноармейские казармы, и по целым дням стал играть самые простые мелодии. Подговорил какую-то

певицу, и они с год, как бродяги и нищие, шатались из двора во двор, из казармы в казарму. Сначала думали, что они собирают милостыню: совали им хлеб, сахар... А они отводили их руки. Нет, видишь ли, они несли свою музыку в массы для того, чтобы поддержать дух рабочих и красноармейцев в тяжелые дни голода и гражданской войны. Этих чудаков привыкли ждать каждый день в определенный час, и люди валили к ним толпами. Потом они удрали на фронт и блуждали там под пулями. А теперь новое чудачество. Впрочем, певица опамятовалась и хотела возвратиться в театр, но... голоса уже не было... В отчаянии она пыталась два раза покончить с собой.

— Очень любопытно, Варя. У той не выдержала кишка, а Константин чувствует жизнь: он нашел себя, поверь.

Как странно, что Викентий — ее брат, которого она знала с детства! Кажется, он был совсем иным в юности и в подполье — сердечнее, мягче. Впрочем, со студенческих лет он рос в тюрьмах, в эмиграции. Тогда, в молодости, она знала всех его товарищей-революционеров: они проходили через ее квартиру. Но их отделяла от нее какая-то неуловимая тайна, и этой тайной был покрыт и он, ее брат. Эта тайна окутывала каждого из этих людей. Варвара Михайловна видела их лица, слышала их голоса, но люди казались ей призраками, несущими в себе какую-то необычайную, непосильную для нее жизнь. Ей они казались существами какой-то иной, не здешней жизни, и она боялась их и преклонялась перед ними. Викентий и сейчас нес в себе эту знакомую ей непостижимую силу: он давил ее и казался непонятным, необыкновенным, но уже иным, не прежним.

— С искусством шутить нельзя, Викентий: как ни насилуй его, как ни глуши, оно взорвется и сожжет огнем.

— Искусство, Варя, — не мистическая сила; это только обычная функция мозга. Надо быть хозяином своих талантов, то есть уметь распоряжаться ими в интересах общественной пользы.

— Ты утилитарист, Викентий.

— Да, я утилитарист, Варя. Надо жить и мыслить так, чтобы каждое твое действие и каждое слово были нераздельны и давали максимальную пользу.

2

В это утро Балеев, как обычно, пошел не по улице, вязкой и удушливой от песка, а через заднюю калитку. Пахло конопельной прелью крапивы и горячим зноем пережженной земли. Да, запахи древности — седые запахи стихий. Былые кочевья номадов... ковыль и бурьян. Сивые старики, овчинные волосы мужиков. Соха и избяной дух славян. Дохлая кляча и навоз. И песня, похожая на рыдания.

Это было недавно. Поля, затоптанные множеством людей и лошадей, прибитые дождями и ветром, обеспложенные, покинутые землеробом, уже преображались новыми делами: тут уже не будет ни стад, ни плугов в волнах чернозема, ни запахов плодородных отбросов, ни горького аромата полыни.

Внизу, в раструбе оврага, на песчаной отмели берега высокой сизой стеной врезалась в середину реки ряжевая перемычка, из ее каменной утробы громоздились ввысь бетонные громады устоев будущей плотины. Все это еще хаос, это еще неоформленный скелет сооружения. Уже возводится железобетонное здание электростанции мощностью в миллион лошадиных сил. Эта работа поглощает целые составы поездов с бетоном. Десять цементных заводов выбрасывают сюда всю свою продукцию.

Роями бронзовых мух пели далекие пневматические сверла бурильщиков. Глухим барабаном рокотали компрессоры. Все хорошо и могуче. День гремит железной симфонией труда. И он — Балеев — чуткий и строгий дирижер в этом оркестре.

Он быстро и легко взбежал по песчаной дорожке на каменистое ребро холма и остановился. Перед ним — внизу — гранитная пропасть, как кратер вулкана.

По дну траншей стекал туда волнистый блеск рельсов. Здесь перфораторы ревели, как пропеллеры,

и казалось, что воздух из этой огромной ямины вихрями рвался вверх и обжигал лицо каменной гарью.

Горела земля, воздух был знойно густ и сушил губы и глаза. С реки волнами наплывал удушливый запах тины и водорослей.

Инженер Шепель предупредительно снял кепку и шагнул к нему, как к хозяину, готовый к услугам.

Оба — и Балеев и Шепель — были неразговорчивы, и сейчас, при встрече, молча стояли рядом и смотрели на работы. Рабочие в каменной пыли, в брезентовой прозодежде сливались с окраской серых гранитов.

— Сегодня, Викентий Михайлович, я принимаю два новых мариона и три сандерсона.

— Когда они будут у вас в действии?

— После обеденного перерыва.

— Не успеете, Шепель.

— Сандерсоны будут доставлены в час дня точно.

— Сомневаюсь. — Балеев скептически, но удовлетворенно улыбнулся. Он не смотрел на Шепеля, следил за рабочими. Он хорошо знал: этот бесстрастный, похожий на камень, человек говорит только о том, что делает, будто отмечает по хронометру выполнение положенного цикла заданий. — Посмотрим, Шепель. Я проверю.

— Они будут на месте, Викентий Михайлович. В два часа мы их пустим в действие.

— Приду в три, чтобы лично удостовериться. Имейте в виду, что на всех участках работ — неблагополучно: отлив рабочей силы.

Шепель вынул портсигар и почтительно протянул его Балееву. Тот, не глядя на него, взял папиросу.

— Вы, Шепель, впервые угощаете меня папиросами.

Шепель резко, но вежливо отрапортовал:

— Бегут сырые силы, Викентий Михайлович, недавнего набора. Лишние машины не только восполнят недовыработку, но и превысят норму.

— А завтра, Шепель? Через день, через два паника может охватить всю массу ваших рабочих, и вы останетесь как рак на мели.

— Я буду сам работать вместе с десятниками и бригадирами.

— Вы говорите глупости, Шепель.

— Управление главинжа и профорганизации не допустят оголения фронта работ. Я своих рабочих знаю и уверен в их устойчивости.

— Когда зараза распространяется вширь и вглубь, вы сами можете оказаться жертвой событий. Мне не нравится ваша самоуверенность.

— Викентий Михайлович! — Шепель гордо глядел прямо в глаза Балееву. — Я не привык бросать слов на ветер. Вы не можете упрекнуть меня в легкомыслии. Если на других объектах будет развал, у меня все будет крепко стоять на ногах. Основной кадр моих рабочих в достаточной степени воспитан механизмами. Тот, кто вжился в машину, не может оторваться от нее безнаказанно.

— Вы, Шепель, хорошо рассуждаете, но ваша философия неожиданно может крахнуть перед фактами. Самонадеянность крива на один глаз.

Балеев говорил строго, но в душе любовался Шепелем: такой человек не дрогнет перед опасностью.

Зорко следя за рабочими по погрузке камней, Балеев крикнул сварливо, со скрипом в горле:

— Вы вот, Шепель, мне зубы заговариваете, а посмотрите: рабочие у вас как пьяные. Видите — посиделки, закурочки...

Шепель даже не взглянул на сезонников.

— Только механизация, Викентий Михайлович, подчиняет своему ритму. Это сезонники.

Шепель точно сам был механизмом какого-то сложного двигателя. И Балееву стало не по себе около него: дотронься до его плеча, и рука ощутит твердость металла.

— Вы холостой, Василий Захарыч?

Шепель быстро повернул к нему лицо, в изумлении отвел руку с папиросой и растерянно улыбнулся. Видно было, что он в первое мгновение не понял Балеева и испугался.

— Я женат, и у меня девочка... ей пятнадцать лет.

— Ах, вот как! Я был уверен, что вы одинокий.

— У девочки туберкулез ног...

И голос у него вдруг стал мягким и грустным,

странно усталым. Балеев заметил, что крупные складки у него на щеках дрогнули.

«Удивительный человек. Он, кажется, сейчас заплачет. Кто бы мог подумать...»

— Ночи бывали у нас очень мучительны.

— Разрешите мне зайти к вам и посмотреть вашу девочку. Может быть, что-нибудь можно предпринять общими силами.

— Благодарю вас, Викентий Михайлович. Я буду бесконечно рад.

Как в сущности мало мы знаем людей! Этот холодный истукан совсем не то, что о нем думал Балеев. А может ли кто подумать, что у Викентия Михайловича, начальника объединенного строительства, есть слабость к зверькам? Его все считают жестоким человеком, и никто не поверит, что он одинок и нуждается в самой простой ласке. А жизнь проходит, и эти слабости зачем-то нужно скрывать, как тайну...

Где-то внизу, под скалой, ожесточенно били камнем по металлу.

Шепель опять стал прежним, подошел к краю обрыва и посмотрел вниз.

— Заело.

Балеев тоже подошел к обрыву и увидел, как бурильщик, весь банный от пота, оскалив зубы, изо всех сил колотил железом по стержню перфоратора. Балеев внезапно почувствовал острый укол в сердце и затрясся от гнева.

— Ну, что ты колотишь, чертова голова? Чего колотишь? Кто виноват в порче инструмента?

Шепель сбежал с обрыва, подошел с обычным спокойствием к рабочему и ловко рассчитанными движениями начал исследовать перфоратор. Бурильщик смущенно толкался около него и вытирал рукавом пот.

3

В прошлом году река, подпертая перемычками, неслась здесь густым, стремительным напором. Теперь она бурлит в левом протоке, несется по отвалам каменного

бута, в прорывах между бетонными бычками будущей плотины. Вершины этих бычков видны из глубины котлована, как боевые башни. Снизу они кажутся головокружительно высокими.

Балеев шагал по развороченному взрывами дну, по отшлифованным гранитам, по дюнам промытого песка. Из сумеречных пещер — пролетов между ряжами, отгороженными от реки бетонными шандорами, — журчала по камням вода. Эти ручьи играли на солнце, ветвились и вливались один в другой. И уже в самых глухих местах порожисто курлыкала маленькая речка в уступах скал, вливаясь в бурое озеро, засоренное щепками, чурбаками и досками. Низкими струнами пели электромоторы мощных насосов. Вода поднималась по членистым трубам на высоту перемычек и с ревом выбрасывалась в реку. Всюду громоздились кучи камней, щебня, горы песку, ветвились узенькие изогнутые параллели рельсов с вереницами ржавых вагонеток. Стояли площадки и думпкары, а в скалы упирались марионы.

По горбылям скал у задней перемычки, с трудом сохраняя равновесие, трое бурильщиков дрожали на перфораторах, которые с оглушительным дребезгом грызли гранит.

Несколько рабочих сидели на камнях, бездельно курили, жмурились от солнца и скалили зубы. Около них стоял маслянисто-потный кран, вытягивая над ними острую вершину треугольника. В кабинке, среди сложной путаницы зубчаток и рычагов, возился механик.

— Это еще что за канитель? — крикнул Балеев. — Почему вы бездельничаете?

Рабочие переглянулись. Один из них сделал грустное лицо и ткнул пальцем в машину.

— Порча у нее произошла. То ли засор, то ли запор...

На перемычке тоже стояли пузатые краны. Там, по настилам, ходили и хлопотали люди — рабочие, техники, десятники, просто прохожие, женщины с кошелками и толпы экскурсантов. Здесь каждый день очень много приезжих и зевак, которые засоряют все

участки строительства, толкаются среди рабочих и мешают всем на каждом шагу.

Викентий Михайлович чувствовал, что погружается в тишину, в пустынность. Котлован стал будто шире и глубже, скалы выпучивались террасами и свежими, еще не остывшими разрывами. Перфораторы почему-то замолкли, и Балееву стало не по себе: он здесь — один, маленький, беспомощный на дне этих громад. Даже люди, которые только что возились среди камней и утесов, вдруг исчезли — ушли они или спрятались в свалках пород и застывших машин?

Глубокое дыхание пустоты, болотного гниения, брошенной каменоломни давило первобытной жутью. Труд отступил перед гранитами, человек исчез, и машины, и краны, и деррики, и экскаваторы задохнулись и омертвели.

И Викентий Михайлович впервые испытал странную оторопь перед этими скалами. Потухший кратер, дикий горный цирк, пылающий солнечным жаром... И камни и скалы — в огне, и кажется, что потоки зеленой воды, сверкающей под ногами, кипят и удушливо обдают вонючим угаром.

За этот месяц в котловане не произошло почти никаких изменений в конфигурации. Бесчисленные взрывы как будто порхали по поверхностным слоям этих скал. Только кучи щебня и камней засоряют дно глубокой впадины. Граниты не поддаются усилиям человеческого труда. Бурильные станки обеззубели, оксиликвиты испаряются в бездействии. Балеев остановился, озираясь на глыбы утесов, на пустынную заброшенность котлована, и вдруг услышал, что в этой душной ямине его шаги стонут эхом. Вот он здесь один, а людей нет, и, надо признаться, ему немного страшно. Он — строитель, организатор — совсем ничтожен и покинут, а если бы сейчас он крикнул и заругался, — это было бы и смешно и глупо. Люди, которые бродят наверху и, опираясь на парапеты, бездельно смотрят вниз, засмеялись бы и уморительно замахали руками.

Ясно одно: работы парализованы, и отовсюду смотрит на него катастрофа. Она — неотвратима, и помешать ей сейчас нет никаких сил. Это уже — стихия, и

она — не в его власти. Еще никогда он не чувствовал себя таким беспомощным и ненужным. Перед ним встала какая-то страшная тень, и перед этой тенью замирает сердце. Крушение. Ужасный провал в его жизни.

А вдруг его власть над людьми и над всей системой этого созидания — самообман? А вдруг все эти тысячи людей, начиная от начальника работ, от прорабов до каменоломов, подчиняются законам, которые существуют помимо него, и сам он, не сознавая этого, — только ничтожно малая частица движения? Ему не на кого опереться. Его инженеры, его технологи-спецы — инертная сила: они приходят в движение только в процессах совершающихся работ, как колеса сложного механизма. Но в этот момент они сами в агонии. Что он может сделать сейчас, в этот миг торжества мертвой стихии? Он даже не может крикнуть, чтобы позвать своих командиров и приказать им оживить этот участок работы. Это уже выше его сил и власти. Его даже не видно здесь, среди скал, среди отвалов камней и щебня.

Что он может сказать веского и значительного в управлении, в техническом совете? Ему просто стыдно, — стыдно и больно по-настоящему, как обыкновенному покинутому человеку. У него даже нет сил поднять глаза на перемычки, где бродят люди. И в своей ущемленной гордости он почувствовал, что все-таки сейчас самый близкий ему человек, с которым он мог бы говорить откровенно, не стесняясь, это — Ватагин. В глубине души он знал, что этот парень рабочего облика не посмеется над ним, не прищурит глаз, не солжет ему, не будет скрыто злорадствовать, как некоторые благородные и воспитанные спецы.

Внезапно он увидел неподалеку, за выступом скалы, артель людей в прозодежде. Наверху, на ряжевом устое, бойко орудовал жесткий деррик. Такелажник дирижировал рукою и певуче покрикивал фальцетом.

Артель сезонников возилась над камнями вчерашних и утренних взрывов.

Экскаватор поднимал кубическую башку, уносил

ее куда-то в сторону, и только пар шипел где-то очень глубоко в яме.

Викентий Михайлович пошел сначала нерешительно, в раздумье, потом ускорил шаг, размахивая руками, с насмешливой дрожью в усах.

Он остановился в расселине между глыбами гранита и стал наблюдать. Собственно, работали две артели по четыре человека: одна — под дерриком, на подъеме крупных гранитов, а другая — у экскаватора и вагонеток по погрузке щебня. Среди каменной тишины котлована они с непонятным упрямством, бойко, без обычной оглядки, без ленивой прищурки уминали щебень и зеленую грязь, откатывали и подкатывали вагонетки. Молодой парень в кепке озорно заорал мужикам у деррика:

— Матвей, как же ты, душегуб, с такелажником поступаешь! Ведь в пот его вогнал — вконец зарезал.

Матвей не взглянул на парня, точно считал ниже своего достоинства отвечать на его балагурство.

Мужик с чахлой бороденкой не выдержал — сел на камень и изнуренно опустил голову. Плечи его поднимались и опускались от удушья, руки дрожали. Матвей взглянул на него искоса, остановился, подумал немножко. Он поднял лом, брошенный мужиком, и усмехнулся:

— Вот оно, сорока-барыня! Обет на себя наложил, порукой закрепился, а честь — себе под задницу.

Мужик промычал, не поднимая головы:

— Невтерпеж, Матвей Егоров... Одышка у меня, сердце зашлось... Не замай на-час!..

Матвей добродушно ударил ломом по камням.

— Честь, друг, дороже жизни... Бросил лом, отяжелел зад — значит, ты — в нетях. Вот как, сорока-барыня.

И он неторопливо пошел к кучке рабочих. Мужик поднял голову, одурело поглядел на опорки Матвея и вскочил с камня.

— А ты лом-то брось, Матвей Егоров... Зря уволок лом-то...

Матвей остановился и сказал с сердитым участием:

— Ну, ты... отсидись малость... Я за тебя поворочаю.

— Нет, Матвей Егоров... Отудобело чуток... болезнь-то бабья ведь...

Он взял лом из рук Матвея и пошел на место дряхлым шагом.

— Эх ты, Микита-мякина! Худой из тебя активист...

И Матвей, не оглядываясь, зашагал к экскаватору. Там весело покрикивал парень в кепке.

Эти рабочие точно не видели пустоты котлована, точно их мир ограничивался одним этим местом. Балееву казалось, что пройдет час, а может быть, несколько минут, и болотное молчание испугает этих людей. Они будут озираться и увидят, что они — одни, брошены всеми, и опрометью побегут один за другим по лестницам вверх на перемычки.

Парень в кепке победоносно осматривался по сторонам. И оттого, что везде камни и скалы лежали трупами, а люди исчезли, бросив инструменты и машины, — парень как будто ликовал и подплясывал на вагонетке. Он свистнул в пальцы, и свист откликнулся в разных местах котлована.

— Гляди-ка, браток, нигде ни званья, окромя падали... Вычистило под метлу. Ну и картина!.. Несомненно, мы здесь герои, Матвей. Разительный факт!.. При нашей ударной производительности труда мы единственно взяли правильную линию. Поле сражения мы держим в своих боевых руках. А с вечера на ночь привалят металлисты. Ни черта! Выдержим, Матвей! Несомненно. Вот сволочь паровоз-то. Ну, прыгай сюда, ты! блоха черномазая!

И он, надувая щеки, опять с наслаждением пронзительно свистнул.

— Только пшикает, подлец, паровая чахотка...

Он замахал рукою. Лицо его было озорное, и глаза играли смехом, точно эта тишина и заглохший звон были для него забавны.

Викентий Михайлович, улыбаясь, повернул назад и зашагал по камням, прыгая через ручьи и грязные лужи.

IV. РЕКА

1

В парткоме был горячий день. На экстренном заседании бюро решено было переключить всю партийную работу на плотину, на самый ответственный и опасный участок, — на котлован и бетон. К скальным прикреплен заворг Гудим, бывший политрук. К шлюзу — тщедушный завкультпроп Цезарь. На бетон — секретарь комсомола Васяй. Осокину поручена мобилизация масс на ударные участки. Паше Погадаевой — мобилизация женщин, домашних хозяек. Потом ездили по объектам подготовить работу на местах. Когда возвращались в поселок, неожиданно заплескались на холме знамена, и рабочие всех возрастов — выходники, женщины и девчата — собрались у здания управления и с песнями, организованно, пошли по шоссе, по склону взгорья к парткому. И когда демонстранты проходили по улице, сразу стало тревожно, песенно и многолюдно. А от красного знамени и старых транспарантов улица стала крылатой и нарядной.

Мирон освободился только часов в шесть, тоже возбужденный и тревожный от усталости. Он не ел весь день, но голода не чувствовал. Перед обедом забежал домой, захватил полотенце и пошел купаться. Его догнала Феня и на бегу подхватила под руку.

Позади поселок осыпался в лощину красными и зелеными крышами. Домов не было видно — одни крыши в густой зелени. Прямо проваливалась другая лощина, щербатая от каменной осыпи и осевших на землю гладко обтесанных валунов. А там, за лощиной, обрывалась бурая острореберная скала. Река дымилась и горела зеркальным разливом.

Направо вздымались высокие башни бычков на том и на этом берегу. Посредине пластались перемычки в песчаных и фашинных отмелях, в зубастой броне стальных шпунтов, в высоких взлетах стрел. Как сложный чертеж, прилипала к пескам берегов коричневая штриховка плотов. Между плотами того и этого берега

кипела жирными водоворотами река в раздольной стремительности половодья. Там, у перемычек, она медленно и тяжело поворачивала к скалам левого берега, к аркадам бычков, и напирала на ряжевые устои моста, а оттуда глухо, необъятно дышали водопады. У того берега отдыхал перед плотами сизый рефулер с членистым, круто загнутым хвостом скорпиона. В отвалах камней и щебня, в зеленых и красных утесах той стороны бежал паровозик с думпкарами, а над ним, на аркаде причальной стенки шлюзов, стоял черным пучком пузатенький кран с тонкой стрелой. Не слышно, не заметно было живого труда, точно он растворился в земле и скрылся под камнями. Может быть, он заглушен гулом водопада, может быть, и последние толпы людей бросили свои участки и ушли по баракам. Так чудилось Мирону, когда он смотрел на горные взлеты берегов, на этот строительный ландшафт с неподвижными стрелами кранов.

На бугристой песчаной полосе длинными дощатыми экранами золотились две купальни: одна — мужская, другая — женская. Эти купальни были сбиты на скорую руку — без боковых щитов.

В мужской купальне — осыпи горячего песку. Он — белый, в искрах, мелкий и ласковый... Так и хотелось, не раздеваясь, броситься в него, пересыпать с руки на руку и зарыться в неисчерпаемую россыпь.

Здесь был завотделом экономики труда Шалнин, длинный, костлявый, с выщелкнутыми ребрами и ключицами, с отчетливыми мослаками суставов. Он весь был прокален до кофейного глянца, и гнедая щетина на его голове казалась чужой и грязной, как шутовской парик.

Тут же валялся рядом с ним десятник по строительным работам Величко.

Был тут и геолог Борзяй, старик с очень добрым лицом и печальными глазами. Рядом с ним сидел белотелый, с загарным треугольником на волосатой груди, инженер Кряжич и близоруко смотрел в песок, и на руки, и на Борзяя, и как-то пугливо и тревожно — на небо и на людей.

Величко лежал вверх животом и лениво подгребал горячий песок к бокам, с боков — на живот и на ляжки, и руки его дрожали от наслаждения.

На длинной лавке их одежда лежала рядом, и Мирон сразу узнал, что опрятно и заботливо сложенные брюки и белье — это Шалнина, брошенные кое-как — Величко.

Одежда Борзяя свешивалась со скамьи, и в ней было что-то опечаленное.

Недалеко, налево, вверх по течению, ворошилась в песке и сидела на огромных валунах толпа голых тел и жарилась на солнце, а в воде полоскались, брызгались и, захлебываясь, орали мальчишки и парни.

Борзяй и Кряжич лежали рядом и беседовали тихо, разомлевшие от горячего песка и солнца. Слова их не долетали до Мирона.

— Нервы у вас, голубчик Николай Николаевич, — кротко говорил Борзяй.

Руки Кряжича быстро зарылись в песок.

— Нет, как хотите, Петр Иванович, но тут одними нервами не отделаешься. Вы вот спокойны и философски уравновешенны. Но, простите, дорогой, я не верю вашему спокойствию.

— Почему же? Геология — наука весьма спокойная и мудрая. Она обостряет внутреннее зрение и утверждает чувство свободы. Ведь все зависит от одного: как вы решаете проблему протяженности, ибо это — основная проблема жизни. Вас раздавила ничтожная секунда... поденка, которая пожирает слона!.. тогда как человеку следует видеть во времени чудесного вестника бесконечности. А ведь секунда — это самая зловещая бацилла для мозга. Вон, смотрите: этот жирный боров и не подозревает, что он обсыпает себя пылью эоцена...

— Вы все шутите, Петр Иванович...

Борзяй улыбнулся и погладил коленку Кряжича.

— Эгоцентрист вы, Николай Николаевич, а эгоцентрист весь мир сводит к одной точке — к ничтожной секунде, которая есть только удар сердечной мышцы..

Кряжич весело засмеялся и опять завозился в песке.

— Вы не женаты, Петр Иванович?

— Секунда — это мой враг, Николай Николаевич.

— Не пойму я вас, Петр Иванович, что вы такое: не то пантеист, не то стоик, не то буддист.

— Нет, зачем же: я просто геолог, который познал, что жизнь земли не имеет пределов, а посему в ней нет никаких тупиков. Все совершается по законам непрерывного движения и изменчивости. Страшное и жуткое — только в моем первобытном сердце, свойство которого сводить весь мир к собственным болям. Скверный орган — маленький, трепетный мешочек крови.

Кряжич раздраженно хватал песок и бросал его в ноги.

— Мы дожили до такого состояния, Петр Иванович, когда интеллигенция теряет свой образ и свой язык. Она становится вымершей фацией. У нас нет своего «я». Нас истребляют как общественную формацию.

— Неужели? Вот странно, Николай Николаевич! А я до сих пор этого не замечал, представьте...

Борзяй пристально вглядывался в голое тело Мирона и улыбался.

— А вы полюбуйтесь-ка на Ватагина. Здоровый человек, красивый, хорошее тело. Я думаю, что он далек от тех мыслей, которые вас сейчас, голубчик, обуревают.

— Ну, еще бы... — Кряжич икнул от злого смеха.— Он имеет право не утруждать себя такими инфернальными мыслями. Он мой хозяин, который во всякое время может наступить мне на горло.

— Да что вы! Вот уж в голову не приходило... А по-моему, он парень простой и совсем не кровожадный.

— А спросите-ка у него, сколько он вот этими своими руками уничтожил человеческих жизней?

— Не поверю, друг мой. Убийство, совершенное по капризу собственной воли, отражается в глазах.

Борзяй, весь покрытый песком, как чешуей, поднялся и пошел к реке.

Кряжич с насмешливым удивлением посмотрел на его спину, щелкнул портсигаром и, уминая папиросу, проследил, как Борзяй робко входил в воду.

2

Мирон, голый, волосатый, гладил себя по бокам, по бедрам, обжигаясь солнцем. Он оглядывал свое тело, ноги, руки, живот, будто конфузился своей наготы. На груди, у ключицы, бледнел рваный рубец, на боку — другой, на ноге, на мускулистой ляжке, с внутренней стороны, — красный шрам.

Костлявое тело Шалнина, высохшее и дохлое, раздражало его. Лежит здесь эта мумия мертво, бездушно, и не трогает ее ни солнце, ни берег, играющий смехом детворы и женщин, ни огромный разлив реки в беззвучной тяжести густого течения. Раздражал его и Величко своим жиром.

Величко лежал в песке, нежился и блаженствовал, и лицо его улыбалось благодушно, по-детски невинно.

Мирон поплыл наперерез течению, навстречу водоворотам. Его относило назад и хлестало по ногам, било по ребрам. Он изо всех сил работал руками и выбрасывался из воды до бедер.

Величко крякал и подвывал у берега:

— Ну, и вода ж! Всем водам — вода... Нежная вода, бодай ее мак!..

И Мирону казалось, что он плывет в воздушном просторе, борется с облаками и ветром, а небо и затуманенный свет плещут ему навстречу. Он на мгновение увидел скалы в обломках и нагромождениях камней, далекие холмы, мерцающие обрывами.

Он не заметил, сколько времени плыл, но берег уже манил его своей близостью. Ему почудилось, что навстречу ему уже веял запах влажного песка и ила.

Вдруг его отбросило в сторону взрывом водоворота. Вода забурлила и запела. Она зашалила с ним, хватала за ноги, за руки, хлестала в лицо.

Внезапно он увидел, что она живая, непонятная, хищная и глазастая и глаза у нее зернистые, опаловые, как у стрекозы. Она смотрит на него отовсюду, вся в чешуе и судорогах. Инстинктивно он оглянулся назад. Купальни мерцали уже далеко позади. Вправо реяли и разбухали бетонные громады бычков, и вода там поднималась горою. Если попасть в ураганный на-

пор реки у ряжевого моста, Мирон будет растерзан. А когда будет выброшен в пролеты бычков — его кости будут искрошены в щепки.

Кто-то голый махал ему рукой, и откуда-то издалека кричал женский голос. Но ему чудилось, что это поет где-то девушка... нет, это рокочут и звенят водовороты. Они оплетают его и затягивают вглубь.

И впервые изнурительно прошла через сердце тошная волна. Тело почувствовало страх — животный, одуряющий страх. Он торопливо поплыл обратно к своему берегу. Руки его стали тяжелыми, а тело грузным и неповоротливым. Был момент, когда он захлебнулся, — его неудержимо потащило вниз и стало крутить, как веревку. Он очнулся и вдруг услышал крики Фени, и крики ее пели далеко и близко.

Казалось, что река течет куда-то в глубину, больно бьет в грудь, в ноги и хлещет по спине потоками водопада. Но она была спокойна, неподвижна, молчалива, как озеро, и пахла болотцем и рыбой. А безнадежно плыл песчаный берег, густая зелень лозняка в гранитах, белые и кирпичные стены домов на склонах гор.

На мгновение он увидел, как быстро и молча неслось ему навстречу вместе с берегом черное поле плотов. Мозг сразу как-то оглох и ослеп, и Мирон потерял ощущение времени.

Потом он увидел, как по сырой полоске прибрежного песка бежала голая худенькая женщина. Она махала ему рукой и что-то кричала. И еще заметил, что мокрая полоска песка между настоящей женщиной и другой, бегущей вверх ногами, несется сизой поземкой.

И опять черной, пугающей пашней плавно навалились на глаза плоты. И опять он внезапно пришел в сознание, точно проснулся, мгновенно поймал себя чужим, совсем не Мироном, и удивился: он жадно рвался к какой-то цели, и цель эта была близко — на несколько взмахов рук. Вдруг рядом с собой он увидел зыбкую подкову маленькой волны. В лихорадочной надежде Мирон рванулся к камню. Плоты уже были близко: бревна срастались стволами и торчали

комлями против течения. Если камень промчится мимо, если даже соскользнет рука с его глянцевитого лба, тело напорется на эти чудовищные зубы бревен. Он напрягался с неиспытанной силой, надрывался, боролся с течением, задыхался, нечаянно захлебнулся и опять на мгновение потерял сознание. И как только спазмы в горле прекратились, увидел, что камень очень тихо проплыл мимо него, совсем рядом. Рука раза два скользнула по его налимьему боку. Водоворот снова потащил его в клокочущую воронку.

И опять он увидел голую тощенькую женщину.

Она бежала по бревнам плота, легко подпрыгивала, изгибаясь и взмахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Он услышал ее взвизгивающий, даже будто веселый крик, но не понял, что она кричала. Он только искал, за что бы ухватиться, затормозить себя, чтобы не нырнуть в водяную ночь, под бревна. Крик рвался из широко разинутого рта хриплыми стонами.

Ну да, — это Феня. Она бежит к нему на помощь, такая маленькая и жалкая. Плоты поплыли мимо него, и его медленно понесло к берегу. Он инстинктивно потянулся к бревну и схватился за тонкую слегу, которая торчала над водой. Сильная струя потянула вглубь. Слега съехала в сторону и больно прищемила пальцы. Феня упала на колени и протянула ему руку.

— Ну, скорее же!.. Бери же!.. Хватай!..

Он вцепился в ее руку, ноги его швырнуло под бревна, и Феня упала на колени, ища опоры другой рукой. Плот заволновался, и между бревнами захлюпала вода. Мирон успел ухватиться опять за слегу и, не выпуская руки Фени, стал дико озираться по сторонам.

3

Они опять шли вместе, и Феня никак не могла приспособиться к его шагам. Мирон немножко нервничал, улыбался про себя и гладил ладонью голову.

«Чего он конфузится?» — в изумлении думала Феня, и ей было смешно — смешно и радостно. До сих пор она никак не могла вообразить, как это Мирон мог

конфузиться перед ней, стыдливо теряться от чепухи — оттого, что он вдруг очутился перед ней голым. Но ведь и она тоже голая хлопотала около него и, право, не испытывала никакого стыда. Кажется, на всю жизнь запомнила его лицо — синее, с ужасом в глазах.

— Ну, и свалял же дурака! — сердито засмеялся он и почему-то отмахнулся.

Ей неудержимо хотелось шалить: очень уж играла радость в сердце. Вон мальчишка пытается пройтись на руках по песку, и никак ему это не удается — тело у него пружинное, горит медью.

— Понимаешь, Феня... как-то все смешалось в голове... Помню только, как ты сказала: иди одевайся! Тут я и дал стрекача.

Он лгал, чтобы не смутить ее: он очень больно ощущал ее наивную наготу. Это была девочка, странно вспыхивающая в контурах телесно-горячими отблесками, с очень гибкими очертаниями и округлостями. Она и в тот миг смотрела на него открыто, с изумлением матери, пережившей смертельный страх. Она ласкала его, гладила рукой по мокрому телу и говорила очень нежно и торопливо, точно боялась, что он сейчас заплачет:

— Ну, вот... ну, и выполз... Эх ты, детина!..

И Мирон впервые в жизни пережил тогда бурное счастье: он еще никогда не видел, чтобы бревно плавилось золотом, а холмы волновались цветущей сиренью, и небо никогда не было таким синим и близким: кажется, взмахни рукою — и достанешь его, и рука погрузится в эту густую, пышную синеву. Он увидел мужиков на берегу, лошадей в постромках, большие штабели бревен. Мужики указывали ему на Феню, скалили зубы и кричали что-то непонятное.

— Как же это так, а? Что же случилось?

И он замирал от ужаса, ведь он мог погибнуть... уже погибал... и все это — и он сам и Феня — уже исчезло бы навсегда... Но он живет! И эта земля, и это небо, и эти прекрасные люди — все это горит на солнце, все это — он, и все это чудесно и полно огромного смысла.

Вдруг он увидел Фенину наготу и почувствовал, что сам — голый. Он пустился в бегство. Очень четко запомнилось: Величко добродушно щурился и кричал:

— Вот, бодай тебя мак!.. А я думаю, иде его понесла нелегкая... Ну, счастлив твой бог... И ангелы, бывает, несут свою службу, но отнюдь не по тарифной сетке... на манер этой голой барышни, бодай ее мак...

А Борзяй с особой значительностью и печалью в глазах пожал ему руку.

— Ну, я очень рад... бесконечно рад... Вы будете долго жить... хорошая примета.

Кряжич издали приветствовал его растопыренными пальцами.

И вот теперь он шел с Феней, и ему казалось, что он уже никогда не забудет ни ее, ни своей перед ней наготы: и ее платьишко и свои тряпки будут слетать при встречах, как пыль. Он навсегда связал себя с ней какими-то неустранимыми нитями: он вечно будет у нее в плену, где бы она ни была и куда бы он ни скрылся от нее.

Она лукаво вглядывалась в него.

— Знаешь, ты мне вдруг стал страшно близким... Именно вот сейчас. Точно я узнала тебя всего... Как-то сразу...

Мирон вдруг увидел себя со стороны и удивился: старого Мирона унесла река — он, прежний, утонул, а вот этот Мирон — новый, почти ребенок, который и в простом камне видит чудо и радуется ему.

От белой блузки подбородок и затемненная щека Фени дымились лиловым сиянием, и от этого лицо ее было спелым, как виноград.

Где и когда она так же вот солнечно вспыхнула перед ним льняными кудрями?

Они поднялись по песчаной тропинке, желтой и бархатной, в густой заросли седого полынка, и пошли по дорожке, твердо утоптанной и виляющей между валунами.

— Смотри, Мирон, какая причудливая нелепость! Ветряк. Одного крыла нет, а остальные — как старые лестницы.

Действительно, Мирон тоже будто впервые увидел

этот ветряк среди лесов и новых зданий. Зачем он здесь стоит? Почему он не разрушен?

— Этот ветряк напоминает мне того старика, нашего соседа, у которого мы пьем молоко. Такой же упрямый и нелепый в своей ненужности. Не желает признавать и видеть сокрушительной действительности: она уже раздавила его. И дом не его, и семья развалилась, и река скоро затопит его двор, а он убежден, что время и события — это иллюзия.

— Это, вероятно, потому, Феня, что люди живут настоящим, а прошлое распыляется в памяти. Это то же самое, что произошло сейчас со мною: так же многое потонуло в водоворотах этих двенадцати лет. Вот, например, где я видел тебя раньше?

Феня как будто встревожилась и немного даже отодвинулась от него.

— Откуда же я могу помнить тебя, Мирон? Твое прошлое могло совпасть только с моим детством.

Впереди, на взгорке, у свалки гранитов, стоял одинокий дубок в кудрявой папахе кованых листьев. Наполовину он горел солнцем, а наполовину чернел, как опаленный. На траве пласталась тень в огненных горошинках. Дорожка вползла под дубок и потухла — стала пепельно-фиолетовой. У ствола лежал огромный валун. Тут было прохладно и тихо. Звенели бронзовые мухи. По выжженной траве, над полынками и лиловой медуницей, трепетала желтая бабочка. Вдали, внизу, блистала река, а ближе, из-за косогора, высовывались в разных наклонениях и пересечениях стрелы кранов. Трехкрылый ветряк провалился в балку, а потом неожиданно показались два крыла, вскинутые кверху.

Сели на валун под деревом, помолчали, точно впервые увидели всю картину строительства в новых, невиданных раньше красках и сочетаниях линий, планов и пейзажей.

На той стороне ущелья, на крутом взлете холма, засыпанного камнями, опираясь друг на друга, карабкалась вверх толпа белостенных домиков. Они горели с запада и стреляли в глаза нестерпимым сверканием стекол. Выше них громоздился сарайный корпус рабо-

чего клуба, еще выше, на плоскогорье, голубело здание летнего театра, похожего на огромный аэроплан. Очень далеко, за крышами поселка, в воздушной перспективе, с утеса на утес широким размахом перелетала голубая дуга железнодорожного моста, а под ним опять зеркально струилась река. За мостом, в высоких каменных берегах, она разливалась широким плесом и была похожа на голубое озеро, и в нем четко отражались опрокинутые избы, которых не было видно за мостом, на горе.

— Как хорошо жить, Мирон! Мне кажется, что я никогда не умру.

— Да. Мы строим бурно, но не замечаем, как изменяется наша земля.

Глаза Фени стали прозрачными.

— Мне нравится определение героя у Плеханова. Он говорит, что герой — это тот человек, поступки которого на пользу обществу — инстинктивная его потребность, которая часто нарушает его личные интересы, подчас угрожая гибелью. Вчера Кольча сказал: «Черт его знает, как обернется... Строительство — ведь это война. Здесь люди не только родятся, но и гибнут. Но я буду только жить и бороться».

Мирон ласково погладил ее руку.

— Ты — душевная девочка, Феня.

Она засмеялась.

— Значит, не напрасно пробирает меня Татьяна...

— Ну, твоя Татьяна, кажется, не в меру фальшива.

— Полегче, Мирон Васильевич. Жизнь беспризорницы научила ее многому.

— У меня тоже... сынишка исчез... давно уж...

— Что за нелепость!.. Как же ты мог допустить?

Она подняла голову и понюхала ветерок. Юбочка прилипала к ногам и животу. Феня вскочила с валуна, перебежала дорожку и упала в седой полынок. Она оперлась на руку, сорвала былинку и защекотала ею свое лицо.

И в тот миг, как она села на траву и мимолетно взглянула на него из-под бровей, — будто молния обожгла и ослепила Мирона. Внезапно он увидел перед собой ту девочку, которая вот так же, как сейчас, си-

дела в пыли солнечной дороги рядом с трупом отца. Она! Несомненно, она! Вот почему Феня тревожила его при каждой встрече, и он мучился от бессилия вспомнить какой-то забытый образ из далеких дней. В этой позе она так же жалка и прозрачна, как тогда. И волосы так же распатланы и дымятся на солнце.

Ему стало легко, и по телу разлилась спокойная свежесть.

— Вспомнил наконец...

Она пристально смотрела на него и ждала.

Он только немного опален временем, и эти волны времени сделали его холоднее и строже. В нем уже нет той непосредственности, которая бросала его часто во власть порывов и горячей несдержанности в поступках. Эти порывы он уже привык подавлять, «вгонять в нутро»: размеренная деловая работа на партийном посту день ото дня обуздывала его темперамент. И в фигуре и в походке появилась твердость, упрямая настойчивость. Только в минуты раздражения, когда бывали столкновения на заседаниях или в личных спорах, он весь подбирался, плотнел, пристально смотрел в упор, в самые зрачки человека, и прислушивался — не к его словам, а к самому человеку, будто изучал его, щупал слабые места, чтобы мгновенно и незаметно раздавить его.

Кудрявые вороха листьев над головой были тверды, точно вырезаны из железа, — стоит дунуть ветру, и они зазвенят. Внутри этого зеленого вихря застыли солнечные капли. Эти капли стряхивались и на землю и на руки Мирона.

V. КАЖДЫЙ БОЛЕЕТ ПО-СВОЕМУ

1

На берегу, на высокой гранитной скале, между бетонными башнями бычков и подпорной стеной электростанции, в сизых опалубках белела стенами длинная казарма — контора инженера Кряжича, начальника

гидротехнических работ. Каждый день с раннего утра здесь была торопливая суета: заботливо сновали люди из дверей в двери (десятники, прорабы, техники, рабочие), толкались по коридору, торопливо носились с бумажками, с ведомостями, с отчетами по различным объектам, волновались, обливались потом, ругались, выходили из кабинета Кряжича с растерянными улыбками.

Около выходных дверей была дежурная комната партийного комитета. Здесь на стенах синели огромные листы генерального плана и разных размеров детальные и рабочие чертежи. На них разноцветными бумажками отмечалось наступательное движение ударных бригад, чтобы можно было наглядно маневрировать боевыми силами в процессе работы — производить переброски на более слабые участки.

Только что окончилось длительное заседание. Заворг Гудим приводил в порядок бумаги. На ночь он оставался дежурить, чтобы руководить работой партийцев на участках. Плотина объявлена была самым ударным объектом на всем строительстве. За другим столом сидела Паша Погадаева, в очках, с гладко причесанными волосами, немножко рябая. Когда она поднимала задумчивое лицо от тетрадки, в которой что-то торопливо записывала, хорошие глаза ее сквозь стекла очков смотрели тепло, ясно, с лукавой усмешкой. Гудим в гимнастерке, галифе и сапогах, стриженный под машинку, был сухощав и бледен. Подтянутый, чистоплотный, с военной выправкой, он постоянно был погружен в работу, и никто не видел его праздным ни в парткоме, ни в этой комнате. Это был человек молчаливый, уравновешенный, невозмутимый. Его аккуратность и пунктуальность вошли в поговорку. За работой он как будто не замечал товарищей и мог долго сидеть, не проронив ни слова, если к нему не обращались. Но людей приходило много со всех участков, поминутно звонил телефон, и Гудим говорил коротко, четко, по-военному категорично и имел дело только с одним человеком. Когда нетерпеливо врывались в разговор другие, он строго поднимал руку и обрывал их на полуслове.

Он убрал бумаги со стола и положил в шкаф, потом вынул сводки, выписал на бумажку цифры, прошел с карандашиком к стене, где пришпилена была миллиметровка, и нанес кривую движения ударных бригад на плотине, на шлюзе и в котловане.

Паша следила за ним и улыбалась.

— О чем ты думаешь, Гудим? Какие у тебя мечты?

Он долго не отвечал, потом, не отрываясь от листа, бесстрастно сказал:

— Я думаю о том, сколько ты погонишь баб в котлован.

Паша сердито сверкнула очками.

— Во-первых, что это за «бабы»? А во-вторых, что это за скотское слово — «погонишь»? Почему не сказал: «сколько голов баб»? Было бы совсем здорово!

Сварливый выкрик Паши не произвел на него никакого действия.

— Мы должны вести строгий учет движения рабочей силы и правильного ее распределения. Понятно?

— Нисколько не понятно.

Он обернулся в недоумении.

— Что значит — непонятно?

Паша засмеялась:

— Что ты за человек?

— Я не понимаю твоего вопроса, Погадаева.

— Ты женат?

— Был. Разошелся.

— Жена ушла или ты?

— Жена.

— Ну, больше не женишься — знаю.

— Да. С женщиной не сойдусь. В одной комнате — нет.

— Какой же ты дурашман!..

Паша слушала его с веселым любопытством.

— Детей-то не было?

— Был один, да умер, когда я был в армии.

— Ну, а теперь? Не прочь бы, поди, иметь ребятенка-то?

— Особой нужды нет.

— Ой, Гудим... я не могу... честное слово...

Паша засмеялась.

— Что же тут смешного?

Паша вздохнула.

— А я очень хочу детей. Но мужа, пожалуй, не хочу. Не ужилась бы. Кажется, полжизни отдала бы за ребенка.

— Это делается просто. Жизнь тут ни при чем.

Паша покраснела.

— Это не просто, Гудим. Без мужчины дети не рождаются.

Паша положила тетрадку в портфель, надела шляпу, подошла к Гудиму и с ласковой насмешкой поглядела ему в глаза.

— Ну, я пошла...

Гудим с натугой улыбнулся.

— Ты заглянула бы сюда попозже: народ нахлынет. Распорядилась бы насчет женщин... К ним ведь нужен особый подход.

Гудим как будто впервые открыл в Паше что-то новое и оглядывал ее с разочарованным удивлением.

— Какой ты странный, Гудим!

Паша смутилась и покраснела.

— У нас сейчас одна поэзия, Паша, — агитация за шестьсот тысяч кубометров бетона и полмиллиона скалы... Не забудь помечтать об этом с женщинами.

— Ах, Гудим, Гудим!..

И Паша пошла к двери. Гудим вышел с ней даже на площадку.

2

На перемычке толпилось много вагонов, с грохотом проносились поезда с бетоном, с думпкарами — пустыми и груженными щебнем, песком и камнем. Отсюда думпкары мчались на бетонно-камнедробильные заводы. Заботливо сновали люди — десятники, электромонтеры, техники, рабочие. Огромный деревянный щит опалубки плавно реял на тросе крана и медленно двигался в сторону бычков. Там сооружалась новая опалубка для бетонировки. Вдали, в огненном сиянии,

спускались с высоты в бездну и вылетали из бездны голубые бадьи.

Мирон остановился у парапета и, опираясь на деревянные поручни, смотрел вниз. Сверкала ручьями и потоками вода на дне котлована, и озеро спокойно отражало огни и сложную путаницу нагромождений на перемычках. Где-то рядом, на настилах, пронзительно шипел сжатый воздух в вентиле трубопровода. Вот здесь, на дне, должны работать Прокоп и Матвей со своими мужиками. Среди сутолочных толп они затерялись, а может быть, перешли на другое место, на новую работу.

Пронесся поезд с бетоном, и кто-то крикнул вдогонку:

— Зарабо-отали, мать честная!..

— Пролетарий не выдаст... одно слово — молотобойцы...

Прошли сзади несколько человек. Скрипели доски под их сапогами.

— Встречный план на шестьсот тысяч... Упущено время... суматохой не возьмешь...

— Слышали? Партком-то перекочевал на плотину...

— Мировые рекорды... а консультанты хохочут...

— Мы им покажем, этим консультантам...

«Техперсонал, — отметил Мирон и посмотрел на черные силуэты в пыльном свете электричества. — Беспокоятся. Им и книги в руки насчет расчетов и показателей. И тут энтузиасты и маловеры. Кажется, молодежь...»

Показалось, что среди них толкается парень, высокий, сухопарый, у которого дергается голова от одного плеча к другому. Мирон побежал вслед за группой техников. Но парня с дрыгающей головой уже больше не заметил.

Вдали, под ослепительным накалом лампы, отчетливо вырезывалась фигура красноармейца с винтовкой в руках — военная охрана. Из-за вагонов на него нахлынула толпа женщин. Слышно было, как дружно они закричали и засмеялись. Красноармеец повозился с ними строго, как подобает стражу, и отшагнул на свое место. Женщины затолкались около него, сгруди-

лись у парапета и стали смотреть вниз. Постояли немного, оторвались одна за другой и быстро стали спускаться по трапу.

Внизу, в лунном свете прожекторов и ослепительных электрических звезд, хлопотливо суматошились толпы людей. Но Мирон видел, что все эти толпы были разбиты на множество групп и каждая группа выполняла свое дело.

Мимо быстро прошел Кряжич. Он взглянул в пропасть котлована и остановился. Вцепившись в поручни парапета, молча смотрел вниз, будто пораженный картиной массового труда. Потом быстро оглянулся и на мгновение столкнулся глазами с Мироном.

Ватагин вспомнил, что Кряжич тогда, на пляже, приветствовал его растопыренными пальцами неискренно, насилуя себя.

— Здравствуйте, товарищ Кряжич.

— Ага! Живете? Неловко тогда у вас вышло. А Отдушина-то какова!

— Вы довольны ею как прорабом?

— Я впервые работаю с женщинами. Из нее выйдет толк. Она не только знает график работ, она приходит на дежурство задолго до смены... все уголки облазит — все пронюхает, обследует, учтет всякую мелочь. При ней я всегда спокоен. Какую уйму нагнали вы людей! Работают с настроением. Любопытно.

— Это рабочие механических мастерских, шефы бычков и котлована. Решили, что за этот трудный участок они обязаны отвечать в первую голову.

— Почему же непременно обязаны?

— Не только за этот участок. За всю стройку, товарищ Кряжич.

— Почему — обязаны, и почему они? Им нужно научиться прежде всего отвечать за себя.

— Да. Они умеют отвечать за себя и за других.

— Не вижу этого. Они не умеют работать.

— Они умеют бороться, товарищ Кряжич.

Кряжич быстро сунул руки в карманы и с подчеркнутым вниманием устремился к Мирону.

— Любопытно...

— Точно это для вас новость, Николай Николаевич!.. Уметь бороться и уметь трудиться — это ведь неразрывно. А отсюда — рост личности... Человеческое достоинство поднялось теперь на небывалую высоту...

— Человеческое достоинство!.. — усмехнулся Кряжич и почему-то снял панаму, но сразу же опять бросил ее на голову. — Надоели эти газетные рацеи...

Мирон улыбнулся. Откуда у этого человека, хорошего работника, такая бестолковая наивность?

Кряжич отвернулся, чтобы скрыть свое лицо.

— Скажите, Николай Николаевич, разве кто-нибудь оскорблял или принижал ваше достоинство? Ведь вы же сами хозяин своей судьбы...

— Так ли, Ватагин? А мне кажется, что я не только потерял свою тень, но и самого себя... Я не знаю, кто я... даже для себя я — таинственный незнакомец...

Как всегда, внезапно подошла Феня. Синяя рубашка и юбчонка были забрызганы цементом, а лицо покрыто грязным потом. На кудрях, сползая на затылок, искрилась тюбетейка. Феня как будто не заметила Мирона и с наскока налетела на Кряжича:

— Николай Николаевич, под ряжами образовался просос. Вода довольно значительная, свежая, без примесей.

— Чепуха.

— Я бы попросила вас удостовериться лично.

— А Вихляев?

— Вихляев не сделал никаких выводов.

— Чепуха. Шпунты — на грунте, отсыпка — надежна. Разве вы находите, что с этой стороны — неблагополучно?

— Наоборот... Перемычка превосходна.

— Так в чем же дело?

— Дело в том, что при всех обстоятельствах прососы всегда возможны. Тут может быть фильтрация за шпунтами.

— Пустяки. Вы всегда преувеличиваете, Отдушина.

— Но, Николай Николаевич, вспомните о кладке последних трех бычков. Мы так же были самоуверенны, а консистенция бетона оказалась ненадежной.

— Этих немцев, — обратился Кряжич к Мирону, — наших почтенных консультантов, я уже плотно припер к стене. Они, видите ли, находят, что к грануляции материалов мы недостаточно внимательны.

— Немцы здесь ни при чем, Николай Николаевич...

Кряжич пренебрежительно отвернулся. Феня даже не заметила этого и торопилась высказать свои мысли. Она говорила убежденно, звонко, без горячности, но чувствовалось, что она сильна здесь, что она вся растворена в этих бесчисленных процессах гидротехнических работ, что она живет ими, как своими личными радостями и огорчениями.

— Немцы здесь совсем ни при чем, Николай Николаевич. Вы должны быть справедливы к ним.

— Но они сдали свои позиции, хотя и упирались.

— Это ничего не значит. Консистенция бетона была несовершенна только по нашей вине. Завод работал безобразно. Вы помните, я тоже била тревогу по этому поводу, а вы так же, как сейчас, фыркали и размахивали руками.

Кряжич фальшиво засмеялся.

— Ну, вот-с... извольте... Какова? Тут никакой авторитет не удержится. Я в свое время не смел моргнуть в присутствии своего патрона.

— Это только лишняя иллюстрация к нашему разговору, Николай Николаевич... — засмеялся Мирон.

Кряжич быстро зашагал через рельсы.

— Подождите же, Николай Николаевич! — крикнула Феня. — Вы мне еще не сказали главного.

И вдруг обернулась к Мирону и торопливо бросила ему:

— У нас — технический разговор, Мирон. Тебе это неинтересно.

И скрылась за нагромождениями вагонов, кранов и свалок деревянных щитов для опалубок.

«Технический разговор... — усмехнулся он, провожая ее глазами. — Технический разговор... А разве мы, строители и руководы, не обязаны знать всех тонкостей

технических процессов? Вот тут-то нас и бьют всякого рода вредители и прохвосты».

Тюбетейка Фени уже исчезла, а Мирон еще ощущал Фенино дыхание. Ее убежденный голос еще звенел в ушах и играл радостью в сердце.

«Она расчетлива, мужественна... — подумал он с удивлением, — и не благоговеет перед этим павлином. Молодец!»

«Из нее будет толк...» — вспомнил он Кряжича. — Не будет, а есть. Ее уже не похлопаешь покровительственно по плечу — руки не донесешь, уважаемый».

И как-то не вязалась ее деловитость («у нас технический разговор») с ее наивностью. Она особняком стояла и от Татьяны. Кто она, эта Татьяна? Знает ли ее Феня? Конечно, не знает. И едва ли узнает. Не узнает ее и Мирон, потому что она слишком знает жизнь и людей, чтобы быть доступной. С Феней — хорошо: Феня — проще, роднее. Феня похожа на мальчишку.

Торопливо прошла мимо толпа женщин.

— Куда это вы несетесь, гражданочки?

— На свиданье... К дружкам...

Сердитый домашний голос огрызнулся:

— Блоки чистить... Куда еще? Нам, бабам, одна судьба: мой, чисти, убирай за вами, чертями...

— Пойдем с нами в блок, миленький... Как по-вашему, по политграмоте, можно с бабами играться?

И все захохотали визгливо, потом побежали.

3

Мирон пошел вдоль парапета, не отрывая лица от глубины кратера. Эти толпы людей, пестрые, без прозодежды, работают сейчас упорнее, горячее, чем толпы сезонников. Гулкое эхо голосов и грохота экскаваторов, поездов, дерриков, вагонеток, близкие, ослепляющие звезды огней и кометные хвосты прожекторов — все это опять бурлит жизнью, живой кровью и силой могучего напряжения. Вот он, организованный труд, согласованная воля рабочих масс! Их ум и инстинкт

не терпят молчания пустоты. Они здесь так же умело, по-хозяйски заботливо выполняют свое дело, как и в своих цехах.

Мирон спустился вниз по трапу. Толпы стали близки. Пронзительно вскрикивали паровозики, лязгали буферами вагоны. Где-то, очень высоко на перемычках, проносились поезда с бадьями бетона. Внезапно сверкало ослепляющее солнце прожектора. Быстрая порожистая речка пенилась в камнях, а вправо, в ямине, застойное озеро, засоренное щепками, чурбаками, рейками, казалось очень глубоким в отражениях. Около будки насоса чернела носатая лодка, привязанная к нижней площадке трапа. Тележка сандерсона стояла на расчищенных гранитах, и колесо весело играло на конце шатуна. Тяжелое долбило взлетало на тросе и бухало где-то в подземной глубине. Рабочие с ломами, с лопатами, группами и в одиночку возились среди камней около тросов, около вагонеток, около железных коробов... Женщины толкали вагонетки или группами копошились на щебне.

— Ватагин, шагай сюда — на укрепление ударного фронта.

Рабочий без рубашки, глянцевитый от пота, с мокрыми прядями волос на лбу, манил его рукой. Это литейщик Макуха, вечно недовольный, вечно занятый борьбой с неполадками и изобличающий людей в халатности и недоглядках.

— Ну, как у вас тут? Приспособились?

Некоторые рабочие приветственно вскинули руки и опять принялись за работу. Остальные не обернулись.

Макуха звякнул ломом.

— Верно, работа чертова — не то что в литейке. Все руки ссаднили. Технике безопасности надо инструктировать братву. Это — тоже квалификация. Каждое малое дело имеет свои приемы. То и плохо, что приходится самим доходить до теории дела. Где техники и десятники? Кот наплакал. Разве это хорошо? Тут только Вихляев вихляет — не гнушается черной работой, да эта наша девчоночка Отдушина. Вот тоже — лопатки. Зачем эти лопатки? Все у нас как-то не понастоящему. Разве лопатками здесь что сделаешь?

Бродил здесь Шагаев. Я ему претензию, и он мне тоже претензию. Почему плоха техника безопасности? А он: «Почему вы не делаете эту технику безопасности своим делом, почему ею не дышите?» Верно. Не болеем мы, подлые. Почему у нас нелады и прорывы? Потому что сердце не болит за каждый наш неверный шаг.

— Ты бригадир, Макуха?

— В том-то и вопрос. Вот и приходится проблему бригадира ставить кровным вопросом революции. Болеем мы душой мало — вот в чем горе...

Но по его возбужденному голосу и взволнованным словам нельзя было все-таки заключить, что ему больно.

Мирон шел по котловану, оглохший от гула работ. Деррики поднимали глыбы камней и железные коробы со щебнем, вереницы вагонеток ползали черепахами или, изгибаясь длинной многоножкой, бежали к аркадам ряжей. Озабоченный, пробежал мимо Вихляев, скосив голову набок, и не заметил его.

В котловане правого берега, у Шепеля, было спокойно: людей меньше, но все машины загружены полностью. Работа шла неторопливо и буднично. На марионе работал Константин. Он орудовал рычагами, грязный, с засученными рукавами, а рядом с ним стоял синеблузник и командовал, часто сплетая свои руки с руками Константина.

«Музыкант учится играть на новом инструменте».

Работал он с напряженной старательностью и любопытством ученика, взволнованно, побледневший от усилий, от борьбы с собой и с механизмом, который еще плохо подчинялся его рукам. Но в его крепко сбитой фигуре, в шерстистых руках билось лихорадочное упрямство.

Шепель стоял около сандерсона и внимательно изучал работу машины. Рабочий в прозодежде ласково трогал рукой трос. Двое других несмело переминались у машины и скучали в терпеливом ожидании. Шепель как будто не замечал их и, покуривая, целился в какую-то деталь, подходил, прислушивался, ловко и уверенно ощупывал отдельные части механизма. На

Мирона он взглянул с рассеянным равнодушием, дотронулся до кепки и ничего не сказал.

Он поманил пальцем рабочего у штанга и, забыв о нем, взял ключ и что-то подкрутил у двигателя. Рабочий стал около него и ждал приказаний. Но Шепель пристально и вдумчиво прислушивался, ощупывая детали. Обошел кругом машины, потрогал трос и одобрительно кивнул головой.

— Работает как будто хорошо, Степанов?

— Сейчас идет без робости, товарищ Шепель. Вчера была маленькая пужливость — нервничала. Сегодня с утра тоже раза два спотыкалась и беспокоилась, а сейчас как будто обошлась — дышит ровно.

Шепель указал Степанову на рабочих.

— Возьмешь к сандерсону этих двух парней. Они со скальной выемки, каменоломы. В течение трех дней максимум введешь их во всю механику этой машины. Скоро прибудут еще два сандерсона — нужны квалифицированные руки.

Степанов, с оттянутым носом и подбородком, строго оглядел каждого из парней.

— Погнались за квалификацией?

— Ты же сам, товарищ Степанов, из деревни. Сейчас там без установки — гроб.

Степанов холодно отвернулся от них и тоже прислушался к машине. Он подражал Шепелю в бесстрастии и замкнутости.

— Трех дней мало, Василий Захарыч. Я сам сколь время входил в ее существо. Ее надо обхаживать — кратковременно она не дается.

— Глупости. Под твою ответственность — три дня. Проверю. У нас везде новые люди. Сегодня сел на кран племянник Балеева — человек нежный, музыкант. И ничего — работает. Через два дня он будет хозяином машины.

Оба парня, не отрываясь, смотрели на бухающий сандерсон, на ритмически взмахивающий шатун с играющим колесом на конце, и немного волновались: на скулах — жарок, а глаза очарованно следили за вздрагивающим корпусом и за колокольно позванивающим колесом и рычагами. Мирон наблюдал и за

парнями и за Шепелем. А Шепель только слушал жизнь новой машины и старался понять особенность характера этого механизма, введенного в строй.

— На моем участке, товарищ Ватагин, выемка грунта упала только на пятнадцать процентов.

Шепель сказал это официальным тоном, неподвижный, как камень.

Степанов махнул рукою парням и повел их за собою к другой стороне механизма.

— Но ведь сезонники и у вас, Василий Захарыч, оголили фронт.

— Да, это — те, кто не связан с машиной. Вот эти двое уже не уйдут. Происходит отбор. Это самый верный способ создавать надежные кадры. А таких у меня много. Если человек почувствовал машину, в нем уже совершаются передвижки молекул, как, скажем, в стали от действия магнитных сил. Партия и профсоюз родились у машины — между ними функциональная зависимость: одна сила обусловливает другую.

— А вот Вихляев тоже у машины, но машинобоязнь — его болезнь.

— Вихляев всю жизнь провел с землекопами, товарищ Ватагин. Машина или съест его, или обработает заново. Чтобы излечить машинобоязнь, нужно ввести обязательную трудовую повинность по машиноведению.

Опять внезапно пробежала мимо Феня и не обратила на них никакого внимания.

Татьяна стояла около другого сандерсона с книжечкой в руках и следила за работой машины, за движениями людей сосредоточенно и углубленно.

Эта красивая девушка, высокая, с черными тонкими бровями, длинными ресницами, с первых же дней возбудила в Мироне странное чувство: она отталкивала и привлекала его. Он не мог освободиться от острой антипатии к ней. С ним она почему-то говорила неохотно, с вежливым пренебрежением, точно считала ниже своего достоинства иметь с ним дело. Отвечая на его вопросы, она тонко усмехалась и пристально осматривала его, медленно переводя свои прекрасные глаза с дрожащими ресницами с головы на грудь,

потом на одно, затем на другое плечо. И Мирону от этого было не по себе. Что-то обидное, унизительное чувствовал он в этом ее изучающем взгляде. А что особенно было неприятно — это его странная робость перед нею и сознание, что он не в силах отплатить ей тем же. И в эти же секунды он ощущал желание, чтобы она заинтересовалась им, дружески ему улыбнулась. Но привлекала она его своим лицом редкой красоты, от которого нельзя оторваться. Какая-то глубокая задумчивость темнела в ее глазах. В них была и твердость, и глубина, и знание особой правды, какой не знает он, Мирон. Казалось, что она никого не подпускает к себе близко и не желает, чтобы кто-нибудь коснулся ее души. И было непонятно, почему она так дружна с Феней и только с ней проводит часы своего отдыха.

Мирон подошел к ней и с обычным смущением пожал ей руку. Чтобы скрыть это смущение, он при встречах с нею принимал снисходительно-шутливый тон.

— Ну, что же, будущий профессор, как движется ваша диссертация?

Татьяна, не отрываясь от книжечки и отмечая в ней что-то карандашиком, холодно спросила:

— А вас с какой стороны интересует моя диссертация?

— Ну, как же... приятно... Наши девчата становятся мастерами науки...

— Может быть, вы хотите предложить мне консультацию? — тонко усмехнулась Татьяна и медленно оглядела его фигуру.

Мирон неловко ухмыльнулся и неприязненно подумал:

«Откуда у нее такая заносчивость? От трущоб? От беспризорнического аристократизма?.. Перед чем я теряюсь больше — перед ее выдержкой или перед красотой?..»

— Я интересуюсь вашей работой, товарищ Братцева, потому что она входит в общий круг наших работ. Если тема ее, как мне сообщила Феня, — новые методы социалистического труда, то разрешите и мне, неучу, вкусить немножко плода от древа познания...

Мирон сказал эти слова с шутливой легкостью, но раздражения скрыть не мог.

— Как вы пышно выражаетесь, товарищ Ватагин! Вы уж лучше по-своему — попроще... поискреннее... Разве у вас недостаточно силы и самоуважения, чтобы быть самим собой?

Она отошла от него к группе молодых людей — техников и стажеров — и заговорила с ними, постукивая карандашиком по открытой книжечке.

«Дурак! — выругал себя Мирон, страдая от стыда. — Чего это я, в самом деле, петуха изображаю? Рассуждаю о человеческом достоинстве, а сам глупо теряю свое лицо...»

4

Репей пришел домой ночью усталый, но бодрый. Он был старшим бригадиром по скальным работам, а все бригады на верхней и средней камерах состояли из кузнецов, слесарей и железнодорожников. Каждый час он сообщал по телефону в партком цифровые показатели по своему объекту, а по окончании работ сдал сводку лично Мирону. Ватагин внимательно просмотрел ведомость, сверил с показателями других участков, раза два взглянул на Репея и помял пальцами подбородок.

— Гут. Ну, а как у тебя, Репей, насчет там дискуссии?

— Как это?

— Это у тебя не входит в план выработки?

— Ну, вот тебе — здравствуйте. С чего бы я стал завинчивать, ежели линия взята правильно? Не без того, конечно, ежели десятник или прораб сбиваются с темпа... Приходится, конечно, приводить в православие.

— Так вот тебе на завтра задание, Репей: с пятнадцати шагнуть еще на ступеньку выше — до восемнадцати.

— Ну это, Ватагин, — из головы. Надо исходить из реальных данных. Надо лишний сандерсон, лишний кран, лишних людей...

Мирон с удивлением оглядел Репея и стал рыться в сводках работ. Потом положил перед собой два листа со столбиками цифр и крикнул в дверь дощатой перегородки, за которой бубнили молодые голоса:

— Ну-ка, Васяй, дай-ка сюда сводку Кольчи по котловану!

Васяй стремительно вошел в комнату с белым листом в руке.

Он положил его на стол перед лицом Репея и ткнул пальцем в одну, в другую, в третью графу:

— Придется подтянуться, Репей...

И исчез за дверью.

Репей пробежал цифры, и ему стало досадно: почему обязательно нужно бить его по всяким пустякам? Он пощипал свои усишки и равнодушно отбросил лист в сторону.

— Ты не бросайся, Репей: дело серьезное — ведь девятнадцать процентов. Это уже победа.

Репей встал и с угрюмой гордостью надвинул кепку на глаза:

— Что ж, хорошо, Ватагин... Буду драться до крови: ставлю ставку на двадцать. А там поглядим.

Мирон пожал плечами, потом опять помял подбородок.

— Не зарывайся, Репей. Подумай. Ты — мастак насчет правильных установок. Я не хочу ставить тебя в неловкое положение. Доведи пока до восемнадцати. Ты же ведь сейчас сказал, что я беру задание из головы.

Репей не смутился, сдвинул кепку на затылок, и от этого лицо его с остреньким носиком стало задорным и злым.

— Я могу говорить что угодно, ежели думаю обоснованно. Но тебе на вышке виднее. Вот ты прижал меня к стенке документами, и я чувствую всерьез. Против ничего не скажешь. Я вот в момент сообразил, что соотношение сил пропорционально. А похвалился я перед тобой преждевременно. Сообразил также насчет темпов. Двадцать даю наверняка.

— Значит, можно ручаться?

Мирон встал и посмотрел на Репея тепло и дружески.

Репей пришел ночью домой после этого разговора немного приподнятый, взбодренный тем обязательством, которое он так твердо и уверенно дал Мирону.

Он помылся под душем, переоделся, перекусил и напился чаю. Жена уже спала с грудным ребенком, а он на цыпочах возился на кухне. Потом, освеженный, вышел в сад и сел на скамейке перед клумбой цветов. Он смотрел на мутное зарево строительства, на лучистый засев огней, и слушал призрачную музыку, которая реяла как будто близко и как будто далеко. Воздух был сухой, немного пыльный и душный. В ногах ныло и струилось утомление. Возбуждение еще не прошло, и он думал о том, как он завтра ошарашит братву, как он их раздразнит и обозлит (в этом он всегда находил для себя большое удовольствие), как расставит силы и как будет злорадно звонить по телефону Ватагину и объявлять котловану «шах за шахом». Ему было обидно, что Ватагин относился к нему до сих пор свысока и не выносил его пререканий. А ведь он, Репей, только ищет правильных установок и четких линий: чем он виноват, ежели у людей в голове часто бывает окрошка; ведь даже сам Ватагин в иные времена сходит с рельсов и черт его знает куда тащит за собой весь состав...

«Парень Ватагин хороший, только увлекается... ну, самодурствует подчас... Личность свою без самокритики обожает. Но я ему докажу, где Москва на карте... Он правду чует, только признаться в своих ошибках гордость не допускает...»

И, вспомнив сегодняшний разговор с Ватагиным, улыбнулся: ему было приятно, что Мирон впервые держал себя с ним просто, по-дружески.

«Нет, он молодец, этот Ватагин. Сам дежурит на плотине, сам следит за ходом работ. А я все-таки докажу ему, где Москва на карте».

И Репей замечтался. Пройдет два-три дня — и его участок перекроет всех. Ему вручат переходящее знамя, а он невозмутимо и по-деловому объявит свои бригады буксирными. Пусть он сейчас только невидный

кузнец на шлюзе. Придет время — его узнают все: имя его не будет сходить со столбцов газеты, загремит он в областной и московской печати, и все на строительстве будут с удивлением встречать его на улицах, на собраниях и гордиться им:

— Это — товарищ Репей... героический бригадир... У него — ведущая бригада...

На крыльце у электрической лампочки вихрем кружились ночные бабочки и мошкара. Четкими треугольниками прилипали к стене большие шелкопряды, утомленные полетом.

По тротуару шоркали шаги прохожих. Гомонили голоса, визгливо смеялись девчата, и где-то стонал рояль — не то близко, не то далеко — не поймешь.

В калитку вошли два незнакомых человека; оба в белых кителях с золотыми нашивками на рукавах, в фуражках с жирными арматурами над козырьком. Краснофлотцы. Один — очень высокий и тяжелый, другой — маленький. Он, может быть, и не маленький, но в сравнении с этим великаном казался карликом. Да и сам Репей, когда увидел этого богатыря, почувствовал себя как будто меньше.

«Ну, и детина! Не поскупились дорогие родители...»

При свете электричества видно было, что оба чисто выбриты, очень опрятны, и, должно быть, от них пахнет одеколоном.

«Краснофлотцы — всегда чистяги... всегда — с форсом... для картинки».

Они нерешительно остановились, осмотрели дом и садик.

— Кажется, этот самый...

У высокого — певучий баритон, с бархатцем.

— Ну, конечно. Только куда же войти? Пойдешь направо — коня потеряешь, налево — голова с плеч.

Маленький говорил басовито, с усмешкой: должно быть, остряк и не дурак выпить. Они увидели Репея, и высокий спросил его очень вежливо:

— Скажите, товарищ, вы здесь живете?

— По всем данным, как будто — здесь.

— А скажите: инженер Хабло как будто здесь проживает, по всем данным?

— Продолжайте по дорожке, прямо к веранде...

— Большая благодарность, товарищ.

— Не стоит благодарности за такие малости. Он дома, идите смело.

— Обязательно смело... — усмехнулся маленький и зашагал по дорожке, — по всем данным, мы — народ неробкий и напористый.

Репей с удовольствием провожал их глазами.

«Бравые парни. За словом в карман не лезут. И выправка — на зависть. Черта с два возьмешь нас с такими ребятами».

И Репей радостно чувствовал гордость за них и за себя.

Оба командира вошли на крыльцо и оглянулись на Репея. Маленький нажал кнопку звонка. Из-за двери испуганно и строго замычал придушенный голос Дуни, домашней работницы:

— Вам кого?

— Максим дома?

Осторожно приоткрылась дверь, и в щель высунулась голова Дуни.

— А вы... кто такие?

— Свои...

И высокий сердито сказал ей что-то невнятное. Женщина ахнула и, пораженная, тоже забормотала непонятно, и по ее голосу видно было, что она вся затрепетала перед ними от бурного счастья. Репею почудилось, что она говорила на каком-то незнакомом языке.

Репей поднялся от бессознательного любопытства и пошел по дорожке к своему крыльцу. Он обошел вокруг дома и прислонился к стене у открытого окна квартиры Хабло. Окно быстро закрылось, и голоса оборвались. Дуня потушила свет на веранде, постояла и зашлепала туфлями по скрипучему полу. Репей увидел, как она перегнулась через ограду веранды и посмотрела вправо и влево.

«Дура! — усмехнулся Репей. — Трусливая душа... Осматривается, как сурок. Воров боится».

Над Дуней он всегда издевался: она каждый вечер

наглухо закрывала окна, тушила огни, все время оглядывалась и по утрам бредила:

— Сегодня ночью раз пять в дверь царапались... окна дергали... Ночей не сплю... Строить-то строите, а воров вот развели, как крыс в амбарах.

— Прячься — не прячься, Дуня, а раклы все-таки тебя пощупают. Уж я нарочно их на тебя науськаю...

— Ах, товарищ Репей, и так лихо, а ты еще насмешки строишь... Ну тебя!

Но сегодня он вдруг неожиданно заинтересовался. Подозрительный и беспокойный по натуре, Репей был поражен встречей этих гостей. Почему они бормотали на каком-то неслыханном языке? И почему Дуня вдруг стала иной, не похожей на обычную Дуню? Если бы спросили его, какая перемена совершилась в этой костлявой женщине, не деревенской по облику, — он не ответил бы, не указал бы ни одного признака этой перемены, но знал твердо, что перемена произошла — Дуня была не Дуня, а какая-то другая женщина. Хабло был дома, но увидеть его было нельзя, потому что окна у него завешены всегда сплошными толстыми занавесками. Интересно, как он держит себя с гостями и о чем они говорят? Теперь первый час. Почему так поздно пришли к нему эти краснофлотцы? Ночевать? Погостить у него несколько дней? Раньше Репей никогда их не видел, а Дуне они были, очевидно, близко знакомы. Когда она могла узнать их так коротко?

Он подкрался к окну и стал прислушиваться. Глухо бормотали голоса, кто-то смеялся весело, с одышкой. Очень словоохотливо, но как будто с оглядкой говорила Дуня. Понять разговор было невозможно: ни одного слова не мог ухватить ухом Репей. И опять ему показалось, что люди говорили на каком-то непонятном языке.

Репей стоял долго, прислушивался, заглядывал в окно, но оно было глухо и надежно закрыто парусиновой занавеской.

Он тихо отошел от окна, сутулый от задумчивости.

Жена Агаша, рыженькая, румяная, горячая от сна, щурилась и улыбалась стыдливо: как же это она про-

спала — не встретила его с работы? Она уже обнаружила, что он копался на кухне и успел поужинать.

— Ну, почему не разбудил? Заснула, понимаешь, с Никандром и совсем не заметила. Вот беда-то какая!

Этому Никандру было только два месяца, но она говорила о нем серьезно и важно, как о взрослом.

Репей сел на стул и, обняв ее, прижал к себе.

— Я уже давно толкую, Гашок, не жди ты меня и спи себе в железку. Надо бы нашего червячка в ясли приспособить... Как-никак — жена большевика... Обязана вести общественную работу...

Агаша любовно перебирала его волосы, прижималась к нему мягким бедром и волновалась — даже голос перехватывало:

— Чего это ты, миленок... из дому хочешь меня вытурить, что ли?..

— Обязательно вытурю... чтобы и духу твоего не было...

И гладил ее по спине.

— Скажи ты мне, Гашок, вот что. Ничего ты не замечала за этим тараканом — за Дуней?

Агаша молча поглядела на огонь, как будто вспоминая что-то.

— Тараторит она много... двадцать раз на дню прибежит, надоела до смерти... А понять ее не могу, ящерка какая-то... Все вынюхивает, высматривает: как, да что, да куда?..

— Ишь ты, пакость какая! Выпытывает?

— Куда там! Прямо все грязные пеленки вынюхивает...

— Ну, а вот по идеологической установке какая она?

— А черт ее поймет.

— Ну, а какие же она удочки закидывает?

— Знаешь что, Миша... ей-богу, она — не прислуга... она живет с ним...

— Ну, это нам начхать... Это дело малого содержания...

— Нет, подожди... я к чему? Зачем она все про тебя расспрашивает?

— Ого, про меня? А ну, ну?

— А тебе очень интересно? Я ее сегодня здорово турнула: нечего, мол, тебе интересоваться чужими мужьями, и пошла ты к чертовой матери...

— Ну, во-от... — досадливо протянул Репей и поморщился от обиды. — Вывела всю тактику на бабью линию.

— А ты почему ею интересуешься? И чего ты вдруг разговор о ней завел? Где ты сейчас пропадал?

— На свиданье с этой красавицей. Ты эту свою установку оставь. Сейчас к ним пришли какие-то флотские командиры. Ты этих флотских раньше не замечала? Один — этакий верзила, а другой — ему под пах.

— Ни разу не видала. У них никого не бывает.

— Полюбопытствуй. У меня что-то под ложечкой засосало. Какая-то галиматья...

— Ну, Мишенька, тебе всегда что-нибудь мерещится... Ты хуже бабы падок на всякую дурь...

— А ты, Гашок, полюбопытствуй... так-этак осторожненько поспрошай... поглупее себя держи... Узнать бы, о чем они там дискуссию разводят...

— Ну, ложись, ложись, а то завтра вставать с солнышком.

Репей поднялся, постоял, прислушиваясь к стенке, за которой чуть слышно вздыхали голоса.

Он не спал всю ночь — не потому, что кричал ребенок и ворошилась Агаша, мурлыча ласковую чепуху, а потому, что все время его мутило беспокойство. Эти два человека в белых кителях давили его, как кошмар. И Дуня была не Дуня, а какая-то зловещая незнакомка. Правда ли, что они говорили на чужом, странном языке? А вдруг Хабло — тоже не Хабло, а хитрый враг, который скрывается под личиной Хабло? Чудилось, что где-то далеко, в глубинах этого дома, скрываются тени, которые сейчас готовят нежданные бедствия.

Он несколько раз вставал с кровати осторожно, как вор, чтобы не разбудить Агаши, босой шел к стене, прижимал ухо к штукатурке и слушал, за-

таив дыхание. Стена глухо гудела голосами и звоном посуды. Дунин голос играл и сердился: она будто спорила с мужчинами. Говорили вперебой, одновременно все, смеялись, потом затихали, а потом опять по одному вплетались в разговор. Было похоже, что люди немножко выпили, потому что голоса были возбуждены и настроены на веселую струну.

«А ну их к чертовой матери!.. — отрывался от стены Репей. — Пришли к человеку дружки, — должно быть, давно не виделись, а я здесь, как дурак, доглядаю... ночи не сплю... Мерзота! за товарищем слежку устраиваю... Спать!»

И опять ложился на кровать, засыпая на мгновение, но сразу же просыпался от внутреннего толчка. Он вышел на двор и посмотрел на небо. Оно было уже по-утреннему прохладно, и звезды густо обрызгивали его в зените, а Млечный Путь таял прозрачными клочьями пара. Горели огни на поселке, и попрежнему неугасимо сияло зарево строительства. Кричали паровозы на железнодорожных путях, и откуда-то издалека рокотали мерцающие громы. Репей ходил по дорожкам сада и всматривался в окна квартиры Хабло. Мычали невнятные голоса. И опять это проклятое, навязчивое воркованье Дуни...

С мягким шорохом подкатила машина к ограде и завыла гулко на всю улицу.

«Завтра же надо узнать в гараже, куда гоняли эту машину!»

Репей отошел в глубь садика и спрятался за деревья. С веселым говором и смехом вышли и эти двое в белых кителях и Хабло с Дуней. Все они говорили на каком-то непонятном языке.

Хлопнула дверка автомобиля, и машина рванулась вперед.

Дуня медленно и, как показалось Репею, мечтательно побрела по дорожке к дому.

«Значит, воров не боится...» — ехидно подумал Репей, и ему вдруг стало легко и ясно на душе, точно он разрешил какую-то трудную и мучительную задачу.

VI. АВАРИЯ

1

Как обычно, Феня проснулась от знойного света. Кровать ее стояла у самого окна, и как только солнце выплывало из-за крыш и садов, подушка и голое плечо воспламенялись нестерпимым блеском. И от подушки, и от простыни, и от рубашки этот блеск отражался на соседней стене, на потолке, и воздух в комнате (по-девичьи чистоплотной и пустой) искрился золотой пылью. Сначала Феня почувствовала сквозь сон (когда хочется встать и хочется плыть в забытьи) горячие волны особого, живого огня, потом вдруг ощутила, что она — голая в солнце. Она одним прыжком встала с постели и быстро оправила рубашку, старательно закрывая грудь. Торопливо схватила с табуретки черную юбчонку, натянула носки и сандалии. Женственно-зрело круглились под простыней бедра и ноги Татьяны. Фене было немножко противно от ее пряного тела. Ей казалось, что Татьяна откровенна только во сне.

Впрочем, черт с ней, с Татьяной. Она все-таки девка славная, способная и умная. А вот почему она, Феня, проснулась сегодня с нудным беспокойством в душе?

Феня застыла у окна, закоченев в полужесте — с руками, поднятыми к волосам. Она стояла перед неубранной постелью, с неподвижным взглядом в одну точку — в охапку густых листьев в саду, перед кирпичным домом, где жил Кряжич. Небо голубело близко, но бездонно. Оно было так же понятно и просто, как в детстве, и так же недостижимо и пусто. Как перламутровый иней на стеклах, вон там, очень далеко, вытянулись, завиваясь кудерками, облачка. Они вырастали одно из другого, пылились узенькой полоской, уплывали к зениту и исчезали, обрезанные рамой окна. Воздух был застойный и очень прозрачный: отдельные перышки листьев отчетливо видны были даже на верхушках далеких тополей, а клыка-

стые граниты на прибрежной скале, над домами, остро резались изуродованными обломками. И эти охапки листьев, и эти щербатые лезвия камней дрожали и плавились в струях утреннего зноя. Было душно и тягостно, до липкой испарины.

Да, вот оно... Обычная ли это фильтрация или грозный просос, который в один миг может уничтожить работу нескольких месяцев?

Она быстро открыла окно, и сразу же хлынула на нее волна утренней свежести: и запах влажной травы, и цветов из палисадника, и чего-то хмельного — не то росы, не то неба. Где-то очень далеко пели петухи. А в саду Кряжича флейточкой всхлипывала птичка. Хотелось броситься навстречу солнцу, в небесную синеву, и засмеяться, а может быть, заплакать от восторга. Феня вздохнула и высунулась из окна. Почему так пахнет детством и почему все кажется крылатым, простым и милым? Почему этот неудержимый, волнующий зов из глубины?

И крикнула через плечо в комнату:

— Татьяна! Да проснись ты, окаянная! Это же невозможно. Это же преступление — дрыхнуть в этот час...

Потом рванулась от окна, бросилась к Татьяне и с разбегу упала на нее.

— Ну, поднимайся же, Танька! Посмотри, какое утро дьявольское... С ума сойти.

Хотелось кувыркаться и выкинуть что-нибудь необузданное, мальчишеское...

Татьяна испуганно открыла глаза.

— Отстань, не дури... Постыдилась бы... ведь уже должна по годам детей рожать...

— Да, да, вот должна, да не хочу. Вот опьянела от солнца и укушу тебя...

— Ай, Фенька, дура! Ты в самом деле...

Феня опять подбежала к окну. Но уже тот порыв, который охватил ее минутой раньше, растаял и был странно далеким.

— Ну, вставай же, Татьяна, кроме шуток... Я страшно беспокоюсь насчет котлована. Там неблагополучно. Кряжич слишком самонадеян и самоуверен.

Я предупреждала его позавчера и вчера. Он невменяем. Ждать тебя не могу.

Татьяна уже натягивала носки. Ее красота совсем не шла к этой пустой, неуютной комнатке, и было странно, как могут мирно и дружно жить вместе эти две разные по характеру девушки.

— Кряжич такой же, как ты, Феня, — взбалмошный и беспокойный. Чтобы его разгадать, я должна побороться с ним.

И вздохнула с затаенной усмешкой:

—Все-таки мы — женщины, дорогая подруга.

Феня презрительно фыркнула и, закинув голову, пошла к двери. Татьяна, мягко ощупывая себя руками, спокойно предупредила ее:

— Ты не делай напрасного шума, голубка. Будет конфузно. Думаю, что твоя тревога неосновательна.

И по ее глазам видно было, что она думает о другом.

Феня сбежала к берегу — не улицами поселка, еще по-утреннему пустынного, а прямиком — по склону холма, изрытого подъемами и обрывами. Здесь был только голый камень, шершавый от моха. Сухой и сам окаменевший, этот мох хрустел под ногами, как стекло. В воздухе пахло каменной гарью, сухой землей и мятой. На бегу Феня сорвала пучок серой пахучей травки и защекотала ею лицо. Она не любила садовых цветов, не любила букетов на столе, но эта трава нравилась ей: она пробуждала в ней трогательную нежность. Эта бедная травка, похожая на мох и полынь, вызывала в ней удивление. Она завоевала себе жизнь с невероятным упорством и суровостью. Между нею и Феней была какая-то связь, полная значения. И Феня, как эта трава, прошла через расщелины и камни, и ее так же топтали равнодушные люди. Может быть, потому и она, Феня, стала такой же поджарой и живучей, как эта трава. Может быть, и она так же остро пахнет и так же приметна среди людей — не красотой, а особым, присущим ей, характером.

Внизу, в воздушном провале, плавилась в водоворотах река. Налево огромным планом пересекали

реку перемычки, загроможденные вагонами, паровозными кранами, штабелями арматуры. И ближе и дальше — зияла между стенами перемычек пропасть, как потухший кратер вулкана. Сейчас в котловане дикая пустота, только призрачно возится среди камней и скал несколько артелей рабочих. Бригады металлистов придут только после обеда. Сегодня же должна быть и демонстрация. Видно, как болотно зеленеет вода на дне. Насосы уже не успевают высасывать ее своими членистыми трубами.

Вспомнилось, что здесь еще совсем недавно было пусто и дико. Эти бурые холмы, голые и глинистые, эти вывороченные из глубины гранитные глыбы, эта река в высоких каменных берегах — уныло и бесприютно дремали в первобытном одичании. Блеклые мужики с обветренными лицами, такие же бурые, как эти холмы и граниты, жили в ущелье, скрываясь от ветров и наводнений. А на поля выезжали очень далеко — в плоские равнины за холмами, и оттуда не видно было этих угрюмых гранитов и не слышно бурных порогов, ревущих за скалами неумолкаемым водопадом.

А теперь ничего не осталось от этого дикого места. Феня приехала из большого города: она привыкла к людной суматохе улиц, к расточительному свету электричества, к студенческим толпам в аудиториях и коридорах втуза, к партийным собраниям и праздничной толчее в театрах и народных гуляньях. Эти же непроглядные ночи изнуряли душу. Сейчас уже смешно вспоминать о болтах и засовах, которыми она охраняла себя от жутких ночей. Теперь уже эти ночи понятны, как день, и насыщены жизнью: они великолепны в ослепительных звездах электричества и в полетах фосфорических излучений прожекторов. Человеческий труд непрерывен: глухие ночи забыты. Ни на один миг не останавливаются машины: посвистывают паровозы на подъездных путях, глухо бумкают компрессоры. И с утра до вечера воздух вздрагивает и сотрясается взрывами, и эти взрывы очень похожи на грохот тяжелых орудий, который еще жил в памяти Фени от дней гражданской

войны. Впрочем, ведь и здесь война, упорная, напряженная, и здесь целая армия бойцов, и она, Феня, — тоже сила в их массе.

Нужно одно: снова обследовать, снова проверить и, может быть, поднять тревогу. На этой перемычке она производила работы с первых ударов топора, и в каждую балку, в каждый камень, брошенный в колодцы ряжей, она отдавала частицу себя. Это сооружение было уже живым существом, которое дышало дыханием Фени, знало и обнимало ее, и она чувствовала, как клокотала кровь в недрах этих стен.

Напирая на широчайшую стену ряжей, забитую камнями, вода здесь расстилалась спокойно, как озеро. Черной пеной плавали щепки и сор в медленном круговороте.

Вот машет крыльями макинтоша Вихляев, прыгая с камня на камень, шлепая по болоту. Вот он поскользнулся и по колено в воде пошел так же размашисто и стремительно.

— Эй вы, там... мухобои!.. ползи долой, к чертовой матери отсюда... Вон!..

И голос его рокотал эхом в глубине провала. Феня только сейчас заметила, что один экскаватор, к которому шел вброд Вихляев, задней частью гусеницы погрузился в воду.

У барьера низовой перемычки стояли несколько человек, с любопытством смотрели внутрь котлована. Должно быть, им было смешно, как Вихляев барахтался в воде: они скалили зубы и что-то покрикивали ему вперебой. А когда Вихляев погрозил им кулаком, они захохотали и замахали ему руками.

Прокоп весело орал, как озорник, которому все на свете кажется занятным и радостным.

— Напирай почем зря, товарищ командир!.. Наша берет!.. Перекоп и озеро Сиваш...

Феня быстро сбежала по лестнице в днище котлована и понеслась к тому месту — к обвалам камней, — где вчера еще зловеще рвалась из-под ряжей вода.

— Хлебнем здорово, барышня. Будет библейский потоп.

— Еще неизвестно, Вихляев. Возможно, что это простая фильтрация или жила в донном ложе.

— Нет-с, увольте. Зрелище будет аховое. Поверьте.

— А Кряжичу звонили?

— Ну, звонил. Что толку?

— Все-таки почему вчера не сделали отсыпей? Я же предупреждала и вас и Кряжича. Как вы думаете, может быть, опрокинуть думпкары щебня? А потом рефулер?

— Какие там думпкары? На кой черт думпкары? Вы гидротехник, а я-с прораб по земельно-скальным. Вы обязаны знать досконально, что в случае прососов следует не в думпкары играть, а любоваться величием природы.

— Вы думаете, что возможен взрыв воды?

Он пожал плечами, и глаза его потухли.

— Вам виднее, барышня. Но я думаю, что мы не успеем даже инвентарь прибрать. Жду. Событие редкостное.

— Сегодня, Вихляев, демонстрация... а тут...

— Что же... кстати. Стильно. Эффектно.

— Не дурите, Вихляев. Право, не до шуток. Распорядитесь, пожалуйста, насчет водолазов. Может быть, удастся как-нибудь предотвратить. Надо сейчас же обследовать.

Феня опрометью побежала по камням. Но вместо того чтобы взбежать по трапу на перемычку, она понеслась к тому месту, где клокотала вода. Из-под ряжа, из-под каменной ямы хлестали фонтаны. Ее обдало холодными брызгами и залило глаза. Она попятилась назад, споткнулась и кувыркнулась наземь.

В первое мгновение она ощутила режущую боль в плече и звонкий удар в затылок и тоже боль, нудную, очень горькую. И когда она вскочила, боль отхлынула, но изнурительно дрожали ноги и руки. Спотыкаясь, она побежала назад.

Почему нет Кряжича? Пусть он сейчас явится — хороший ему гостинец, строителю перемычки. Он будет орать, топать ногами, а она, Феня, взглянет на

него ледяными глазами и презрительно, как Вихляев, скажет:

— Вам, товарищ Кряжич, нужно было раньше заняться этим делом. Я же вас предупреждала

Впрочем, этот Вихляев очень хитер. Он прикидывается простачком, а сам уже учел всякую мелочь. Он хочет быть героем дня — это ясно. Она видела, что Вихляев старается не замечать ее и неуловимо дает ей понять, что она здесь не нужна, что ей, девчонке, совсем не следует трепаться под ногами: она только мешает и может вызвать лишние хлопоты.

«Я ему покажу, дикарю, как я буду трепаться. Он втайне рад этой беде: он мстит и машинам и людям! Он хочет обезоружить меня и посмеяться над моей беспомощностью».

Ряжи стояли высокой крепостной стеной, стройно и твердо играя кружевными клетками, вырастая из ноздристой насыпи камня и щебня. Огромными отшлифованными шлаками застывшей лавы стекали валуны. Бурные потоки плескались и шумели в камнях, причудливо путаясь, сливаясь и разбегаясь по расщелинам и ямам.

— Вихляев, я на минутку — к телефону...

Она взлетела по трапу на перемычку и ринулась к своей конторке. С разбегу ворвалась в будку и сразу же ослепла: в глазах ее еще полыхало солнце, мерцали горы, река и небо, а в будке был фиолетовый полумрак. Она увидела размытые тени людей, но не узнала их. Кто-то говорил по телефону — выкрикивал с пронзительным нетерпением:

— Что это там за мямля?.. Немедленно же нагружайте!.. и сверла и материалы... Что? Весь склад разбазарили, мерзавцы... Я вас под суд отдам...

Феня бросилась к телефону и вырвала трубку из рук человека:

— А ну-ка, товарищ, позвольте... Тут — авария, а вы — сверла...

Кто-то строго пробасил:

— Слепая вы, что ли? Поосторожнее.

— Подите вы к черту! Это мой телефон. Тут катастрофа, а вы с какими-то сверлами...

Она нетерпеливо надавила рычаг и, задыхаясь, ждала отбойного сигнала. И не обернулась даже и не посмотрела на того, кого она оттолкнула от телефона. Сзади нее смеялись.

— Дайте Ватагина. Разъедините и дайте сейчас же. Ну, то-то. Слушай, Мирон. Не перебивай. Распорядись пригнать Кольчу с ребятами... Авария.

И голос Мирона спокойно и густо ответил ей с ласковой снисходительностью:

— Хорошо. Я распоряжусь.

— Да ты понимаешь? Вода заливает...

Она бросила трубку на рычаг и опять подождала отбойного звонка.

Кто-то сзади сердито шагнул к ней:

— Почему об этом не сообщили мне? Какая авария?

Она не ответила и взяла трубку.

— Дайте тридцать шесть. Это ты, Осокин? Сейчас, голубчик, метлой гони ко мне в котлован Кольчу с его партизанами. Прорвало основание ряжей. Некому работать. Пусто. Может быть, что-нибудь успеем сделать.

Тенорок Осокина закудахтал растерянно:

— Слышу, слышу, родная. Валяй себе — я их сейчас же выволоку... Вихрем прилетят. Балееву бы сообщить... Кряжичу... Вот беда-то какая!

— Кольчу мне надо с ребятами — понял? Чего ты лимонишь? На кой бес мне твой Кряжич и Балеев... только трепаться здесь будут... Ты еще Стрижевского назови...

Кто-то смеялся позади и изумленно вскрикивал:

— Ого! Ого!..

Она повесила трубку и обернулась с блеском в глазах:

— Теперь можете крутить свои сверла, товарищ...

И вдруг ахнула и замерла: перед нею стоял сам Балеев и смотрел на нее с улыбкой в усах.

— Ах, Викентий Михайлович!.. Что я наделала! Право, я ослепла от солнца и вас не заметила. Извините, пожалуйста...

Он потрепал ее по плечу с фамильярным дружелюбием:

— Хорошо, хорошо. Не смущайтесь. Отшили меня здорово. В такие минуты полезно ослепнуть от солнышка. Ну, ну, бегите!.. И насчет молодежи это тоже хорошо... Я подойду сейчас туда... но не беспокойтесь... трепаться не буду...

Он подтолкнул Феню с грубой лаской, и она опрометью выбежала под смех людей, которых она так и не успела рассмотреть.

2

Когда она опять прибежала на место работ, в котловане уже крутились водовороты. Густая масса воды рвалась ревущим водометом по скалам и швыряла камни в разные стороны.

Котлован быстро наполнялся. Вода кружилась в нем, колыхалась длинным озером и плескалась в граниты и перемычку. Рабочих уже не было на старом месте. Экскаватор уползал вдали и, казалось, плыл по воде. Наполовину в воде был и сандерсон, потонувшими ковшами купались вагонетки.

Феня посматривала на противоположный берег и дрожала от страха и нетерпения: хоть бы скорее явился Кольча с ребятами. Вот она одна вместе с Вихляевым, и оба они обречены на бездействие. Вихляев как-то обмяк и стал ленивым и скучным. Он посматривал на солнце и нюхал его облупленным носом. На перемычках толпились рабочие, махали руками, кричали и волновались.

Бурная река неслась к ряжам и прибойно хлестала в стены и скалы. Отраженная, она разливно, в пене и водоворотах, стремительно неслась в разные стороны.

Вдали, на перемычке, кричали люди, точно им было очень весело. Феня опрометью побежала им навстречу. По мостовому переходу вперегонку неслись ребята, а впереди — Кольча. Бронзовый, с голыми руками, он будто настойчиво звал ее к себе.

Ей стало смешно. Зачем она вызвала их? Что они могут сделать? Теперь ни они, ни сам Балеев, ни Кряжич здесь совсем не нужны.

Комсомольцы обступили ее и загалдели, готовые со всех ног броситься вперед.

Вода кружилась плавно, как утихающий огромный водоворот, и уже подходила к уровню реки. Котлован был залит в какие-нибудь четверть часа. Феня неудержимо пошла за ребятами: она будто впервые увидела это грязное озеро и поразилась страшной работе воды — этому ураганному потопу. Прошла через сердце волна изнурительной слабости. В ее котловане, на ее участке... Было одно бедствие — отлив рабочей силы: котлован был пустынен и мертв, и голоса людей рокотали эхом в стенах перемычек и в скалах. Вчерашний день и сегодняшняя ночь опять гремели жизнью, и было так радостно и чудесно. А теперь — новый потрясающий удар. Демонстрация, которая будет впустую... Что она скажет этим рабочим массам в цветах и в пене красных знамен и транспарантов? Хватит ли у нее силы встретиться с этими потоками глаз и лиц? А вдруг они сбросят ее ревом: а-а, вот ты какая! Вот до чего довела!.. Долой ее, обманщицу и вредительницу, она издевается над нами...

— Черт же вас возьми, Феона!... Что же вы наделали!..

Ребята плечом к плечу прилипали к перилам.

— Вот это — да!

— Эх, черт... опоздали!.. Вот бы поглядеть-то... Красота!

— Ну, и полыхало, должно быть!..

— Смотрите, чей-то картуз плывет.

— А во-он, видишь? лодчонка гуляет...

— Ничего не заметно... Не знаешь даже, где эта глотка... Не меньше чем в сажень должна быть дыра-то...

Кряжич и Татьяна появились внезапно и не с той стороны, откуда ожидала их Феня — не с перемычки, а с берега (должно быть, приехали на автомобиле).

— Поздравляю с триумфом. Наработали! Картина, достойная кисти Айвазовского...

Татьяна смотрела на Феню из-за Кряжича с пытливой тревогой.

— Вы, Николай Николаевич, знали об опасности: я вас предупреждала еще позавчера вечером... вчера — тоже... Это преступно — не принять мер. Я поступила глупо: я должна была сама распорядиться, без вашего соизволения.

Кряжич неожиданно засмеялся.

— Знаю, знаю. И чудесно бы сделали. А с Вихляева я шкуру спущу... Он молчал, как сом. Кто же мог предвидеть?

— Вы должны были поверить мне. Почему вы не удостоверились на месте? Не считаясь со мной, вы прячетесь за спину Вихляева.

Кряжич отвернулся от нее.

— Ах, бросьте, товарищ Отдушина. Вихляев отвечает в первую голову.

— Я, товарищ Кряжич, — сменный прораб и отвечаю так же, как Вихляев.

Татьяна, холодная и скучающая, внимательно осматривала осыпи. Она думала о чем-то своем. Феня видела, что глаза Кряжича вздрагивали, когда он смотрел на Татьяну.

Рядом стояли несколько рабочих и возбужденно, не слушая друг друга, торопились высказать, что они пережили.

Молодой сезонник, в пыльной холщовой прозодежде, тыкал рукою в котлован и радостно орал, захлебываясь:

— Как она пошла чесать... Ну, думаю, крышка мне... Я — наперерез. А она меня по ногам — рраз!.. Я — кувырком.

Чернобородый мужик степенно внушал, встряхивая головой:

— А все — по-ученому... инженеры... немцев много... Мы тоже гатили... и без инженеров...

Рабочий с черными усами, в черной масленой кепке, должно быть машинист с крана, сердито кричал:

— А где эти производственные совещания? Я тысячу раз ставил вопрос... Только одно и было совещание, да и то по пустякам. Я этим чертям сейчас спуску не дам!

Парень с рыжей шерстью на щеках, с всклокоченными волосами, весь мокрый, растерянно, с изумленной улыбкой бродил среди людей и подвывал смешливо:

— Где, думаю, шапка-то моя... хвать, а она плавает... Во-он она, окаянная!.. Это моя шапка-то...

Широкое пространство между перемычками заливалось полноводно и зеркально, и как-то непривычным все стало — плоским и голым.

Кучи сезонников терлись плечами и с возбужденной живостью переговаривались, не слушая друг друга:

— Как она, понимаешь, зашуровила, забутузила... батюшки!.. Все, как мыши, пырснули в разные места... В мат побросали всё...

— Куда там, к черту! До чего испужался — ножик выбросил... из косы сделал... брил больно здорово... прямо — наотмашь... Вот до чего обалдели...

— Да разве тут что сделаешь? Мощь ведь... Всякий струмент... до званья все затопило...

— А я все время веселый был... До чего веселый — сказать не могу...

Феня поглядывала на Татьяну и злилась: «И охота же ей притворяться и играть с Кряжичем. Бесится девка».

Кряжич говорил торопливо, будто ему было очень некогда:

— Что я могу сказать? Если я смоюсь куда-нибудь на полюс, за границу, на Марс, я буду за вас спокоен...

Татьяна быстро повернулась к нему.

— Видите ли, Николай Николаевич. Разница в том, что вы любите только процесс строительства, процесс в себе, а Феня живет — понимаете? — живет этим процессом, как реальной боевой задачей революции.

Феня крикнула:

— Он не понимает до сих пор, что мы строим не только эту плотину, но и кое-что поважнее.

Кряжич беспокойно покосился и на Татьяну и на Феню.

А Феня знала, что этот чудаковатый Кряжич, этот талантливый инженер, близок ей, почти родной. С ним она проработала два года, и эти годы казались ей необыкновенными, и вся ее прежняя жизнь утонула в них без остатка. Этот непоседливый человек — неотделим от нее, и разорвать эту связь уже невозможно. Татьяна притворяется и играет с ним, но она переживает то же самое. Надо прекратить эту игру, а то произойдет такой же просос в их устойчивой жизни, как в этой перемычке.

С берега бежали толпы, и в проходах между вагонами вереницами толкались и обгоняли друг друга рабочие, служащие, женщины и ребятишки. И на той и на этой стороне ряжей густой оторочкой прилипали к парапетам пестрые шеренги людей.

Водолаз, раздутый и ослизлый, стоял в лодке и покорно ждал, когда наденут ему на голову скафандр. Рабочие и комсомольцы одевали его молча и торжественно. Когда привинчивали глазастый скафандр, казалось, что голову водолаза сдернули с позвонков и стали откручивать от плеч. Рабочий крепко привинтил скафандр, шлепнул ладонью по шару и пропел, как дьякон: «Благослови, владыко». Едва переступая ногами от тяжести, неповоротливый раздутый водолаз опустился по лесенке в воду и исчез в глубине. Взметнулась пузырями вода. Колесо насоса завертелось, дрябло позванивая клапанами.

— Ну, ясное дело — деформация дна.

Феня повернулась к Кряжичу дерзким петушком:

— А я убеждена, что это — фильтрация за шпунтами. Плохая цементация. Это наша вина, Николай Николаевич.

— Жаль, что раньше не спросили вашего компетентного мнения, товарищ Отдушина. Ваша консультация запоздала.

— Ну, что ж сделаешь, Николай Николаевич. Имейте в виду на будущее.

Он фыркнул и быстро отвернулся от нее. А Татьяна только улыбалась и подзадоривала ее глазами.

3

С группой инженеров и техников Балеев стоял на перемычке у самого края. Кряжич как будто нарочно не замечал Викентия Михайловича: он был резок и желчен.

— Доставить сюда рефулер! Вихляев, сбегайте и подтолкните эту черепаху.

Вихляев смотрел вдаль равнодушными глазами и сказал лениво, с усмешкой, застрявшей в бесцветной бородке.

— Я приставлен сюда не на побегушки, товарищ Кряжич.

Вихляев отвернулся от него и пошел прочь.

— Если вам угодно, можете заявить об увольнении.

— Превосходно-с. А пока прошу не вмешиваться в мое дело и не нарушать работы.

Все смущенно молчали и прятали глаза.

Кряжич сначала опешил и растерялся. Кто-то из инженеров несдержанно захихикал:

— Ну, и фрукт! Извольте работать при таких условиях...

— Да бросьте!.. Неужели не знаете... Вихляев чудак и мизантроп.

— Это неверно, — энергично заявил Балеев. — Вихляев — редкий прораб и прекрасный работник.

Он пристально смотрел вниз, на воду у стены ряжей, следил за молодежью, которая гнала думпкары со щебнем и песком, на водолаза без скафандра, который мычал что-то с лодки. Все искоса в ожидании посматривали на начстроя и на Кряжича, посмеивались и чувствовали себя неловко.

— Эта авария — не авария, Николай Николаевич, — сказал Балеев, — а случайный эпизод. Настоящие аварии будут еще впереди.

Кряжич вызывающе засунул руки в карманы.

— Всякая авария, Викентий Михайлович, тесно связана с судьбою строителя. Я прошу вас при обсуждении вопроса об этой аварии не отделять вопроса обо мне.

— Не беспокойтесь, Николай Николаевич. Вам будет принадлежать первое слово.

У Кряжича задергалась щека.

— Моя ответственность — это моя честь, Викентий Михайлович. Вы не посмеете обойти этого вопроса, не нанося мне личного оскорбления.

Балеев пытливо изучал его взглядом.

— Ваша гордость будет удовлетворена, Николай Николаевич.

— Вот-с.

Говорили об авариях, свидетелями которых они были в своей жизни, и об авариях за границей, о которых они читали в зарубежных технических журналах.

— Викентий Михайлович прав, — бархатно и внушительно говорил Стрижевский. — Чего волнуется Кряжич? Если бы даже прорвало в ледоход эту перемычку, так и тогда не было бы страшно. Какой-то жалкий просос... Что за недотрога!

— Почему же? Сегодня — одно, завтра — другое. Представьте, что ряд таких неудач... пусть ряд мелких неурядиц... все это, сложенное вместе, может вызвать катастрофу. Я понимаю Кряжича.

Это говорил молодой, постоянно краснеющий инженер в косоворотке, в татарской тюбетейке.

— Я с Кряжичем работаю год и знаю его хорошо: это художник своего дела.

Главинж Шлиппе чесал пальцами свою апостольскую бороду и играл бровями. Его интересовали почему-то два молодых инженера, которые спорили, как драчуны, и не давали говорить друг другу.

— Но ведь наша криволинейная плотина будет работать собственным весом...

— Позвольте, я это очень хорошо знаю. Я говорю о другом; я говорю об известном правиле Леви о взвешивающем давлении воды. Если сжимающее

давление на верховой грани больше гидростатического, то...

— Да позвольте, что вы мне говорите о давно известных вещах. Ведь в американской практике с правилом Леви совсем не считаются...

А Стрижевский с барской обособленностью, снимая и надевая пенсне, рассказывал:

— Авария плотины Сен-Франсес в Калифорнии произошла совершенно неожиданно. Исследования специальной комиссии за несколько часов до катастрофы не обнаружили никаких зловещих признаков. Фильтрация соединительных швов была самой обычной: вода была свежая, прозрачная, без малейшего отмучивания. А катастрофа все-таки произошла — грандиозная, потрясающая... до четырехсот человеческих жертв.

Балеев стоял равнодушный и смотрел на грязное озеро внутри перемычки в мраморном кружеве пены.

Татьяна подошла к Кряжичу.

— Николай Николаевич, вы поступили с Вихляевым не по-товарищески.

Кряжич вздрогнул, не понимая, что говорит ему Татьяна, но почтительно отступил от нее, освобождая место.

— Я вам мешаю? Пожалуйста.

Татьяна побледнела и изо всех сил боролась, чтобы выдержать тон. Этот аристократический хам смотрит на нее, как на ничтожество, как на плебейку, место которой — быть его прислугой.

— Вы не ответили мне, товарищ Кряжич.

— Ах, да. Это насчет Вихляева?

И улыбнулся ей с вежливостью взбешенного человека.

— Вы, вероятно, хотите, чтобы я сама поговорила с ним? Хорошо. Я постараюсь охранить ваше достоинство.

— Благодарю вас. С Вихляевым я справлюсь сам.

Татьяна быстро пошла по ряжам в сторону Вихляева.

Неожиданно она лицом к лицу встретилась с Викентием Михайловичем. Он с любопытством смотрел на нее и улыбался.

— Зайдите как-нибудь ко мне в управление, товарищ Братцева. Мне нужно задать вам несколько вопросов по поводу вашей исследовательской работы.

Татьяна покраснела, но не смутилась.

— Моя исследовательская работа идет бессистемно, Викентий Михайлович.

— Почему?

— Потому что слаба система в самой организации труда.

— Вот об этом-то мы с вами и потолкуем.

И он пошел от нее широкими шагами.

Потом вдруг остановился и стал беспокойно искать кого-то на перемычке среди рабочих и комсомольцев.

— А где же та девица? Кажется, Отдушина?

Ему не ответили, и все стали всматриваться в хлопотню рабочих на перемычке.

Инженеры шли вслед за Балеевым в некотором отдалении и лукаво перемигивались.

На ряжах уже стало спокойно и скучно. Где-то далеко подземно бухали сандерсоны. Где-то рядом пронзительно свистал сжатый воздух в пневматической трубе.

...Все-таки они, Татьяна и Феня, очень различны. Феня как-то совсем не думает о себе: она живет, как птица. Она даже не знает, есть ли у нее какие-нибудь недостатки или дары, способна ли она к борьбе или беспомощна, есть ли у нее желание утвердить себя среди людей как силу, или она лишена даже простого самолюбия. Она ни о чем не задумывается и совершенно не замечает себя. Она живет как-то удивительно прозрачно. Дома она никогда не говорит о себе, и Татьяна до сих пор не знает, какое у нее прошлое, какие личные вопросы ее беспокоят, что ей нужно от жизни. Она живет только с другими людьми, и ее настроения — только настроения толпы, и мысли ее и слова — чужие. Когда строили камнедробильные заводы и она работала там техником, ее

мозг питался только нориями, силосами, бункерами, цепными грохотами Росса. Она долго могла говорить о гранулометрическом составе инертных материалов и говорила как о чем-то близком, задушевном, родном, точно это составляло всю суть ее жизни.

В спорах Татьяна издевалась над ней, обзывала ее дурой, чужедумкой, а Феня даже не замечала этого и была с ней, как всегда, тепла и легка.

— Надеюсь, что вы не сердитесь на меня, свирепая женщина?

Татьяна вздрогнула от внезапного голоса Кряжича, но мгновенно насторожилась.

— Я не настолько слаба, Николай Николаевич, чтобы сердиться, а вы не настолько сильны, чтобы нанести мне обиду.

— Виват! Сегодня, очевидно, день дерзостей и мятежей. Против меня — восстание попранной правды. С одной стороны — бунт перемычки, с другой — Вихляев и вы. До сих пор я не чувствовал вас такой...

— А вы разве способны чувствовать людей, Николай Николаевич?

— Сварливость — это, очевидно, ваше свойство.

— Допустим. Но вы сказали: «правда»... а это слово звучит у вас фальшиво.

— Должен вам заметить, Татьяна Ивановна, что так называемая правда — это скверный материал. Всякая правда нуждается в тщательной обработке. Человеческая правда — это высокая культура и уменье ею пользоваться.

Татьяна насмешливо оглядела его фигуру.

— Буржуазия слишком много говорит о культуре, о цивилизации, об очень возвышенной правде, — говорит именно вашими словами, однако нет таких мерзостей, подлостей, лжи, самого отвратительного чванства и зверства, которые бы не выдавались за благородную правду. Я не верю вам, товарищ Кряжич.

Кряжич смутился и как-то некстати засмеялся.

Татьяна отвернулась от него и пошла к берегу.

— Послушайте... Это вы серьезно?

...Феня стояла в толпе комсомольцев рядом с Кольчей и оживленно рассказывала им что-то.

Тут же стоял и Ватагин. Работа была сделана быстро. Теперь нужно было только забить поглубже шпунты, залить их цементом и спокойно отрегулировать отсыпи. Членистые трубы хвоста скорпиона, на которых стояли несколько ребят и рабочих, тащили за собою катер. Вода хлестала за его кормой и бурно неслась к цилиндрам понтонов.

Ребята, помятые работой, замызганные пылью и грязью, в мокрых рубахах, прилипающих к телу, толпились вокруг Кольчи и Фени. Некоторым не стоялось на месте — цапались друг с другом и не прочь были повозиться в борьбе. Некоторые подбегали к барьеру и смотрели на грязное солнечное озеро. У деррика, который замертво стоял рядом, трос со стрелы спускался в воду, как леса огромной удочки. На ближайшей перемычке сплошным бордюром стояли люди у перил и смотрели на воду. Уже купались мальчишки в озере и с увлечением плавали верхом на бревнах.

4

Мирон стоял рядом с Феней и смотрел на нее с пристальным любопытством. Она жила сейчас тем событием, которое оглушило ее до изнеможения. Она говорила с Кольчей, смеялась, распоряжалась на плотине, и в ее голосе не было никакой растерянности и подавленности. Был просос в перемычке, река сокрушительно ворвалась в кратер котлована, вода проглотила котлован и теперь самодовольно кружилась сорным, грязным омутом. Ее, Феню, разбудила тревога, и себя, обычную, она оставила в постели, во вчерашнем дне, который погас навсегда. Чувствовала: она — только живая частица вот этих сооружений, она — пылинка в этой глупой катастрофе. Струились рельсы в стальном блеске, громоздились кучи грязных досок, наваливались голубые бычки, котлован в дымной глубине, пустынной и жуткой от беструдья. Ураганы воды, грохот водопада... Это была только

очередная работа — правда, сумбурная, как на пожаре, но и в эти минуты Феня, как обычно, совала нос во все уголки и брала на учет всякие мелочи. Это была работа, которую она выполняла как привычное плановое задание. Сейчас она как будто даже скучает: дело сделано раньше срока, и вот некуда девать свободное время. Но Мирон видел, что она — необычна: она похожа на птицу, у которой буря помяла перья. Лицо ее осунулось, плечи опустились, ослабли, и вся она поблекла, повяла и, казалось, — вот-вот упадет на рельсы.

— Не робей, Фенюша.

— Мирон, может быть, ты немножко помолчал бы и пошел по своим делам?

Она с усилием подняла на него глаза.

— Не нужно секретничать с собой, Феня. Слезы тоже нужно заработать.

— Слушай, Мирон, разреши мне сказать тебе очень серьезно: откатись ты немножко к черту.

Ее лицо и смеялось и плакало. По щеке струилась мокрая дорожка, и капля застряла на подбородке.

— Мирон, ты знаешь... ведь это же ужасно... Такого несчастья я не переживала, кажется, никогда в жизни... Это хуже убийства...

— Ты находишь, что это хуже убийства?

— Я не убивала, но знаю, как убивают.

— Я тоже очень хорошо знаю, как убивают.

Около них стоял Кольча и яростно сбивал кепкой пыль со штанов. Мирон впервые отметил: у человека иногда могут кипеть глаза.

— Вот, черт те задери, ерунда какая! Иду и чувствую: почему тяжело шагать? Оказывается — пыль на штанах.

— А говорят, что пыль — легкий материал. Выходит — чистая ерунда.

— Ясно — ерунда. Ведь — пыль, а что делает с человеком!

Феня с изумлением смотрела на Кольчу и смеялась.

Мирон тоже засмеялся и быстро пошел по ряжам. Неожиданно он столкнулся с Прокопом и Никитой.

Мужик метался, охал на самом краю перемычки и не знал, что делать. Прокоп теребил его за край прозодежды и убеждал с веселым негодованием:

— Да брось ты, борода! Теперь каюк.

— Беда-то какая!.. Ведь лом... Вот он... тута-ка... в этом самом месте... ну, какая-нибудь сажень... Мырнуть — и взять его...

— Да, башка ты лохматая!.. Где ты его найдешь?.. Его песком занесло. А потом — ведь поднять его надо... Не перышко... И думать перестань...

— Эх, голова липовая!.. Как ты рассуждаешь глупо!.. Что мне теперьча без лома-то делать?.. Скажут, куда задевал?.. Ведь мне вверенный.

И он начал снимать рубаху. Прокоп уже беспокойно и испуганно тряс его за плечо:

— Да ты что, борода, с ума спятил?.. Куда лезешь?

— Как это — куда? Мырну вот — и вытащу... Не трог меня...

Прокоп оглядывал мужика и крутил головой от хохота. Ключицы и ребра у Никиты выпирали из блеклой кожи, пятнистой от заживших чирьев.

Никита в опаске взглянул на Мирона нелюдимыми глазами и засеменил к краю ряжей. Он на мгновение съежился, потом быстро перекрестился.

— Дядя! — засмеялся Прокоп. — Ты хоть лапти-то сними.

Мужик запрыгал по лесенке и брякнулся в воду. Заволновались круги, уплывая вдаль.

Подбежали Кольча и Феня.

— В чем дело, Мирон?

Прокоп сдернул кепку, бросил ее на рубаху мужика и так же, не отрывая глаз от воды, рванул с себя парусиновую блузу. Мирон молча смотрел на успокоенный омут и ждал.

Неожиданно голова мужика вынырнула из воды не в том месте, где его ждали, а левее — перед Кольчей и Феней. Он задыхался, захлебывался, но голос был бодр и заботлив:

— Кабыть, нащупал... и камень наш... в сторонке этак... лом-то должен лежать наискосок... я еще при-

слонил его к скале... к этому пупку, что взорвать должны...

Прокоп скалился и крутил головой.

— Дуролом! Этот пупок такой же недостижимый, как твой: ни укусить, ни поцеловать...

Мирон сердито рявкнул на Никиту:

— Сейчас же вылезай!.. За волосы вытащу... Слышишь?

Но мужик вдохнул воздух и опять скрылся в глубине. Всплеска уже не было, и поверхность воды хлюпнула и разошлась кругами.

На лице Фени не отражалось никакой тревоги: она только с любопытством смотрела на то место, где скрылся Никита.

Прокоп усмехался и злился.

— Свирепый мужичишка, даром что лапотник... Одышкой страдает, а ударничал вдрызг... Сядет на минутку, хватит воздуху — и опять копошится... А утонет, как пить дать. Неизбежно утонет... сердце слабое.

Мужик не появлялся.. Прокоп озлился:

— Эх, сколько хлопот наделал, лапоть бородатый... Несомненно, один исход — прыгать и тащить его за волосы. А Матвей утек... кишка не выдержала...

— То есть как это утек, сорока-барыня? Все как есть на месте... Работа только задарма пропала.

Матвей строго оглядел Прокопа и, заложив за спину руки, стоял позади.

— Он, Микита, мужик заботливый... хозяйственный... Вынырнет: он легкий, его и вода не берет...

Неожиданно Кольча перескочил через перила и бросился в воду. Феня испуганно крикнула и рванулась на край ряжа. Мирон схватил ее за руку.

— И ты туда же?

Кольча на мгновение появился над водой, набрал воздух и опять скрылся. Никита не показывался. Прокоп, строгий и сосредоточенный, скинул опорки и деловито сошел по трапу к самой воде, подумал о чем-то, подпрыгнул на месте и грохнулся в воду.

Все молчали. Матвей сел на бревно и обхватил колени руками. Потом опять встал и повернулся. У этой деревенщины — не общее, а мелочи. Матвей спасать

Никиту не полезет. Но ведь он, Мирон, тоже не полез. Ну, а полез бы, если бы никого не было? И он ответил себе решительно: обязательно полез бы.

Показалась голова, бессильно забарахтались руки, потом опять скрылись.

Матвей испуганно крикнул, протягивая руку:

— Он! Микита!.. Эх, сорока-барыня!..

Вода забурлила в том месте, где показалась голова мужика: Кольча держал одной рукой тело Никиты, а другой загребал сильными взмахами.

— Тянет вниз... помогай, ребята...

Мирон, подчиняясь крику Кольчи, схватил обломок доски и бросил ее в воду. Но Прокоп вынырнул рядом и подхватил Никиту с другого бока. Доска уплыла в сторону, колыхаясь на волнах.

Матвей был уже спокоен и щурился от солнечного блеска воды.

Тело безжизненно лежало на настилах, и грязные ручьи воды игриво уползали в разные стороны, просачиваясь в щели.

Феня села на корточки и, со страхом в глазах, приложила руку к груди Никиты.

— Он же умер... Понимаете? Сердце не бьется...

— Зашелся он...—спокойно и безразлично пропел Матвей.— У него это и дома случалось... На косьбе, бывало, так же вот... хизнет... Лежит и не дрыгается... Отудобит... Полежит-полежит — и отудобит...

Прокоп тоже стал на корточки, и его шершавая и мокрая голова приникла к груди Никиты. Лицо строго прислушивалось и ловило жизнь где-то в глубине тела

Он молча поднялся и конфузливо оглядел всех.

— А верно... ничего нет... Полный застой. Ни в какую не чирикает...

Мирон тоже приложил руку к груди Никиты. Тело было вязко, и никакого движения сердца и легких под рукою он не почувствовал.

Матвей поелозил рукою по телу Никиты и утешил:

— Отудобит, сорока-барыня, не впервой... это у него — в практике...

VII. ВЫСОТЫ

1

Аспидное здание управления строительства вздымалось на самой высокой выпучине холма. Оно блистало огромными стеклами, которые размыто отражали и синеву неба, и целые планы строительных картин, и кудрявую зелень бульвара, и плавные волны овсов в пустырях. Чтобы погасить пыль и опрохладить жару, всюду на пустых местах засеяны были целые поля овса, и они дышали теплыми запахами солода. Позади управления, до самого горизонта, — большой город кирпичных и голубых коттеджей и многоэтажных корпусов общежитий, и их твердые ряды разграфлены широкими улицами в мостовых и тротуарах с аллеями лип, берез и тополей. В прошлом году, ранней весной, эти взрослые деревья привезены были прямо из лесу. По обе стороны управления — густые заросли скверов в перепутанных дорожках, посыпанных гравием, будто пшеничным зерном, — продукт размола гранитов на камнедробильных заводах. Этот гравий хрустел под ногами промороженным снегом. Мимо здания упруго горбилось шоссе. Здесь проносились мимо и стояли у подъездов глянцевитые автомобили. Здесь же неподалеку останавливались пассажирские автобусы. Хрипели тяжелые грузовики, сотрясая почву, и толпами сновали озабоченные люди — служащие, рабочие, инженеры. Здесь постоянно бился напряженный пульс строительной жизни, здесь многолюдный административный аппарат, с многочисленными секторами, в прохладе просторных белых комнат, залитых светом, работал по строгому плану. Это был гигантский пульт, где точные приборы отражали все сложные и многообразные процессы совершающихся работ на строительстве. Очень далеко на горизонте пылятся и реют ажурными лесами заводские комбинаты. Отсюда ничего не видно, кроме призрачных золотых вспышек и застывших на небосклоне строительных лесов, а пульт чутко и четко отражает все процессы, все перемены, весь сложный переплет далекого труда.

В комнате заседаний технического совета, прозрачно голубой (стена на восток — вся из стекла), за длинным красным столом, в два ряда, лицом друг к другу сидели инженеры, заведующие разными объектами строительства, и два заместителя начальника — Шлиппе и Стрижевский. Все были в сборе, и в комнате, строго деловитой, с портретами Ленина, Сталина и Орджоникидзе, рокотали приглушенные голоса. Все говорили друг с другом вполголоса, соблюдая чинность и почтительное уважение к месту.

У Стрижевского бледное лицо, барская чистоплотная седина, заботливо выбритые щеки и подбородок. Шлиппе уморительно прятал свою усмешку в бороду, и те, кто встречался с ним взглядами, тоже прятали улыбки в усы и бородки, склоняли головы над столом и старались быть серьезными. Стрижевский сидел над каким-то делом и читал внимательно и бесстрастно. Одет он был в белый костюм. Впрочем, большинство инженеров были тоже в приличных костюмах, только геолог Борзяй, с опечаленным лицом, неопрятно открывал тощую грудь, да старик архитектор Митрохин, зеленый от седины, был в косоворотке. Митрохин прислушивался к соседям и одобрительно кивал головою: он не понимал, что говорили другие, но жадно слушал и улыбался. И никто не удивился, когда он пропел старчески:

— В мое время молодежь работала не так: с прохладцей работала — когда и как хотела. Жизнь была меньше, а люди неторопливы. Теперь же посмотришь: откуда что берется — переворачивают целый свет. Какая интересная и значительная стала жизнь и какие большие стали люди!..

Инженер Бубликов, с квадратной черной бородой, с сердитым ершиком и наркотическими глазами, оборвал его ехидно:

— Вы лучше расскажите-ка о бродячей собачке, которая возродила вас к новой жизни.

— Что же, дорогой мой, у каждого из нас есть своя собачка.

— Это только у вас — собачка, а у других — грязные крысы...

Игнатий Игнатьевич Шагаев ехидно съязвил:

— Но всем, между прочим, известно, что крысы живут только в подполье и во всяких прочих темных местах.

Бубликов мгновенно спрятал от него свои наркотические глаза, повернулся всем телом к Кряжичу и зашептал ему что-то на ухо, похлопывая ладонью по красному сукну. Кряжич отпрянул от него, и в глазах его метнулся ужас. Но он мгновенно оправился и засмеялся громко, со вздохами. Все удивленно повернули к нему головы, кроме Стрижевского. Шагаев, не отрывая воспаленных глаз от Кряжича и Бубликова, щекотал их подмигивающей улыбочкой. Видно было, что Кряжич тяготился соседством Бубликова, он тосковал в этой суровой комнате, принужденный сидеть плечом к плечу с людьми в нудном ожидании Балеева. Он опасливо отстранялся от Бубликова, который прилипал к нему, как заговорщик. Соображая что-то про себя, точно осенила его какая-то внезапная мысль, Бубликов заботливо и неторопливо вынул из бокового кармана блокнотик и, закрывая его левой рукой, начал быстро писать. Подумал, вырвал листик, а блокнотик спрятал обратно в карман. Опять просмотрел записочку, посображал и быстро подвинул ее Кряжичу. В зрачках Кряжича вспыхнуло изумление. Он спрятал бумажку в карман и, не замечая тревожного порыва Бубликова, вскочил со стула и отошел к гигантскому стеклу. Он волновался. Из этого окна он любил смотреть на строительную путаницу плотины, на стрелы кранов, на величественную гребенку бычков. Это его произведение, которое пойдет в века: оно дышит и живет, оно смотрит на мир его глазами. Это сооружение стало родным. Его жизнь неразрывно связана с жизнью этой громады, и это чудовище неизбежно сожрет его самого. Он много строил и всюду оставлял себя по частям, а здесь он принесет в жертву себя без остатка. Для чего? Во имя чего?

Борзяй молча следил за ним своими опечаленными глазами, далекий всем, ушедший в себя.

Говорили группами, смеялись, где-то в конце стола сдавленно хохотали — должно быть, кто-то рассказы-

вал анекдоты. Архитектор тянулся туда и тоже смеялся — так, беспричинно, заражаясь чужим смехом. Но он больше вслушивался в разговор инженеров неподалеку от себя.

Там спорили о встречном плане в шестьсот тысяч кубометров бетона, и многие инженеры только смеялись, не вступая в спор. Горячим защитником этого лозунга, выдвинутого общественными организациями, был инженер Баранников, бывший рабочий. Из массы всех этих почтенных специалистов он резко выделялся своим обликом заводского пролетария. На него напало сразу несколько человек, седовласых инженеров, которые не считали нужным всерьез обсуждать этот вопрос, а только пренебрежительно бросали ему ехидные фразы. Если он, Баранников, считает себя инженером, то должен знать, что при отсутствии подготовленной рабочей силы, даже при техническом оснащении, глупо отстаивать эту сумасбродную цифру. При всех благоприятных условиях строительство с грехом пополам едва-едва может вытянуть хозяйственный план. Но сейчас и это — фантазия. И сроки упущены, и рабочих нет, и механизмы не освоены. Баранников — юморист. Демагогия, может быть, уместна в известных случаях где-нибудь в цеху, а не на деловом совещании. Здесь она похожа на злую шутку. В устах же инженера это звучит дико. Глаза его, умные и свежие, смело глядели на этих почтенных людей, и он грубовато трунил над ними, изобличал их в кастовой замкнутости, в рутинности, в отрыве от действительности. Их знания и опыт ограничены малыми масштабами прошлого. Старые графики, нормы и пределы уже не согласуются с практикой жизни, и жизнь нельзя поправлять этими нормами. Необъятные размахи строительства, мощная механизация, десятки и сотни тысяч рабочих, быстрое освоение механизмов сокрушают их пределы и графики. Социалистическое соревнование вносит новую, невиданную производительность труда — труда сознательного, согласованного, творческого, о чем нельзя забывать... Ему насмешливо отвечали несколько голосов, что пока еще нет ни массового, ни творческого труда, не говоря уже об уменье управлять

механизмами: мы пока видим порчу этих механизмов и постоянные простои и прогулы.

Но неожиданно вмешался в разговор Шепель. При общем молчании он отчетливо и решительно, с холодным блеском в глазах, заявил, что в словах Баранникова нет ничего смешного, что ему, Шепелю, стыдно смотреть на уважаемых коллег, которые унижают себя своим высокомерием и несерьезным отношением к делу. Он высоко ценит их знания и опыт, но и Шепель не первый год работает по гидротехнике, а уважаемые коллеги знают его достаточно хорошо. И тем не менее он должен принять сторону Баранникова. Хотя Баранников и не гидротехник, но у него, как у общественного человека, — широкий исторический и политический кругозор и знание народа. И Шепель начал говорить о том, как у него успешно работают механизмы, как он вербует людей и делает из них мастеров, как люди рвутся на курсы и учатся там с большим прилежанием. Он вызвал ропот среди собеседников, когда упрекнул всех в том, что в прорыве виноваты не рабочие, не сезонники, а в первую голову те, кто не понимает совершающихся событий в нашей стране.

Кряжич издали, от окна, крикнул, ни к кому не обращаясь:

— Нет, вы мне лучше скажите, куда вы всунете человека. Что вы там толкуете о каких-то событиях, о переменах и политике!..

Баранников спокойно, холодно одернул его:

— Человек — не клин, в жизнь его не вобьешь; он сам должен создать себе свое место. Вам, Кряжич, говорить это непристойно.

Кряжич фыркнул и забарабанил пальцами по стеклу.

Бубликов с вызывающей наглостью в глазах резко крикнул, вытянув руку и отталкиваясь от стола:

— Ну, я-асно, я-асно, граждане... чего вы спорите? Разумеется, новые ме-этоды... новая те-эхника... ударничество... Как вы этого не понима-аете?..

Шагаев раздраженно выкрикнул:

— Но, товарищи, надо же признать, что интеллигенция еще не научилась работать в новых условиях. А пора уже научиться. Таких широких возможностей для проявления своих сил и талантов, как в наши дни, еще никогда не было в прошлом. Мы люди малых масштабов и низких производительных сил. Это же истина. Мы росли и жили под постоянной опекой. Теперь нам просто страшно от больших размахов, от громадных темпов, от отсутствия привычной охранительной опеки. Мы слишком свободны. Да-с. И оттого, что мы слишком свободны, нам кажется, что мы в неволе. Непосильная свобода редко кому по плечу. Надо иметь мужество быть свободным.

Архитектор так и ахнул от изумления:

— Вот! Именно так... Превосходно сказано. Чудесные слова. Работать, только работать надо. Замечательное время, великие возможности. Как это странно — не видеть, господа?.. Надо почувствовать это, господа... нутром... всем существом, господа...

В разных местах засмеялись и посмотрели на него, как на шута, который сморозил уморительную глупость.

— Были господа, да сплыли... Что это вы... с крыши свалились, что ли?

Митрохин не понимал и смущенно оглядывал всех:

— Ну, что тут, боже мой!.. Вырвалось по старой привычке... Вот эти привычки-то нас и губят. Была бы душа чиста и стремления благородные, а слова — это только отрыжка.

2

А в кабинете помощника начальника объединенного строительства, товарища Чумалова, сидели дружеской компанией: Мирон, Дубяга, Байкалов, Осокин и Шалнин. Чумалов ночью возвратился из Москвы, где он пробыл полмесяца по делам строительства, а теперь стоял за своим столом, в военной (по старой привычке) рубахе, высокий, плотный, заряженный Москвою, здоровый и свежий. В углу рта — неизменная трубочка. Одна рука в кармане, другая принимала

участие в разговоре. За открытым окном глубоко и воздушно горел июль. Чумалов больше разъезжал по Союзу, чем сидел в этой комнате: полмесяца — здесь, месяц — в разъездах: по заводам, где выполнялись заказы, оттуда — в Северолес, потом — вУраллес, потом мчался в Югосталь, в Гипромез. Возвращался усталый, но бодрый.

Говорили о Москве — о новостях в политической и хозяйственной жизни, о том, чем дышит теперь столица.

— Сейчас в центре внимания — новостройки... Куда ни сунешься, везде одна тема — новые строительства: Кузбасс, Магнитогорск, Урал... Потом — нефть, уголь, транспорт. Одним словом — то, чем и мы волнуемся с вами... Ну, конечно, и коллективизация, сельскохозяйственный фронт...

— А об нас совсем забыли... — вздохнул Осокин. — Сколько сделано, сколько труда положено!.. И массы здесь выросли...

— Да, к нам уже стали относиться с прохладцей — это верно... Ведь мы же, говорю, создаем огромный промышленный район на основе широкой электрификации, а вы нас в грош не ставите... А когда-то орали на весь Союз. Заводы чихают на свои обязательства.— Чумалов вынул трубку и засмеялся ноздрями. — Вы сейчас, говорят, на твердой базе — о вас беспокоиться нечего. Вот какая в нас вера!

— Ох, уж эта вера!.. — сердито заершился Осокин. — Вера-то осталась только у чиновников да у старух... Организованный пролетариат не веры требует, а внимания. Уж позвольте ему самому верить в свои силы...

Осокин смотрел на Чумалова и любовался им: какой бравый парень, как люди сбились крепко и добротно! Вот он: был когда-то слесарь, потом где-то восстанавливал завод, потом — на хозяйственной работе, — и смотри: уверен в себе, горд. Гнется, кажется, под тяжестью обязанностей и забот, а становится еще крепче, мозолистее, и во всей фигуре строгость и сознание ответственности, но парень — простяга, без гонора, без самолюбования, — рубаха-парень. Еще молодой, а седина уже искрится в волосах.

Байкалов встал и прошелся по комнате, прислушиваясь к самому себе. Все посмотрели на него молча, с участием, но всем было неловко: вот они — здоровые, бодрые, с жизнерадостной шуткой на языке, а он умирает на их глазах, и ничем они ему помочь не могут. И когда он опять шел от двери к столу, измученный недугом, с печалью в глубине глаз, глухой его голос был похож на стон:

— Гляжу вот: какие невиданные чудеса! Борьба гигантов... Не могу утерпеть и трех дней, чтобы не побывать здесь. Какие мы переживаем счастливые дни! Просто надрываешься от жизни. А давно ли мы дрались на этих пустых полях? Помнишь, Ватагин? Большое время должно создавать и больших людей. Но мы еще не научились экономить свои силы. Тратим их часто совсем непроизводительно.

— Не все сразу делается... ты очень нетерпелив, друг, — засмеялся Чумалов.— Еще не совсем овладели культурой. Рванули, брат, здорово... Так рванули, что прошлые революционные эпохи — чепуха в сравнении с нашей. Своим умом приходится до всего доходить, своими силами осваивать технику. Надо создавать людей.

Осокин вздохнул и горестно взмахнул рукою:

— А тут без тебя, милок, отступила наша сезонная армия. Но зато какой энтузиазм охватил рабочих! Вот дела-то какие! Видел, как котлован-то затопило?

Чумалов пристально поглядел на него, как на ребенка.

— Ну, а чего ты глядел? Массы разбежались, а ты где был? Очень ты любишь толкаться среди людей, а они у тебя утекли сквозь пальцы. Взгреть тебя надо с Ватагиным.

— Все виноваты, родной... Все мы плохо заботились о массах... все... и ты в том числе... Кто должен устраивать бытовую сторону? Мы. Мы же и в ответе. Плохо кормили, плохо с жильем...

Мирон не слушал. Он как будто считал весь этот разговор пустым и ненужным, и люди как будто со-

всем не интересовали его. Он сосал трубку и смотрел мимо всех.

Чумалов перевел на него глаза, и они вдруг молодо вспыхнули, точно он вспомнил о чем-то приятном и радостном.

— Да, Ватагин... встретил я однажды твою жинку.

Мирон встрепенулся, но лицо повернул к Чумалову медленно и равнодушно.

— Хорошая баба. Просила напомнить, что пора уже тебе заявить в загс о расторжении брака.

— Успеем — время не ушло.

И всем было непонятно, шутит он или говорит серьезно.

— Прихромов тебя здорово костил. Ежели, говорит, приедет — выпорю, а не приедет — за душу вытащу, и не будет ему пощады.

Мирон даже дрогнул от неожиданности.

— Прихромов... Вот человек!..Редчайшей чистоты!.. Я ему многим обязан... никогда не забуду. Бешеный я был на войне. Однажды даже застрелить его хотел. Вмешался в мои действия. Выхватил я револьвер, а он идет на меня, смотрит прямо в глаза и очень спокойненько, дружески этак говорит: «Ватагин, не забывай, что непоправимая ошибка — цена жизни». И обнял меня.

— Знаю, знаю эту вашу историю, — заметил Чумалов. — Об этом много тогда говорили.

Байкалов ожил — он даже выпрямился и посвежел.

— Да, да, при мне это было... Хорошо это у вас кончилось: вместо стрельбы целовались взасос. Замечательное было время.

Чумалов, не угашая улыбки, опять перешел на деловой тон:

— Ну, так вот. К вашему сведению, я назначен первым заместителем.

— Ого, милок!.. — взволновался Осокин. — Теперь мы заживем. Это, родной, теперь — наши высоты.

— Не радуйся, Осокин. Балеев будет рвать и метать.

Шалнин встал и на цыпочках, вбирая голову в плечи, вышел. Все взглянули на его спину и многозначительно усмехнулись: пошел, дескать, посплетничать с другом — с конопатым Самородовым, секретарем начстроя.

Дубяга стоял у окна и молчал. Сегодня он был необычайно тревожен. Но он хорошо дисциплинирован — держал себя ровно и спокойно.

— Да, развернули здорово. Глазом не окинешь. Мне кажется, что в каждый свой приезд я проверяю здесь свой рост. Возвращаешься домой — и меняются масштабы. Но еще острее это ощущение, когда ныряешь по полям. Старая деревня разрушена, а в каких муках рождается новая!.. Я знаю деревню с детства, и эти муки ее чувствую и понимаю немножко глубже, чем вы.

— Вот это и замечательно! — Чумалов взмахнул трубкой от удовольствия.— Сегодня ты впервые сказал самые жизнерадостные слова. Муки родов! Гордись! Помогай мучительным родам. Радостная обязанность.

— Да, мучительная обязанность. Прямо больным становишься, когда возвращаешься в город. Нервы разбалтываются вдрызг. Некоторые наши работники не выдерживают...

— Какой же ты акушер, Дубяга, ежели страдаешь от этих родовых мук и хватаешься за сердце?

— Мы люди, Чумалов... — вздохнул Осокин. — Поменьше острых углов. Владимир Ильич обладал сердцем великой чуткости и глубины.

Мирон прищурился и усмехнулся.

— Сердце должно быть умным, Осокин, это хорошо показывают нам вожди.

Дубяга внушительно возразил:

— Революция, Ватагин, — это политика. Без осторожной тактики никакая революция не делается. Не забывайте принципа равновесия...

Мирон с трубкой во рту невозмутимо следил за Дубягой.

— Это о каком ты равновесии говоришь, Дубяга? Поясни, пожалуйста. Я знаю об одной такой дрянненькой теорийке... На нее ты, что ли, намекаешь?

— Грубовато, Ватагин. И не остроумно. Равнодействующая одинаково законна как в физике, так и в общественных отношениях. Искусство революционной тактики состоит в уменье сочетать моменты наступления и отступления. Политика требует глубокого и тонкого понимания вещей. Тактика — это учение о такте. Можно и сложные узоры вышивать, можно и дрова рубить. Нужно превосходно знать деревню, чтобы призывать к величайшей осторожности. А мы прем очертя башку, крушим все направо и налево... Я же, партийный руководитель, — дурак дураком...

— Ага, вот ты о чем... — равнодушно отметил Мирон, не глядя на Дубягу. — Зачем же ты виляешь? Так бы прямо и сказал: я — против революции в деревне, против политики партии, против коллективизации...

— Я протестую, Ватагин!..— бледнея, крикнул Дубяга. — Это — грубейшая демагогия...

— Подожди, не волнуйся... — Мирон поднял руку и с враждебным спокойствием продолжал: — Когда в деревне драка, взрываются глубокие пласты и производительные силы дробят и соху, и цеп, и старое прясло и стирают межи,— как можно говорить о каком-то равновесии и странной равнодействующей? Это же чистейшая метафизика. Энгельс еще задолго до твоего рождения пророчески предсказал тот великий переворот в деревне, который ты так панически переживаешь. Надо быть подлинным большевиком, чтобы не забывать известного тезиса о фабрике в селе, которая разрушает всякое средостение между городом и землей. Ты воюешь против бури, Дубяга.

У Дубяги сильно дрожали руки и голова.

— Согласен, сильно берешь на шарап, Мирон Васильевич. Но ведь я же — не из наивных простачков. Не с того боку бьешь, друг...

Мирон переглянулся с Глебом, который исподлобья посматривал на Дубягу, и усмехнулся.

— Жалость нас обуяла к мужичку, Дубяга... обижаем мы мужичка... Что же это такое? Болен ты или ошалел с перепугу?

Чумалов засмеялся.

— Ты, Дубяга, что-то подозрительно играешь

в осторожность. Меньшевики из этой осторожности сделали себе фетиш и превратились в лакеев буржуазии.

Байкалов задумчиво, как бы про себя, отметил:

— Дубяга страдает одной слабостью, ребята. Он склонен к эмпиризму. Он слишком чуток к фактам.

— Все эмпирики — сердечные люди,— насмешливо заключил Мирон. — Они всегда вешают собак на систему, то есть фактами принижают идею.

— Марксизм — не догма...— хрипло крикнул Дубяга. — Не забывай Ленина. Мы обязаны проверять нашу работу и выпрямлять линию. Все события, которые произошли на стройке, бьют прежде всего тебя. А почему? Потому, что ты смотришь на факты с высоты своего величия.

— Перестань, Дубяга, смешно. Зачем ты это говоришь?

Мирон отмахнулся от него и опять обменялся улыбкой с Чумаловым. А Чумалов уже бунтовал: у него раздувались ноздри, прерывалось дыхание, и он не знал, что делать со своими руками.

— Ты эти свои факты, Дубяга, делаешь поводырями слепых. Ты ползаешь перед своими фактами. А я как большевик эти факты делаю своим оружием. Я... понимаешь ты?.. Я хочу быть хозяином всех своих фактов. Хозяином. Вот как надо ставить вопрос. Не они, как стихия, должны меня бить, а я вот хватаю их за башку (он сжал кулаки и потряс ими изо всех сил и сам затрясся), заставляю их служить мне так, как требуют наши революционные цели.

— Выходит, что Ватагин и сына потерял из-за презрения к фактам? Слишком уж накладно для идеи.

Мирон добродушно согласился:

— А что ж... Для целей революции я считаю за счастье пожертвовать своей жизнью. В прошлом мы с Байкаловым и Чумаловым готовы были на это каждую минуту... А сын мой тут совсем ни при чем, дорогой Дубяга...

Неожиданно в комнату быстро вошел Балеев. Он никогда не заходил к Чумалову, а с остальными встречался только в тех случаях, когда нужно было согласовать некоторые хозяйственные и трудовые вопросы.

Балеев был как будто немножко смущен, но видно было, что он в хорошем настроении и ему приятно видеть всех этих людей.

— Слышал, слышал, товарищ Чумалов, что возвратились. Очень рад. Ну, как? Что в Москве? Как с выполнением заказов?

Чумалов, не меняя позы, немного подобрался и ответил с почтительным достоинством:

— Добился специального постановления о твердых сроках выполнения заказов. Но заводы загружены, Викентий Михайлович. Нам придется собрать что-то вроде конференции исполнителей, чтобы с ними договориться.

— Правильно. Мысль хорошая. Это мы разрешим на техническом совете. Вы уж возьмите это на себя.

Мирон незаметно наблюдал Балеева и удивлялся: в «хозяине» совершились какие-то странные перемены. Откуда такая дружеская простота? Куда девалась его величавая неприступность?

— Кстати, товарищ Чумалов, вы назначены первым заместителем. Я только удивлен, что это произошло без моего ведома. Кроме того, ведь вы не инженер.

Чтобы удобнее было глядеть на Балеева, Мирон встал и веско, с холодной предупредительностью сказал, подчеркивая слова трубкой:

— Это назначение, Викентий Михайлович, необходимо для укрепления связи между организациями и вашим руководством. Побеседуйте с Серго.

Они встретились взглядами и улыбнулись.

3

Все заворошились, задвигали стульями. Мирон и Байкалов сели около Стрижевского, а Дубяга и Осокин — рядом со Шлиппе. Чумалов и Шалнин — отдельно, за Балеевым. Даже и в эту минуту Стрижевский не оторвался от бумаг.

Балеев был необычно благодушен, и от этого все чувствовали себя тревожно.

— У нас на повестке, товарищи, стоит доклад отдела экономики труда. Насколько я с ним ознакомился, все положения этого доклада устарели.

Балеев на мгновение остановился, улыбаясь своим мыслям, а Стрижевский, блистая зубами, умело вставил свое замечание:

— Но заслушать доклад все-таки не мешало бы, Викентий Михайлович. Это облегчило бы техническому совету задачу организованного и пунктуального обсуждения данного вопроса. Я сейчас ознакомился с этим докладом и, признаюсь, немного удивлен вашей позицией.

Балеев нетерпеливо дернул головой.

— Это лишняя трата времени. Мы должны ввиду чрезвычайности событий поставить сейчас вопросы совершенно по-новому. Обстановка изменилась радикально. Специального доклада не будет. Вы не возражаете, Шалнин? (Шалнин беспомощно взглянул на Мирона: «Да, да... разумеется, Викентий Михайлович...»). Ну, так вот-с. Дела обстоят так, что мы должны прямо и бесстрашно посмотреть правде в глаза и признаться, что работали до сих пор плохо.

Инженеры сидели хмуро, замкнуто и прятали глаза. Только архитектор смотрел на начстроя с восторгом, да Шагаев колол всех нервными глазами. Баранников смотрел на Балеева исподлобья, точно не верил ни одному его слову.

— Это очень эффектно, Викентий Михайлович! — раздражительно засмеялся Кряжич.— Значит, все усилия, все труды наши ухлопаны впустую? Значит, все три года наших напряжений — сплошная идиотская толчея. Что же это, скажите, пожалуйста, за комедия?

Балеев, к удивлению всех, не вскипел, не одернул Кряжича, как это часто с ним случалось на заседаниях, когда кто-нибудь перебивал его несдержанной репликой.

— Вы меня не поняли, Николай Николаевич. Я только обращаю ваше внимание на то, что в методах нашей работы было много механического. Последние события потрепали нас здорово: наши позиции оказа-

лись никуда не годными. Во всякой войне победителем оказывается тот, кто не только вооружен совершенной техникой, но и понимает смысл и цели борьбы. Мы с вами упустили главное, то есть мы недостаточно усвоили, что строим не только плотину, не только электроцентраль, но и создаем жизнь высшего качества. Поэтому наша работа приобретает значение не только чисто профессиональное, но и общественно-историческое. Социализм в практике инженерно-технического труда — это не столько наша кропотливая специфика, сколько творческое созидание реальных основ для окончательного осуществления новой системы человеческого общежития. Это надо уяснить себе раз навсегда.

— Для меня, как гидротехника, ваши слова, Викентий Михайлович, не имеют смысла.

Лица над красным столом замкнуто заулыбались в переглядках, а некоторые посматривали на Кряжича и на Балеева с испугом, прячась друг за друга.

Балеев и теперь удивил всех: он не прикрикнул на Кряжича, а примирительно сказал, улыбаясь:

— Не будем спорить, Николай Николаевич. Важно приготовить котлован к сроку и закончить основания всех пятидесяти трех бычков.

Больших речей в техническом совете не допускалось — Балеев не любил многословия. Каждый брал слово только для того, чтобы внести короткое и четкое предложение. Если кто выходил из двух-трехминутного срока, он грубо обрывал и переходил к другому. А Мирону хотелось немножко распоясаться. Но он не хотел нарушать этого правила, чтобы не попасть впросак.

— Говорите, товарищ Ватагин. Только конкретно и пунктуально. Действуйте, голубчик!

И это «голубчик» прозвучало тепло и изумило всех.

Мирон отметил, что работы на строительстве шли не так уж плохо: все три года календарные планы выполнялись хорошо. Если не входить в причины теперешнего прорыва, — а причины эти сложны и очень поучительны, — то надо признать, что последние

события застали всех врасплох. Виноваты в этом и общественные организации и управление. Проглядели, жили спокойно. Привыкли к самотеку и обезличке. Он, Ватагин, в первую голову отвечает за все, и он же прежде всего обязан немедленно помочь управлению выправить положение. Но теперь уже этого недостаточно. Надо в корне изменить всю систему труда и руководства.

Викентий Михайлович нахмурился и понудил его сократиться. Мирон тоже нахмурился, но подчинился. Он чувствовал, что перед этими людьми нельзя выступать с обширными тезисами. Нужно встряхнуть эту публику, взволновать ударными предложениями, которые заставили бы их задуматься. Его интересовало и другое: кто из них — друг, кто — враг, как они будут вести себя, что скажут. В такие минуты не только открытое противодействие раскрывает человека, но и особый характер молчания. И пункт за пунктом он отчеканил свои предложения. Надо спешно вербовать рабочих на стороне: этим уже заняты и управление и общественные организации. Спешно приготовить машинистов, такелажников, десятников и так далее, увеличить число курсов по техминимуму, провести в жизнь рационализаторские предложения. Усилить социалистическое соревнование, воодушевить всех, поднять массы на борьбу за высшие показатели. Бой за шестьсот тысяч кубометров должен быть основным лозунгом и для рабочих и для инженерно-технического персонала. Надо сделать все, чтобы плотину обязательно закончить к зиме.

— Да ведь это же чистейший вздор!.. — крикнул кто-то с злым хохотом. — Надо же думать... Вы же об этом не имеете никакого понятия...

Шлиппе насмешливо заиграл бровями и с притворным ужасом схватился за бороду. Стрижевский настороженно поднял голову и сверкнул зубами в улыбке.

— Всякие планы создаются не по капризу людей, Викентий Михайлович, а продуманно, на основе целого ряда технических и экономических возможностей. Мы же не спортом занимаемся.

Балеев строго стукнул карандашом.

Мирон пристально посмотрел в лицо Стрижевского и подождал, не скажет ли он еще что-нибудь, но замнач с тонкой усмешечкой опустил голову.

На мгновение Балеев и Ватагин встретились взглядами и поняли друг друга. Викентий Михайлович ненавидел Стрижевского, и Мирон почувствовал, что между ним и начстроем стоит этот седоусый человек, что с этого дня этот Талейран будет вести непримиримую борьбу и тайно, неуловимо тормозить и разрушать работу. И Мирон улыбнулся Балееву, блеснула улыбка и в бронзовых глазах Викентия Михайловича. Оба они почувствовали, что стали ближе, что между ними исчезла былая тень взаимного отчуждения.

Мирон перевел глаза на бородатого Шлиппе, на Шепеля, на Бубликова и посмотрел вдаль — на Кряжича. Закончил он твердым категорическим заявлением, что нужно готовиться к проведению сквозного договора по соревнованию, что темпы строительства должны подниматься беспредельно, что встречный план массы реализуют всеми мерами и средствами, что эту задачу решат техника и живые люди. Товарищам инженерам надо только возглавить движение и мобилизоваться на боевую работу до конца стройки.

Стрижевский по-прежнему сидел, склонив голову, кусая усы, а Шлиппе растерянно хватался за длинную бороду и беспомощно ловил взгляды Балеева и Стрижевского.

Бубликов сидел боком к столу и барабанил пальцами по зеленому сукну. Казалось, что он нетерпеливо ждал окончания речи Ватагина, чтобы встать и заявить протест против предложений Мирона.

Рядом с ним покоился в непроницаемом молчании мостовик Старателев, длинноголовый, длинноносый, с жиденькой бородкой моложавый человек. Он всегда молчал на заседаниях, к прениям относился безразлично. Вероятно, он считал эти заседания бессмысленными, так как жизнь все равно не подчиняется никаким резолюциям.

— Старателев мудрец, — острили инженеры.— Это человек с иммунитетом. Он знает, что молчание — большое искусство.

Баранников в нескольких словах приветствовал предложение Ватагина как обязательную директиву партии и правительства и объявил себя мобилизованным для проведения этих мероприятий.

К нему присоединился Шепель, заверив собрание, что он обязуется приготовить квалифицированных рабочих на плотину. А заключил словами: «Знание и техника решают все».

Ему похлопали Осокин и Чумалов. Балеев строго посмотрел на них, и они опустили руки.

Встал Митрохин и торжественно пропел, задыхаясь от волнения:

— Я вот, друзья мои, — старик... прожил три царствования... и опыт жизни моей и моего труда — не из легких... Многое я видел на своем веку... Страна наша сидела сиднем, и народ был по горло закопан в землю... И я сам начинаю жить только теперь...

— Нельзя ли без декламации? — грубо оборвал его Балеев. — Что вы хотите сказать?

— Разрешите мне, друзья, объявить себя тоже мобилизованным... с восторгом отдам все свои силы...

Это было смешно и трогательно. Осокин не утерпел и с влагой на глазах опять захлопал в ладоши:

— Очень хорошо, товарищ Митрохин!.. Очень хорошо!.. От души!..

Некоторые засмеялись, но почувствовали, что смех их некстати, и сразу же сделали серьезные, глубокомысленные лица.

— Ну, что скажете вы, Николай Николаевич? — Балеев пытливо взглянул на Кряжича. — Вам по праву принадлежит слово.

— Мне нечего мобилизоваться. Я уже давно мобилизован. Я работаю не покладая рук и эту работу считаю делом чести. Мало этого, я, позвольте вам заметить, страдаю одной слабостью: я живу этой работой, — я ее пленник... Меня могут оторвать от моей работы только какие-нибудь внешние силы, которые от меня не зависят.

Мирон почувствовал горячее дыхание у своего уха и шепот Байкалова.

— Ты понимаешь... этот тип... он же бла-го-роден, как Несчастливцев... понимаешь, Ватагин?

Байкалов — глуп. Он воспринимает людей нервами, обостренной впечатлительностью. Мирон же едва сдерживался от вражды к Кряжичу. Уж слишком играет он своим благородным пылом... Почему о нем не говорят ни Татьяна, ни Феня? Он способен очаровать этих девиц. Неужели ничего не видит Балеев? Он верит ему безраздельно, потому что не желает в нем видеть ничего, кроме технических знаний.

Общее изумление потрясло все собрание. Бубликов встал, вытянул руки по швам и отрапортовал небрежно:

— Я следую за нашим старцем-архитектором и инженером Баранниковым... а-а... которые так сильно выразили свой пафос. Мобилизуюсь на все сто процентов.

VIII. УЮТНОЕ ГНЕЗДО

1

Мирон вошел в пустой двор, засыпанный песком, с разрушенными постройками.

На крыльцо бойко выбежал белокурый мальчик лет четырнадцати с футбольным мячом в руках. Задорно курносый, бронзовый от загара, он зорко осмотрелся по сторонам и уставился на Мирона. Это — Алешка, сынишка Осокина. Он быстро сообразил что-то и бросил мяч в Мирона. Ватагин подхватил его, ударил о землю и ловко поддел носком башмака. Мальчик пролетел мимо, размахивая руками.

Мяч скакал по сожженной траве двора. Алешка бежал за ним гибко, легко, точно резиновый. Коричневое тело его в металлических отблесках играло детскими мускулами. Мяч ударился о зеленый валун, подскочил и брякнулся в грудь мальчика. Ударом ноги Алешка швырнул его вдоль двора, к дому. Мирон понесся наперерез. Где-то рядом уже вспыхивала искрами головенка мальчишки, который громко кричал,

оспаривая победу. Мирон упал на мяч всем телом, подмял под себя и заорал на весь двор:

— Мой!.. Не уйдешь, стервец!..

Алешка подпрыгивал около него и кричал в негодовании:

— Э-э! Дядя Мирон!.. Так нельзя... Это не игра... Это жульничество...

— Ничего подобного... Это называется взять свое... Ты сам первый обжулил вначале...

Мирон поднялся, весь испачканный пылью и песком. Негодование Алешки только подзадоривало его. Он бросил мяч, прицелился и опять поддал его носком. Кожаный шар взвился ввысь и стал очень маленьким. Видно было, как он вертелся в полете и чуть отклонялся в сторону, падая в пустырь.

Мирон сбивал ладонью пыль с груди и колен. Из открытого окна кухни, в котором роились мухи, смотрела Марья Петровна и покачивала головой в белой повязке. Ей было самой занятно и весело, и она бросила даже работу около плиты.

— Ну, идите, идите, Мирон Васильевич! Пирожки с картошкой — горя-ачие... Помальчишничал — и хватит. Мой изверг опять понагнал людей. Прямо — рыболов. Сидит и чешет душу.

Около нее, где-то во тьме кухни, плаксиво ныли двое ребят:

— Ма-а!.. Да-ай!..

— Ма-а, чего Володька тычется? Я ем, а он тычется...

В комнате было душно, хотя в открытые окна врывалась улица. Вихрями метались мухи. Стол, покрытый блистающей клеенкой, стоял у окна, и самовар ослеплял глаза пронзительными вспышками. Пахло постным маслом и жареным луком. На полу сидела полуголенькая девочка в кудрях и играла с кошкой. За окном воздушно вихрилась зелень палисадника.

Шалнин сидел боком к столу и упоенно играл на гитаре. Он никого не видел, ничего не слышал и даже не заметил, как вошел Мирон. Басы грустно мычали, а тонкие струны отщипывались пальцами легко и нежно. Струны стонали и плакали совсем некстати.

За столом сидели, потные от духоты, чая и пирожков, свои ребята: сразу бросился в глаза Цезарь, с бледным лбом в высоких взлизах, Паша и секретарь комсомола — Васяй. Поодаль, с трубкой во рту, — Бычков, в неизменной просаленной кепке, которую он никогда не снимал. А зачем затесался сюда Хабло? Этот коммунист-инженер никогда не якшался с их домашней компанией, в партком заходил редко, и Мирон чувствовал к нему непреодолимую антипатию, хотя для этого не было никаких оснований.

— А-а, вот он, наш Мироша!.. — Бесчисленные морщинки заиграли на лице Осокина. — Иди, иди, родной!.. и пирожки заждались, и самовар заснул от скуки. Где ты пропадал, неладный?

Обрадовалась и Паша, и от улыбки рябое лицо ее стало озорным. Васяй молча поднял руку и приветственно помахал ею над головой.

Хабло лениво ходил по комнате и брезгливо жевал пирожок. Волосы причесаны у него заботливо. Выбрит гладко. Невыносимо было для Мирона его лицо: малярийное лицо, а глаза далекие, слепые, но пристальные. Весь он казался Мирону фальшивым; нельзя было угадать, в чем он был настоящий — в этой ли прилизанной сосредоточенности, или в своем голосе, который совсем не шел к его облику: этот голос был неожиданно резок и небрежен. Хабло сначала как будто не обратил внимания на Мирона и раза два прошел мимо него, страдая от малярийного озноба, а потом безучастно сгрубил:

— О тебе рассказывают, Мироша, что ты закручиваешь с девочкой кренделя на реке. Не давай повода к похабным сплетням: ты — секретарь. Известный наушник Шалнин уже смакует непристойный анекдот о тебе, созданный юмористом Самородовым — камергером начстроя.

Мирон холодно отвернулся от Хабло. Смеялся морщинками Осокин, гневно метнула очками Паша, а Васяй даже испуганно вздрогнул, Цезарь подпирал голову рукой, защищая ею переутомленное лицо. Шалнин тихо и самозабвенно играл на гитаре, точно не слышал голоса Хабло.

— Ну, садись, садись, Мироша! Машенька! — Осокин визгливо крикнул в прикрытую дверь на кухню: — Машенька, доставь-ка нам со сковородочки... Мирон Васильевич пришел...

Мирон сел на свободный стул между Пашей и Цезарем и почувствовал, как их пальцы одновременно дотронулись до его плеч.

— Хабло прав. На днях мы купались вместе с Феней. Я чуть не утонул, а она спасла меня.

Хабло с небрежной рассеянностью съязвил:

— Она же была голая, Мироша, почему ты об этом не говоришь?

И это слово «Мироша» почему-то оскорбило Мирона.

— Феонка — славная... — сердито сказала Паша. — Она молодец. Значит, не жеманничала, когда товарища надо спасать. А вы из этого делаете гнусность.

Марья Петровна, распаренная кухней, вошла в комнату и поставила на стол новую тарелку поджаренных пирожков. Верхние пирожки шипели и пенились пузырьками масла. Она молча оглядела всех и так же молча пошла обратно, натужливо откидываясь назад от тяжести живота.

— Маша, останься!.. — накинулась на нее Паша. — Брось ты к черту всю эту кухонную канитель.

Мария Петровна даже не обернулась.

— Есть когда мне чаевать с вами... Тут дела по горло. Обшить, обмыть, накормить... Видишь, сколько их на моей шее?

И скрылась за дверью. Паша забеспокоилась и озлилась. Она отодвинула стул и встала.

— Я тебе, Осокин, житья не дам. Заездил бабу. Взбунтую ее вдребезги — уж она тебе разнесет весь твой поганый уют.

— Пашенька, не трудись даром: ничего, милок, не выйдет. Это — стихия, голубчик. Тут тебя сомнут великие производительные силы...

Паша сверкнула очками и решительно пошла на кухню. Мирон впервые заметил, что Паша молода, что фигура ее стройна, сильна и красива.

— Хорошая девка! — ласково сказал Бычков, провожая ее улыбкой в глазах. — На войне успевала и в атаках побывать и за ранеными ухаживать. А сейчас только охотится за бабами.

— Это противоестественно, — пробурчал Хабло. — Она о муже мечтает...

На него взглянули с удивлением, и видно было, что он всех стесняет. В нем было что-то чужое и надрывное.

— Нельзя ли, Хабло, держать себя приличнее? — оборвал его Мирон. — Ты трусливо хамишь за ее спиной. Зачем?

— О нет, Мироша. Я имею мужество всегда быть перед твоими глазами.

«Я жалуюсь на неудачную личную жизнь, — думал Мирон, — но от осокинского очага разит духотой. Я бы не выдержал и одного дня такого уюта».

Ольга — чужая, и жизни их идут параллельными путями. Есть в Ольге что-то похожее на Пашу, но они разные и разная у них личная судьба. Ольга стала свободной, а Паша была бы, вероятно, счастлива, если бы смогла прилепиться к мужу.

В выпуклом серебре самовара он увидел себя — малюсенького, уродливо выгнутого, с огромной головой и крошечной грудью. Девочка играла с кошкой, кошка играла с девочкой. Толстым карликом, переваливаясь с ноги на ногу, очень угрюмо прошел по комнате чумазый карапуз и по-хозяйски стал карабкаться на колени Осокина.

— Ну, чего тебе надо, партизан?

Ребенок басом сурово приказал:

— Бирога дай...

— Эх, вот партизан! глушит пирожки, как герой... а?

Осокин хвастливо и гордо поглядел на гостей и зашлепал ладонью по ляжке карапуза.

— У меня этой живой силы целый отряд: вот-с он... да на дворе один.. Аника-воин... да вон укротительница зверей... Крепкий и активный народ...

Он положил пирожок перед ребенком, налил в блюдечко чаю и положил туда кусок сахару.

— Дуй, партизан!..

Карапуз сидел с суровым лицом и деловито возился с пирожком. Он ни на кого не обращал внимания.

Осокин удивленно поднял брови — прицеливался к рубахе Мирона.

— Что же это, Мироша, ты сюда на животике полз?

— Играл с твоим сыном в футбол.

— Ха, видал? Вот это сын! Даже такого кремня припаял... а?

У Осокина уютное гнездо, он может отдыхать и благоденствовать, и этот выводок волнует его семейными радостями. А он, Мирон? Чем его теперешняя жизнь отличается от прежней? И там и здесь — одинаково бездомье. Феня... золотой барашек... лицо, как спелый виноград...

Цезарь с чахоточной глухотой в голосе говорил книжно, точно читал лекцию, и лицо его, обычно тихое и углубленное, сейчас было возбуждено, а голос взволнован. Умолкал он — и лицо затихало.

— Это бегство — стихийно в смысле массовой паники или стадного психоза. Взрывы стихий и эпидемий — тоже закономерны, как следствие изменения в отношениях объективных факторов. В данном случае отлив и текучесть рабочей силы вызваны и коренным переустройством деревни, и нашим возмутительным отставанием в организации культурно-бытового строительства, и тем, что мы плохо укрепляли связь между индустриальным сектором и деревней. Мы на своем горбу испытываем, что значит нарушение единства между практикой и сознанием. Недостаточно работать — надо уметь делать выводы.

Мирон положил руку на плечо Васяя и поучительно заметил:

— И вот, Васяй, один из выводов: мы еще не научились работать...

— Неверно! — запротестовал Васяй. — Ошибки — да, но ошибки — мерило движения. Наши ошибки — наш рост...

— Но кто создает методы работы? Пойми: это я, ты, все... Вот тебе факт. Несколько сезонников под

воздействием рабочих остались на месте да еще показали себя как настоящие ударники. Они уже ставят вопрос об ответственности. Они не хотят быть пешками — вот что главное.

— Буквально так! — Осокин протянул палец навстречу Мирону. — Вот! Именно так, Мироша! Люди не хотят быть пешками. Правильно! не хотят!

— Возьмите Вихляева... — Мирон как будто не слышал Осокина. — Вихляев обладает особой способностью подходить не только к артели, но и к каждому человеку. Он знает, кто чем дышит. У него есть какая-то своя мудрость, и он чувствует ту особую струну, которая звучит в каждой живой душе.

— Ну-у, Ватагин!.. — разочарованно протянул Васяй. — Сказал тоже!.. Ежели бы ты назвал Шепеля — это другое дело. Тот берет мертвой хваткой механизма. Тот школит: заставляет овладеть машиной и просто приковывает людей к двигателям и инструментам.

— Ты, Васяй, не фордыбачь... — фальцетом ласково запел Осокин. — Почему Вихляева любят рабочие? Надо чувствовать чужое сердце. Вот в чем секрет, милок.

Лицо у Цезаря опять вспыхнуло.

— Наша революция, Васяй, тем замечательна и беспримерна в истории, что она ставит в основу жизни проблемы созидания. Теория — это практика, а практика — теория. Труд — как процесс исследования, как система организации сил. Мы строим социализм, а социализм можно строить только на основе высочайшей техники. Вот почему мы обязаны подвергать изучению опыт и действия даже отдельных специалистов, которые организуют технические процессы.

2

Хабло прикладывал ладони к груди и напирал на Бычкова. Искренний это был жест или тоже фальшивый? В его фигуре есть что-то от военной выправки, а когда он ходит по комнате, шаги его зыбки, икры подрыгивают.

— Добрую половину этих спецов я сейчас же поставил бы на мушку. — Его голос звучал по-новому — убежденно и проникновенно. — Это вредители и интервенты. И первого я бахнул бы Стрижевского, а за ним Бубликова... Очень мы благодушны: бдительности у нас — ни на грош.

Откуда у него эта привычка — прижимать ладони к груди? Почему он похож на военспеца из кавалеристов? И где он перенял этот пошловатый лоск и пренебрежительную обособленность? Вот он — коммунист, но почему Мирон так мало его знает? Даже Кряжичу он может дать оценку, чувствует он и Борзяя и самого Балеева, а вот этот Хабло размыт в контурах. И если бы спросили Мирона, верит ли он Хабло и может ли он поручить ему ответственное дело, — он решительно ответил бы: нет. А между тем никаких доказательств, никаких фактов против него не было. Наоборот, как партиец он вел себя среди технического персонала независимо, и ни о каком влиянии на него со стороны инженеров никто не говорил. Правда, секретарь его ячейки не раз беспокойно отмечал, что спецы открыто говорят о его невежестве.

— Они ненавидят нас... Над каждым из них витает дух промпартии. Морда Бычкова им противна, потому что это морда раба, который стал господином. Шепель фальшив, как фальшив Балеев с их левыми фразами. Фальшивые люди — самые левые словочесы.

— В таком случае, Хабло, твоя крутая левизна выдает тебя с головой...

Мирон не смотрел на него, но чувствовал, что Хабло изучает его с пристальной злопамятностью.

Совсем неожиданно бутуз ударил кулачишком по столу и скомандовал:

— Не буз-зить!..

Он уморительно переводил грозные глаза с Мирона на Хабло, надувал щеки и мужественно бил кулачком по столу:

— Не буз-зить!..

Все засмеялись и не могли оторвать глаз от карапуза. А он, не обращая внимания, деловито изучал каждого без смущения и улыбки.

Осокин обхватил обеими руками льняную головенку мальчика и чесал ее своей бородкой.

— Володька! Вот молодчина-то какой!.. Герой!.. Прямо за жабры хватает, стервец...

Васяй подбежал к Осокину, подхватил Володьку с колен отца и закружил его по комнате.

— Немедленно же проведу его почетным комсомольцем... Здоровенный растет организатор.

Вошла Паша и сверкнула на всех сердитыми очками.

— Ну, чего вы тут скандалите?

И Осокин и Васяй наперебой стали рассказывать ей, в чем дело.

— Ведь что отчубучил, стервец! Всех так и припаял к месту. На полслове застыли... Вот какая сила!..

Паша как-то некстати засмеялась, и лицо ее стало мягким, очень добрым и милым. Даже очки ее будто повлажнели от теплой улыбки. Она выхватила Володьку из рук Васяя и стала целовать взасос.

— Золотце мое!..

Бычков хрипло, с одышкой ворчал:

— Ты вот... говоришь ты красноречиво, товарищок... а физиономию мою назвал не иначе, как мордой... Оно — верно. Морда у меня неискусная... Но морду я свою уважаю, друг... Это для человека большое дело — душевно уважать свою морду. А вот... сердись, не сердись... а у тебя к своей морде уважения нет...

— Хоп! Какой проникновенный знахарь! Я уважаю не морды, а силу, ум и ловкость.

Хабло грубил тускло, с натугой, и всем казалось, что грубить ему не хочется, но он должен разыгрывать поневоле нелепый, противный ему фарс.

Он вскинул руку к лицу и близоруко посмотрел на часы.

— О друзья мои... как я безбожно опоздал!

Паша вздрогнула и с ужасом посмотрела на его руку. Выше ремешка кость у него была изуродована и кожа обезображена шрамами. Хабло быстро одернул рукав и повернулся к двери. Паша невольно зашагала

вслед за ним. И, когда дверь затворилась, некоторое время стояла в раздумье. Потом медленно пошла обратно, очень взволнованная и бледная.

— Что с тобой, Пашенька? — испугался Осокин.

А Мирон проводил ее удивленным взглядом и сам почувствовал какую-то смутную тревогу. Пашу он видел впервые в таком потрясении.

— Товарищи, неужели я ошибаюсь? Эта рука... Понимаете, я давно знаю эту руку... Но лицо... не то лицо. И это грубое гаерство...

Волнение Паши передалось всем, Мирон чувствовал, что не Паша, а этот Хабло вызвал в нем необъяснимое беспокойство. Репей тоже недавно нервничал: сообщал о каких-то краснофлотцах, которые приезжали ночью и уехали утром. И все говорили на каком-то чужом языке.

— У того была борода и длинные волосы... — торопливо рассказывала Паша. Вероятно, у нее сильно билось сердце: фразы обрывались, слова неожиданно выкрикивались, будто она задыхалась. — И лицо такое хорошее... углубленное... Иннокентием звали... Мы очень ему верили... Организатор выдающийся... конспиратор... В подполье у белых... Много рабочих было в организации... А брат Софрон... заявил однажды, что Иннокентию он не доверяет... Я с ним поссорилась, и даже вражда у нас была... На Софрона мы здорово напали... Он пропадал сутки, пришел ночью и сказал: «Надо немедленно скрываться... еще глубже уйти в подполье...» Ночью же я побежала к товарищам, но по дороге мальчик, сынишка одного рабочего, схватил меня за рукав и заплакал. «Папу утащили... Не ходи к нам — засада...» У него, у Иннокентия, была такая же рука... точь-в-точь...

— Но почему же лицо? лицо-то?.. — вскрикнул Васяй. В эту минуту он почему-то показался всем мальчиком.

— У того были густые брови... И глаза были печальные... но какие-то твердые... всегда опускал он их... и прикрывал веками...

— И чего расстроилась — не понимаю... — грустно

сказал Осокин. — Из-за какого-то Хабло... Насочинили здесь всякой чепухи...

Мирон вдруг заметил Шалнина, о котором совсем забыл, и ему стало не по себе. Заметили его и другие и удивленно переглянулись.

3

За окном уже по-вечернему лиловело небо, и пыль на мостовой синела сумерками. Завыла сирена, и воздух стал гулким и упругим. Где-то очень далеко застонал невнятный гром, и сразу же вспыхнули на холмах электрические огни.

В эту минуту в комнату влетела хорошенькая девочка лет шестнадцати, а за нею Алешка. Это была дочка Бычкова — Катюша.

— Алешка, тебе говорят, отстань! Распластаю и здорово нашлепаю...

Алешка упал на растопыренные руки и колесом перевернулся в воздухе.

Катюша в голубой юбочке, похожей на ночную рубашку, румяная, полнощекая, с пухлыми губами, залилась хохотом.

Осокин строго оглядел Алешку.

— Ты что же это, паршивец, с дядей Мироном сделал? Все ему брюхо запылил...

— Потому что дядя Мирон брюхом в футбол играет.

Все засмеялись.

— Ну, вот что, ребята... — Алешка гордо, с серьезностью взрослого стал посредине комнаты. — Мы решили окончательно...

— Ну-ка, послушаем, что вы решили...

— Не перебивай, папка, а слушай. Мы решили сбить бригаду парней и идти на бетон.

— Фу ты, какие герои!.. Вас еще там не видали...

— Я не понимаю, папка, чего ты противоречишь. Раз решили — так решили. В чем дело? Я только докладываю...

Осокин развел руками и с притворным негодованием смотрел на гостей.

— Видали? Что с ним поделаешь? Как, Бычков? Ведь вот они какие, наши дети!.. Совсем с отцами не считаются. Идут вот... бригады организуют... По своей воле орудуют...

Бычков сосал трубку и улыбался усами.

Васяй подмигивал Алешке и Катюше.

Паша сердито кричала прямо в лоб мальчику:

— У тебя еще нос не дорос для таких дел! Шкет еще! И Катюша не пойдет. Нечего вам там делать!

— Пож-жалуйста! — презрительно протянул Алешка и оглядел сверху донизу Пашу. Катюша вся дрожала от сдавленного хохота.

— Ах ты, поросенок!.. Да каким ты тоном со мной разговариваешь?..

Алешка неожиданно обнял Пашу за поясницу и очень серьезно сказал:

— Ничего, тетя Паша. Сработаемся.

Паша прижала его к своему бедру.

— Вот так-то лучше. Сразу вырос на волосок.

...Где Кирюшка? Беспризорник он или тоже где-нибудь так же деловито решает вопросы хозяйственной борьбы? Какой счастливый этот Осокин! А он, Мирон, — один, и прорыв в его жизни углубляется все больше, все безнадежнее.

— Ну, садитесь, ребята. Ешьте пирожки и пейте чай.

Алешка и Катюша жевали жадно и переглядывались друг с другом с неудержимым весельем.

Катюша встала, ударила ножом по тарелке и откашлялась. Лицо ее было задорно, но она изо всех сил старалась быть деловитой.

— Ну, не смеши, Алешка! Не мешай, пожалуйста. Насчет бригады на бетон, товарищи... Эта мысль, собственно, не Алешкина, а моя. Мы только перекинулись с ним планами. А теперь прошу слушать...

— Ты что же это, Алексей? Чужие мысли крадешь? Как же ты смеешь отца позорить?

— Ничего подобного. Я прежде ее это решил. Пожалуйста.

— Ну, так вот... начинаю... — Катюша опять громко прочистила горло, изображая из себя ора-

тора. — Девчат у нас, товарищи, много шляется без дела. Школьницы. Я сама — школьница. Это всем известно. Мы сговорились — шесть комсомолок... Пойдем в блок... на бетон... Закрепим себя до конца стройки. И мы докажем, что будем работать... Вот-с. Нам это труднее, чем Алешке. К девчатам относятся у нас еще скверно. Васяй должен укрепить наше положение. Есть, Васяй?

— Есть, Катюха! Гони завтра своих школьниц.

Катя села, и всем показалось, что после своей речи она стала взрослее и мужественнее.

— Смотри же, Васяй, не подведи... а то на штыки возьмем...

— И отца не спросила... — сокрушенно вздохнул Осокин и хитренько подмигнул Бычкову.

— А что — отец? У отца — свое дело и свои обязанности. Это дело не отцовское.

— Вот оно как!.. Ну, и поколение!.. Когда это так было, а?.. Бычков, разве так было в наше время?..

Бычков молча сосал трубку и улыбался.

...Мирон с Васяем шли по улице под руку, как задушевные друзья.

Над рекой частым засевом горели огни. Чихали и вскрикивали паровозы. Проходили мимо размытые тени. Чуть слышно стонало пианино, а где — не поймешь.

— Это у Баяеева... Константин играет... Вот, Ватагин... иду как-то и слушаю... такое, понимаешь... будто — камнедробилка... а в дробилке поют девчата... А потом что-то этакое-такое (Васяй повертел большим пальцем перед носом)... Не то плачут, не то «Интернационал» поют... Здорово! Большой чудодей...

А Мирону было грустно. Что-то хотел сказать Васяю — важное и неотложное, но что именно — забыл. О работе на плотине? Нет. О себе?

— Вот что, Васяй. На этих днях я встретил по дороге из города одного парня... кажется, мой сынуха...

— А где же он — здесь? Комсомолец? Чего же ты молчал, чудак?

— Может быть, здесь... не знаю. А может быть, и... беспризорник... В этом — вся суть.

— Сбежал, что ли?

— Восемь лет назад. Теперь ему — девятнадцатый... Головой дергает.

— Надо проехать по объектам.

— Да. Поискать. Но, может быть, это только призрак...

— Мне это странно, Ватагин, — сердито сказал Васяй. — Как ты мог допустить?.. Ты!.. революционер!..

IX. СИЛЫ ПРОШЛОГО

1

Однажды вечером Мирон вместе с Феней и Татьяной пошли к Прокопу Микешину пить молоко. В пепельных облаках пыли коренастый старик в соломенной шляпе, в холщовой рубашке, заправленной в шаровары, подметал общипанной метлой двор. Где-то в глубине сарая обиженно мычала корова. Пестрая собака, вся в репьях, кувырком слетела с крыльца и с ревом запрыгала перед гостями. Феня взвизгнула и вцепилась в Мирона.

Татьяна шла спокойно впереди и посвистывала.

Старик густым басом, немного надорванным старостью, гневно крикнул на собаку и с метлой наперевес зашагал навстречу.

— Барбос! назад! Ишь ты, дурак!

Собака сразу съежилась от баса хозяина и смущенно пошевелила ушами. Она узнала девиц и завиляла хвостом.

Старик дотронулся до широких полей шляпы.

— Добрый вечер, молодежь! Третьего не знаю, но личность знакомая. Проходите в комнату — молодуха накроет на стол.

Он прошел мимо них к калитке и заботливо запер ее на щеколду.

— А калитку, друзья, надо запирать, на то и засовы делаются. — Потом крикнул в открытое окно: — Домаха! принимай гостей. Засвети огонь.

— Вот видите, Мирон Васильевич, в этом патриархальном доме даже имена родятся от очага. — Домаша — домашняя женщина.

В избе, конечно, божница со множеством икон в кудрявой фольге. Фотографии в рамках: бравые солдаты, старики и старушки, степенные мужики в бородах, в жилетах. Мужчины сидят, бабы стоят.

Татьяна ткнула пальцем в фотографии.

— Смотрите, Мирон Васильевич, прямо египетские фрески.

Домаша выбежала из другой комнатки с лукавой игрой в лице. Мирона поразили ее могучие губы и ноги.

«Она, вероятно, жадно ест и носит мешки с мукой».

Домаша подпрыгнула к Фене и смачно чмокнула ее, и Феня даже попятилась от толчка ее губ. Подпрыгнула она и к Татьяне, но та ловко подставила щеку и отклонила голову.

— А я жду вас, девчаточки... И молоко нарочно не уношу в погребуху. Садитесь!.. Я сейчас...

Мирон на мгновение уловил кошачий огонь в ее зрачках. Феня с веселой готовностью устремилась к ней. Татьяна села на табурет и равнодушно оперлась локтем на стол. Удивительные у нее брови: они жгутся, как крапива.

Домаша зашептала, как сплетница, которой до смерти хочется сообщить новости:

— Наш старик-то... папаша-то... злой сейчас... До ужасти какой грозный... Я уж прячусь — на глаза ему не попадаюсь... Слова не скажи поперек его характера...

Она выглянула в окно и, со страхом и страстью в глазах, зашептала еще тише, глотая слюну:

— Вчера с оглоблей гонялся за моим... за Прокопом-то... Уложил бы, как борова, ежели бы он на сеновал не заскочил. Вскарабкался, а лестницу-то отмахнул. Летит она на старика-то, а он — от нее. Мочи моей нет!

Она пискливо засмеялась и сразу злобно зашипела:

— Нам с ним все равно не жить. Будь он проклят со своим домом и с хозяйством! Прокоп уже артель

подобрал. Ну, а папаша не хочет рушить хозяйство: для него это — смерть. Ведь выселят же, а он этого и знать не хотит.

Она вдруг замолчала и прислушалась. Потом всплеснула руками, ахнула и скрылась за дверью. С проворством фокусницы выбежала оттуда с подносом, а на подносе — домашняя хлебина и крынка молока. С лихорадочной торопливостью она разбросала по столу посуду и отхватила несколько ломтей хлеба.

— Мне, Домаша, дайте со льда. Я не пью парного.

— Ах, пожалуйста, товарищ, сколько угодно. Кушайте, ради бога. Я одним мигом.

Она побежала к двери и оглянулась. Дверь распахнулась во весь размах, и Домаша с разбегу брякнулась в грудь старику.

— Чума те, что ли, бросает, скаженную? Черт курносый!

Старик оттолкнул ее и смерил взглядом, потом степенно, очень медленно снял широкополую шляпу крупного зернисто-золотого плетения. На ходу он старательно повесил ее на гвоздь в стенке и молча сел на стул. Пепельные глаза, в красных опухших веках, нелюдимо прятались под клочья бровей и высматривали оттуда остро, упрямо, враждебно. И не в глазах отражался его внутренний мир, а в бровях. Он слушал, думал, волновался, а брови чутко отвечали на раздражение. Старик был широк костью, властен в поступи и жестах. Каждый шаг, каждый взмах руки был рассчитан, экономен, важен и уверенно крепок. Сразу было видно, что он крут характером и не терпит возражений.

Он даже не взглянул на девушек (бабья душа — решето), но пытливо, остренько, оберегая себя и чураясь, пощупал Мирона и бровями и спрятанными домашними глазами. Мирон тоже смотрел на него и ждал, что скажет ему этот домовитый старик.

— Ты что же здесь? Начальство какое по инженерному делу? Али так, простым порядком — по рабочему ремеслу?

— Да, по рабочему делу, папаша.

— То-то... и я гляжу — на распорядительное начальство будто личность твоя не смахивает.

— Да ведь теперь, дед, и рабочий человек начинает забираться на высокие колокольни.

— Говори... Мужик как был вахлак, так и есть вахлак. Вот, сказать те, наша девка по-старому вшей чешет. Ну, а барышня, как и прежде, — в ходу. Кому как положено жить. Вот хоть бы их взять...

Феня засмеялась и исподлобья посмотрела на старика:

— Вот и ошибся, дедка. Мой папашка — из чернорабочих, а ее — рыбак.

Старик обиженно прикрикнул на нее:

— Говори там! Вы все из одного гнезда сороки: что бабы навозные, что господские барыни...

Он не удостоил Феню даже взглядом. Татьяна пила молоко и как будто не слушала.

— Строительство вот... суета... Мерили, копали, скалы крошили... А чего, сказать те, хлопочут, черта тешат, прорву бутят?.. Мужика с насиженного места турнули, хозяйство порушили. Ровно, сказать те, война... налетели со всех сторон и мужика из своего дома — в толчки... А все едино ничего не будет...

Мирон даже вздрогнул от неожиданности.

— То есть как это ничего не будет, дед? Если бы знали, что ничего не будет — не стали бы огород городить. Именно будет... Вот это твое место через годик этак скроется под водой сажен на пятнадцать.

Старик с притворным изумлением поднял брови и покачал головой.

— Хм... на пятнадцать? поди ж ты!.. Сказать те, на моей памяти сколь разов бродили здесь да обхаживали эти берега разные землемеры да водомеры — годов сорок щупали да целились и нипочем взять не могли. Я, сказать те, всю жизнь — с ней, с рекой-то, и карахтер ее знаю. Вот она текёт — тихо, смирно, ласково. А по весне нагрянет... взбунтуется... начнет крутить... Ой-бой!.. полсела — начисто... Видал, какие горы камней по берегам наворочены? Каждый, почитай, пудов по тыще... А почнет рвать, почнет крутить, громоздить — гром и гул, сказать те, по земле стоит... А вы — прудить, гати ставить... Глупцы! разве она

дастся? Ветра стеной не остановишь, гору рычагом не сдвинешь.

— А мы, дед, горы рвем, как стекло, а потом — машиной. Видишь сам: скалы разлетаются так, что пляшет твоя хатка.

Старик смотрел на этих молодых людей, как на случайных гостей, которые пришли сюда бродягами, и этим бродягам нет места на земле: они ничтожны, лишни, как листья, упавшие с дерева.

— Вот эти девицы, дед, возведут здоровенную плотину, которая подопрет вашу неприступную реку верст на сто. Они соорудят такие турбины, которые закрутят электрической силой фабрики и заводы. Гляди, какой город за рекой... А на земле эта сила вытеснит лошадей и сохи на многие сотни верст в окружности. Ты, дед, не смотри, что эти девицы такие молоденькие и слабенькие: они умеют делать чудеса.

Домаша внесла крынку молока из погреба и поставила на стол перед Мироном. Горшок искрился росой и дышал прохладой. Она хлопотливо побежала в другую комнату, за ней — Феня, по-свойски, как подруга. За перегородкой брызнул смех. Потом они опять выбежали, переглядываясь лукаво.

Старик встретил Домашу седым взглядом.

— Ну, чего затрепыхалась? Курица! Нет, чтобы чинно-благородно... ишь задрала хвост, как телка..

— А что ж, папаша, чай я — не монашка. Люди хорошие, веселые... Не взаперти живешь...

— Поговори!..

Домаша смущенно замолчала, отошла к стене и застыла.

— Что вы, дедушка, так строги? — ласково засмеялась Феня и вскинула голову, играя кудрями. — С Домашей мы очень дружны. Мы с ней еще молоды.

— Она должна знать свое место. Коровам надо корму дать... напоить... Иди!

Домаша послушно и опечаленно вышла из комнаты. Татьяна повернулась к старику и с твердым звоном в голосе сказала:

— Вы, дед, оставьте такой разговор: люди теперь — иные, а времена — дерзкие.

Старик продолжал рассуждать, обращаясь только к Мирону.

— Дерзости земля не любит: она любит покорность и божий закон — крепость и устой. А эти ваши машины да ликтричество — невидная пыль. Я прожил, сказать те, шестьдесят пять годов и силу земную знаю: исполняй закон ее по положению. Дьявол спроть самого бога бунтовал, а он его пронзил стрелой и воткнул во ад. Черт чихнул, а человек от этого чоха взбесился. А нет чтобы душу положить для дома... чтобы рачить... растить домашнее хозяйство... Пришли вы не знай отколь, принесли свои законы и порядки. Чужие они мужику, — не по его укладу. И разруха, и смута. Только, сказать те, ни к чему это. Спроть силы мужика не попрешь. Как реку вам не взять, как горы не срыть, так и земную силу не порушить.

Феня взвизгнула от хохота, вскочила со стула и улетела за перегородку.

Мирон прошелся по избе и остановился перед стариком.

— Ну, так вот, дед... Пока не поздно, переселяйся в колхоз.

Старик снял шляпу с гвоздя, повертел ее в руках и тяжелым взглядом уставился на Мирона.

— Оно ведь, сказать те, вам виднее. Кто к чему приставлен. Нам — свое, вам — свое.

Золотая плетенка соломы треснула в его сучковатых пальцах и со скрежетом свернулась в трубку. Он медленно расправил ее и надел на голову.

— Во сколько оценено твое хозяйство, дед?

— Кто знает, сказать те. Ни к чему это мне. Мое хозяйство — при мне, и слава богу. Здесь я родился, здесь и помру.

— Выселят, дед. Верно говорю. Иди в колхоз. Строительство поможет тебе. Земли много — только работай.

— Да ведь как же! Места у нас — просторные, стародедовские места, сказать те. А люди теперь нетвердые, шалые... У меня все годами насижено... а у людей — разор..., базар... Не во двор, а со двора.

Раньше люди умели жить крепко. А теперь оторвались и от земли и от наживы...

— Да, дед, были кряжи, а теперь их разрывают в пыль.

— Доброго здоровья, товарищ, прощевайте. Завсегда рады.

И он медленно вышел из избы.

Мирон удивленно раскинул руки.

— Эх ты, черт его подери! Вот так старик!

2

За окном, на дворе, захрипела собака, потом зевнула и взвизгнула. Феня подошла к окну.

— Прокоп идет. Без войны не обойдется.

Татьяна хлебала молоко спокойно, сосредоточенно, думая о чем-то своем. В сенях затопали шаги, и дверь распахнулась широко. Домаша взволнованно смеялась:

— Ну, иди, иди, окаянный!.. — и ласково шлепала Прокопа по спине. — Каждый день оставляешь меня только на терзание.

Прокоп пришел, вероятно, с плотины: он был в прозодежде, пыльный, помятый, в ссадинах, и пахло от него болотом и цементом. Он сорвал кепку и потряс ею над головой:

— Хо-хо!.. Пролетарии всех стран...

Феня подняла обе руки.

— Живут пролетарии!..

А Прокоп в беспричинном ликовании еще раз потрепал грязной кепкой.

Он подошел к Мирону и хотел пожать ему руку.

Домаша оттолкнула его с притворным негодованием.

— Ты что это, идол, с грязнущими лапами подходишь к человеку? Иди умойся. А то как черт из трубы... Имей в виду, больше я ни одного часу с твоим домовым не останусь. Я жизнь свою на убой не отдавала, а несла ее тебе в подарок, миленький.

— Во, видели эту саранчу?

— Ну, топай, топай! Защелкал словами, как орехами. — Домаша толкала его в спину к двери чулана и лукаво подмигивала девушкам. — Вот сейчас ввалится наш домовой — он тебе язычок-то узелком завяжет.

Домаша протолкнула его в дверь чулана, но он громко закричал оттуда:

— Известный вам мужик, Матвей, все желает поставить меня в конфуз. Но я, понятное дело, наскрозь его вижу. Мы сейчас — временно у товарища Шепеля.

Феня подошла к открытой дверке. Домаша счастливо хихикала.

— Ой, какой же ты замурзанный! Чучело мое шелопутное!

Мирон наклонился к Татьяне.

— Я слышал, что вы были беспризорницей, Татьяна Ивановна?

— Да, была такая полоса в жизни. Вас это очень интересует?

— Очень. У меня сын — тоже беспризорник.

Татьяна сдвинула брови.

— Значит, скверные родители, если довели до этого ребенка...

— Если жив и умен — возвратится... — убежденно сказал Мирон.

— Почему вы так уверены? А я думаю, что он вас совсем не уважает...

Опять вошел старик с хомутом на руке, но на гостей внимания не обратил.

Он положил хомут со шлееютю у стенки, снял шляпу и повесил на гвоздь.

А Прокоп кричал в чулане словоохотливо и возбужденно:

— Затащил я их — и Матвея и Никиту — в профком, на заседание. Шепнул, чтоб их маленько приголубили. Там это ловко ребята поступили: честь и место, друзья-товарищи! Дюже это им понравилось. Матвей даже в гордость ударился...

Прокоп вышел из чулана с полотенцем в руках, с промытыми рябинами на лице. Как пришел, так и остался в прозодежде. Он увидел отца и сразу замолк.

Домаша стояла в дверцах чулана, смелая, независимая под защитой Прокопа, и терла ногу об ногу.

«Этот парень пробьет себе дорогу, — думал Мирон, удивляясь внезапной перемене в лице Прокопа. — Он упрям, как отец, и у него есть сила».

— Тебе, Прокоп, надо бы побольше поработать в котловане. Ты бы сорганизовал бригаду из ваших крестьян... Хорошая школа.

— О чем разговор, товарищ Ватагин! Боевое задание — первое дело. Когда я, вследствие демобилизации, оставлял ряды Красной Армии, я в коллективе с бойцами получил от нашего военкома строжайший наказ: «Вы есть бойцы рабоче-крестьянской Красной Армии и должны держать крепко свое доблестное знамя. Дома вы — такие же красноармейцы и стойте на посту».

Старик тщательно осматривал хомут со всех сторон и потирал его пальцами. Пахло лошадью и дегтем.

— Завтра надо выезжать на жнитво, Прокофий. Дома нужен.

Прокоп старался не сдать тона и выдержать спокойствие.

— Я вас уважаю, папаша, но единоличный сектор поддерживать не могу. Изъявляйте согласие вступить со мной в колхоз — я сейчас уйду с работ. И все будет в порядке.

Старик пропустил мимо ушей речь Прокопа и уставился на Домашу. Сказал он спокойно, небрежно, между прочим:

— Ты что это, черт курносый, коров бросила? Работница!

— Не ругайтесь, папаша. — Прокоп злобно взглянул на старика. — Не оскорбляйте женщину: она вам не батрачка.

— Поговори у меня!

— Постесняйтесь гостей, папаша...

Феня вся устремилась к Прокопу и старику. Она переживала то же, что и Прокоп с Домашей. У Прокопа дрожали руки, а по лицу пробегали живчики. Татьяна, подпирая рукою голову, наблюдала за ними невозмутимо. Мирон примирительно заявил:

— Ты не прав, Прокоп. Пока ваше хозяйство не разделено, ты обязан принять участие в уборке хлеба. Старику одному не справиться.

— Позвольте, товарищ Ватагин, изъяснить вам положение...

— А ты, дед, должен понять, что насильно удержать сына не можешь. Нет у нас таких законов.

— Поговори! Закон — один, сказать те. Я отец, я и хозяин, он моя кровь: значит, я — и закон.

— Папаша, вы не вольны в личности гражданина Социалистической Советской республики. И не вольны проживать на сем месте: хата — не ваша и двор — не ваш.

— Ну? Так ты, сынок, уж прости, Христа ради: невдомек мне, что я у тебя на харчах, как приблудный пес.

Старик с насмешливым презрением зашевелил бровями.

— Вы не можете внять, папаша. Мы здесь проживаем незаконно. Вам положена сумма оценки. А вы преступно нарушаете права гражданина. Вы обязаны переселиться или к новоселам, или куда хотите.

— Поговори еще. Я хозяин, и ежели не желаю оставить родительский дом, никто не порушит гнезда.

Прокоп оскалил зубы и развел руками:

— Ну вот... чего вы хотите, товарищи, ежели этот человек не принимает никаких мотивов...

Старик трясся от злобы.

— Понагрохали здесь черту на радость, а что к чему, для какой надобности — нет ответствия. Толкуют: трахтор да трахтор... Глупцы! Да он, этот ваш трахтор-то, и во двор не залезет. На черта мужику этот ваш трахтор?

Домаша вышла на середину комнаты и надрывно крикнула:

— Как ты хочешь, Прокоп, а я здесь, под одной крышей со стариком, оставаться не хочу... Не хочу и не хочу. Душу мою, кровь мою... как змей... Лучше по ветру свою жизнь развею, а в неволе — хуже смерти.

Она заплакала и уткнулась головой в перегородку.

— Вы как хотите, папаша. Я вас уважаю как родителя. Но наша идеология — разная. Жизнь свою мы с Домашей обязаны организовать в новом разрезе. Я требую раздела.

— Балаболка ты, хвост! — Старик схватил шлею и грозно потряс ею. — Бабу не умеешь в руках держать.

— Уйду, папаша. Входите в колхоз — будем жить вместе.

— Я сроду в батраках не был и, даст бог, до смерти не буду. Род Микешиных с дедов-прадедов был самосильный.

— Ну, больше нам с вами прения вести бесполезно, папаша.

— Поговори еще, арбешник! Запорю!

Старик шагнул к нему и поднял кулак. Прокоп схватил его руку, и у него задрожали веки.

— Смирно, папаша. Легче на поворотах!

— Молокосос! В ногах валяться заставлю...

Мирону самому хотелось броситься на старика и поломать ему кости. Этот тиран давил его как сила, которая мешала ему дышать и думать.

— Не надо этого, друзья. Нехорошо. Отойди, Прокоп.

Феня, бледная, с гневной морщинкой на лбу, не отрывала широко раскрытых глаз от мужчин. Когда Мирон взглянул на нее, она улыбнулась ему страдальчески. Татьяна встала и молча вышла из избы.

Феня подошла к Домаше и что-то зашептала ей на ухо, поглаживая ее по голове.

Старик опять уже был холодно-суров и властен. Он заботливо разбирался в ременной путанице шлеи.

— Вот что, други мои, чужие люди. В моем доме вам делать нечего, сказать те. Пороги мои для вас заросли быльем. Шагайте с богом.

Чудак этот старик: он думает, что только на их подошвах врывается сюда новая жизнь...

Прокоп проводил гостей до калитки. Вслед за ним выбежала Домаша и в ужасе вцепилась в него:

— До смерти боюсь!.. задушит он меня... моготы моей нету... Прокоп, милый!.. уйдем... сейчас же... Сердце заходится...

— Вот, товарищ Ватагин... — растерянно бормотал Прокоп. — Вот убедились... Истинно — домовой... Жить нам со стариком никак невозможно... Помогайте, товарищ Ватагин...

Мирон торопливо ответил:

— Хорошо. Домашу устроим пока уборщицей в бараки, а ты продолжай на плотине. Переходи в общежитие.

— Вот спасибочка, товарищи! — радостно засмеялся Прокоп.

Феня горячо поддержала его:

— Да, Прокоп. Ни одного дня не оставайся..

3

— Я очень рада, что Прокоп с Домашей развязались со стариком. О них надо позаботиться, Мирон.

— Завтра они будут в общежитии. Только врозь. Он в мужском, она в — женском.

— А разве нельзя устроить их вместе?

— Пусть пока поживут врозь. От этого любовь их будет еще крепче. Хороша любовь на расстоянии.

Мирон шутил, но голос его был сердит и хмур.

— Это видно по тебе. Твоя любовь на расстоянии совсем тебя испепелила. Я ни разу не слышала, чтобы ты произнес имя своей жены.

Мирон снял картуз и потер ладонью бритую голову.

— Судить о судьбе человека по внешним признакам, Феня, — пустая болтовня.

— Почему же? Объясни. Ты знаешь, что такое — коррозия?

— При чем тут коррозия?

— Я беру это для грубой аналогии. Возьмем хотя бы коррозию рабочего колеса турбины. Как тебе, вероятно, известно, это как бы раковые язвы машины... При каветации, то есть при образовании вакуума, металл подвергается разрушению.

— Все-таки не понимаю, при чем эта аналогия?

— А вот: опытный специалист сразу определяет по

некоторым признакам эту болезнь: и на глаз и на слух. Ну, так вот я и устанавливаю жизненную твою коррозию.

— К сожалению, у тебя еще нет опытного глаза и слуха, чтобы говорить о моей коррозии.

— К сожалению, ты, Мирон, трусливо отбиваешься общими фразами.

— Ну, Феня, бесился я много, глупостей делал много... Верно. Но трусости не испытывал. Впрочем, эти внешние признаки иногда ставили меня в дурацкое положение... хотя бы в истории с тобой...

— Да, да, Мирон... Эта история со мной... Ты мне что-то хотел рассказать.

— А ты не порылась в своей памяти?

— Нет, ничего не вышло...

— А ну-ка, вспомни то утро, когда ухлопали твоего отца...

Он заглянул ей в лицо, чтобы встрстить ее глаза. Он ждал, что она отшатнется от него в смятении.

Но она живо, как-то даже радостно схватила его руку.

— Да, да... очень хорошо помню... Ну? Значит, это был ты? Как же ты узнал меня?

Он остановился, пораженный. В этом ее порыве к нему он почувствовал только любопытство.

— Мирон, расскажи, милый... Для меня в этом... очень много было странного...

— Зайдем ко мне.

Феня у него ни разу не была, и теперь ему казалось, что комната его стала иной — уже не было пустой и суровой тишины.

Феня села около окна и попросила обвязать лампочку газетой.

— Дай закурить...

— Но ведь ты же не куришь.

— Я иногда... в особые минуты.

Он вынул из ящика стола пачку дешевых папирос и положил перед нею.

— Ну, Мирон?.. Рассказывай!..

Он завернул газетой лампочку и не сел, а стал ходить по комнате от стола к двери и обратно. За откры-

тым окном густела фиолетовая тьма, не видно было даже кустов в палисаднике. Только высоко без перспективы горели ослепительные «юпитеры» у входа в клуб, накаливая кирпичные стены. Глубокий, едва внятный гул рокотал всюду, как шум ночного дождя.

...Заняли они город ранним утром зазеленевшего марта. Море дымилось сиреневым небом и было густое, как мед. Гавань пустынно дышала недавним ужасом, и в ослепительно-золотой лагуне, между молами и одичалыми пристанями, затканными паутиной эстакад, спокойно резали воду крутыми черными спинами дельфины. Горы были лилово-дымны, их ребра мерцали металлом, а оползни и обрывы разъедала ржавчина, но всюду по склонам и впадинам уже рваными пятнами глубоко и нежно клубилась зелень. В предместье — в палисадниках и во дворах белых хат — абрикосы и черешни трепетали облачным цветением.

Грязные и смрадные улицы города знойно пылали жаром. Всюду врассыпную бродили артелями и в одиночку красноармейцы, пьяные от победы. Обыватели еще в страхе сидели в подвалах и в своих углах, и окна домов тускло чернели безжизненной пустотой. Галопом и тихим изнуренным шагом разъезжали облитые потом и измазанные грязью конные. Мостовые засыпаны были тряпьем, бумагой, банками, просаленными холщовыми сумками. На тротуарах, на булыжниках улиц лежали убитые в бою офицеры и солдаты. У одних — окровавленные лица, другие жадно и противно загребали пальцами кровь, как красный кисель. Удушливый смрад густо заражал воздух. Всюду — по городу, по пустырям, по взгорьям — бродили табуны брошенных лошадей — костлявых, облезлых, окровавленных. Они шатались, падали, бились головами о землю и в судорогах околевали.

Мирон и Байкалов ехали по шоссе к заводу около самого берега моря. Волны зыби янтарно вспыхивали на отмелях и пенились в прибрежных камнях.

Байкалов бодро и браво сидел на коне, уткнув руку в бедро и задрав шапку на затылок (теперь уже Байкалов — не тот). Мирону было легко и празднично на

душе, хотя оба они падали от изнурения. Ехали они бок о бок, свободные, без цели, не зная — куда и зачем. По этому шоссе в эту ночь в суматошной панике бежали толпы белогвардейцев. По сторонам, на полянах, лежали дохлые лошади, оскалив зубы и высунув языки. Кучами и вразброд валялось смрадное тряпье, исковерканные повозки, медные стручья патронов, пулеметные ленты, рваные картузы, шапки, разбитые винтовки, вороха бумаг, измятые фляжки, изорванные сапоги.

Не думалось ни о войне, ни о пройденном страдном пути, ни о предстоящих походах. Хотелось только ехать под солнцем по высокому берегу над фиолетовым зеркалом моря, — ехать вон к тем зеленым зарослям леса, броситься в траву и смотреть в голубое небо.

Предместье было мертво, и хаты слепо глазели на дорогу. Даже собаки не лаяли по дворам. Все люди будто в страхе побросали свои жилища и убежали в горные ущелья. Мирон и Байкалов рысью проехали мимо бетонных корпусов завода, тоже брошенного и мертвого, и опять перед ними засверкало море, а над морем кружились розовые чайки.

Впереди пьяно шагал кривоногий солдат в английской гимнастерке с погонами и в штанах, обвитых обмотками до колен. Он тащил тощенькую девочку в коротенькой юбчонке, в грязном лифчике. Она вырывалась и плакала. Ясно было, что этот пьяный солдат уволок девчушку из рабочего поселка. Вероятно, он тянул ее в ближайший лесок, который кудрявился у самой дороги.

Мирон никогда не прощал бойцам ни пьянства, ни насилия над женщинами. Были случаи, когда он расстреливал за это какого-нибудь бойца из своей части. Он считал, что если красноармеец пьет и насилует, значит он — изменник и предатель. Такой человек уже переставал быть бойцом в революционной армии.

И вот в это утро, когда он увидел хмельного человека с девчонкой, которая билась в его руках, его потряс обычный припадок бешенства. Он вытянулся над гривой коня, пришпорил его и галопом помчался вперед. Около солдата он осадил лошадь на всем скаку.

Она запрыгала, затанцевала, захрапела, широко раскрыв рот и оскалив зубы. Девочка, бледно-тифозная, с синими пятнами под глазами (от этого они казались огромными и больными), в страхе смотрела на Мирона... Так и казалось, что стоит солдату выпустить руку, и девочка безжизненно упадет на дорогу.

Мирон выдернул из кобуры револьвер и в припадке исступления нацелился в солдата.

— Мерзавец!.. Нажрался... накачал себя, собака!.. Люди кровь льют, умирают от мук и голода... Люди падают от изнурения, жертвуют собой в борьбе... а ты насильничаешь... Шагай, шкура!..

Солдат щурился на него и ничего не понимал. Не выпуская руки девочки, он разболтанно пошел по дороге. Девочка тянулась к Мирону, дрожала и плакала.

Байкалов схватил Мирона за руку и умоляюще забормотал:

— Ну, не надо!.. ну, не стреляй, Ватагин!.. Ну, брось же, чудак!.. сумасшедший!.. В чем дело?

Мирон с отвращением отбросил его руку и два раза выстрелил в спину солдата. Очнулся он в тот миг, когда солдат зашатался и застонал. Голова и грудь его отяжелели и обмякли, ноги подламывались. Он рухнул на дорогу и рванул за собой девочку. Лопатки забились под гимнастеркой, упираясь в материю и коверкая спину, будто отламывались от ребер. Мирон, не отрываясь, смотрел на солдата и никак не мог вложить револьвер в кобуру.

Потом он круто повернул коня и пришпорил изо всех сил. Конь взвился на дыбы и понесся по шоссе, взметая белую пыль.

Он не помнил, как мчался обратно, как слез с коня, а пришел в себя от визга девочки:

— Папочка!.. Ой, папа же!..

Мирон строго спрашивал ее:

— Где ты живешь? Откуда ты? Так это — твой отец? Почему же ты мне не сказала?

А она показывала рукою вдоль шоссе, в сторону завода, и захлебывалась от слез.

— Как тебя зовут?

Она замолкла, прислушиваясь к чему-то, и шепотом бормотала невнятные слова, как косноязычная, с очень вдумчивым лицом, серьезно и рассудительно:

— Фенька зовут... там, на заводе... мы бросовое собираем... а мне страшно...

Мирон опять сел на коня и пристально взглянул на Байкалова. Он вдруг очень ясно почувствовал свое лицо: оно у него бывало таким только в минуты потрясающего гнева.

— Черт бы нас побрал!.. сваляли же мы дурака, Байкалов...

— Так я же тебе доказывал... Балда!..

— Не доказывать надо было, а морду бить...

Байкалов смущенно отворачивался от него и крутил на месте своего коня.

Девочка не смотрела уже на отца, а зябко дрожала, изумленно оглядываясь по сторонам.

Мирон подхватил ее под мышку и вскинул к себе на седло.

Байкалов не смотрел на него и делал вид, что никак не может справиться с лошадью. Фенька держалась за гриву лошади и пристально смотрела на ее уши.

— Ну, барашка, правь к своему дому. Только не говори ничего матери.

— А у меня нет матери.

— Так как же быть? Куда же тебя деть?

— А я сама... я всегда сама... Папашка все равно пропадал... На заводе-то нету работы, он и бродяжил... пьянствовал...

— Ну, хорошо. Я приеду к тебе завтра... Надо тебя устроить. А пока поживи у соседей.

Через несколько дней он поместил ее в детский дом, раза два навестил ее, а потом их часть выступила из города, и это событие растаяло в массе других переживаний.

А вот сейчас она, Феня, так не похожая на ту замызганную девочку, опять вызвала в памяти это событие, и оно, ушедшее вместе с его молодостью, обожгло его душу с прежней силой, точно произошло сегодня.

— И это все?

— А тебе этого мало?

То, что рассказал Мирон, как будто совсем не взволновало ее, и она даже не повернула к нему головы. Но голос ее вздрагивал и уходил в глубину.

— Да, я этот случай очень хорошо помню... Вот только лицо твое забыла. Того, товарища твоего белобрысого, живо представляю... такой у него нос могучий... Так это, оказывается, был Байкалыч?

— Как видишь, у этого парня действительно сохранился только нос... да и тот уже не могучий...

— Тебя, понимаешь... никак представить не могу... Должно быть, ты тогда до смерти меня напугал... И тоже... как ехала на лошади, не помню... Как странно!..

Она оперлась на локоть и улыбнулась ему.

— Я особенно остро сейчас почувствовал, как я крепко с тобою связан, Феня. Кровью связан. Это не фраза.

Она с ласковым участием друга взглянула ему в глаза.

— Отчего бы это у тебя? Совесть, что ли, замучила? Нервы у тебя не в порядке. Отдохнуть тебе надо — устал ты. Давно был в отпуску?

Он озадаченно вздохнул и засмеялся растерянно.

— Ни разу.

— Очень глупо.

Он опустился на стул, колени в колени с ней, взял ее руку и прижал ее к своему лицу.

— Небритый... — засмеялась она. — Колешься... шершавый...

— Феня!

Он ощущал шероховатость ее ладони, видел очень близкие глаза, и вся она чувствовалась закаленной, обветренной, совсем не комнатной. Кажется, что жизнь свою она знала только под солнцем, под дождем и снегом, среди скал и рабочих людей. Глаза ее, большие, в золотых искорках, расставленные широко, наливались смехом, и в них не было ни страха, ни боли, когда Мирон вспоминал об убийстве ее отца. Она как будто говорила: меня ничем не удивишь, я видела и пережила не меньше, чем ты. В ней была какая-то неосознанная сила жизни, как у зверька, и ее

искренняя молодость была так радостна и привлекательна, что Мирона охватило желание сжать ее крепко, чтобы она закричала. Он сдерживался, боролся с собою, и у него от усилий прерывалось дыхание.

— Я завидую тебе, Феня: ты — счастлива?

— Конечно, счастлива. Но тебе стыдно завидовать.

— Я не так счастлив, как хотел бы.

— Вероятно, не думаешь о счастье, не знаешь, в чем его суть.

— А в чем его суть?

— Для меня в том, что мое дело — это я, что я чувствую людей и они меня любят. Когда счастьем дышишь, его не ощущаешь.

Она встала. Папиросу так и не докурила и бросила ее под стол. Смех не угасал в ее глазах, она как будто дразнила его: вот я — маленькая и слабенькая перед тобой, а ты со мной и поиграть не посмеешь. Она подняла руки кверху и потянулась. Он увидел ее всю такой, какой она была на плоту — голой, с крепкими округлостями тела, освещенными солнцем, — нестыдливой и доступной. Девочка на пыльной дороге, девочка — здесь; и он будто стремился к ней все годы и нашел ее.

Подчиняясь охватившей его нежности, он быстро обнял ее и подхватил на руки. И как только ощутил ее, легонькую и гибкую, его охватил внезапный порыв подчинить ее себе, сделать покорной, чтобы она обняла его и была бы счастлива от его ласки. Он впился губами в ее лицо, а потом в грудь.

Она сначала засмеялась, потом крикнула от боли, а потом вдруг испугалась и рванулась из его рук. На него смотрели изумленные, очень серьезные глаза.

— Мирон Васильевич!..

Она надавила рукою на его подбородок и судорожным движением соскользнула на пол. Забыла пригладить всклокоченные кудри и смотрела на него исподлобья с враждебным вопросом.

Чтобы не выдать своего смущения, он тоже смотрел на нее с удивлением. Что-то вдруг поняла она в эту минуту и молчаливо отошла в сторону.

— Что ты могла подумать, Феня?

Она помолчала, потом медленно повернулась к нему, и он увидел боль в ее лице. Глаза ее блестели от испуга и смотрели мимо него.

Он хотел подойти к ней, улыбаясь, но она оборонительно подняла руку.

— Да что с тобой, Феня?

Она прошла к двери и оглянулась.

— Я уважала тебя, Мирон Васильевич, ставила страшно высоко... Но ты... Ты не оправдывайся... Я только не могу понять, зачем ты рассказывал мне эту историю... И как это связать с твоим поступком?..

— Я не вижу в своём поступке ничего плохого, — сухо сказал Мирон. — Что ты за недотрога такая...

Она быстро отворила дверь и исчезла.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. О ЖИЗНИ И СМЕРТИ

1

В свободный час, ночью, Мирон сидел за своим столом и переводил с немецкого статью. В два часа он должен был пойти на плотину, чтобы сменить Гудима. Читать было трудно: за последние дни у него не было ни одной свободной минуты, чтобы заняться языком, и ему приходилось надоедно обращаться к словарю. Читал он немного, но скоро устал, и слова немели и таяли в мозгу. И это раздражало его. Он вставал из-за стола и выбрасывал руки в стороны, вверх и вниз, чтобы освежиться. Опять садился и опять вставал.

Скрипнула и распахнулась дверь в сенях; человек остановился, точно не решался войти. Мирон, озадаченный, подошел к двери и отворил ее настежь. У косяка, опираясь рукою в стену, стояла Паша.

— Ну входи. Что случилось?

— Почему же случилось? — Голос ее — сердитый, но мягкий и застенчивый. — Я просто хотела зайти к тебе... Хоть ночью... Разве нельзя?

— Почему же нельзя? Очень рад.

— Ты, Мирон, не играй в приличие. Ежели я не вовремя, скажи прямо, и я поверну обратно.

— Да иди ты, ну!.. — Он подхватил ее под руку и втолкнул в комнату. И опять он отметил, что фигура

ее стройна, сильна, с высокой грудью. Даже в некрасивом лице ее было что-то зовущее и привлекательное.

— А я к тебе по делу пришла, Ватагин. Я решительно требую, чтобы женщин не ставили на скальные...

— Ну, об этом поговорим после. Ты сейчас — моя гостья.

Она осмотрелась и засмеялась.

— Ну и живешь же ты, Ватагин! Будто от дождя прячешься. Какая-то кладовка... совсем и жильем-то не пахнет.

И будто между прочим начала приводить в порядок груды бумаг и книг на столе. Повернулась к кровати и укорительно покачала головой.

— Как же тебе не стыдно? Детина беспризорная! Наволочку надо менять чаще. Нечистоплотно. Вот тоже — сор на полу. Где чай-то пьешь?

— Чаще всего — дома, когда свободен. Люблю домашний чай.

— Ну вот и угости меня чаем-то.

Он с интересом наблюдал за ее хлопотней, за умелыми и спорыми движениями, и ему было приятно чувствовать ее заботу о нем. И оттого, что она с увлечением хлопотала в его комнате (прибрала постель, стол, нашла где-то здесь же в комнате веник и быстро подмела пол), он сразу почувствовал, что логово его стало живым и уютным.

Эта женщина, которую он знал в сущности очень мало, как-то незаметно стала близкой, понятной, теплой. А Феня грустно таяла — мерцала недостижимо далеко, как во сне.

Он ходил по комнате, молчаливый, задумчивый, и с любопытством следил за Пашей.

— Ну-ка, сними очки, Паша.

— Это еще зачем?

Но очки покорно сняла и ласково взглянула на него незнакомыми глазами. Они у нее немножко была раскосы, в них переливалось множество лучистых капель — изумленных, беспокойных, вызывающих.

— Ну, так что же ты увидел в моих глазах?

— Зачем ты носишь очки? Без очков ты проще и ближе.

— Да я же близорукая. Если тебе хочется, я у тебя очки сброшу.

Она улыбнулась и вздохнула.

— Вижу, сильно ты нуждаешься в женщине, Мирон...

— Не знаю. Пожалуй, да.

И он удивился себе: перед Пашей он не мог кривить душою — перед нею ему хотелось быть откровенным, искренним. Перед нею он мог говорить обо всем без утайки. И знал, что она скажет ему все, что у ней на сердце. Он мог бы скрывать свои мысли и желания перед Феней, перед Ольгой, перед Байкаловым, но перед Пашей он без рассуждения, с радостью выложил бы все свои тайны.

— Ну и что же? Идет мимо любовь-то?

— Ты говоришь так потому, что сама мечтаешь о такой любви.

— Конечно, мечтаю. Ведь мы носим ее в себе постоянно. Почему ты живешь врозь с женой?

— Ей не до любви. Разве обязательно надо жить вместе?

Это была не обычная Паша Погадаева, сердитая и напористая. Это была мягкая, сердечная женщина, которая знает, как надо тепло и незаметно прикоснуться к человеку.

— Да, да! Где же чайник-то?

Мирон следил за ней исподтишка и удивлялся ей, новой, непривычной, и чувствовал, что она давно уже привязалась к нему и любит по-дружески просто.

«В ней есть что-то очень хорошее, — отмечал Мирон, — что-то нетронутое».

— Паша!

Она быстро оглянулась изумленно.

— Как хорошо у тебя это вышло — Паша...

— Ты всегда была одна?

— То есть как — одна? Я всегда — с людьми и всегда — в работе.

— Нет, я — о другом...

— А-а... Да, жизнь любимым не побаловала...

— Почему?

— Вероятно, потому, что некрасива и неприметна. А детей очень хочу. Каждая женщина обязана иметь детей. Любимый человек всегда будет, а муж — муж может исчезнуть. Мы уже одной системой своей работы разрушаем старую семью. Взять хотя бы тебя...

— Ну, пример со мной неудачен, Паша. Моя семейная жизнь — уродлива.

— Раз она уродлива, значит — разрушена. Я слышала, что у вас даже мальчишка пропал без вести.

— Да. Восемь лет назад.

— Ну, вот. Даже для мальчишки уже не было нужды жить вместе с вами.

— Я думаю, Паша, что это был только тяжелый прорыв.

— Ничего подобного. Прорывы бывают только в созидании нового. А в разрушении старого, когда на смену идет новое, — это не прорыв, а разрыв. То же и у Чумалова...

Она прошла к чайнику мимо Мирона и нечаянно задела его своим плечом.

Потом возвратилась к столу, закинула руки за голову и задумалась. Мирон увидел в ее пристальных и очень строгих глазах нетерпеливое ожидание. С гулким сердцем он подошел к ней, обнял и положил руку на ее грудь. Паша чуть-чуть вздрогнула, точно ждала его руки. Так они молча стояли несколько мгновений.

От его руки по всему ее телу прошла густая волна наслаждения и смутного протеста.

— Да, ты должна быть чудесной матерью, Паша!

Она хотела снять его руку с груди, но не успела: он отошел от нее, остановился посреди комнаты и глубоко вздохнул.

Она держала свою руку на той груди, на которой лежала его рука, и чувствовала под блузкой оставленную им теплоту, и эта живая теплота разливалась по всему телу.

— Я тебе верю, Мирон. Я тебе всегда верю. Другим не доверяю. Люди еще любят жить пакостями. Некоторые мужчины двулики и лицемерны. А на женщину смотрят развратными глазами. Ты не такой.

— Видишь ли, Паша...

— Я знаю. У тебя есть жена, которую ты любишь.

— Жена — женой. Мы живем, как чужие: я — сам по себе, она—сама по себе. Ты меня немножко взволновала... Но я вовремя взял себя в руки. Как видишь, я умею бороться со своими слабостями.

Она взглянула на него стыдливо.

— А ты... дай-ка сюда руку-то...

Он впервые растерялся и не знал, как держать себя с ней; если отойти от нее молча, она примет это как оскорбление и на всю жизнь унесет в себе ненависть к нему. Если доказывать ей, что это не нужно, что это опасная игра, которая не принесет ничего, кроме боли и раскаяния, — этим он еще более обидит ее. Если же ответить на это робкое требование — он поступит не так, как должен поступить. Вот случай, который связал его с этой женщиной незаметно и больно. Паша обезоружила его своей прямотой и честностью: она смотрела на него, как на самого близкого товарища и друга. Ему хотелось и обнять ее — ощутить еще раз ее сильное тело и туго налитую грудь — и оборвать эту трепетно натянутую между ними струну. И как только он услышал эти ее слова, он опять ослабел.

— Паша, нужно ли это? Давай-ка лучше пить чай.

Она подняла лицо, залитое румянцем, и Мирон чувствовал, что он поразил ее. И другое чувствовал: не может он ранить ее сейчас своей рассудочной холодностью — слишком уж она чиста и предана ему. Он сам виноват, что первый переступил ту грань, которая отделяла его от Паши как от женщины.

«Что же тут преступного и антиморального, если я дам ей то, что она просит? Я только принесу ей счастье и ничем не нарушу своей свободы и независимости».

Но где-то глубоко внутри тревожно глядели на него немые, осуждающие глаза.

Паша оторвалась от стола, усмехнулась и повернулась к нему спиною.

— Хорошо. Будем пить чай. Садись.

Что-то горячее плеснулось в сердце, и ему показалось, что она сейчас умрет для него, как милый то-

варищ, и он останется одним среди пустоты и безмолвия ночи.

Он обнял ее и вскинул на руки, и почудилось ему, что она взмахнула крыльями и стала легкой и желанной.

2

Пока Мирон заседал в парткоме, Байкалов бродил по плотине и по площадкам электростанции. Один, без Мирона, он не мог сидеть в комнате, — не выносил одиночества. Он долго смотрел на работу бетонщиков, на полеты бадей, на клепальщиков внизу. Потом садился и покашливал хриплым кашлем безнадежно больного.

Зарево восходящей луны кажется страшным пыланием далекого пожара. Зори погасаний — тяжки и безответны. Это — часы скорбных раздумий о собственном угасании и обреченности. Байкалов хорошо знал, что скоро умрет, что это последний клочок его жизни трепещет, как обрывок красного флага, сожженного солнцем, изорванного ветрами. Он знал о своем очень близком конце, — знал, что спастись нельзя: одного легкого уже нет, а другое, тоже пораженное, надсадно хватает воздух и задыхается от бессилия дать крови нужную дозу кислорода. Он погибнет от удушья, от тьмы, от огня в легких — вспыхнет в последний раз и угаснет, чтобы больше уже не появиться никогда. Родная, великая земля! Она смотрит из безбрежности на вселенную и на самое себя миллионами глаз, пульсирует кровью в миллионах сердец и бесконечной смене человеческих волн — она бессмертна и невыразимо чудесна. Она — живая сама в себе, и его исчезновение для нее так же незаметно и безбольно, как исчезновение ничтожной клеточки его тела. Только простой обмен веществ в величавом организме, сияющем в межпланетном пространстве. Так просто, так мудро и так страшно! Жизнерадостный и трагический закон. В этом стонущем его кашле — больше жажды жизни, чем в бурных порывах любви, потому что любовь — преизбыток жизненных сил, стремящихся к размножению,

а кашель его — это последние брызги крови, последние судороги человека, висящего на слабеющих руках над бездной.

И Байкалов хотел одного — не одинокой постельной смерти, а бурной, ослепительной вспышки в борьбе, когда смерть — вдохновенный порыв, пламенное напряжение в подвиге. Он был несколько раз ранен на гражданской войне, и один раз — тяжело в грудь с поражением одного легкого (от этого и туберкулез). Он знал самозабвение рукопашных боев, пережил несколько раз ужасающие атаки на Сиваше, когда вода была уже не вода, а кровь, и когда ничего не было во тьме ночей, кроме ураганов огня, точно весь мир разрушался в грохоте, в пламени, в дыме землетрясения. Байкалов сам горел в этом пламени, сам ураганом летел через взрывы земли к одной заветной цели — к победе: через смерть, через ужасы — к жизни. И если бы он погиб тогда, если бы он был разнесен в кровавые куски, он исчез бы как сила, как герой, который смертью своей уже нес победу, и крик свой — крик счастья и ярости — он вынес бы за пределы жизни.

И странно, он не чувствовал боли и не ощущал реального мира, а радость жизни пережил только в тишине — в тылу, в лазарете, когда каждый день видел в голубых окнах деревья, обрызганные солнцем, и белых голубей, которые кувыркались в лазури. Он просил, чтобы его выносили в садик при лазарете. Он лежал на койке, следил за крылатой игрой голубей и смеялся от счастья.

Воевал он и в последующие годы, но уже на хозяйственном фронте. Был долгое время секретарем губкома в промышленном районе и вел напряженную борьбу за восстановление фабрик, заводов, шахт. И уже тогда добился постройки районной электростанции на местном угле и в большинстве крупных предприятий паросиловое хозяйство перевел на энергетическое. Парторганизация была одна из сильных и крепких, и рабочие массы любили его. Он горел работой, жил ею и не думал о своей болезни, как-то не чувствовал ее. Иногда он неожиданно вспоминал голубей в небе и беспричинно смеялся к удивлению товарищей.

А товарищи видели, что он тает на их глазах. Они настаивали, чтобы он отдохнул и полечился, а он отмахивался с негодованием.

Потом он все-таки слег. Провалялся долго и, когда возвратился из больницы, был уже болен непоправимо, но духом был так же бодр и жизнерадостен.

Он не только контролировал, не только выправлял политическую линию организаций и отдельных лиц, не только занимался педагогикой, не только исправлял извращения в работе и поведении партийцев, — нет, он жил борьбой — вносил новое в методы труда и партруководства. Он не разбирал дел у себя в кабинете, а выезжал на места, изучал их в той обстановке, где они возникали и развивались. Обвинял и карал людей, совершивших сознательно преступление против партии и рабочего класса, с таким же удовлетворением, как и оправдывал невиновных. И после этого он уже не забывал никого: пристально следил за их ростом. Если партиец вел себя противно партэтике или выполнял работу по шаблону, формально, — значит, организация была слаба, значит, в системе были изъяны. Хорошая система отрицает дурные, антипартийные поступки: такие поступки немыслимы при живом и здоровом творчестве. Значит, организацию надо проверить и насытить здоровыми людьми. Он говорил:

— У вас нет главного, без чего не может жить ни одна организация, ни одно дело, — борьбы, — борьбы за достижение больших и малых целей. В этом — всё. А некоторые существуют как им вздумается: делают гадости, пьют, развратничают, срывают цветы обывательских удовольствий. В наших великих боях за социализм нет личных, не зависимых от большевистского дела интересов. Вы знаете, что личность в наших условиях тем выше, тем значительнее и ценнее, чем крепче, чем органичнее она связана с коллективом. Ценность и величина личности в нашей стране измеряются напряжением ее творческих сил, то есть качествами борца.

Байкалов часто приезжал на стройку и всегда оставался у Мирона до утра. Ходил ли он по участкам, наблюдал ли за работами, сидя на скале, или на пере-

мычке, или на электростанции, или на шлюзе; ездили с Мироном на комбинаты, или же по ночам разговаривал со старым другом в его комнате, — Байкалов жил не тем, что он пережил за день, за декаду, не теперешними делами, которые воплощались вот в этих пережитых днях и часах, а всей неохватной лавиной созиданий страны, всем мощным движением жизни. И поэтому слова его казались отвлеченными, дышали поэтическим жаром и были больше и напряженнее обычных слов, рождаемых делами будней. Мирон особенно любил Байкалова за эти мечты. Он сам с охотой говорил с ним о будущем, о великих размахах работ, но у него все это воплощалось в конкретных выкладках — в оптимальных планах, в контрольных цифрах, в заданиях, не выходящих из рамок реальных дней, которыми он жил и которые непосредственно строил.

Вот и сейчас, когда Байкалов сидел одиноко и смотрел на бетонировку опорной стены аванкамеры, — стены, похожей на морской мол, — он, по обыкновению, думал о том урагане борьбы, которая охватила шестую часть мира и которая потрясает все страны земного шара.

Он не думал о своем близком конце, — о том пределе, к которому он несся с головокружительной быстротой. Он следил за сложной работой машин, за неустанной хлопотней серых людей в прозодежде, за грохочущими поездами бетона и щебня, за далекими ослепительными взрывами, и ему самому хотелось броситься в работу, с наслаждением отдать последние остатки мускульных сил.

Да. Скоро его не будет, и мир для него исчезнет. Но все-таки он — бессмертен. Он живет в этих массах, в этих человеческих усилиях: они развиваются беспредельно, видоизменяясь и воплощаясь в новые формы. И он так же, как сейчас, будет смотреть глазами новых жизней, новых человеческих воль. Угаснут его глаза, но они мгновенно же вспыхнут глазами новых рождений. Смерть ужасна в пустоте, в бессмысленном существовании. Навязчивая идея смерти доводит до сумасшествия, до самоубийства тех, кто по существу уже

раздавлен. Для них реальная жизнь — уже бессмыслица, для них нет уже ни надежд, ни зовущих целей, они уже не связаны с жизнью, и никаких связей им уже не найти. Они только способны терять сознание от кромешных видений и кошмаров. Такова судьба невольников уходящих эпох. Боится он только одного, что не хватит сил выдержать эту бурю человеческой весны.

3

Как и все люди, у которых дни и ночи загружены многочисленными сложными делами и которые в этих делах теряют ощущение времени, Мирон жил только своей работой, в постоянном общении с людьми — с утра до ночи был в хлопотах и волнениях. Через него проходила вся многообразная хозяйственная и политическая жизнь строительства: ни один, даже маленький, вопрос не ускользал от его внимания. Заминка в производстве работ, потому что до сих пор не получены чертежи, — надо немедленно посылать в центр верного человека. Авария в котловане, — надо выяснить виновника этого события. Состав бетона на бычках недоброкачественный, — надо установить, взрывать ли испорченные пласты, или можно исправить.

Но не только это занимало Мирона. Горел он одним: как бы создать твердую систему труда, как бы бригадную ударность и соревнование превратить в инстинкт, в естественный массовый порыв, чтобы он был потребностью, творческим хотением, чтобы без этого немыслимо было иное существование. Он собирал актив, выступал перед молодежью, подхлестывал газеты и стенгазеты и, когда приходил домой, долго не спал от переутомления и недорешенных вопросов. Каждую ночь шел на плотину и работал в своем штабе вместе с Гудимом и Васяем; если работы проходили бесперебойно, просматривал сводки, диаграммы, графики, устраивал летучки для обсуждения текущих вопросов; если же были затруднения в темпах, оставался до утра: звонил в телефон, вызывал секретарей ячеек, бригадиров, десятников, давал строжайшие директивы, спрашивал и

требовал объяснений спокойно, почти добродушно, но все чувствовали, что в этом его добродушии и спокойствии — угроза и непреклонность, как в минуты боя.

В среднем котловане работало несколько насосов, и вода убывала каждые сутки метра на полтора. Пройдет еще три-четыре дня, и котлован опять будет готов для работ. Бригада Кольчи в полном составе проверяла работу насосов ежедневно, исправляла порчи, чистила механизмы. Ребят встречала обычно Феня: она, как врач, внимательно вслушивалась, всматривалась, щупала машины, наблюдала за мутными водопадами, которые густо выбрасывались из членистых толщенных труб, и отмеряла каждый час убыль воды. И она думала: время уходит, и каждый день — неисчислимые потери в календаре работ. Котлован нужно приготовить к кладке бетона максимально через двадцать дней — нужно вынуть до сорока тысяч кубометров скалы. Если подсчитать, что на каждого рабочего ляжет пятнадцать кубометров за смену, то нужно более двух с половиной тысяч человек. И это при непрерывной трехсменной работе! И это на крепчайшем кристаллическом монолите!.. И ее уверенность поколебалась: ей было страшно от мысли, что время уходит, а вода убывает так медленно, что наличными силами квалифицированных рабочих, которые могут работать в две смены только по ночам, не справиться с этой громадой. Она собирала производственные совещания и добивалась того, что и подпальщик, и бурильщик, и сезонники загорались, — подписывали между собою договоры о соревновании и выдвигали встречные планы.

На заседании парткома было решено послать в деревню двадцать человек. В числе этих двадцати были Феня и Кольча.

4

Мирон пришел домой часов в двенадцать ночи и встретился с Байкаловым у самой калитки.

— Ты что же это, Байкалыч, бродишь здесь? Взял бы да чайник вскипятил: попили бы чайку.

— Я только что пришел с электростанции. Еще горяч от впечатлений. Опасно вносить огонь в твой тесный угол.

Мирон усмехнулся: Байкалов шутит конфузливо, точно оправдывается. Как он наивно и неумело хитрит! Он стоял здесь или ходил перед палисадником долго, нетерпеливо ожидая Мирона.

Пока чайник нагревался на примусе, а Мирон готовил посуду, Байкалов бродил по комнате и рассказывал о делах, которые прошли через его руки.

— Мы слишком мягки и снисходительны к зарвавшимся партийцам, которым поручены целые районы. Но иногда бьем до оглушения за ничтожные поступки. Обычно у нас говорят с угрозой: «Подожди, партконтроль тебе нажарит по первое число». Неверно это. Надо так поставить всю систему контроля, чтобы каждый партиец, каждый работник в минуты бед неудержимо, с радостью бы думал о контрольной комиссии как о лучшем своем друге, которому хочется выложить всю свою душу. Коммунистические чувства развиты мало — вот в чем беда. А партконтроль как раз и призван укреплять и воспитывать эти чувства.

— Ты что-то возбужден, Байкалыч. Опять какая-нибудь скандальщина?

— Не то что скандальщина, а в последнее время немножко рассупонился. Ряд дел просто встревожил меня. Придется ехать на места.

— Зачем тебе ехать на места? К чему это? Ты же совсем больной. Для чего же у тебя инспектора?

— Ну, вот тебе! Как же можно? Вызывать людей — это значит тормозить работу на местах, оголять фронт. Нельзя. С поста я не уйду. Уходить от дела, чтобы только готовиться к смерти, это, брат, самая отвратительная и идиотская вещь. Это по старинке называлось: схиму принимать. Тогда это соответствовало бытию — средневековая созерцательность, буддизм. Наше время великого подъема отрицает смерть. Не смерть, а смена сил. Нам надо научиться умирать с гордостью.

— Ну, я, Байкалыч, совсем не думаю об этом. Для меня этой проблемы не существует.

— Дело, Мирон, не в физической смерти, а в самой сути нашей жизни. Какова жизнь — таков и ее конец. Для нас обычное понятие смерти потеряло весь свой прежний смысл. В своей работе я очень часто встречаюсь со смертью людей, которые физически неуязвимы.

— Мутит тебя эта проблема, Байкалыч. Наплюй ты на нее...

— Нет, зачем же? Я думаю только, как иногда люди глупо заканчивают себя. Вот, например, одна история. Ответработник руководит предприятием. Дело как будто ведет неплохо. Но пьянствует, устраивает оргии. Каждые три месяца — новая баба. Вовлек в эти оргии других партийцев. Фокстроты под граммофон. Ну, и, конечно, всякая грязь. Сначала разложение идет под покровом глухих ночей, а потом вырывается на улицу. И, когда утренняя смена идет на работу, из открытых окон — пьяные крики, визги, фокстрот. Начинается канитель среди молодежи. Беременеют комсомолки. Одна из них вешается. Это и дает сигнал к возбуждению дела. На предприятии — аварии и прорывы. Вредители блаженствуют. Еду на место — вожусь полмесяца, арестуем кое-кого. Снимаю директора и руководство. Ну, исключаем из партии. Так вот. Как оценить этих людей? Это — несомненная смерть заживо. Тут одной карательной дезинфекцией не возьмешь. Тут нужна прививка и длительная профилактика.

Байкалов улыбнулся, но в глазах были и гнев и боль.

— Понимаешь, Ватагин... Ну, спросил я этого директора: «Скажи-ка, мол, милый человек, как будешь жить дальше?» —«А я, говорит, не достоин жить дальше». — «Брось, мол: надо создать жизнь заново. Всякая здоровая борьба ведет к победе в конечном счете».

— Какова же судьба этого директора?

Мирон налил два стакана и пошлепал ладонью по сиденью стула. Байкалов поглядел в ночную тьму раскрытого окна и медленно сел.

— Застрелился.

— Туда и дорога.

— Как тебе сказать... Парень он был когда-то неплохой. Боевой парень. Но попал на удочку. В этой истории я и себя считаю немного виноватым.

— Это еще что?

— Ну да. Допустил, не заметил вовремя. А можно было спасти, выправить человека.

— Ерунда, Байкалыч. Я убежден, что этот твой директор пил и мерзил еще тогда, когда он был боевым парнем. Для них всё нипочем. А политически они — круглые невежды. И тогда еще фронтовая романтика проявлялась в них уродливо, а сейчас они — психи.

Он пошлепал Байкалова по плечу и засмеялся:

— Всегда у нас с тобою похоронные разговоры...

Байкалов быстро обернулся к нему и посмотрел с удивлением. Он протянул руку к стакану, но опять отдернул ее.

— Видишь ли, друг... ты неправ. Я совсем не склонен вести похоронные разговоры. Я только решаю проблемы жизни. Я утверждаю с величайшим убеждением, что смерти, в ее старом, отжившем значении, для нас не может быть. Вот и все. Смерть в обычном понимании — это ослабление воли и безнадежность в оценке собственных сил. Это — не наше. Депрессия. Знал я одного парня. Хороший, честный большевик. Работал он в губернской контрольной комиссии. Приходилось ему часто возиться с делами позорными и грязными. Один раз приходит и прямо с места в карьер тычет мне пальцем в грудь: «Как это, Байкалыч? Парторганизатор, ответственность большая, а целый гарем из молоденьких комсомолок? А? Пойми, Байкалыч... у меня — десятки дел... Куда же мы идем, Байкалыч?» Много мы с ним беседовали. Как что — так и ко мне. А потом замолк, замкнулся, рассвирепел. Исключает направо и налево, отдает под суд, и уже по каждому пустяку — общественные и показательные процессы. Только знает что дергает, бьет и туркает. Пошли неполадки, коллективы трещат, люди — в смятении. Расстались мы с ним года два назад. А в прошлом году узнаю...

— Тоже застрелился?

— Нет. В нервной изоляции.

— Этого жаль, Байкалыч.

— Так вот я и говорю тебе, Ватагин. Я — против похоронного понятия смерти. Ты второго парня жалеешь, а я нет. Он мой враг, потому что он своей паникой срывает мою борьбу против ядовитой гадины, которая отравляет наши силы и нашу творческую волю. Он тоже умер при жизни. Ведь важен факт не физической смерти, а психической.

— Давай-ка лучше чай пить, Байкалыч.

— Будем пить чай. Но заметь: мы должны только жить... творчески взлетать до высших пределов. Знаешь, как струна скрипки: поет, потрясает тысячи людей и вдруг... лопнула... а никто этого не заметил... да и она, если бы жила сознательной жизнью, тоже не заметила бы... Вот в чем гвоздь проблемы. Одним словом, стремиться все выше и выше, к вершине бытия, чтобы в твоем жизненном завершении было торжество жизни.

Байкалов засветился внутренним жаром. И глаза его, всегда беспокойные, не остывающие, видели сейчас такие глубины и дали, каких Мирон не увидит никогда: они смотрели на Мирона и как будто пронизывали его насквозь.

— По-твоему, выходит, Байкалыч, что при такой постановке проблемы в корне меняются отношения между людьми. Все становится иным: и мораль, и семья, и личность...

— Конечно. Имей в виду, что страх смерти родился у домашнего очага. Человек социалистической эпохи рождается для всечеловеческого творчества, и смерть его будет только замыканием круга. Смерть должна быть началом высшего синтеза.

— Ну, Байкалыч, как там ни рассуждай, а умирать все-таки не хочется. Тяжелая штука.

— А вспомни, Мирон, когда мы с тобой дрались в боях, думал ли ты в те минуты о смерти? Если бы ты во время сражения замирал от ужаса за свою жизнь, ты прятался бы где-нибудь в тылу, в какой-нибудь надежной дыре. А я помню твои доблестные подвиги.

— Ты хочешь сказать, что человек не боится смерти, когда он — в порыве и взлете.

— Вот это самое.

Байкалов обрадовался и взволновался. Он даже рванулся к Мирону и схватил его за руку.

— Понял, понял, в чем дело. Но мало, Ватагин, понять, надо это превратить в основу поведения, чтобы сказать: в этом — я, это — моя настоящая природа.

— Но мы, Байкалыч, вызывали и нелепые, ненужные смерти, которые ложились на душу тягостным грузом.

— Ну, в тяжелом пути всегда ранят ноги...

— Ты хорошо знаешь нашу Феню?

— Да, да. Это — девушка-инженер? Хорошая девушка.

— Знаешь, кто она?

— Не могу сказать. Я ее узнал только здесь.

— Нет, ты ее знал и раньше.

— Вот как!

— Да. Помнишь, как я пристрелил на юге одного солдата? Ты еще боролся со мной — не давал стрелять?

— Ах, да! Как же, как же! Так это — она? Вот уж не мог предполагать... Смотри ты, какая молодчина стала! Что же ты хочешь этим сказать?

— Я нес в себе тяжесть этого нелепого убийства до сих пор, а когда узнал ее и сказал ей об этом, она не поняла меня.

— То есть она, Ватагин, поняла тебя, но не придала этому трагического значения. Шлак. Ошибка. У ней шлаков меньше, у нас — больше. Когда плавится новая жизнь, шлаки неизбежны. Не в этом трагедия. Трагедия в том, что человек заживо уходит из жизни и перестает быть творческой ее силой. Надо воспитывать в себе пожизненную молодость.

И, как всегда, Мирон чувствовал, что он опять — в волнении. Он сидел растроганный и посматривал на Байкалова с ласковой насмешкой старого друга.

II. ПОЖАР

1

За окном, в ночных кустах палисадника, зашелестели листья. Вынырнула голова Шагаева, инженера, ведающего техникой безопасности. Он спокойно, но переутомленно положил локти на подоконник.

— Видишь эту ночную тень, Байкалыч? Весьма тревожный человек. Приходит он ко мне или в шахматы играть, или прорицать беды.

— В шахматы играть сейчас не имею вдохновения, Мирон Васильевич.

— Чего же ты бродишь? Заходи, чаю налью.

— Ну, это бедность фантазии.

Он поиграл указательным пальцем перед глазами.

— Сегодня я растрогался, Мироша. Грущу. Молодость не только заражает, но и оттесняет к угрюмым берегам. Обидно, что юность прошла не вовремя.

— Что-то уж больно вычурно говоришь ты, Игнатьич. Это у тебя очередная сенсация?

— Детишки меня подсекли, Мироша. Ежели у человека нет прошлого, он не может быть пессимистом, потому что он любит утренних петухов и жаден до ранних лучей.

— Тоскуешь ты, Игнатьич.

— Верно, тоскую, Мироша. Девушкам надо бы в куклы играть, а они этак серьезненько, несвоевременно зрело предъявляют десятнику требование о посылке их бригады на бетонные работы. Десятник, конечно, хохочет: «Коротышки!» А одна из них грозно на него наступает, и подбородок — в боевой позиции. «Ты, говорит, не смейся, а ставь дело по существу». Детина не почувствовал этого великого момента: мигает на них и сосет леденец. Вынул из кармашка конфетку и тычет ей в мордочку. А она оскорбилась: человеческое достоинство в ней унизил.

— Ну, и девчушки, разумеется, ушли?

— До чего ты не чуток, Мироша, и до чего ты не

знаешь человеческой души! Ни в какую! И не подумали! Вот это-то меня и растревожило. Ты оцени ответ этой юной героини: «У тебя, говорит, одна обязанность — хорошо использовать рабочую силу: если, говорит, для промфинплана важно и сор убирать, мы это с радостью... Выкладывай картину работ». Как сказала это она насчет картины, так меня и потрясло: ниточка такая горячая от сердца к глазам застрекотала. Не утерпел — протянул ей руку, а она небрежно, видишь ли, усмехнулась. Не поняли меня, Мироша. Отбросили от своей молодости куда-то в доисторический период. Точно отняли у меня надежду на завтрашний день. Понимаешь, готов перед этой девчушкой на колени упасть и взвыть: голубка! дай место в твоих глазках человеку вчерашнего дня: он так страстно любит утренние зори и песни ранних петухов!

— Ты — поэт, Игнатьич. Покупался бы ты, что ли, или душ принял. Горячка у тебя.

— Не горячка, а бунт. Сегодня на шлюзе я зашел в мастерскую. Репей закалкой буров занимался. Вдруг бросает работу и — к двери. Манит меня рукой, а сам, как охотник, прицеливается в какую-то точку. И глаза у него такие, точно в дураках его оставили. «Ни черта, говорит, не понимаю. Какая-то мистика». Парень он беспокойный и въедливый насчет срывания масок, но мозги его всегда были склонны к аналитической путанице. В этом отношении мы с ним трогательно гомологичны. Я, признаюсь, тоже его не понял. Не внял, по какому поводу трясет его лихорадка. Потом только догадался: какие-то два иностранца из колеи его вышибли. «Оборотни», говорит.

— Ну, Репей вечно фантазирует...

— Нет, занятно, Мироша. Я после тоже заинтересовался. Страсти заразительны, а я — охотник до всяких сильных страстей. Разъезжали эти два иностранца с переводчиком. Этакие Пат и Паташон. «Кто такие?» — спрашиваю. «Англичане, говорит, чистой крови». А Репей утверждает, что краснофлотцы.

— Чепуха какая-то, Игнатьич. Иди-ка лучше домой и отдохни.

— Отдыхать от самого себя нельзя. Я сейчас говорить хочу. Почему бы тебе не пойти к Балееву? Музыку бы Костину послушал. Композитор. Машинист на кране. Новый великий человек.

Он вдруг оживился:

— А не поехать ли нам с тобой к Хабло?

— Еще что выдумай...

— Нет, право. Люблю острые разговорчики. Много бы я открыл в нем смешных неожиданностей, вроде, например, искалеченной руки, которая к его инженерскому званию не имеет никакого отношения.

— Ну, это не ново.

— Тебя, Мироша, не проймешь. Хабло такой же инженер, как я — факир. Ты не внемлешь голосу сивиллы. Но я утешаюсь тем, что настанет час, когда ты падешь мне на шею и скажешь: мой верный и неизменный друг Игнатьич, твой чуткий глаз и искрометный ум...

Шагаев внезапно растаял во тьме.

Байкалов с изумлением посматривал в окно и на Мирона и улыбался.

— Это что у тебя за мелкий бес?

Голос Игнатьича лениво и безразлично вздохнул за окном:

— Кажется, пожар, Мироша. На комбинатах.

Мирон вскочил со стула и бросился к окну, но в этот миг пронзительно застрочил телефон. Мирон на бегу схватил трубку.

— Верно, пожар. Загорелись леса. Угроза новым зданиям.

Он вызвал гараж и попросил прислать машину. Шагаев в палисаднике мерцал, как призрак. Над поселком на горизонте дышали вспышки зарниц. Волнами наплывал шум далекого водопада. Завыла сирена. Она еще не спустила своей струны, как взвизгнула опять.

Заревел гудок на временной силовой установке и задушил вопли сирены. Кусты в палисаднике рванулись через ограду и завихрились листьями. Игнатьич

закрыл ладонью лицо и съежился, а в окно ворвалось горячее облако пыли.

— Ну, Мироша, худо. Начинается ветер. Как бы не смело весь комбинат.

Говорил Игнатьич с удовольствием, даже весело.

Байкалов торопливо вышел из комнаты.

По улице мимо палисадника бежали люди, перегоняя друг друга.

— Держи, ребята, к гаражу!.. К машинам держи!..

Мирон узнал голос Кольчи.

«Он и здесь хочет захватить первое место... точно ждал случая...»

Вдали по улице рычали машины. Гудки и сирена то замолкали, то опять выли зловеще и угрюмо. На той стороне свистки строительных паровозиков переливались, как дудочки. Зарево вспыхивало молниями на горизонте — багрово и дымно. Налетел вихрь пыли и засорил глаза. С головы Шагаева слетела фуражка и исчезла во тьме.

Сверкая фарами, подкатила машина. Из переулка выехал грузовик, густо набитый людьми.

Шофер уже развернул машину, как на подножку вскочил Осокин без картуза, в одной рубашке, растрепанный (должно быть, уже ложился спать).

— Беда-то какая, ребятки!.. Все сметет начисто... Пожарные — там, пожарные — здесь... Как ее тут, эту неладную дверку?.. Не отворяется...

Мирон оттолкнул дверь, но шофер уже распахнул дверку в свою кабинку.

— Сюда, товарищ Осокин.

Осокин сначала шагнул к Мирону, а потом заторопился к шоферу, потом опять к Мирону.

— Ну, заметался! — усмехнулся Мирон. — Голову потерял...

— Буриданов осел... — засмеялся Байкалов. В возбуждении он почему-то всегда беспричинно смеялся.

— Ну вот, ну вот... — забормотал Осокин в смущении. — Сейчас уж и ругаться... Осел, да еще не простой, а заморский.

Машина мчалась по шоссе к железнодорожному мосту. Поселок остался позади. Шоссе виляло по

склонам холмов и круто вползало вверх. Зарево дрожало над горбами возвышенностей и багрово вспыхивало в облаках.

В переплетах моста мелькали огни двух автомобилей и чуть слышно звонили колокольчики — это мчался пожарный обоз.

Мирон смотрел на взметы пламени и взрывы дыма, на огненные дома, на оранжевое облако в вышине и испытывал знакомую, как далекое воспоминание, тревогу. Он привстал и, опираясь рукою о плечо Осокина, подался вперед, не отрывая глаз от пожара. Осокин непоседливо метался около шофера и вытягивал шею и вправо и влево, и от этого неудобно было держать руку на его плече.

Пламя бурно взлетало ввысь, окутывало здание, и кружевные переплеты лесов обсыпались искрами и каскадами углей. Внизу метались толпы народа.

Внезапно машина быстро затормозила.

— В чем дело? Эй!..

Мирон быстро распахнул дверку, выпрыгнул на дорогу и побежал вперед. Стояли пожарные автомобили. Задний старался развернуться, а передний уткнулся передком в землю и свалился набок. Кто-то стонал под корпусом красной машины, блистающей латунными деталями, а пожарные в римских касках торопливо работали лопатами. Человек в каске спокойно сообщил:

— Машину вот угробили... Какая-то сволочь вырыла ямы на дороге.

Осокин вместе с пожарными полез под машину.

Вторая машина пошла поодаль и, освещая фарами бурьян, покатила по степи.

Мирон обошел вокруг авто и увидел свежую канаву через дорогу. Передняя ось свернулась набок, а колеса изувеченно торчали раскорякой... Тут же брошены были вповалку бревна. Дальше дорога была уже чистой, но по сторонам опять лежали бревна.

Байкалов сидел по-прежнему на своем месте и как будто совсем не замечал, что происходит около него.

Мирон подошел к машине, которая только что подкатила, ослепляя прожекторами, и, невидимый за светом, Чумалов крикнул ему навстречу:

— Что там, Ватагин?

— Да вот... вырыта канава поперек дороги и натасканы бревна. Пожарная машина вышла из строя.

Чумалов угрюмо усмехнулся.

— Это для того, чтобы мы с тобой пореже здесь бывали! Ну-ка, Емельян, вылезай...

Но Емельян уже вышел из автомобиля и старательно хлопнул дверкой. Этот Емельян, белобрысый парень, старый вояка, всегда чем-то озабоченный, был молчалив, скучен и, когда захаживал к Мирону в партком, безразлично и терпеливо слушал других.

— Я пока здесь останусь, Чумалов, — предупредил он. — Поезжай с Ватагиным.

И пошел к пожарным ленивым шагом.

— Да. Работка. С удовольствием бы свернул я шею этому землекопу... — яростно сказал Чумалов.

2

Горели одновременно два здания: деревянный барак, контора начальника работ по коксокомбинату, и поодаль от него — частое сплетение лесов небольшого кирпичного корпуса. Другие кирпичные здания были уже без лесов и краснели свежей мозаикой кладки в потоках извести. Широкие пустоты окон зияли мраком, и в их провалах призрачно мерцали золотой чешуей доски, рейки и оконные рамы. Шла внутренняя отделка зданий. А невдалеке пластался длиннейший дощатый тепляк коксовых печей. Горячий дым облаками носился между корпусами, и вихри искр вьюгой крутились в прорывах строений.

Кое-где горели щепки и головни на земле. Жар обжигал лицо и руки, и казалось, что смолились волосы и ресницы и трескались губы. На кирпичном корпусе снизу доверху пылали леса: каждая доска и каждая рея весело трепетали бойкими змейками. С гулом и треском пламя металось в многоэтажных

переходах и коридорах, и снаружи и внутри стен. Отвалы глины, штабели бревен, кучи всякого строительного материала, белостенные бараки, новые кирпичные здания и этот разбухший гигантский тепляк обливались огненными шквалами. Толпы народа метались перед огнем. Люди кричали, налетали друг на друга и разбегались в разные стороны. Клубы густого дыма швыряло ветром в эти толпы. Пожарные с баграми старались разрушить леса, но они твердо врастали в стены зданий. Кровавые траектории из брандспойтов совсем не тушили огня. От этих фонтанов пламя вспыхивало еще веселее и ярче: стаи пылающих птиц разлетались, разбрасывая искры. Люди суетились, страдали от дыма и жара, их отгоняли пожарные, но они перебегали с места на место. И совсем не было в них ни страха, ни ожидания опасности.

Парень в грязной рубахе, с засученными рукавами, босой, задыхаясь от суеты, кричал и кашлял.

— Вот это да!.. Вот чешет! Душа моя пляшет, ребятки... До чего обожаю пожары!..

Одни ругались, другие хохотали.

— Чего ты, черт, дурака валяешь? Ишь зарадовался! Не ты ли это поджег?.. Орешь-то чего?

— А чего же мне, ребятки, не орать? Ну, а ежели у меня душа бунтует?

Несколько человек пробежали через толпу.

— Дорогу, дорогу, ребята!.. Отходи в сторону!.. Видишь, конвейер? Передавай ведра!

Мгновенно толпа рассеклась коридором, и ведра по рукам поплыли к пожару. Один рабочий, расплескивая воду из ведра, бросился к бараку, но сейчас же отпрянул назад.

— Мочи нет, граждане... Так и палит, так и лезет в печенки...

Другой доблестно подбежал к лесам, выплеснул воду и пустился обратно, закрывая лицо рукой. Один из пожарных быстро повернул шланг, и горячий дождь ошпарил людей. Завизжали женщины, и толпа рассыпалась в разные стороны. Растрепанная бабенка несла на животе несколько кирпичей.

— Девки-и!.. — визжала она сама себе. — Беги, девки!

По отвалам земли и ворохам материалов тоже бегали люди, наскакивая друг на друга.

Кто-то позади толпы кричал, задыхаясь:

— Товарищи! Колонка забита — ничего не сделаешь...

— Они всех нас пожарят... Ишши вот их...

— А чего глядеть-то: выволочь все это гнездо да в огонь...

— А я первый увидал. Вышел до ветру... Батюшки!.. а оно уже вдрызг садит... Уж красные галки... Колочу в окно и ору... А что ору — ни черта не помню... Вот... видишь, рука в кровище?.. Окно высадил — в стекло врезался... Ну, а сам — сюда... Скажи на милость, как оно действует!..

Байкалов уже стоял в кучке рабочих и сезонников и говорил спокойно и твердо, но глаза его были широко открыты, ноздри раздувались, и он задыхался. Надо сейчас же доставить из бараков шланги и осмотреть все колонки водопровода. Через две-три минуты все должны быть на местах около него.

Мирон подошел к Байкалову и с сердитой лаской приказал:

— Долой отсюда, Байкалыч! Тут и без тебя много распорядителей. Добром прошу...

Но Байкалов посмотрел на него непонимающими глазами. Прибежали рабочие со шлангами, и Байкалов пошагал с ними куда-то в сторону.

Чумалов тряс за грудки толстого человека в парусиновом плаще. Это был Величко.

— Душу из тебя выну!.. Где ты был? Почему нет ночной смены?

А Величко певуче повизгивал:

— Да товарищ же Чумалов!.. Да слухайте ж!.. Хиба ж то от мене зависит?.. Чи я хозяин распорядка?..

— Где сторожа, говорю тебе? Подать сюда сторожей!..

— Та чего же вы шкарабаете, товарищ Чумалов? Просю ослобонить...

Мирон не мог удержаться от хохота.

Глеб оттолкнул Величко и побежал к горящим лесам.

На Мирона налетел Репей:

— Ну, вот-с, изволь радоваться, Ватагин... Проморгали, проколбасили эту сволочь... Корчим мудрецов, первосортных хозяев, а вот свинью нам подложили, — и не знаем, кого за глотку хватать.

Он безнадежно махнул рукой и побежал куда-то за угол кирпичного корпуса.

К Мирону подошел Кольча с ребятами.

— Что же нам-то делать, Ватагин? Болтаемся вот и не знаем, к кому обратиться...

Кольча смеялся и злился.

— Дуйте, ребята, к этим вон штабелям. Перебросить все надо на другое место — подальше от огня.

Бычков с трубкой во рту щурился от дыма и хладнокровно шепелявил сквозь трубку:

— Я бы, Ватагин, отправил их в это здание: там — целая свалка стружек и щепы. Загорится. Какой-то умник распорядился свалить там масло и бензин. Насчет досок я уже распорядился.

Кольча понесся с ребятами к кирпичному зданию.

Толпа растаскивала доски, плахи, щепу, бревна, старую опалубку. Все как будто старались перегнать себя.

Бычков усмехнулся в трубку.

— Вот оно как заработали, товарищок! Надо, выходит, человека опалять огнем.

Баранников, в голубом нательнике и серой кепке, похожий на простого рабочего, прошел мимо и озабоченно сказал на ходу:

— Бить нас всех надо, товарищ Ватагин, бить в три шерсти. Все как нарочно приготовлено для пожара.

— Но ведь на площадке-то вы?

— Ну, разумеется, я.

— Вот и сдерем с вас шкуру.

— Ну, тут есть начальство повыше меня — Бубликов. Я ведь, собственно, по монтажу. Бубликова потревожить нелишне, а то он очень неразговорчив.

Обратите внимание, Мирон Васильевич. В пожаре этом есть кое-что для размышления...

— Если у вас завтра будет время, зайдите ко мне на плотину, товарищ Баранников. Хочу потолковать с вами.

Баранников кивнул в знак согласия и пошел дальше.

Мирон увидел неподалеку от себя Хабло. Он стоял один, поодаль, в белой рубахе, в белой кепке, и смотрел на пожар неподвижно и задумчиво, глубоко засунув руки в карманы. Мирон стал следить за ним, но делал вид, что не замечает его.

Ему показалось, что этот человек сейчас должен сказать ему какие-то необычные слова, которые он вслух не произносил никогда. К Хабло быстро подбежал парень деревенского облика, что-то взволнованно сказал ему и скрылся.

Хабло равнодушно встретил Мирона, но глаза его блестели лихорадочно.

— Безучастно, безучастно ты любуешься, Хабло...

— Безучастно нельзя любоваться. Это — бессмыслица.

— Стоишь в сторонке, точно тебя не касается...

— Я не пожарный, Мироша.

Он посмотрел на часы и нетерпеливо оглянулся. Рука оголилась почти до локтя. За ремешком рука была безобразно исполосована шрамами и искривлена в сторону.

— Когда это ты изукрасил себе руку?

Хабло торопливо одернул рукав и быстро спрятал руку в карман.

— Сбежал из-под пуль в лес, но пуля все-таки настигла, и я отразил ее рукой.

Хабло не изменял себе: он всегда говорил пренебрежительно-насмешливым тоном.

— Ты жизнерадостный, как шут, Хабло...

— Да, Мироша, я очень жизнерадостен. Счастливый дар. Когда научишься ехидничать над смертью, перестаешь бояться, и все кажется забавным.

Где данные для подозрений? Его наглость? Тревога Паши и Игнатьича? Галлюцинации Репея насчет двух каких-то призраков? Но ведь слова — не

доказательство. А Репей помешан на сыске врагов. А разве недостаточно настороженности этих людей, чтобы заинтересоваться им как следует?

Леса рушились огненными водопадами. Летели горящие доски, с грохотом и треском падали бревна в дыму и искрах.

Где-то в толпах выкрикивал командный голос Чумалова. Шквал густого дыма и жара нахлынул на Мирона, и он отвернулся в сторону, чтобы продышаться. И эта удушливая волна напомнила ему о Байкалове.

«Задохнется, шайтан. Надо его вытащить из толпы, а то еще растопчут».

Люди шарахались в разные стороны, давя друг друга и забивая проходы. Мирон долго искал Байкалова, но нигде его не заметил: должно быть, не выдержал и ушел. К нему подбежал испуганный, закопченный парень.

— Товарищ Ватагин! Репья сейчас притащили. Нашли за домами... Вся башка в кровище... Прямо страх смотреть...

И он убежал опять. Мирон протискался в гущу толпы и увидел на щепах вытянутое тело Репея. Голова была залита кровью. Рубашка завернулась выше живота.

Мирон распорядился перенести Репея подальше от пожара.

Кто-то радостно и услужливо крикнул на ухо Мирону:

— Карета дежурит тута-ка, товарищ Ватагин. И санитары наизготове... Они — вота-ка.

Кто-то за спиной Мирона пробормотал торопливо и опасливо:

— Он, Репей-то, с Хаблом поскандальничал... За грудки хватал. Парень-то уж больно...

Мирон медленно обернулся, но лица человека не встретил.

Ветер бросал огонь и дым прямо на новые постройки без лесов и в лесах, на груды щепы и стружек на земле, на штабели лесоматериалов. Воздух горел и выл, как перед грозою.

3

Ребята пронеслись вдоль стены, по щебню, по свалкам мусора, к дверям. В первом этаже, в просторной комнате, забитой щепами, в раскаленной мути они увидели жестяные бидоны и железные бочки. В огненную дыру окна прыгнули три силуэта.

— Кого это сюда черти принесли? Что вам здесь нужно?

Ребята кричали на них в добродушном негодовании:

— Кто это у вас умник такой?.. Горючего-то сколько!..

— Лафа для поджигателей: лей бензин целыми бочками.

— А ну-ка, ораторы... берись!.. Руками работай, а не языком...

Дружно перенесли бидоны в каменный сарай, где спали шофера. Труднее было с бочками — все сильно запарились.

Ребята пронеслись по всем комнатам нижнего этажа, которые были открыты окнами к пожару. Строительный материал сложен был в коридоре, электричество не горело (не действовали провода), и в широкие дыры дверей врывался знойный дым. Кольча распорядился перенести все реи и доски в комнаты и забаррикадировать окна. Ребята по двое, по одному хватали все, что попадалось под руку.

Но на втором этаже не хватило лесу, и в последней комнате два окна оказались не защищенными. Нестерпимо полыхал ветер в окна и бросал охапки искр и мелких угольков.

— Будь ты проклята!.. Здесь совсем околеешь... Ну, и дымище!..

Здание конторы разрушалось в огне. Крыша уже растаяла, только яркой чешуей играли балки и переплеты перекрытий, а внутри, в проломах окон, бушевало пламя, вымахивало наружу — в оконные дыры и исковерканные огнем двери.

— Ребята, становись в окна по двое! Посменно!..

Кольча вскочил на подоконник вместе с Сенькой.

Там, внизу, атакуют огонь пожарные, а люди убирают горючие материалы. Здесь нужно помешать огню проникнуть в нутро помещения. Нет досок, нет щитов. Значит — закрывай окна своими телами.

Вон горбится Байкалов. Он изо всех сил борется со слабостью. Двое парней убеждают его в чем-то и берут под руки.

— Байкалыч!.. милый человечина!..

Волна раскаленного дыма обдала Кольчу горечью и дождем угольков; горящие воробьи завихрились перед ним. Ожоги — на лице и на руках. Сенька схватился обеими руками за косяк и стал боком к огню. Кольче послышалось, что он стонет от боли.

— Потерпи, потерпи, Семен! Сейчас — смена.

Кто-то спрыгнул с соседнего окна и крикнул в отчаянии:

— Не могу, ребята!.. Сил больше нет... Хоть бы воды сюда швырнули...

Позади парень топал ногами и кричал во все горло:

— Чего вы огонь пропускаете? Защитники! Тушить не успеваешь. Хлопья какие-то летят...

Сенька стоял около Кольчи и закрывался рукой от огня и жара. Ему чудилось, что пламя хлещет все ближе и ближе, бьет прямо в стены и в лицо. Вьюга огня и искр режет кожу, и кажется, что рубаха и штаны дымятся и мгновенно вспыхнут. Трудно было дышать, мучительно стоять и смотреть на огонь.

Кольча пробовал шутить:

— Эх, ты!.. А еще цыган... Какой же тебе, к черту, костер нужен?..

Парень катался по щепкам и ревел от ожогов. По его рубашке вспыхивали огоньки. Другой парень с ужасом смотрел на него в столбняке и не знал, что делать. Кольча заорал:

— Падай на него скорее... Туши!..

Сенька широко открывал рот и ловил воздух, рука хватала ускользающую опору и не могла поймать. Искры и мелкие угольки летали роями. Они забивались в волосы, прыгали по рубашке и отскакивали, как горошины. Рубашка Сеньки тлела в раз-

ных местах. Кольча почувствовал жгучий укол на животе и инстинктивно схватился рукою за ужаленное место. Ожог укусил и руку. Кружилась голова, будто спекались мозги и трескался череп.

Кольча крикнул вниз, в толпу, и погрозил кулаком:

— Да полейте вы сюда, будьте вы прокляты!.. Глухие вы, что ли?.. Толкните пожарного... Терпеть нет возможности.

Но ему казалось, что люди не слышали его рева.

В глазах его стало мутно, пожар метнулся куда-то вверх и в сторону, как молния, и он ощутил тупой удар в голову.

Он соскочил с окна и зашатался:

— Живо!.. Полезай другая пара!..

Вспыхнул и загорелся яркими язычками кудрявый ворох стружек. Ребята бросились на костер и заплясали на нем, толкая друг друга. Загорелись штаны у Сеньки, и пламя мгновенно одело его до плеч. Он взвизгнул и побежал к двери. Его схватили, повалили на пол и стали растирать руками. Стружки опять вспыхнули, огонь замахал в разных местах комнаты. Ребята спрыгнули с окон и бросились к дверям.

В это мгновение в оконное отверстие, за которым металась огненная суматоха, с треском влетел густой ливень и, отраженный потолком и стенами, прохладно окатил ребят мелкими брызгами.

III. НЕУСТОЙЧИВОЕ РАВНОВЕСИЕ

1

В обычный утренний час Викентий Михайлович сидел за столом и пил кофе. Константин доедал яичницу и словоохотливо делился впечатлениями о новой своей работе на кране. Варвара Михайловна насмешливо поблескивала стеклами пенсне.

— В двигателе, помимо его передаточных колес, шатунов и всяких сложных деталей, есть что-то более важное: не просто моторная сила, а перевоплощение человеческой индивидуальности, — то, что дядя удачно называет психикой машины. Работа крана безошибочно определяет характер человека, который кладет руку на рычаг.

— Нового в этом ничего нет, Костя, — поучал его Викентий Михайлович. — Буржуазные экономисты давно уже утверждали принцип одухотворенности производства. Сейчас они выдвигают теорию рационального автоматизма. Форд создает формулу, что гигантское предприятие слишком велико, чтобы быть человечным. Тейлор выводит заключение из своей системы, что, мол, до сих пор на первом месте в производстве стояла личность, а теперь это место принадлежит организации и системе. То есть не человек, а система, как некий фетиш. Риппель, описывая фордовские заводы, безапелляционно заявляет, что рабочий не может отвечать за свою машину. И так далее. Говоря о психике машины, я имею в виду человечность механических процессов. Nota bene: в наших условиях. Рассуждения твои отмечаю как интересный этап в твоем развитии. Для музыканта современности — это большая победа над традицией.

— Ну, опять... — Варвара Михайловна раздраженно отодвинула от себя посуду: она чувствовала себя чужой в этом разговоре близких людей. — Зачем смешивать в одно разные вещи?

— Нет, мама-Варя... — Константин погрозил пальцем куда-то вверх. — Это надо понять... Интересно и увлекательно то, что всем своим существом чувствуешь звучание машины. Я это испытываю впервые. Понимаешь, я слышу дыхание... механизм живет: дрожит, трепещет, пульсирует, напрягается... Кажется, что у него свой нрав, свои эмоции. Я ощущаю его жизнь и сожительствую с ним. И я впервые понял дряхлость всех наших музыкальных инструментов. Нет, серьезно. Они первобытны. Они имитируют только силы природы.

— Тебя, Константин, наш труд преображает...— засмеялся Викентий Михайлович. — Это несомненно.

— Что такое флейта? — горячился Константин: — Это — преобразованный птичий голос. А скрипка? Конечно, жилы, которыми сшивались первые одежды первого человека. Это — нитка, натянутая рукой пещерной женщины. Нитка повторяла ее голос и крики ее ребенка. Природа! таинственные силы земли! голый человек! раб и ничтожество!.. А теперь человек создает могучие производительные силы. Где музыкальные орудия, которые бы выразили его сложнейший внутренний мир?..

— А ты, Костя, создай оркестр из кранов, дерриков и экскаваторов...

Варвара Михайловна встала, засмеялась и отмахнулась от брата обеими руками.

— О! Весь свет сойдет с ума!..

— Я говорю, мама-Варя, о новой эре человеческого творчества, об освобождении его от власти теней. Я говорю о новых образах, о новых конструкциях. Обветшали старые звуковые эмоции: они деформируются, разлагаются, они преодолевают самих себя. Мощность стиля — дыхание нашей эпохи, и это дыхание — дыхание миллионов, вооруженных колоссальными и изумительными двигателями. Энергетическая эпоха! Фрагментарность, элегическая лирика, камерные забавы на пустячках — все это смешно и жалко.

Как всякий увлекающийся человек, Константин переживал сейчас один из тех периодов, когда он отдавался весь новой идее, пришедшей на смену другим. Таких увлечений за время революции было у него много, и все они перегорали, не оставляя следа.

В годы военного коммунизма он сделался уличным музыкантом, а потом вместе с отрядом красноармейцев ушел на фронт и провел там около года. Каждая новая мысль воспламеняла его бурно. Она становилась его поведением. Рассуждал он просто: искусство — не пища богов, а сила, которая создана людьми для того, чтобы быть непобедимыми. Она

поднимает и вдохновляет на подвиги в минуту тяжелых испытаний, воспитывает мужество и героизм. Нет музыки избранников, нет высоких, уединенных волшебств! И он порвал свои прежние связи и надолго исчез с музыкального горизонта.

Потом опять появился в Москве и с энтузиазмом начал работать в организации пролетарских музыкантов и композиторов. Здесь он как будто на время нашел родственную среду. Он опростился, огрубел, одевался под рабочего и выступал только в заводских клубах. Сочинял простые песенки и сюиты, писал концерты для оркестров. Старые друзья встречали его с ужасом и уже не находили общего языка. Он ездил по стране, выступал в деревнях, в красноармейских казармах и записывал песни, частушки, запевы на полях, на рыбных промыслах Каспия и Черноморья, в юртах киргизов и в аулах горцев. Пробовал писать что-то новое, оригинальное, «созвучное эпохе», но его преследовали неудачи: рукописи браковались, а товарищи разносили его творчество в пух и прах. Он бунтовал, дрался с «невежественными демагогами», с «реакционными неучами», с «жалкими эпигонами». С товарищами из ассоциации рассорился и опять исчез бесследно.

И вот теперь он внезапно появился на стройке. Варвара Михайловна давно уже потеряла его из виду. Иногда она получала от него сумбурную открытку с пути или из какого-нибудь захолустья. Иногда он посылал заказное письмо на нескольких листах, где пламенно развивал свои взгляды на искусство. И она после этих писем долго ходила грустная, точно Константин писал ей о своей опасной болезни. Сюда приехал он, родной и чужой, и Варвара Михайловна долго не могла привыкнуть к нему. Она пристально изучала его, старалась постигнуть, какие в нем произошли перемены, и день за днем убеждалась, что прежнего Кости нет — прежний талантливый пианист умер, а вместо него — одичавший, заблудившийся дилетант, который или душевно болен, или по глупости страдает «рецидивизмом безграмотности». И играть он стал отвратительно.

Новая идея захватила Константина с такой же силой, как и прежние. Он был убежден, что призван открыть новую страницу в мировом искусстве. Ему казалось, что только теперь он нашел себя по-настоящему. Как человек социалистической эпохи, он несет в себе огромное наследство прошлого: он — мастер и поэт. Новая музыка должна родиться из самых глубин рабочего класса; в ней должна вылиться его мощь, его творческие размахи, его напряженная борьба за будущее, его непримиримая ненависть к врагам. Эта музыка будет дышать глубоким пафосом, в ней найдет свое воплощение великий гений партии. Он, Константин, взявший на себя эту необычайную миссию, обязан быть в самом сердце движения. Новые образы могут родиться только в трудовых процессах, только в непосредственной борьбе, только у механизмов. Художнику нашей эпохи нужно расти и развиваться у самых истоков труда: самому быть рядовым рабочим — созидателем материальных ценностей у станка, на кране, в котловане, у доменной печи.

И когда он в свободный час садился играть, у него дрожали руки, и пальцы каменели на клавишах. Он на мгновение пугался сам себя, с тревогой смотрел на огрубевшие кисти рук и смущенно смеялся. Вдохновение не приходило, в мозгу был хаос звуков минувшего дня. Рождались обрывки мелодий, в душе волновались какие-то движения, но его клонило ко сну от усталости, и нотные листы лежали чистыми на рояле.

Размолвки с матерью повторялись каждый день, и ему было больно, что она не понимает его, не видит в нем тех богатств, которые он приобрел за эти годы. Мать была человеком старого закала, с буржуазными вкусами и на искусство смотрела глазами интеллигента конца прошлого века. Переубедить ее было невозможно. Он находил поддержку в иронических репликах Викентия Михайловича и еще больше укреплялся в правоте своей теории, когда мать возмущалась грубой и примитивной его левизной.

...Варвара Михайловна подошла к нему, безмолвно взяла его руки и пристально осмотрела пальцы. Они были синие от масла и металлических отходов, в мозолях и отеках.

— Нет, это уже не пальцы художника, Костя. Машинист и музыкант отрицают друг друга. Все твои увлечения кончались только неудачами.

Викентий Михайлович насмешливо шевелил бровями и смотрел и на сестру и на Константина, как на детей, которые поссорились из-за пустяков. Константин с недоумением взглянул на свои пальцы и на мать, порывисто обнял ее и поцеловал в щеку.

— Мамаша, я тебе сейчас докажу, на что способны эти пальцы.

Он стремительно ринулся к двери, распахнул ее и скрылся в другой комнате. Загремели аккорды, зарокотали басы. Потом внезапно все смешалось в вихрь звона и лепета.

Варвара Михайловна улыбалась сама себе и перебирала пальцами скатерть. Она встретилась с глазами брата и сразу почувствовала себя одинокой с ним. Викентий Михайлович встал, подошел к белке, небрежно мимоходом поиграл с ней через переплеты проволоки и схватил шляпу с окна.

Варваре Михайловне опять показалось, что глаза Викентия Михайловича холодны и бездушны: это были глаза человека, который не способен видеть в мире ничего, кроме своего реального дела.

Музыка оборвалась, потом опять вздохнула и зазвенела колокольчиками. Воздушное трепетание звезд, игра молний и радуг, смех и плач детей...

— Этюд Шопена... — улыбнулась Варвара Михайловна. — Как он чудесно играл когда-то эти лирические вещицы!.. Ты его съедаешь, Викентий... Уже — не то... плохо... очень плохо... Это уже не музыка...

Константин вошел опять в комнату, немного встревоженный. Он виновато посмотрел на свои пальцы, и Варвара Михайловна заметила, что он инстинктивно что-то стряхивал с них.

— Ты готов, дядя? Какой молодец этот Шепель!..

Варвара Михайловна молча села за стол и стала мыть посуду.

Константин украдкой поглядывал на свои руки, на мать, на окна.

2

В дверь осторожно и вкрадчиво постучали. Все переглянулись с немым удивлением: никто не посещал Викентия Михайловича на квартире, да еще в такую рань. Балеев снял шляпу, опять бросил ее на окно и сердито насторожился.

— Войдите!

Варвара Михайловна выпрямилась, схватилась левой рукой за жемчужную нитку на груди и пошла к двери зыбкими шагами. Этот жест вызвал усмешку у Балеева: у сестры это — старинка. Этот жест для своих гостей — ласковый, похожий на улыбку; для чужих — оборонительный, строговатый, важный.

Дверь отворилась, и в ее распахе засеребрилась голова Стрижевского. В нем было что-то от иностранца или от довоенного спеца высокой марки.

— Прошу извинения за неурочный визит.

Варвара Михайловна тоже сделала приветливую улыбку.

— Милости просим, Евгений Григорьевич. Не было ни гроша, да вдруг алтын.

Стрижевский почтительно приложился к ее ручке и блеснул молодыми зубами.

— Не вовремя гость — хуже татарина, как говорится, Варвара Михайловна. Одичали мы вконец. Эта несусветная работа нас похоронила: не видим ни дня, ни ночи. Никак не можем выбрать лишний час, чтобы связать себя домашней дружбой. Вините меня и Викентия Михайловича.

Он подошел к Балееву, который стоял поодаль от стола и неприветливо следил за Стрижевским. Константин издали поклонился холодно, отчужденно.

— А! наш пианист и композитор... Ну-с, продолжаете, что называется, выковывать новые мелодии?

Убейте меня, но не ведаю никаких музыкальных родников в нашей строительной бестолочи.

Константин не ответил и нелюдимо вышел из комнаты.

— Кофе, пожалуйста, Евгений Григорьевич.

— Благодарю, Варвара Михайловна. Я, собственно, зашел на минутку перекинуться двумя словечками с Викентием Михайловичем. Спешу на поезд. Как говорится, чертям и в аду тошно... Тянут! В Москву дня на три. Конечно, Гипромез. Никак мы еще не наладим наших дружественных отношений с этим почтенным учреждением: безбожно терзает затяжками по проектам. Строить надо, а мы не можем: пропущены все сроки. Нет проектов. Опять, вероятно, какая-нибудь канитель с привязкой зданий или с пересмотром плана капитальных сооружений.

Викентий Михайлович грубовато подхватил его под руку и подтолкнул к своему кабинету.

— Ну, раз не хотите пить кофе, пойдемте ко мне.

Вошли в комнату, сели и неловко помолчали.

— Итак, Викентий Михайлович, мир с организациями — начало военных действий?

— То есть?

— А как же? Вопрос сейчас упирается в альтернативу: или мы, или они.

Балеев грубо оборвал его:

— Вздор! Я нахожу, что мы нашли общий язык...

— Однако... Вы должны знать, что большинство инженеров, в том числе Шлиппе и я, решительно возражаем против чудовищного и нелепого увеличения плана кладки бетона и сумасшедшего форсирования темпов. У нас все полетит к черту. Учтите, что мы ни под каким видом не можем пойти на эту сделку. В нашем распоряжении осталось ничтожное время — три-четыре месяца, — и мы при всех наших благих порывах не можем в них уложиться, чтобы провести хотя бы две трети нашего хозяйственного плана. Я, Викентий Михайлович, снимаю с себя всякую ответственность. Мы же не дети, у нас есть головы на плечах, есть опыт и знания, чтобы позволить себе пассивно плыть по течению. С нас спросится в первую голову.

— Да вы же ерунду городите, Евгений Григорьевич, — накинулся на него Балеев. — Вопрос стоит иначе: надо лопнуть на месте, а план выполнить в положенные сроки. Эти сроки упущены по нашей вине. Мы же и должны выправить положение. Придется нажать до седьмого пота.

— Но — технические возможности, Викентий Михайлович... Вы не можете не согласиться, что в один и тот же отрезок времени, при наличии одних и тех же технических средств, шестьсот тысяч в отношении к четыремстам тысячам сокрушительно бьют по качеству, а следовательно, и по всем нашим показателям. Катастрофа неминуема, это же — факт! Иностранная консультация взвыла. Шлиппе сидит сейчас с уполномоченным главного консультанта и защищается только своей бородой. Нельзя же идти против очевидности, против простой арифметики. Это значит — расписаться в собственной безграмотности.

— Что ж, будем воевать. Надеюсь, что противник будет бит по всему фронту. — Балеев усмехнулся в усы. — Заставим Шлиппе решить эту задачу. Думаю, что он еще не забыл четырех элементарных правил арифметики.

Стрижевский мгновенно блеснул зубами, и в глазах его метнулась злоба.

— Открыто говорят, Викентий Михайлович, что Ватагин мобилизует массы для борьбы с управлением. Чумалов назначен заместителем помимо вас, обходными путями. Вас даже не постарались поставить в известность. Это уже вызов — сигнал к наступлению. На плотине фактически руководит работами партком, и прорабы шагу шагнуть не могут без Ватагина и Гудима. Весь план и распорядок работ в их руках.

— Очень хорошо.

— Вы неудачно шутите, Викентий Михайлович.

— Я не шучу. Ведь технический персонал и Шлиппе выпустили дело из своих рук. Так и надо — не зевай. Нам придется поучиться и у Ватагина и у рабочих, как организовывать труд... Вам не нравится?

— Да уж что хорошего... Мы отступаем по всем фронтам... Что осталось делать Шлиппе? Что остается

делать мне? Какие тут шутки, Викентий Михайлович! Так работать невозможно... Ведь этак можно разогнать всех ценных специалистов.

Балеев быстро встал и посмотрел на часы. Встал и Стрижевский с мягкой предупредительностью в движениях.

— Поезжайте себе в Москву, Евгений Григорьевич, и не задерживайтесь там. По приезде вы обо всем этом доложите на нашем узком совещании.

— Что вы, что вы, Викентий Михайлович? То, что я откровенно выразил вам с глазу на глаз, как я могу высказывать в присутствии людей, которые сживут меня со света? Я только счел нужным заблаговременно предупредить вас и поставить в известность о своей точке зрения.

— Ну, тогда я этот доклад сделаю сам и подкреплю вашим авторитетом.

Стрижевский засеменил к двери, весь серебряный, в искорках.

Балееву было неприятно от этого странного посещения. Стрижевский мог бы поговорить с ним в управлении, в час своего каждодневного визита. Очевидно, в этом его посещении была какая-то особая цель — смутить, вселить тревогу или просто испытать его, Балеева, чтобы в дальнейшем определить линию собственного поведения. Должно быть, последнее заседание было для него полно всяких неожиданностей, которые вывели его из обычного равновесия. До сих пор все было ясно и привычно: он знал только стены управления, — эти стены дышали его дыханием, а сам Балеев был несложен и доступен, и они понимали друг друга с полуслова. Теперь же, после памятного заседания технического совета, которое опрокинуло у многих весь обычный распорядок мыслей, Стрижевский испугался, несмотря на свою выдержку: он не появлялся в кабинете Балеева два дня. Чувствовалась смутная растерянность среди инженеров — все замолчали и ушли в себя. Только Шлиппе, как обычно, заходил к нему каждый день для разрешения текущих вопросов по плотине. Кто из них более опасен — Стрижевский или Шлиппе? Стрижевский осторожен, как кошка, и

его видно издали; Шлиппе не выражает ни тревог, ни волнений при всяких обстоятельствах: он будет проводить все, что ясно сформулировано и пунктуально закреплено. Стрижевский дышал сейчас дружеской простотой и мягкой игрой: держал он себя непринужденно и легко. Но Викентий Михайлович чувствовал в каждом его движении вражду. Самый визит его, в своей необычности, не свойственный этому осторожному и неуловимому человеку, был похож на тревогу и предостережение. Этим своим посещением Стрижевский как будто давал понять Викентию Михайловичу, что хотя визит его, Стрижевского, и неприличен в такое время, но он был вынужден на такой рискованный шаг и сделал это под давлением событий, виновником которых является сам Балеев. Пусть он, Стрижевский, нарушает правила приличия, но печальная необходимость заставляет его неофициально, в интимной обстановке, дать своевременно почувствовать начстрою, что тот нарушил былые связи с высшим техническим персоналом, что вся корпорация не сочувствует его странной позиции. Они склонны смотреть на это, как на причуду, как на его личное настроение, даже как на некоторый изгиб линии под давлением партийной организации.

Викентий Михайлович понял, что этот визит Стрижевского — объявление войны.

Викентий Михайлович хмуро и молча проводил его до приемной и несколько мгновений пристально смотрел на дверь, которую он плотно захлопнул за гостем.

IV. БУНТ

1

Кряжич сидел за чайным столом и читал газету. Против него перед серебристым чайником, похожим на снаряд, грустила Маргарита Эрнестовна, попросту, по-домашнему — Рита. Оба молчали. Оба были одиноки вместе. Лампа висела низко над столом,

и посуда — стаканы, блюдечки, тарелочки — лучисто переливалась белизной и хрустальными изломами.

«У меня gemütlich, — надрывно думал Кряжич. — Чего еще мне нужно? Чем же я недоволен? Почему от этого gemütlich мне хочется повеситься или ночевать на плотине?..»

Рита, бледноволосая, с припухшим лицом, в пудре (лицо будто от этого шелушилось), с крашеными губами, украдкой посматривала на Кряжича истерическими глазами, подернутыми слезой, и не решалась говорить с ним. Последний год был очень мучителен: она почему-то постоянно раздражала Кряжича, и ему было невыносимо слышать даже ее голос — немного надломленный, обидчивый и нервный. Уже три года она живет здесь, в этой трущобе, ни разу никуда не выезжала, и эти годы для нее были бескрылы, безгласны, мертвы. Эти три бестрепетные года выпали из ее жизни, как годы заточения. Если он сам уединяется от людей, сам страдает от душевного угнетения, о котором она только догадывается, — почему же она должна жить в этой душной пустоте? Она каждое лето просила отпустить ее хотя бы на месяц в Крым, или в подмосковный дом отдыха, или просто к своим друзьям в Детское Село, но он с злыми глазами обрывал ее:

— Вздор! Я не хочу обращаться за одолжением к людям, которых не выношу. Мы не нищие.

Были ужасные сцены. Он уже не любил, он презирал ее, и она рыдала до невыносимых головных болей и, оскорбленная, с отчаянием спрашивала себя:

«До каких же пор эта мука? Что же делать? Что предпринять? Отравиться? Уйти от него навсегда?»

И чувствовала, что ни убить себя, ни уйти от него не может. Она беспомощна, ничего не знает, работать не умеет, среди людей теряется, как цыпленок. А быть нелюбимой пленницей — невыносимая пытка.

Она не раз заговаривала с мужем о его работе, о стройке, о людях, которые его окружают, но каждый раз встречала его отталкивающий взгляд. Он отвечал ей на вопросы только одной холодной фразой:

— Тебе это совсем неинтересно, Рита.

И за столом они подавленно молчали. Он торопливо выпивал стакан чаю и уходил к себе в комнату.

«Зачем вообще она? — думал он. — Зачем я около нее? И какой смысл имеет наша с ней совместная жизнь?».

Сегодня он был особенно беспокоен: посматривал на дверь, прислушивался к открытому окну и сильно нервничал. Пил чай и забывал о чае.

— Коля!.. скажи, чем ты взволнован?..

Он привычно взглянул на нее с удивлением, как будто не понял ее вопроса.

— Это тебя не касается, Рита. Тебе это не нужно знать.

— Что ты говоришь, боже мой! Почему ты не чувствуешь, как мне страшно?

И глаза ее залились слезами.

— Но зачем же слезы, Рита?

— Так жить невозможно, Коля. Это не жизнь, а пытка.

— Устрой свою жизнь, как тебе угодно.

— Без тебя я не могу устроить своей жизни. Зачем ты мне это говоришь?

— Больше я тебе ничего не могу сказать.

— Ты переживаешь какую-то драму, Николай, а я не знаю. И не узнаю, очевидно, никогда. Почему?

— В твоих словах фальшь. Драма! Зачем это?

— С тобой невозможно говорить.

— А ты не говори.

— Понимаешь ли ты, Николай, как ты жесток? Каждое слово твое для меня — удар, оскорбление. Ведь ты же для меня — всё. Мне больше нечем жить.

— Человек должен жить всем. Жить бесконечно малым — значит превратить себя в пиявку, в солитера, в полип...

— Почему же ты не оторвешь и не отбросишь от себя эту ничтожную пиявку?

Рита с отчаянием в глазах встала и вышла из комнаты. Кряжич пошел с газетой в руках в свой кабинет. На столе остался полный стакан крепкого чаю.

«Глупо, гнусно, отвратительно! Я говорю о культуре, о какой-то иной жизни, но сам несу в себе

варварство. Мне больно, я виноват, но почему я не могу преодолеть самого себя? Пусть едет, куда ей угодно? Зачем я ее удерживаю?»

Он вошел к ней в комнату и увидел ее за столиком. Она вздрагивала плечами и плакала беззвучно.

Ему стало жаль ее, и в душе у него заныла тоска. Все казалось ему нелепым и ненужным: и Рита, и он сам, и ее слезы, и их совместная жизнь, и все последние годы его слепого существования.

— Ты извини меня, Рита. Мы живем действительно ужасно. Ты давно хотела поехать куда-то... Освежись...

— Я никуда не поеду... Оставь меня...

В голосе ее не было слез: он был равнодушен, бесцветен — пустой какой-то.

Кряжич молча вышел из ее комнаты, спасаясь от самого себя: в этом тусклом равнодушии Риты он опять до боли почувствовал фальшь.

«Нет, этому надо положить конец...»

И не знал, чему и как положить конец, и что, собственно, его мучило: она ли, Рита, или собственная его душевная смута.

Короткий, рваный звонок. Кряжич вырвался из кабинета и застыл посреди комнаты: навстречу шла Люба в белом переднике.

— Вас спрашивает какой-то... Бубликов, кажись...

— Просите!

И он крепко захлопнул за собой дверь.

Он не знал, зачем обещал зайти к нему Бубликов, но почуял тогда в его словах что-то тяжелое и зловещее. Как только он услышал в телефон его голос и твердые слова, он сразу же до галлюцинации представил его наркотические глаза. И этот телефонный — далекий и близкий — голос мгновенно наполнил душу его смятением. Так он весь день до последнего мига и жил этим предчувствием необычайной встречи. Когда Бубликов внезапно появился в его комнате, Кряжич с неискренней улыбкой шагнул ему навстречу.

— Вот редкий гость! Садитесь. Очень рад.

— Не думаю.

— О?

— Не думаю, что рады: вы ведь гостей не любите.

Бубликов сел и почесал квадратную бороду двумя пальцами.

— Комната у вас без украшений: ни картин, ни портретов. Вы меньше всего думаете об уюте.

— Наоборот: у меня — gemütlich...

Бубликов сдержанно улыбнулся.

— Я к вам, Кряжич, пришел на самое короткое время — поставить крепкую точку над «и». Не знаю: возможно, что кое-кому из нас опасно ходить по ночам, опасно спать в своих квартирах и вообще опасно существовать.

— Не понимаю... — Кряжич поежился от волнения. — Мне нечего и некого бояться. Я спокоен за свою судьбу.

— Будто бы?

Бубликов опять ощупал Кряжича наркотическими глазами и усмехнулся, как человек, который видит перед собою тонкого хитреца.

— Не наивничайте, сударь.

— Слушайте, Бубликов. Я же — не преступник, не заговорщик, чтобы постоянно ожидать изоляции или возмездия...

Бубликов медленно и раздумчиво закурил папиросу и долго смотрел на огонек спички. Он поискал пепельницу на столе, не нашел и бросил уголек в угол.

— Возвратите мне, пожалуйста, ту бумажку, которую я передал вам на заседании технического совета.

— Какую бумажку?

— Ну, помните же... Вы спрятали ее в карман, в правый. Это — относительно бетона...

— Ах, да!..

Кряжич торопливо заелозил обеими руками по всем карманам. Бубликов терпеливо, из-под бровей изучал Кряжича и очень уютно сидел в кресле, раскинув локти на подлокотниках.

— Ну, так что же, Кряжич? Вы воспользовались моим советом относительно форсирования кладки до предельного рекорда? Гнать и гнать... Завод

должен работать сверх нормы. Не забудьте, что этого требует новая встречная цифра, которая предъявлена нам организациями. Мы должны идти им навстречу.

— Да вы что — смеетесь, что ли?

— Нисколько. Шлиппе и Стрижевский — решительно против встречного плана. Это их дело. Я лично иду рука об руку с организациями и с Балеевым. Вам все равно не отбояриться: вы должны подчиниться и ни в коем случае не противодействовать. Иначе вы будете биты, и вас объявят вредителем.

— Какая ерунда, Бубликов! Иностранная консультация уже наложила вето на это решение.

— Наивный вы человек, Кряжич. Неужели вы думаете, что вопросы политики и хозяйственного плана решает иностранная консультация? Этой консультации дадут по шапке, если она будет вмешиваться в наши внутренние дела. Ее роль скромная — экспертиза. Если будут соблюдены все ее указания и всякие условия в процессах стройки, ей наплевать и на сроки и на нас с вами. Ну-с, так нашли мою бумажку?

— Нет. Не могу придумать, куда она делась. Вы не беспокойтесь — я найду ее: вероятно, она где-нибудь в бумагах.

— Ну, нельзя же быть таким растяпой, Кряжич...

Бубликов встревожился и обозлился. Вглядываясь в Бубликова, Кряжич понял, что утраченная бумажка несла в себе опасность. В тот миг, когда Бубликов подсунул ему этот листок из блокнота, Кряжич испугался нелепости формулы. И потому, что он увидел в ней нелепость, он быстро забыл о ней, но образ Бубликова все время тревожил его и пугал своей назойливостью.

— Позвольте, Бубликов. Я рассматривал вашу бумажку как шутку, как нонсенс... ну, как издевку над глупостью и невежеством людей, выбрасывающих дикие лозунги. Неужели вы придаете ей серьезное значение?

— Очень серьезное, Кряжич. В моей формуле нет ничего нелепого. Разве вы не меняли состава бетона месяца два назад?

— Я? Никогда в жизни. Откуда вы взяли?

— Не притворяйтесь, пожалуйста. Чем же объяснить порчу бычков?

— Я не могу этого понять. У меня вышло тяжелое столкновение с немцами. Тут, очевидно, все дело в недоброкачественных замесах и плохой кладке сезонников.

— Не только в этом. И состав бетона может меняться, и марка цемента...

— Нет, послушайте, Бубликов: вы определенно шутите...

— Я, кормилец, знаю только одно: мы — обезличены... мы сами под кнутом утверждаем собственное угнетение. Я присмотрелся к вам и знаю вас. Я пришел к вам на помощь.

— Ну, знаете... я вас окончательно отказываюсь понимать, Бубликов... Я просто не разберу, что вам, собственно, от меня угодно.

Бубликов степенно вынул из бокового кармана толстый конверт и положил его на письменный стол.

— Вот. Здесь — две тысячи. Расписки не беру.

Кряжич ошалело следил за руками и лицом Бубликова, а Бубликов привораживал его к месту наркотическим взглядом — взглядом удава. С обожженным лицом Кряжич подскочил к столу и в ужасе посмотрел на конверт.

— Это... это что такое, Бубликов?

— Вы же не слепы, кормилец? Деньги. То, что вам следует получить за ваши труды. То есть это — лишь часть гонорара. На днях я вручу вам остальные две тысячи плюс аванс на проведение дальнейшего плана.

Кряжич оглох, сердце у него замерло и оборвалось дыхание. Ему даже почудилось, что Бубликов размахнулся и ударил его по лицу. Бледный, дрожащий, Кряжич схватил со стола пакет и швырнул его на пол. Всматриваясь в Бубликова, он глухо, с занозой в горле, сказал:

— Как же вы... как же вы смеете являться ко мне с этой грязью?..

Бубликов курил, невозмутимо усмехаясь.

— Кряжич, вы это... бросьте истерику. Вы же — не барышня. — И вдруг выпрямился, пронизывая его взглядом. — Имейте в виду: мы вас ценим и возлагаем на вас большие надежды.

Лицо Кряжича обливалось потом.

— Кто это — вы?.. И какие это исключительные надежды?

— Я требую, Кряжич, чтобы вы не орали...

Кряжич ударил кулаком по столу:

— Нет-с, я буду орать!.. Вы думали, что я подлец? продажная тварь? Иуда?..

У Бубликова вздрагивали руки и быстро трепетали морщинки около глаз. Но держал он себя попрежнему пренебрежительно и самоуверенно. Из-под усов поблескивали крупные зубы.

— Вы еще не отошли, Кряжич? Может быть, вам дать водицы? Эх, вы!.. А еще состоите членом... этакого своеобразного ИТРа. Вы должны чувствовать себя сильным, как сильна эта организация... всесоюзный масштаб...

— Ах, вот оно что!.. Вы всех так вербуете, как меня? Сребренниками и угрозой?..

Опираясь на стол, борясь с собою, он сказал с отвращением:

— Мне остается одно: пойти к Балееву и сообщить ему все...

— Что это — все? Ребенок вы этакий! очухайтесь!

— Я сообщу ему о вашем мерзейшем предложении... о деньгах... я должен защищаться...

Бубликов выпрыгнул из кресла, подошел к Кряжичу и посмотрел на него с ненавистью.

— Советую вам, дорогой коллега, держать себя достойно и соответственно своему званию.

Кряжич отстранил его ладонью и отошел в сторону.

— Уходите сейчас же, Бубликов... пожалуйста, уходите... иначе... иначе я...

Бубликов сделал вид, что внимательно прислушивается и ждет того слова, которое Кряжич должен, наконец, произнести.

— Что — иначе?.. Ничего не может быть иначе... Бредите вы, Кряжич... Откуда у вас такая истерика, не понимаю?.. Неужели вы думаете, что мы так простоволосы? Вы погибнете первым, а нас не уловит никакая сила. Почему вы уверены, что Балеев не член нашей партии? Кормилец, не я, а вы предложили мне вступить в некую преступную организацию. Не я, а вы. У нас ведь много средств и приемов борьбы, вплоть до уничтожения отдельных, мало надежных индивидов.

Кряжич чувствовал, что он слабеет, что может сейчас упасть или в исступлении броситься на этого страшного человека.

— Вы мерзавец и гнус!..

Бубликов безразлично смотрел мимо него.

— Ну, и что же?

— Нет, вы бандит... Я должен защищаться...

Он бросился к столу и стал лихорадочно искать что-то, сбрасывая бумаги на пол.

— Я должен защищаться... во что бы то ни стало... черт возьми!..

Бубликов спокойно подошел к Кряжичу и положил ему руку на плечо.

— Ну, так вот-с, Кряжич. Я ухожу. Завтра вы мне дадите ответ. Отдохните. Идите ложитесь, а то вас схватит родимчик. Только... бумажку, бумажку!..

И брезгливо ухмыльнулся.

— Какой же вы мягкотелый и безвольный человек! А еще инженер — дельный и знающий.

Кряжич подскочил к двери и широко распахнул ее.

— Путь свободен. Прошу-с!.. Убирайтесь ко всем чертям!

Как раз в этот момент появилась Рита, испуганная и заплаканная.

— Николай! что тут такое происходит, ради бога... как это ужасно!..

Бубликов учтиво поклонился Рите.

— Фрау Кряжич, не волнуйтесь. Мы вели с Николаем Николаевичем только деловую беседу. Но он

слишком экспансивен. Он настоящий ребенок. Разрешите, фрау Кряжич...

Он уверенно и твердо вышел из комнаты.

— Николай!.. Что произошло, Николай?

Кряжич повернулся к Рите спиной.

— Ничего не произошло, Рита. Можешь идти спокойно. Не произошло ничего.

Рита медленно закрыла дверь.

2

Кряжич прислушался. Тишина. Увидел конверт с деньгами, и ему стало жутко. Где-то торопливые шаги. Женские голоса.

В комнату без всякого смущения вошла Татьяна.

— Не сердитесь, Николай Николаевич, что я ворвалась к вам без предупреждения. Я должна была зайти к вам... и обязательно сейчас...

— Прошу, прошу!..

Кряжич, бледный, потирал руки. Татьяна не могла пройти вперед: он загораживал ей дорогу.

— Вы не гостеприимны, Николай Николаевич.

Он спохватился и бросился к столу.

— Извиняюсь... Я немножко... чувствую себя нехорошо...

Татьяна села в кресло, в котором только что сидел Бубликов.

— Нет, нет... прошу вас, Татьяна Ивановна... на этот стул...

Ресницы ее дрогнули от улыбки. Она на миг задержала глаза на разорванном пакете, из которого вылезали лоскутья червонцев.

— Я знаю, Николай Николаевич, что вы не прочли моей работы. Рукопись мне спешно нужна. Она затребована в центр.

— Вы пришли за рукописью?

— И да и нет.

— Хорошо. Я сейчас найду ее. Она у меня где-то в ящике стола. Виноват.

И он поспешно бросился к столу и выдвинул ящик.

— Не беспокойтесь, Николай Николаевич. Вы обронили довольно странную бумажку в конторе. И, на мой взгляд, несколько опасную... Вы неосторожны...

Она протянула ему измятый листик из блокнотика.

— Это не моя записка...

— Конечно, не ваша. Писали-то не вы, но выпала она из вашего кармана. Вы тогда быстро скрылись, и я не могла ее вручить вам. Меня эта бумажка очень встревожила. Что это значит, Николай Николаевич?

Он в ужасе уставился на нее из-за стола. Записки он не взял и даже отступил к стене. Татьяна посмотрела на нее и подумала немного.

— Вы знаете, Николай Николаевич, что я несколько лет была беспризорницей?

— Да. Что-то там говорили... но я не охотник слушать всякие пересуды...

— Так вот. Мне иногда приходилось держаться на весу под вагоном пассажирского поезда.

— Это ужасно!

— А то вот — среди оголтелых жиганов разного возраста — одна. Беззащитная. До насилия только один шаг, один жест...

— Ну, и... что же?..

— Тут главное, Николай Николаевич, — не ослепнуть, не струсить. Был случай, когда я вырвала финку из руки спеца по мокрому делу и бросила в море.

— Позвольте, позвольте, Татьяна Ивановна... Я не понимаю немного... Это вы, собственно, по поводу чего?..

Татьяна улыбнулась ему.

— Я вас наблюдаю, Николай Николаевич...

— Не понимаю... — вспыхнул Кряжич.

— Мои слова, кажется, ясны: я вас на-блю-даю... как человека наблюдаю, — человека, очень ценного и интересного.

— Но что за фантазия? Зачем это нужно?

Татьяна встала.

— Николай Николаевич, вы эти деньги спрячьте пока. Ваше столкновение с этим... я услышала нечаянно.

— Вы... вы... — поразился Кряжич. — Вы... знаете, да?..

— Я же вам сказала: нечаянно. Не только слышала, но и видела.

— Это было ужасно, Татьяна Ивановна!

— Да, приятного мало.

Она дружески протянула ему руку.

— А записку и деньги не уничтожайте и ни в коем случае не отдавайте Бубликову. Спрячьте понадежнее.

Она ободряюще кивнула ему головой и пошла к двери.

— Татьяна Ивановна!..

Кряжич протянул к ней руку, как ребенок, которому страшно остаться в одиночестве.

— Ну?

— Подождите. Я хочу рассказать вам все, что произошло.

— Это потом. Я ведь знаю... Впрочем, Николай Николаевич, вы должны помочь мне: пожалуйста, ничего не скрывайте. Вы расскажете подробно людям, которые вас уважают...

— Это кому же?.. — встревожился Кряжич.

— Положитесь на меня, Николай Николаевич... — Она опять тепло пожала ему руку и вышла.

Кряжич видел, как Рита пристально, молча проводила ее ревнивыми глазами. И как только хлопнула выходная дверь, она медленно подошла к нему.

— Это она? Да?

— Что значит — она?

— Какая она красивая!..

Кряжич мягко отстранил ее.

— Ну, иди, Рита. Какая у тебя слабость к мелодрамам!..

Обрадованная его лаской, она торопливо пролепетала:

— Я иду, Коля... я иду... не сердись на меня...

V. ВРАГИ СЕКУНДЫ

1

Цезарь жил в верхнем поселке. Дом был одноэтажный, с открытыми верандами по бокам, а веранды в гирляндах кудрявых вьюнков и пышной листве дикого винограда. Эти дома тянулись по обе стороны мостовой — все стандартного типа. В его доме — две квартиры по четыре комнаты. В одной половине жил инженер-путеец Дугин, в другой две комнаты занимал прораб Шепель, а в смежных двух ютились: он, Цезарь, и геолог Борзяй. Цезарь и Борзяй не мешали друг другу, — обе их комнаты безгласны и кротки. Семья Шепеля тоже была тиха: их девочка лежала или сидела, смотря перед собой покорно и ясно. У нее были тонкие руки в синих жилочках и большие пристальные глаза. Мать была худенькая женщина, с тревожным голоском, с быстрыми, услужливыми жестами.

Тесного общения между Цезарем и геологом не было; отъединялись они также и от Шепелей, точно боялись стеснить их. Только каждый вечер оба они, обычно порознь, заходили к Анечке, целовали ей ручки и улыбались ей, и она улыбалась. И спрашивали не они ее, а она их, и они должны были отвечать ей вразумительно на все вопросы. С Борзяем она говорила о науке, а с Цезарем — обо всем. И Цезарь всегда с удовольствием чувствовал, что он с этим умным и пристальным ребенком говорил, как с собой, и открывал в себе неожиданные вопросы и мысли. Беседы эти он почти каждый день записывал в свою тетрадь. Иногда Анечка звонко звала их из своей квартиры:

— Дядя Борзяй!.. Я забыла вас спросить очень важное...

Или:

— Цезарь! Ты слышишь? Пожалуй-ка сюда! Я забыла, кто это сказал: «Исследуем!..» У меня есть один вопрос... исследуем!..

Виновато вмешивалась мать и с робким упреком спрашивала ее:

— Анечка, не надо бы?.. Может быть, им некогда?

— Мамочка, и Цезарь и дядя Борзяй всегда говорят мне искренно: «Анечка, я занят...» или: «Анечка, ты неумеренна в вопросах...»

К отцу она относилась сдержанно. Вопросы задавала деловито. Она хорошо знала строение и действие машин и следила каждый день за результатами их работы.

Перед сном Цезарь сидел над своей тетрадью и заносил в нее свои мысли и впечатления. Это был не дневник, не повесть о его жизни и делах и не хроника строительных будней. Это были просто фрагменты неизвестного целого — обрывки мыслей, выводов, характеристики людей, афоризмы, которые записывались торопливо, точно автор боялся, что, если он не закрепит их на бумаге, они растают, угаснут, уйдут невозвратно. Цезарь работал в парткоме, проводил совещания по политработе, разрабатывал планы учебы, агитации, собирал пропагандистов, но был мало разговорчив: больше слушал, изучал их, следил за их делами, не подгонял, не дергал, а только наводил, направлял работу, редактировал их объяснительные записки и программы. И все чувствовали в нем деликатного, немного замкнутого человека. Когда же он говорил, лицо вдруг вспыхивало ярко и горячо.

Каждый вечер он перелистывал свою тетрадь между делом, задумывался, ходил по комнате, а потом вдруг садился к столу и исписывал одну или две странички. Иногда заносил он только одну мысль в трех — пяти строках и удовлетворенно прятал тетрадь в ящик стола. И после этого лицо его оживлялось, здоровело и глаза блестели.

Перелистывая тетрадь, он любил перечитывать старые записи, но поправок не вносил, — считал, что мысли вчерашнего дня имели свою форму проявления, свое воплощение, которое соответствовало состоянию мозга и реальной действительности именно вчерашнего дня. Исправлять, видоизменять запись —

значит насиловать факт, произвольно изменять мысль, хотя бы она и не отвечала системе мыслей сегодняшнего дня.

Эти свои записи он называл «голосом в будущее».

В этот вечер, перед тем как записать свои мысли, он открывал тетрадь в разных местах и читал:

«Крикливый героизм — фальшь: это — один из отвратительных видов карьеризма. Подлинный героизм — невидим, потому что скромен: он — стыдлив. Героизм — это вдохновение. Самые героические люди у нас — водолазы. Зимою этого года нужно было тщательно обследовать дно и основание перемычки среднего протока. Была замечена деформация дна. Река покрыта толстым льдом. Приказ: двое водолазов должны погрузиться в воду, обследовать отсыпи и, если будут найдены дефекты, — устранить их. Наш старейший водолаз Егоров, огромный человек, похожий на циркового борца, добродушно (у него — женский голос) улыбнулся:

— Да ведь, товарищи... Чего нас уговаривать-то... На сем ведь деле и стоим... обязанность... Конечно, полезем...

Взорвали широкую полынью, спустили лодки, и Егоров с другим своим товарищем, Макиным, молчаливым, всегда почему-то сонным парнем, спустились на дно. Макин дал сейчас же тревожный сигнал. Его вытащили, сняли скафандр. Он едва дышал — совсем застыл от холода. Когда отдохнул и отошел немного, потребовал, чтобы его спустили вторично. Егоров работал непрерывно несколько часов и заболел крупозным воспалением легких».

«...Я часто переживаю какое-то смутное чувство обреченности (ночью, во сне, утром, при пробуждении, или когда останешься один), точно до самой смерти я должен нести на своих плечах целый мир. Никогда еще личность не была так свободна, сильна и духовно богата, как сейчас. Но иногда мне хочется

побыть опять ребенком, — крошечным, беспечным несмышленышем. Почему это? Не потому ли, что я не имею мужества бороться с собою. Многие годы несу я в себе мое бремя. Почему я утаил тогда, что сам застрелил товарища? Ошибка эта не в том, что убил его я, а в том, что хотел это событие пережить один. На войне я сражался в первых рядах, показывал пример доблести. Нет, я не трус. Что же это такое? Ясно: я ослабил свою волю рефлексией. Буду бороться: не пощажу себя и доведу дело до конца.

Что такое счастье? Когда я шел взрывать мост в расположении врага, зная, что меня ожидает мучительная смерть, я был счастлив, потому что моя армия любовно доверила мне совершить этот подвиг. Душа моя была полна света. Я не думал о смерти, потому что чувствовал себя безгранично свободным. Я нес в себе дух народа и партии. Когда после нервной горячки я вышел из лазарета, впервые почувствовал себя несчастным: в чем-то я не дал отчета партии и бойцам. Сначала я не помнил ничего: вероятно, была тяжелая психическая контузия. Долго терзал свою память: что же я совершил? какую ошибку допустил в своих действиях? День ото дня я погружался в себя и мучился. За взрыв моста я получил орден Красного Знамени, и этот орден прожигал мою грудь.

Потом я как-то мгновенно все воскресил в памяти и понял, что затаил в себе убийство бойца, который обомлел, когда нас схватили белые, и стал молить о пощаде. Я застрелил его, разыграв белого офицера, чтобы обеспечить успех операции. Первым моим порывом было пойти к Прихромову. Но странная нерешительность погасила мой порыв. Это было сомнение, причину которого я не могу найти и сейчас. Вероятно, это следствие нервной травмы. Так это сомнение и не оставляло меня, ослабляя волю. Во всяком случае, это была огромная ошибка, исправить которую я уже не имел мужества.

Люди будущего таких драм переживать уже не будут.

Вот счастливый человек: это — Гудим. Его мысли и поведение — мысли и поведение дисциплинированного солдата революции. У него нет ничего — *от себя*. Поэтому он многим кажется безличным, неумным, говорящим готовые фразы. Но это неверно. Он очень вдумчивый, наблюдательный, чуткий человек. У него мысль и действие — неразрывны. Он хорошо воспитан: делает то, что нужно, говорит то, что следует. Он экономен и в словах и в поступках. Ни одна минута не проходит у него бесплодно. У него нет так называемых «проклятых вопросов», и совесть его чиста.

У Паши Погадаевой — один недостаток с точки зрения Гудима: она тоскует по ребенке, а может быть — по семье. Она тоже счастлива, но у нее нет, так сказать, полноты личной жизни.

Мирон Ватагин и Глеб Чумалов — два человека, которые давно интересуют меня. В их личной судьбе есть много общего: оба лишены «семейного счастья». Они живут врозь с своими женами. Жена Глеба оторвалась от него много лет назад, а у Ватагина — года три, но в действительности тоже давно. У Чумаловых умерла девочка, которую они очень любили. У Ватагиных бесследно исчез мальчик. Это их драма. Глеб говорит, что он не понял своей жены, не продумал и не оценил в ней тех перемен, которые совершились за три года ее самостоятельной жизни. Да и теперь недостаточно ее понимает. Его спасает живой и бурный темперамент. Работе он отдается весь — горит и насыщает ее своей страстью. Ватагин же сдержан, о себе ничего не сообщает. В нем есть что-то недоброе по отношению к себе. И к людям он равнодушен. Возможно, что я ошибаюсь. Но он ни разу не поговорил со мною по душам. Уверен, что не говорил и с Гудимом и с Пашей. С Балеевым у него жесткие отношения. Долгое время они были врагами. Только к Фене он питает какие-то особые чувства.

На этих днях она шла по улице, необычно озабоченная и нервная. Я просто не узнал этой всегда радостно взволнованной девушки. Она увидела меня и вспыхнула.

— Ты что такая встревоженная, Феня?

— Я уезжаю, Цезарь... в деревню уезжаю...

— Это я знаю. Неужели тебя это волнует?

— Не это. Впрочем, меня ничего не волнует. Ты такой хороший и сердечный, Цезарь!.. Как ты смотришь на Мирона?

Я сказал, что уважаю Мирона.

— Я не о том, Цезарь... Впрочем, неважно... Это я — так...

Она сильно покраснела, быстро пожала мне руку и убежала. Я долго смотрел ей вслед и чувствовал, что она — в смятении. Что произошло?»

«Мой сосед Борзяй, очень добрый, по-стариковски нежный человек, философ и резонер, постучал мне в дверь (мы беседуем, не заходя друг к другу).

— Цезарь Семенович, у Иисуса, сына Сирахова, сказано: «Приобретающий жену полагает начало стяжанию». Мудро. Вы не приобретали себе жены?

Мне всегда приятно слышать его голос, и я улыбаюсь.

— Нет, Петр Иванович. Догадываюсь, что и вы обездолены любовью женщины.

— Любовь женщины, Цезарь Семенович, — великое событие в жизни человека. Но не всякий может перенести его без разочарований. Нужно быть и простым и великим, чтобы сию любовь превратить в источник жизни. Приобретать жену не значит пребывать в любви. Тут жестоко сказано: стяжание! А стяжание есть быт, секунда же утверждает косность. Я всегда с огорчением протестовал против известного восклицания Фауста: «Мгновение, остановись! ты — прекрасно!» Остановившееся мгновение есть смерть, небытие, ничто. Это — противно законам природы и душе человеческой.

— Но и смерть есть движение, Петр Иванович.

— Объективно — да, Цезарь Семенович, а субъективно — нет. Личность должна чувствовать, мыслить, переживать, то есть творить. Вы, родной, обратите внимание на инженера Кряжича. Этот человек хочет

жить, но несчастье его — в стяжании. Поймите сие слово расширительно. Яд гниющей секунды убивает его. Помогите освободиться ему из-под власти предрассудков. Я любуюсь на нашу молодежь, на девушек — Феню и Танечку. Вот истинно свободные жизни!..

— А разве мы с вами не свободны, Петр Иванович?

Старик пошагал, подумал и кашлянул. Потом предупреждающе стукнул пальцем в дверь.

— Мы несем с вами цепи диккенсовского Марлея: ошибки, заблуждения, дурное воспитание, созерцательность...

— Но от этого не свободна и наша молодежь, Петр Иванович.

— Да, *еще* не свободна. Но она уже следует тому, чему учил Данте. Слушайте:

Без трудностей нет славы и в веках,
Без подвигов исчезнешь ты бесследно,
Как пена волн, как ветер в небесах...

— Одним словом — борьба и творчество, Петр Иванович.

— Творчество, творчество, Цезарь Семенович. Сим победиши. Я учусь жить у нашей молодежи и чувствую, что сам молодею.

— Петр Иванович, а если ошибки уже неустранимы? Как быть?

Борзяй завозился за дверью и что-то невнятно забормотал. Помолчали. Я подмигнул, усмехаясь его затруднению.

— Видите ли, Цезарь Семенович. Я думаю, что нет неустранимых ошибок и заблуждений. Все дело в «мужестве, которое победно», как утверждает тот же Данте. Есть только проклятая секунда, которая разъедает душу. Бойтесь самоанализа, как тлетворного застывшего мгновения...

Я пошутил:

— Ну, так в чем же дело, Петр Иванович? Давайте же сбросим цепи Марлея.

Борзяй вздохнул, и я почувствовал, что он грустно улыбается.

— Вам легче, чем мне, Цезарь Семенович. Вы — человек молодой, к тому же боец, революционер. А я буду сбивать их до гроба.

И он отошел от двери».

«Хабло — наглец и циник. Он все время разыгрывает роль откровенного грубияна. Он — инженер-строитель и коммунист с семнадцатого года. Я не поручал ему ни одного доклада, не дал ни одного кружка. Однажды я пытался проверить его: осторожно заговорил с ним на тему о роли интеллигенции в период социалистической индустриализации. Он вызывающе усмехнулся.

— Я давно закончил экзамены и возвращаться к ним не желаю. Пусть я — энтузиаст, но не дурак.

— Значит, по вашей логике, энтузиаст — дурак?

— Моя логика — ответ на твою логику. Хоть ты и Цезарь, но не Кесарь и не Юлий. Не рассчитал, с кем имеешь дело.

Я старался быть совершенно невозмутимым, да с ним иначе и нельзя вести себя. Вероятно, грубость и хамство он считает доблестью большевика. И на площадке он такой же грубиян, да еще матерщинник. Как-то Игнатий Игнатьевич Шагаев, ведающий техникой безопасности, сказал про него Ватагину: «Хабло такой же инженер, как я факир, и такой же коммунист, как ты шаман».

Я пропустил мимо ушей дерзость Хабло и холодно ответил ему:

— Зачем вы так держите себя, Хабло? К чему этот разухабистый стиль? Ведь вы же культурный человек. Вместо помощи вы натравливаете рабочих на Шагаева.

Он как будто растерялся, но быстро взял себя в руки.

— Наоборот: на Шагаева я готов возложить лавровый венок, о Кесарь...

У него левая рука искалечена, и он старательно прячет ее глубоко в рукав (единственное искреннее движение). Почему именно прячет — неизвестно, и

это меня беспокоит. Кажется, что он боится, как бы кто-нибудь не схватил его за эту руку.

Недавно я был в гостях у Осокина и удивился, что Хабло тоже приглашен добродушным предрабочкомом. Он и там грубиянил и стеснял всех. Перед уходом он взглянул на часы и нечаянно обнажил руку. Я хорошо заметил, что он испугался. Паша побледнела и бросилась за ним. Потом при общем молчании она сказала с волнением, что человек с такой искалеченной рукой был провокатором в большевистской подпольной организации на территории белых.

Рука — ненадежная примета. Со времени гражданской войны людей с такими руками очень много.

Несколько раз заходил ко мне Шагаев и просил включить в план агитпропаганды вопросы техники безопасности. Он смотрит на нее не только со стороны производственной. Для него проблема техники безопасности есть проблема культурной революции.

Любопытный человек этот Шагаев. По внешности он не похож на обычного старого инженера: это — демократ и по облику и по образу жизни. Одевается очень скромно и бедно: косоворотка, дешевая кепка, поношенные сапоги. Если бы не маленькое, остроносенькое личико, — типически интеллигентское, — если бы не хитренькие колючие глазки, не нервный рот, он скорее был бы принят за рабочего. Ядовит, насмешлив, раздражителен. За это его не любит инженерная братия. Все считают его неудачником. Но Шепель очень уважает и ценит его, Татьяна Братцева — тоже, а Викентий Михайлович Балеев как-то на техническом совещании бросил фразу, к общему изумлению:

— Игнатий Игнатьевич относится к разряду подлинных творцов своего дела. Многим из нас полезно у него поучиться.

Вспоминаю случай, который впервые создал ему популярность.

Когда Кряжич возвратился из заграничной командировки, он в своем отчетном докладе упомянул,

между прочим, о постановке техники безопасности в Америке, но говорил об этом, как о деле, в наших условиях немыслимом. Американцы, дескать, имеют крепкую систему, навыки, приспособленных рабочих. У нас же люди не чувствуют ответственности за свое дело, не имеют понятия о габарите, не ценят времени, которое прокуривают и прогуливают.

Шагаев руководил тогда взрывными работами и так же носился по всем участкам, как сейчас. На доклад Кряжича он пришел в грязной рубашке, обветренный, пыльный.

— Вопреки вам, Николай Николаевич, и всем, вам сочувствующим, технику безопасности мы создадим.

Многие насмешливо переглядывались, многие негодовали.

— Это кто же — мы? — рассердился Кряжич.

А Шагаев скромненько, с хитрецой, ответил:

— Да мы же с вами! Разве вы откажетесь от этой почетной задачи?

— Попробуйте создайте... — огрызнулся Кряжич, а инженеры поддержали его смехом.

— А что же, — говорит, — попробуем на зависть вашим американцам.

Тут поднялся общий хохот, а Шагаев спокойно встал и оглядел всех с сожалением. А когда все смолкли, он очень серьезно сказал словами из «Ревизора»:

— Над кем смеетесь? Над собой смеетесь.

Кое-где опять захохотали, но Шлиппе встал, погладил бороду и отечески заметил:

— Нелишне заявить, товарищи, что Игнатий Игнатьевич имеет основания для своего заявления. У нас есть разработанный проект по технике безопасности. Кое-кому известно, что автор этого проекта — не кто иной, как Шагаев.

Кто-то хотел поиздеваться:

— Вероятно, шедевр, Генрих Карлович...

Шагаев за словом в карман не полез.

— Неподвижная, — говорит, — мысль — глупа и обидчива.

— Это ново, Шагаев: мысль — обидчива.

— Да, у таких мыслителей, как вы...

На память приходит и другой случай.

Перед обсуждением проекта Шагаев устроил нечто вроде выставки в здании управления: от вестибюля вверх по лестнице и в коридоре второго этажа по стенкам были развешаны таблицы, чертежи, схемы, фотографии, рисунки. Инженеры и рабочие рассматривали их и жарко спорили. Лично я сошелся во мнении с Шепелем: мы расценивали эту выставку как большое событие в жизни стройки. Даже Кряжич изучал каждый лист, и хотя недоверчиво усмехался, но все же уважительно говорил:

— Молодец Шагаев! Интересно. Смел, настойчив, изобретателен.

А Митрохин, старик архитектор, восторгался до слез:

— Какие изумительные вещи! Как люди выросли! Игнатий Игнатьевич — светлая душа... умница... И меня не забыл...

И долго жал руку Шагаеву:

— Может быть, сударь мой, и мне разрешите прилепиться к вам? Может быть, и мои стариковские силы и знания пригодились бы? И я бы поучился уму-разуму...

Игнатий Игнатьевич растрогался.

— За честь почту, товарищ Митрохин... Счастлив, что и вы с нами... Только больше у меня ведь молодежь...

— Вот, вот, вот... молодежь... молодежь... А с кем же мне быть-то, как не с молодежью? Мои годы такие, чтобы меня солнышко грело... Зима-то ближе к весне, чем осень...

Когда Шагаев начал вводить технику безопасности на комбинатах, он встретил враждебное сопротивление со стороны Хабло и Бубликова.

Игнатьич однажды обнаружил, что Хабло — невежда. Не стесняясь, утверждал, что о строительном деле он не имеет никакого понятия...

В это-то время он и сказал Ватагину:

— Хабло такой же инженер, как я — факир.

Игнатьич первый дал сигнал насчет этого подозрительного субъекта.

Чтобы хорошо знать себя, нужно глубоко войти в жизнь живых людей. Мои поступки и действия будут осмыслены и верны в зависимости от того, как я переживаю мысли и чувства моих товарищей и соратников».

2

На улице было темно, и над рекой, за сквером, звездилось зарево огней. В саду стонала духовая музыка. В сквере, во тьме, звенел девичий смех. В комнате Борзяя было тихо — спал он или, по обыкновению, работал?

В коридоре задребезжал звонок. Отворять выбежала Вера Сергеевна. Сам Шепель был дома. Он сидел у Анечки и докладывал ей о своем рабочем дне.

— Кто там? — робко спросила Вера Сергеевна.

— Это я, Балеев.

Анечка крикнула:

— Папка, беги!.. мамаха умрет там... Накинь мне на ноги простыню...

Шаги Шепеля были тверды, но торопливы.

Щелкнул ключ, и брякнула предохранительная цепочка.

— Ну, здравствуйте! Вы еще не спите? Не потревожил я вашу дочку?

Вера Сергеевна, растерянная, чуть не плакала от потрясения.

— Пожалуйста, Викентий Михайлович... Как это неожиданно... и как хорошо!

Шепель, очевидно, отстранил жену, и голос его был почтительно официален и почти бесстрастен, но ломался от скрытого волнения.

— Очень, очень рад, Викентий Михайлович! Прошу вас!.. Вы извините — мы не готовы к вашему посещению.

— Ну, что вы в самом деле, Василий Захарович. Я — на минутку.

— Чаю, Викентий Михайлович? Вера приготовит закусить.

— Да, да!.. я сейчас... Какая жалость!.. ведь можно было бы кое-что припасти к столу...

— Нет, нет!.. Ничего не надо, прошу вас. Я прямо из управления... Пешком, знаете... люблю ходить пешком... Вы, кажется, тоже?.. Ну, ну, знакомьте меня с вашей девочкой... Где она у вас?

Анечка весело крикнула из комнаты:

— Сюда, сюда! Я здесь. Я уже давно вас знаю, Викентий Михайлович.

— Ого, какой победоносный крик!.. Сильная женщина...

— Вы уж извините, Викентий Михайлович... — Вера Сергеевна сконфузилась до изнеможения. — Анечка у нас всегда одна... не видит людей... и несдержанна...

— Очень хорошо! Издали слышу, что встретит с боями.

Шепель со скромной гордостью сообщил Балееву:

— Она у нас каждый вечер, когда прихожу домой, непременно требует доклада о ходе работ на моем берегу. Она в курсе дела.

— Ты, папка, забыл о Цезаре и о дяде Борзяе. Мы ведь спорим по всяким вопросам...

Балеев вошел в комнату и увидел в коляске взрослую неподвижную Анечку с вытянутыми ногами. Вся она утопала в белом. Она смотрела на него зовущими глазами, изучая его пристально и откровенно. Лицо ее, бледное, очень хорошенькое, светилось от радости. Она очень была жадна до новых впечатлений. Викентий Михайлович вошел обычными быстрыми шагами и почему-то смутился. Он взял тощенькую руку девочки и поцеловал.

Он сел на стул перед нею, и оба пристально и доверчиво поглядели друг на друга.

— Я знаю: мой папаша доложил вам так: «Викентий Михайлович, у Анечки туберкулез ног. Она весьма страдает. Машина, если в ней дефекты, требует такого же внимания, как больной человек». Он у меня — такой. Человека и машину связывает в один узелок.

И она очень искусно и быстро перевоплотилась в отца. Вышло у ней это просто и смешно.

Улыбался Балеев, улыбался и Шепель. Мать стояла за ее спиной и продолжала еще трепетать от волнения.

— Моя мама... вы видите?.. горит, как свечка... ее колеблет всякий ветерок. А передо мной всегда будго виновата... Мамочке недостает гордости...

Балеев нахмурился и перебил ее:

— Вы, должно быть, неумеренно много читаете и думаете. Это непосильно для ваших лет.

Анечка встрепенулась, и в глазах ее вспыхнул смех.

— Это почему же? Интересно жить не тогда, когда ешь, пьешь, спишь, а когда узнаешь и думаешь. Не то голо, что перед глазами, а то, что скрыто от глаз. Солнце в глазах маленькое, а на самом деле оно — необъятное. Ведь глаза видят только то, что близко. Я вот вижу вас, а вы не такой, как вы кажетесь. Вы вон какую стройку возводите! страшно большое дело!.. Значит, вы не просто глазами живете. Ежели бы вы были слепой, вы делали бы нисколько не хуже.

Шепель недовольно, но деликатно врезался в ее взволнованную речь:

— Анечка, ты слишком много говоришь. Ты не даешь сказать Викентию Михайловичу.

Анечка досадливо отмахнулась от отца.

— Ах, папка, нужно же нам познакомиться друг с другом. Он — не доктор, а я — не больная.

Викентий Михайлович не отрываясь смотрел на девочку. Он чувствовал, что здесь, около этого подростка, он стал иным, не будничным.

— Позвольте, Аня. Мне кажется, что вы стараетесь видеть в вещах больше того, что они содержат. Вы творите вещи, а не воспринимаете их такими, какие они есть. Ваше восприятие больше, чем сам предмет.

Анечка весело следила за Балеевым. Она как будто даже кокетничала с ним. Он не подавлял ее, нисколько не стеснял. Она чувствовала себя равной ему.

— Так ведь, Викентий Михайлович... конечно же, всякая вещь больше и глубже, чем мы ее считаем. Вот как увидеть и узнать секрет состава воды? Дядя

Борзяй... Вы ведь хорошо знаете дядю Борзяя? Чудный, замечательный человек! он у нас живет... вот здесь, за стенкою... И Цезаря знаете? он тоже здесь... Ну, так вот дядя Борзяй много говорил мне по химии... ну, и вот вода... Аш два О... А как постичь это чудо? Знать — одно, а представить — другое... Вот и вы... Мне кажется, вас никто не знает...

Викентий Михайлович засмеялся и подвинул к ней стул. Быстро схватил ее ручку и потряс ласково и нежно.

— Ну, мы, кажется, очень глубоко погрузились в философию. Хотя это интересно, но важнее всего вопрос о том, чтобы поставить вас, Анечка, на ноги.

Анечка испуганно взглянула и на него и на отца. Лицо Шепеля было недовольно: ему не нравилась болтовня дочери.

— Я никогда не помню, чтобы ноги у меня были здоровы, — упавшим голосом сказала Анечка. — Я уже привыкла... сжилась. А так хочется двигаться... носиться... Это бывает со мною только во сне.

— Ну, мы вас вылечим. Завтра пригласим врачей и посоветуемся. Если нужно, отвезем в Москву, если можно лечить здесь — будем лечить здесь.

— Хорошо, — сказала она покорно и тихо, будто самой себе, — я готова ко всему. Может быть, жизнь уже будет не такой... все изменится... а как изменится — не знаю.

Вера Сергеевна вдруг оторвалась от спинки тележки и упала перед Анечкой на колени.

— Да, да, Анечка!.. родная моя!.. жизнь будет иная... Ты встанешь на ноги... ты пойдешь... ты вырвешься на солнце... Это будет прекрасная жизнь...

— Ах, мамочка!.. Ты всегда меня волнуешь...

Шепель стоял поодаль и изо всех сил старался быть невозмутимым, но лицо его подергивалось едва уловимыми судорогами.

Викентий Михайлович встал и глубоко вздохнул. Он молча наклонился и поцеловал Анечку в лоб.

— Я буду захаживать к вам.

— Да, да, Викентий Михайлович. Я очень, очень рада. Я вас познакомлю с дядей Борзяем и Цезарем.

Она протянула ему обе руки. Глаза ее лучились радостью. Викентий Михайлович торопливо вышел из комнаты, совсем не похожий на того Балеева, которого Шепель встречал на работах и в управлении.

Цезарь слышал все, что совершилось в квартире Шепеля, и сейчас же записал в тетрадь подробно и любовно. Это была одна из крупных записей, и он закрепил ее концовкой:

«Иногда сама жизнь выражается удивительно ярко: она выливается, как художественное произведение».

VI. МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

1

Кряжич не спал всю ночь. Было душно, глухо, давили стены и тишина; воздуха уже не хватало для дыхания. Трудно было ходить: ноги казались тоненькими и дрожали от изнурения. Нечаянно посмотрел в окно: окно закрыл он плотно перед приходом Бубликова. А почему закрыл — и сам не мог понять.

Рита не заходила сюда. Бубликов вошел и сразу же сел в кресло.

Кряжич прошел к окну и хотел распахнуть его. Но его испугала тьма. Огненные листья лип трепетали, как ночные бабочки. По стеклу с лихорадочной дрожью ползал плюшевый шелкопряд.

В заоконном мраке почудилась тень Бубликова, и Кряжич инстинктивно отпрянул в сторону.

«Что такое? Я верю в призраки? Уж подлинно: у страха глаза велики. Недоставало еще душевного расстройства...»

Он неудержимо потянулся опять к стеклу — не давал покоя лихорадочный шелкопряд.

«Как он осмелился... нет, как он решился явиться ко мне?»

И он дрожал от оскорбления и бешенства: облик Бубликова кошмаром давил его — застывало сердце,

душила тоска. Кряжич носился по комнате, курил беспрерывно, ощущая что-то вроде горячечного жара в теле. Он бессильно опирался плечом о стену и не мог двинуть ни одним мускулом. Потом опять долго метался, как ушибленный.

«Так может поступать только негодяй, — в изнеможении думал он. — Если он так развязно залез мне в душу, значит он был уверен, что я уже готовый подлец. И деньгами!.. сребренниками хотел меня обезоружить... А ведь Братцева видела... знала... Давно уже следила за мною...»

И он вспомнил ее слова на плотине: «Я не верю в вашу правду... и вам не верю...»

Татьяна тоже вошла к нему уверенно и бесцеремонно, но она явилась как его совесть — жестоко и больно.

Шелкопряд так надсадно трепещет серебряным бархатом крыльев и ножек. Он рвется в комнату сквозь непонятную прозрачную преграду. А за ним — тьма и ужас.

«Значит, в глазах этого гнуса я тоже бацилла? В этом — мое назначение, моя судьба? Почему он издевался надо мною, когда я назвал имя Балеева? Неужели — все?.. Неужели каждый из нас играет в лойяльность, даже в преданность, а сам — разрушитель и самоубийца? А Шепель? этот фанатик своего дела? И Стрижевский и Шлиппе? Неужели и Борзяй?..»

И он вспомнил, как однажды ночью, во время бегства сезонников, ему пришлось впервые пережить унижение и полное бессилие среди этих бездельников. Он орал на них, а они сидели на камнях или слонялись с инструментами и издевались над ним.

— Почему вы не работаете? Почему валяете дурака? Где у вас бригадир? Где тут десятник, черт бы его побрал?

А сезонники спокойно и кротко спрашивали его, подмигивая друг другу:

— А часики у вас есть, товарищ инженер?

— Сколько бы сейчас времечка, товарищ инженер? Должно, пора и по домам...

Он совал им в лицо часы и бесился:

— Ах, времечко... Ах, вас интересуют часики?.. Пожалуйста... Нате, полюбуйтесь!.. Что вам еще угодно? Ну?!

Но они с притворным почтением заводили с ним беседу:

— А вы, товарищ инженер, надо быть, с семейством тут приспособились? Должно, квартирка богатая?.. Поди, и свининку кушаете? вареньице?..

— Что ты, дурья башка, глупыми вопросами его беспокоишь?.. Мы же ведь буржуев да бар загнали в амбар... Ну, все же товарищ инженер папиросочки содержит в серебряном сперцигарчике...

— Почем костюмчик, товарищ инженер? А вот у нашего брата на плечах таковой дипломат: летом гнет, а зимой ломат...

И Кряжич опреметью бежал от них, а они провожали его хохотом.

В один из таких моментов к нему незаметно подошел Бубликов. Почему он здесь слонялся — неизвестно: его площадка была далеко — на комбинатах. Он оскалил зубы и сказал с ехидной насмешкой:

— Ну? Как, Кряжич? Честное слово, мне это нравится... Это — наш хозяин... Он изволил обратить внимание на вашу особу. Это лестно...

— Нет-с... довольно!.. Слуга покорный... Такого возмутительного безобразия я еще никогда не переживал... Я уеду хоть к черту на кулички, но оставаться при таких условиях не могу...

— Уезжать вам некуда и незачем. Не ерепеньтесь, пожалуйста.

— Но нельзя же так работать, Бубликов. Ведь сплошной бедлам.

— А вам-то какое дело?

— То есть как это «какое дело»? Я же не напрасно трачу силы и не сплю по ночам...

— А во имя чего?

— Странный вопрос. Хотя бы во имя своей профессиональной чести.

— А разве она теперь существует?

— Оставим этот разговор.

До сих пор он жил в такой же вот тьме, как за

окном, и так же трепетал, как этот шелкопряд, бесконечно одинокий, и так же рвался куда-то к смутному свету сквозь непроницаемую прозрачную среду. Было ощущение, что он в мире всем чужой, обреченный на бессмысленное существование. Как проклятый, он принужден был проводить работы, связанные с его профессией. Он знал и видел только процессы труда, корпел над чертежами, формулами, гнался за выполнением планов и заданий и жил только календарем совершающихся работ. Он впервые в жизни возводил эти никогда не виданные громады и не мог не жить ими, как художник, как мастер своего дела. И думал о счастье. О каком счастье? Он не ответил бы на этот вопрос, но ему казалось, что счастье его — не здесь и не в настоящем, а где-то в прошлом, в безвестных далях.

Два года назад он был командирован в Америку и долго изучал там опыт стройки гидростанций. Понравилась ему там организация труда, но рабочие массы были безгласны в производственных процессах, как некая мускульная сила. Он это отметил, хотя и вскользь, и, к досаде своей, совершенно невольно сказал в беседе с инженерами в Сагвинее:

— Мы хотели бы перенести вашу систему работ в наши советские условия. Но живая механическая сила ваших рабочих — не для нас...

— Вы хотите сказать, мистер Кряжич?..

— Я отмечаю факт, что наши рабочие в производстве прежде всего — сами хозяева и организаторы.

Инженеры промолчали на это его замечание и перевели разговор на другую тему. Уехал он с уверенностью, что на него посмотрели эти деловые и примитивные (именно примитивные) люди как на агента большевиков.

Однажды в Чикаго ему задали вопрос:

— Если бы мы вам, мистер Кряжич, предложили остаться работать у нас?..

И опять он очень откровенно ответил:

— О нет! В моей профессии очень нуждается наша страна.

После полугодового пребывания в США и в Канаде он с жадной тоской рвался домой. «И дым отечества нам сладок и приятен...» — думал он, когда уже плыл на океанском пароходе, и не жалел об Америке: она казалась ему бездушной, скудной людьми, утилитарно-однобокой в своей культуре. А когда он возвратился сюда, опять озлобился на порядки, на людей, на себя — и опять мечтал о счастье, о другой жизни, которая мерещилась ему в воспоминаниях о детстве и юности.

«У меня, очевидно, нет идеала, как у лермонтовских героев...

Ах, этот назойливый шелкопряд! Он рвется на свет, но не может пробить прозрачного средостения.

Бубликов тоже строит, но он притворяется, что строит: он коверкает и разрушает. Вместо торжественного стола он хочет сделать бочку Данаид. Он хочет торжествовать, как Герострат. Он сознательно борется, как преступник. А преступник действует тайно, обманом, лицемерно: днем он созидает, как честный работник, а ночью уничтожает и уродует, как злодей. Он приучил себя не любить плодов своих рук, он уже отрицает самую идею творчества: творчество у него превращается в истребление. Он уже уверенно и зловеще наложил руку и на работу его, Кряжича. Он ворвался к нему, как бандит, — с угрозой и деньгами, — хотел парализовать его и подчинить себе подкупом и насилием. Если бы он говорил с ним дружески и интимно, он, Кряжич, поборолся бы с ним честно и добросовестно. И Кряжич одно знал очень твердо: он никогда не пошел бы на преступление, никогда! У него есть своя профессиональная гордость, и он скорее погибнет, чем позволит себе разрушить собственное произведение.

Два человека стоят около него — Бубликов и Борзяй: один — черт, опасная сила, несущая гибель, а другой — друг, милый, наивный мудрец, который живет в нем, как добрый голос совести. Вот и Ватагин также сказал ему в лицо, сурово и прямо: «Вы — хозяин своей судьбы...» Да. Братцева. В ней — строгость и непреклонность человека, который хорошо

и четко знает свой путь. Она пришла к нему в нужный час и встряхнула его сильной рукой. Он сейчас в ее власти: она может его погубить, может и охранить от беды. Ему нечего перед ней оправдываться. Она и без того знает настоящую его цену. «Это — она?» — спросила Рита с ужасом в глазах. Да, Рита, это — «она». Рита насыщает это слово чисто женским значением, а для него оно — жизнь.

Кто же приоткрыл окно? Ни он, ни Бубликов, ни Рита... Ну, конечно же — она, Братцева. Она же сказала: «Я не только слышала, но и видела...» Она делает все спокойно и осмотрительно. Удивительная девушка. И как только образ ее вспыхнул перед ним — живой до иллюзии, — опять в сердце его плеснулась волна наслаждения. Это — она. Что значит — «она»? Беспризорница. Если бы она приказала ему в последний миг: «Уйдите из этого дома», он сейчас же, не рассуждая, пошел бы за нею, безвольный и безгласный. И все же он сгибается перед нею, как пленник, жизнь которого находится в ее руках. Он уже не господин себе, он уже не может крикнуть так, как кричал на Бубликова. Он не может даже говорить с ней так, как говорил когда-то на плотине. Каждый час, каждый день она будет стоять перед ним, как некий грозный образ, — сила, которую не превозмочь.

Против чего я иду? Против чего восстаю? Во имя чего так жалко бунтую? Какого счастья я хочу?»

И он не нашел ответа на эти вопросы. Какая-то невнятная тень прошла во тьме двора, за деревьями, мерцающими призрачным светом.

«Я страдаю галлюцинациями...»

И ему уже не было страшно. Только изнурительная слабость охватила его — странное равнодушие к себе, к жизни, ко всему...

2

Лиловый туман дымился над холмами, над стройкой, над поселком. Рассвет красным облаком горел над левым берегом — над вышками комбинатов, над зданиями города, и в этой сиреневой мгле корпуса

общежитий, водонапорная башня железнодорожного узла и кружева лесов казались плоскими силуэтами, легкими и прозрачными, как видение.

Кряжич вышел на улицу, совсем беззвучно запер за собой дверь. Он вышел без кепки, в одной рубашке, по-домашнему, даже в туфлях. Бессознательно осмотрел часы на руке. Сначала ничего не понял, а потом назойливо начал вспоминать, сколько же было времени. Большая стрелка стояла, кажется, на двух часах, часовая — на пяти. Да, шестой час — начало шестого. Не все ли равно. Впрочем, куда он идет? Все равно, лишь бы идти. На улице было пустынно и необычно: она была совсем другая, чем днем, — она тоже горела в далях, в кудрявых зарослях палисадников сиреневой глубиной. Уже гуляли куры по дороге и пылили на лошадиных кучах.

...Окна домика, где живут Братцева и Отдушина. Странные девушки. Такие знакомые и такие таинственные! Он постоял около их палисадника, но фиолетовая муть за стеклами молчала покоем и глубоким сном. Он привалился к ограде и не мог оторваться от окон. Было мгновение, когда он вдруг растворился в каком-то певучем небытии.

...Бубликов, да, да... Бубликов — это кошмар... А может быть, его и не было, а было только сновиденье?..

Он не заметил, как поднялся на холм, как прошел мимо здания управления, как хрустел туфлями по гравию сквера. Смутно ощущал только сиреневый блеск от земли до неба и видел лучистые огни на плотине и далеко, на комбинатах. Огни уже таяли и утомленно дышали в далеких россыпях. Стремительно летали над головою голуби и хлопали крыльями. Очень высоко реял коршун. Почему-то только сейчас услышал бодрые свистки паровозиков. Навстречу ему по-рабочему заботливо и по-утреннему угрюмо шел Шепель. Почему так рано? Ведь он мог бы пойти и в восемь часов. Он тоже честен. Как знать? А вдруг он, как Бубликов, идет на какую-нибудь подлую работу, когда его никто не может поймать на месте преступления?..

— Доброе утро, Николай Николаевич. Что это вы... Куда же в таком виде?..

— А вы куда в такую рань?

— Нужно, Николай Николаевич. С вечера заканчивался монтаж того жесткого деррика, который должен обслуживать два последних бычка. Надо осмотреть и проверить.

— У вас какая-то одержимость насчет механизмов, Василий Захарович.

Шепель затянулся папиросой и удивленно взглянул в лицо Кряжича.

— Называйте это, как хотите, Николай Николаевич. Я только добиваюсь, чтобы все было хорошо и выполнялось без всяких перебоев. Механизация не любит халатности.

— Ваши машины не вредили вам?

— Машины не могут вредить. Вы знаете это не хуже меня, Николай Николаевич. Машины вредят тогда, когда вредят им люди.

— Вы честны и пунктуальны, Василий Захарович.

Шепель оставался спокойным и бесстрастным.

— Честность — это преданность делу, Николай Николаевич. Я так думаю. А преданность — любовь к своему труду. Я хочу достигать совершенства. В этом мое движение вперед. Во имя этого я и работаю. А всякие цели ясны... Всего доброго, Николай Николаевич. К девяти часам я жду вас на участке.

И Шепель пошел по дорожке сквера. Кряжич смотрел ему вслед и думал:

«Как просто у него... как убежденно! Я не чувствую того, что чувствует он. Ведь он этим живет. И если бы пришел к нему Бубликов, он убил бы его... или скрутил бы по рукам и ногам. Бубликов — прежде всего его личный враг».

Окно у Борзяя было открыто настежь, и в черной пустоте летали большие мухи.

Высунулись белые плечи и серебряная голова Борзяя.

— А-а... милый Николай Николаевич! Что это вы, голубчик!.. Вот и мне не спится... Должно быть, очень

душно. Дождей не было давно, и воздух такой сухой и пережженный. Скоро будут поливать газон — посвежеет немного.

И он спрыгнул с окна без помощи Кряжича.

— Пройдемся, родной, а потом возвратимся и попьем чайку. Впрочем, у меня арбуз есть замечательный... первой съемки... Прислал вчера директор совхоза... Славный парень... весь живет своим делом... Человек, Николай Николаевич, должен делать чудеса — в этом его жизнь. Вам тоже душно, что не спите?

— Не душно, а мерзко... и ужасно... Ко мне приходил Бубликов.

— Разве Бубликов способен создавать ужасы? Я этого не предполагал в нем. По-моему, он очень примитивен. Должно быть, эти ужасы вы создали сами?.. Вы склонны к некоторому душевному беспокойству.

Они медленно шли по дорожке сквера к фонтану, который пылил молочными брызгами в пустынной неподвижности молодых лип, тополей и березок. Оба — измятые ночью, близкие и дружески интимные.

Борзяй первый подошел к фонтану и нагнулся над бассейном.

— Удивительно радостна вода ранним утром. Умойтесь, Николай Николаевич.

Он полными пригоршнями начал черпать звенящую воду и выплескивать на лицо, на голову, на грудь.

— Очень хорошо! очень хорошо!..

Серый гравий с одной стороны бассейна темнел влажным полумесяцем.

Кряжич стоял рядом с Борзяем, и ему было грустно и приятно с этим человеком, душа которого была ясна и глубока, как эта вода в бассейне или как этот сиреневый воздух, тающий в густой синеве неба. Подчиняясь очень доброму голосу Борзяя, Кряжич тоже заплескался в воде. Оба наслаждались прохладой воды с запахом болотца...

— Ну, так какой же ужас мог создать этот Бубликов?

— Он имел дерзость положить мне на стол две тысячи... И нагло грозил мне... понимаете?

У Кряжича затряслись губы, и он махнул рукою.

— Но вы же к этому непричастны... Я же знаю, что вы на это не способны... Как же он мог оставить?.. Какой дурак! взял да и оставил...

— В том-то и дело...

— Ну, и что же?

— Тут пришла на помощь Братцева. Кажется, следила... Привела ее ко мне записка этого мерзавца... Выронил я ее нечаянно.

— Ну, и отлично, дружок! — успокоился Борзяй. — Ну, и превосходно. Хорошая, смелая девушка...

Он несколько мгновений смотрел на восток, на горящий горизонт за комбинатами. Сквозь облака прорывались вверх, в небо, пучки оранжевых лучей.

— Обратите внимание, Николай Николаевич... какой чудесный восход!.. Как счастлив человек, что имеет глаза, чтобы наслаждаться!.. Все простое очень таинственно и прекрасно...

Помолчали. Полюбовались на облака, прикасаясь плечами друг к другу. Борзяй взял под руку Кряжича и тихо пошел с ним по дорожке сада.

— Вы обязаны знать, Николай Николаевич, что созданное вами не погибнет и никакие вредоносные силы не способны помешать вам быть творцом и человеком. Только, родной, по-утреннему глядите на мир, вот как сейчас. Великая, трогательная красота!

— Вы, Петр Иванович, уговариваете меня, как ребенка.

— Нет, родной, я только делюсь с вами моими ощущениями от собственной жизни на земле. Надо видеть эту жизнь такой, какая она есть, а не навязывать ей личных болезненных особенностей. Вы страдаете аберрацией чувств, но вы — здоровый человек. Знаете, в природе, несмотря на борьбу за существование и видовой отбор, все совершается, все движется на одной основе — на величайшей согласованности.

— А кровь?.. а принижение человеческой личности?..

— Ну, так ведь, голубчик Николай Николаевич, вы же не слепой крот: вы же ведь хорошо знаете, что всякая фация той или иной эпохи, не приспособленная к новым условиям, отлагается в пластах земли как невозвратимая формация.

— Значит, приспособляться? отказаться от самого себя? поступаться своими идеалами?

Борзяй ласково прижал к себе руку Кряжича.

— А у вас, милый, какие же идеалы?

Кряжич смутился и промолчал. Молчал и Борзяй, ожидая ответа. Они опять пошли обратно к дому: один — измученный ночью, другой — свежий, ласковый, с наслаждением подставляющий лицо свое солнцу.

— Всякие муки, Николай Николаевич, должны иметь смысл. Самоистязание — не мука, а болезнь. Последнее — от упадка сил, а первое — от напряжения в борьбе за достижение целей. Бодритесь, бодритесь, родной: вы здоровый человек.

Опять помолчали и прислушались друг к другу. Кряжич чувствовал, что он начинает успокаиваться: ему стало легко и приятно около Борзяя, точно тот баюкал его, как любимый друг и отец. В этот миг ему казалось, что он рядом с этим чудаком дышит свежо и никакие невзгоды и опасности не беспокоят его, точно Борзяй опечаленным своим лицом и улыбкой мудреца отгонял от него все призраки ночи.

Старик неожиданно остановился, обнял Кряжича и поцеловал горячо и любовно. Это вышло смешно, наивно, но очень сердечно. Кряжич даже вздохнул от волнения.

— Милый Николай Николаевич! Знаете, я вас очень люблю и ценю. Вы — весь в жизни, весь — в творчестве. Вы скоро выздоровеете.

Глаза у Кряжича засветились слезами.

— Вы правы! я немножко болен душой. Я пойду, отдохну...

— Ну, идите, идите, голубчик. Вы бы сейчас на реку прошли, выкупались бы... а потом уж отдохнули... После купанья хорошо спится.

VII. ПРИЛИВ

1

На плотине наращивались бычки до разных отметок, на шлюзе бо́льшая часть ударников была занята скальными работами. В котловане шла уборка камней. Вихляев и Феня, за недостатком бурильщиков, сначала работали сами. Бригада Кольчи была брошена на перфораторы. Ребят инструктировали и Феня и Вихляев.

Феня передала свой инструмент Кольче и стряхнула пыль с холщовой рубахи. Работа на бурильном станке хоть и не трудна, но очень утомительна: больно трясется тело, бьет в лицо удушливая пыль, и надо постоянно следить, чтобы не заело отбойного молотка. Феня едва стояла на ногах от усталости, но весело подбадривала Кольчу:

— А ну-ка, пускай своего грызуна, я погляжу, как ты им владеешь.

Кольча вцепился в аппарат и до боли сжал челюсти.

И как только ощутил восковую поверхность металла, сразу же забеспокоился. Станок заревел, и Кольча затрясся, упираясь руками в плечи перфоратора. Сначала его отбросило в сторону, и он чуть не упал, но смех Фени разозлил его. Он нашел точку опоры и опять пустил инструмент. Она что-то крикнула ему, но он не слышал, а когда оглянулся, Фени уже не было около него. Он прервал работу и стал искать ее в толпе. Ему стало грустно. Для нее он такой же, как все: она не чувствует его сердца и о мечтах его не догадывается. Что он для нее? Простой рабочий парень, слесарь и неуч. А она вот держит в руках целую половину плотины и руководит страшенной, почти таинственной махиной. Надо догнать ее — догнать и перегнать, чтобы она подняла на него изумленные глаза. Вот он — инженер. Вот он — строитель электростанции и колоссальной плотины где-нибудь в Сибири, на Севере, на Урале. Его имя известно всей

стране, и рабочие самых отдаленных мест — во Владивостоке, в Архангельске, в Кузбассе, в Баку — с гордостью повторяют его имя. Знать — это побеждать, быть сильным и властным. Почему все эти люди — Балеев, Кряжич, даже Цезарь — подавляют его? Чувствуешь себя перед ними цыпленком, а в голове такая чушь и путаница, что бессилен вздохнуть и смело взглянуть им в глаза. У них и глаза-то иные, совсем не такие, как у Васяя и Сеньки: их глаза смотрят будто в пустоту. Глаза Мирона и Чумалова тоже иные — в них уверенность борцов, которые могут не видеть силы в глазах Балеева и инженеров: надо знать свой путь, быть как дома в системе движения. В их глазах отражаются миллионы глаз, и они бесстрашны и дальнозорки. Надо добиться, чтобы эти чужие глаза не были таинственны и скаредны, чтобы будущие глаза Кольчи вмещали в себе целый мир и проникали бы в миллионы мозгов и сердец.

Черт побери! Мозги у него не хуже других, напора и силы хватит на долгие годы. Цель — вот она, неотразимая и ослепляющая. Четыре года, пять лет — не все ли равно. Цель должна быть достигнута, знания должны быть взяты упорством и настойчивостью — в этом все. Через пять лет он будет сильнее Балеева и всех его спецов вместе взятых, потому что у него будет то, чего у них нет: сила и мудрость великого класса.

Неподалеку от него стоял с перфоратором Сенька в длинной холщовой рубахе. Он весь дрожал в вихрях пыли. Эх, Сенька, друг, душевнейший парнюга!

С этим Сенькой Кольча крепко сроднился за год и считал его «своим детищем». Он оберегал его, следил за каждым его шагом, старательно «воспитывал» и чувствовал большую ответственность за этого парня. Сеньку он «вырвал» в прошлом году из табора. Собственно, не «вырвал» (на этот счет Кольча немножко привирал), а помог ему устроиться на работе и взял его под свое покровительство.

Как это случилось? Остановился за поселком табор цыган, и по улицам с утра до вечера стали бродить косматые цыганки в пестрых сарафанах. Запели

нахальные голоса гадальщиц и попрошаек. Смуглые цыганята с бубнами плясали перед палисадниками и в сквере.

В обеденный перерыв Кольча шел из цеха в столовку прямой дорогой через сад. На скамейках кое-где сидели парочки — не то служащие, не то приезжие из города, не то экскурсанты. Цыганки — молодые и старые, с сизыми волосами и знойными лицами, — переходили от скамьи к скамье, назойливо приставали к парочкам и преграждали путь прохожим.

— Пог-гад-даю на твоей сер-ребряной ручке... на счастье, на люб-бовь... Заг-гад-дай на карту, крас-савица заштрахованная...

Сверкая зубами и белками, перед Кольчей вызывающе остановилась девушка.

— Ну, пог-гадаю, крас-сивый... Ну, расскажу теб-бе твою сер-деш-шную судьбу... Глазки твои зол-лотые, заграниш-шные...

Кольча остановился, встретился с ней глазами, и оба засмеялись — засмеялись потому, что были молоды и в обоих кипел преизбыток жизни.

— Работать надо, цыганка... Брось эту ерундистику!.. Девка ты сильная, веселая, а клянчишь... Иди-ка лучше к нам на плотину...

А она скалила зубы и жгла его черными глазами.

— Пог-гадаю, любимец... загран-ниш-шная твоя гол-ловка...

— Поди ж ты, какая оказия!.. Это у меня-то — заграничная?.. Здорово отколола, цыганка!..

Девушку грубо оттолкнул полуголый парень, с бронзовым блеском кожи, с черным руном волос на голове, и прикрикнул на нее по-цыгански. Она опять засмеялась, закружилась и заплясала перед ним, и сарафан ее развернулся колоколом. Потом презрительно передернула плечами и пошла дальше по дорожке, играя бедрами.

— Погоди, парень!.. — смело заговорил цыган, протягивая руку к Кольче. — Не ругай цыган — такая у них жизнь... Ты здесь, что ли, работаешь?..

— Конечно. Слесарь. В механических мастерских.

— Как зовут, друг? А меня — Сенька... Семен Громов...

— Ну, так в чем дело, Семен? — пожимая руку Сеньке, дружески сказал Кольча. — Видишь, как у нас здорово? Может, желаешь остаться? Здесь, брат, всем дорога открыта. Парень ты, вижу, неплохой и умишко есть. Помогу, ежели хочешь...

Они пошли по аллейке неторопливо, как приятели.

— Я всю страну изъездил... — говорил Семен Громов раздумчиво, и Кольча услышал в его голосе что-то вроде недовольства. — И много видел людей разных и всякую жизнь... Все работают, везде — беспокойство... Очень большие картины видал и глядел издали, как чужой на чужое... Мы в таборе — как саранча: прилетели, порыскали и — дальше... На подножном корму... Много людей удрало из табора: не прежняя жизнь... И мне не по душе: стыдно... Старики не сознают, а я страдаю... И не один я... Хочется богатой жизни... Новое испытать... Читаю много... как — в город, так и литературу достаю...

Они разговорились, долго ходили по дорожкам сквера и понравились друг другу. Кольча не обедал в этот день. Сговорились встретиться после сирены. Прямо из цеха Кольча опять пошел в сквер и встретил Сеньку, веселого, хотя и тревожного немножко. А веселый он был потому, что отец отпустил его без скандала. Пошли в общежитие, в комсомольскую коммуну, и Сеньку сразу взяли в плен. Ребята долго водили цыгана по участкам стройки, по цехам центральных мастерских, а вечером водворили его в общежитие. Койку его поставили рядом с койкой Кольчи.

Цыгане исчезли на другой же день, а Сенька остался. Уже с утра надел прозодежду и пошел вместе с Кольчей в цех.

Так прошло месяца два, и Кольча стал замечать, что Сенька начал грустить, уединяться, тосковать. Ясно было, что цыгана потянуло в табор. Но Кольча следил за ним зорко, не отпускал от себя, вовлек его в физкультурный кружок, в футбольную команду и включил в свою аварийную бригаду. Потом Сенька признался ему, что пишет стихи, и, смущаясь, прочел

несколько стихотворений, похожих на песни, в которых красиво рассказывал о таборе, о девушках, о бездомной доле цыган, о новой своей жизни. И Кольча понял, что эта тоска Сеньки и нервные его стихи — уже прощание с бродячей цыганской беспризорностью, что если он и сбежит, то обязательно возвратится опять. Долго помнил Кольча, как Сенька, бледный от волнения, читал свои песни со слезами восторга, — и не читал, а стонал от боли:

Подлецы, богатые подонки,
В кабаках цыганок покупали.
А цыганки — бабы и девчонки —
Песней их и пляской услаждали...
Гады пели о ночных попойках,
О любви пылающей смуглянок,
Пели псы о сумасшедших тройках,
Но не пели о слезах цыганок,
О судьбе окаянной бродячего клана,
Об отверженной жизни цыгана...

И Сенька стал еще дороже ему и ближе, когда его крыли ребята за «цыганщину», за «таборскую тарабарщину» и за отсутствие «пролетарской идеологии». А Сенька бешено отбивался и крушил их:

— Дуболомы вы! У вас на лбу можно только подковы ковать... У вас даже элементарного понятия нет, чтобы чувствовать лирику...

А ребята орали наперебой:

— Вот именно дикую лирику истерикой закатываешь... Отраву разводишь, башка лохматая... Сбрей свои бессарабские волосы!.. Ты сам не понимаешь, как образы цыганщиной закручиваешь...

Кольча яростно встал на его защиту, но досталось и Кольче. Сенька дрожащими пальцами жал ему руку и благодарно ловил глазами его глаза. А потом, ни слова не говоря, встряхнув черными волосами и, приложив смуглую ладонь ко лбу, осадил всех новыми стихами:

Сны мои манят меня кострами,
Я тоскую по степным ветрам...
Не бродить уж больше мне с шатрами,
Я иные зовы слышу по утрам:

По утрам я слышу гром металла,
Гул станков и завыванье пил...
Жизнь моя, какой ты звонкой стала!
Словно на огне тебя я закалил...

Последняя строфа смягчила ребят, и они даже похлопали ему. Кольча ликовал и победоносно носился по комнате.

— Черти вы ядовитые! Надо уметь почувствовать человека до печенки... В росте его брать... Видите, какой переворот в парне...

И с дрожью в голосе, растроганный, повторял:

Жизнь моя, какой ты звонкой стала!
Словно на огне тебя я закалил...

— Да ведь это же про нас с вами написано... Эх, слова-то какие, ребята!..

И все-таки Сенька однажды удрал, но никто этого не заметил. Потом он Кольче исповедовался с глазу на глаз:

— Такая выпала окаянная весна, что мочи нет... Ночь, тепло, звезды, река шумит... Вышел в поле — горизонт далекий, пахнет трава, кузнечики поют, перепел... И почудилось: табор и костерок у перелеска... Ну, я и пошел... как во сне, без рассуждения... Голоса слышал — матери, сестры... это — той самой девчонки, которая к тебе с гаданьем приставала...

— А! Это глазки-то заграничные?

— Ну, и вот... шел, шел... и не дошел... Бросился на землю... катался по ней как безумный... и плакал... А к рассвету опомнился и вернулся прямо в цех. И тогда же понял: не убегу больше. Будто в эту ночь все во мне перегорело, в пепел обратилось...

— Своих-то больше не видел?

— Нет. И вестей никаких не получал. Застряли где-нибудь далеко. Да и неграмотные они. Должны приехать...

— Не утащат они тебя?

— Ничего не выйдет, Кольча... От тоски не заручаюсь. Ну, да и это выдохнется...

— Обязательно выдохнется! — убежденно подтвердил Кольча. — Здесь, брат, люди заново родятся

и на всю жизнь чеканятся. Думаешь и — сердце замирает: эх, как бы завтрашний день подтянуть поближе, как бы шагнуть подальше!.. Верю: не удерешь больше, Сенька... Другим человеком станешь... Вот втуз осенью откроют — учиться будем...

Так они до сих пор и жили душа в душу, не отрываясь друг от друга.

2

Феня поднялась на перемычку и пошла между рельсов к своей конторке. Надо было просмотреть некоторые цифры по своему участку и привести их в порядок. Там — толчея, штабная горячка: приходят техники, десятники, табельщики и требуют разъяснений, распоряжений, справок, указаний, приносят отчеты, донесения, рвут уши звонки телефона. Нужно быть начеку, нужно быть постоянно в курсе дела, надо быть находчивой, распорядительной, быстро и точно отдавать приказания. К ней привыкли, ее теребили всюду, ее требовали на места, ее спрашивали, на нее надеялись, и все знали, что она может бойко и верно прийти на помощь, дать распорядок работ. Кряжич с ней больше считался, чем с Вихляевым, и на заседаниях всегда требовал ее информации.

После столкновения с Кряжичем Вихляев затих, обособился, стал грустным и задумчивым.

Однажды он не явился на плотину, и это поразило всех.

Феня пошла к нему на квартиру и удивилась, что у него большая семья: четверо детей и крикливая жена, которая встретила ее неласково.

Вихляев лежал на кровати, и Феня сразу учуяла запах алкоголя. Это испугало ее.

— Вихляев! Милый! Вы больны?

Он бессмысленно таращил на нее красные глаза и бормотал:

— Довольно-с... Дошло-с... Желаю успеха в делах рук ваших. Вот-с, фербот-с... Вышел в тираж. Не нужен, знаете ли-с...

— Ну, это вы, Вихляев, чепушите. Как вам не стыдно! Не ожидала я от вас этого... На плотине без вас шагу шагнуть нельзя. Что же вы делаете? Балеев сказал на плотине: «Вихляев — редкий прораб и прекрасный работник».

Вихляев сел на кровати и схватил Феню за руку.

— Это вы сами слышали? да? Вы не лжете? Глядите в мои очи.

Феня взглянула на него с огорчением.

— Вы мне, Вихляев, всегда верили. Разве я способна лгать? Вы меня не уважаете.

Он грузно встал с кровати (в подтяжках, босой), прошелся в волнении по комнате. В глазах блестели слезы.

— Знаете ли... я, Фенюша... Простите, называю вас без всякого права Фенюшей... от души... крик сердца... Я, знаете ли, верю вам больше, чем себе. Ваши слова звучат громче голоса Балеева... Спасибо, знаете ли, Фенюша... Вы — сигнал у гроба... «Утренеем утреннюю глубоку...»

Это было трогательно и забавно. Пьяный, он был похож на дурачка. После этого он привязался к ней нежно и влюбленно.

Рядом с конторкой прораба стоял красноармеец с винтовкой — военная охрана плотины. Перед ним толкалась кучка чумазых полуголых ребят. Они спорили с ним нахально и весело.

— Ну, чего рычишь? И ружьем не играй... Ты еще в коники запряги винтовку... Не гони — все равно не уйдем. Мы люди не робкой кавалерии. Зови своих инженеров... Видишь, какие мы честные? А хочешь — шмуганем перед твоим носом — и не унюхаешь...

— Нельзя, нельзя, ребята... оборачивай назад... Тут доступ только по пропускам.

— Доступ... Тоже!.. Ведь воевать-то вместе пойдем, чудило... Наша беспризорная шпана с Красной Армией век была в дружбе...

— Ну, шагай, шагай... намазывай пятки...

— Да мы же, дядя... ты слушай... мы же не так... не просто, как банда... мы — чтоб нас на работу взяли...

Феня остановилась, прислушалась и вдруг быстро пошла к красноармейцу.

— В чем тут дело, товарищ? — и, не ожидая ответа, устремилась к чумазой команде. — Что вам нужно, ребята?

Красноармеец как будто не заметил ее и оттирал ребят. Шли мимо рабочие и всякие люди на левый берег — знакомый народ, и красноармеец привычно провожал их глазами.

— Да вот не пускает эта редька...

Им было забавно это приключение: негодовали они независимо и развязно. Упорство красноармейца только разжигало в них дерзость. Один мальчуган даже пошлепал ладошкой по ложу винтовки.

Парень с припухшим лицом, — должно быть, поводырь, — озлился.

— На какой же мы черт целую неделю трепались сюда из Саратова?.. Выручай нас, гражданочка...

— Пропустите их, товарищ.

Красноармеец покосился на Феню и оттеснил от нее оборванцев.

— Ну, стойте, ребята. Я позвоню начальнику караула.

Она подошла к телефону, который был спрятан в деревянном футляре на стенке будки. Кричала глухо в ладонь, звала рукой красноармейца...

Красноармеец приложил трубку к уху и хмуро сказал:

— Все в порядке. Проходите.

Ребята обступили Феню и пошли с нею по плотине.

— Вот спасибочко — помогла. А то хоть обратно лыжи навастривай.

— Ну, и летуны вы! Только подумать — из Саратова! Неужели вы все время ехали под вагонами?

— Наш элемент транспорт знает лучше железнодорожников. Какой же может быть беспризорник без транспорта?

— Я сведу вас сейчас к другой инженерке, ребята. Она тоже когда-то была беспризорницей...

— Хо-хо! Даешь!.. Вот это по-нашему... На Волге

есть тоже... иностранцев возглавляет... Вот здорово чешут по-английски... сем-по-поломи-чековерсе-вери-вери-коски.

— Ну да... из нашего брата есть даже писатели...

— Ха, писатели... Это что!.. Писателей из нас складывай в штабели. В писатели каждый беспризорный идет... Это — буза. А вот летчики-беспризорники, это — да.

Феня наблюдала за ними и чувствовала, что эти блуждающие дети — жалки и брошены за пределы жизни. Есть какая-то брешь в системе собирания человеческих сил, в которую высыпаются дети, как зерно из мешка на дорогу, тонут в грязи и только редкие из них силою своей воли пробиваются к жизни и дают здоровые ростки. Какая должна быть сила и живучесть, чтобы преодолеть все преграды и ужасы!

Рабочие провожали ребят с молчаливым одобрением, а иные кричали со смехом:

— Это на какие же подвиги ведешь их, товарищ Отдушина?

Татьяну они нашли в толпе рабочих около новых опалубок. К ней подходили десятники и торопливо о чем-то переговаривались. Она быстро отдавала какие-то короткие распоряжения.

— Вот, Татьяна... Этот народ прорвался к нам из Саратова и желает работать. Ты поймешь их лучше меня.

Татьяна бегло осмотрела ребят.

Она заметила парня с тифозным лицом, нахмурилась, а потом неожиданно засмеялась.

— Ну, ну! Вижу, с хорошим стажем следопыт...

Парень сморщился и встряхнул плечами. Татьяна как будто не заметила этого игривого жеста и странным для уха Фени грубо-развязным голосом спросила:

— Ну, так шамали сегодня?

— Постреляли мало-мало...

— Ужин будет через час. Держи на всех. Говори кличку. Сыч? — Она вынула из кармана три рубля. — Общежитие на левом берегу. Там дадут мыло, и ты поведешь их под горячий душ — там же, рядом с общежитием. Я тоже там буду. Как-нибудь раздобудем

одежду. Завтра опять сюда: выдадут жетоны на пропуск. Дам работу.

И сразу же перешла на дружеский тон:

— Когда в изоляторе был последний раз?

Сыч сморщил лоб.

— В Ростове стриганул из отделения, а раньше в Новороссийске отдыхал на виноградниках... в колонии...

— Сбежал?

— Режим — амба.

Посмеялись.

Феня торопливо пошла к трапу. Милая Татьяна, как она умеет перевоплощаться в разные роли, не теряя себя!..

3

В просторных колодцах работали бригады бетонщиков. Бадьи спускались и поднимались плавно, беззвучно. В одном из блоков Феня услышала девичьи голоса. Она увидела, как одна из девушек в прозодежде (штаны и рубаха — одно целое) прыгнула на бадью и закружилась вместе с нею, маленькая, беспомощная, по-кошачьи цепкая. Феня узнала в ней Катюшу Бычкову. Из-под красной повязки выбивались белокурые волосы и мелькал задорный носишко.

— Феня, Феничка!.. Скажи там на кране... безбожно они тормозят. Это — безобразие: мы все время были впереди, а теперь отстали.

Феня смотрела на этих девчонок в резиновых сапогах, торопливо танцующих на бетоне, и вспоминала, как они упрямо завоевывали себе место на стройке.

Когда Катюша пришла с своим отрядом на плотину и потребовала, чтобы их поставили на бетон, десятник захохотал (это было при Шагаеве) и хотел отшить их:

— Ну, куда вам, таким тонконогим, — на бетон! Куклята вы смешные! Коротышки! Идите, идите домой. Некогда мне с вами тютюшкаться.

Шагаев, растроганный, не отрывал от них глаз.

— Ну, дай ты им какую-нибудь полегче работу —

ну, там мойку блоков, что ли. Они все равно тебя не оставят в покое.

А Катюша убеждала боевым голоском:

— Хорошо, десятник: ежели ты не можешь дать нам блок, ставь нас на эту самую мойку. И это — работа не хуже других. А с нее мы можем перепрыгнуть и на бетон.

— Вы вот лучше щепки и обрезки приберите на станции. Это поближе к вашему стажу. Согласны?

— А почему не согласны? Конечно, идем. Правда, девчата? Идем? Кажи-ка нам, десятник, картину работ...

Копошились они у блоков и на станции несколько дней — работали упрямо, без жалоб. Десятник следил за ними издали, а потом подошел к ним и, побежденный, усмешливо почесал себе висок.

— Ну, девчата... как бы это сказать... Выполняете вы продуктивно. Идите готовить блок. Куклята вы смешные!.. Только там придется попариться: в сто раз потруднее, чем пол в комнатах банить. Веник, щетка, брамсбойт. Ни соринки, ни волоска. Ответственное дело.

— Да ты нас, десятник, не обхаживай, пожалуйста... — самолюбиво прикрикнула на него Катюша, а другие девчонки поддержали ее. — Ставь на работу, а мы уж докажем по-настоящему...

— Ну, так... как бы это сказать... Идите на остров. Там — опалубки... Обратитесь к Отдушиной.

— Ой, это Феня?.. Тут мы и без тебя, десятник, обойдемся... Ты нас только нервировал попусту... Мы с Феней Отдушиной быстрее споемся...

Мыли они блоки два дня. Бетонщики были нужны до зарезу. Новые силы прибывали единицами, а самомобилизация пока еще шла больше на скальные работы, на бетоне же работали только по вечерам и ночью. Феня колебалась ставить девочек на бетонировку: боялась, что они не справятся с этой тяжелой работой. Тут нужны были сноровка, ловкость, навыки и находчивая расстановка сил. Не шутка — распоряжаться бадьей объемом в полтора кубометра, со сложным запором створчатого дна. Но Катюша решительно потребовала от Фени поставить их на опалубку.

Феня водворила их в блок вместе с бригадой комсомольцев, которые работали на бетоне уже около месяца. Девчат встретили ребята с ужимками, с насмешками, с обидой:

— Да что мы с вами, трясогузками, делать будем? Не то за вами присматривать, не то кладкой бетона заниматься. Туда же, курносые, на бетон!

— Ну, нечего задаваться... — огрызались девчата. — Подумаешь, какие герои!.. Поглядим, кто кого перекроет...

Ребята считали для себя унизительным толкаться с девчатами: они держались особняком, орали на десятника и на Феню:

— Что это, в самом деле!.. Смеетесь вы, что ли? На кой черт стряхнули сюда этих бабят?.. Честное слово, срамно на глаза людям показаться...

В первый день девчата отставали от ребят, никак не могли приспособиться, совсем измотались и мешали парням. Ребята толкали их и страшно таращили глаза. Одна из девочек не выдержала, зарыдала. Катюша подошла к ней и шепнула гневно:

— Ты что же это, Глашка, хочешь опозорить нашу бригаду? Ты понимаешь, что делаешь?

Девочка вздрогнула, быстро вытерла глаза и со смехом бросилась в общую кучу. А ребята уже заметили и кричали злорадно:

— Ого! ага!.. Лужи пустили...

На другой день девчата уже работали крепче.

...Раза два Феня встречала на перемычке Алешку, сынишку Осокина. Он стоял у парапета, смотрел вниз, в блоки или в котлован, и плакал горестно и злобно.

— Ты что это, Алешка? В чем дело? Плачешь-то чего?

Он сбрасывал ее руку и обжигал ненавистью в глазах.

Как-то она встретила его на скалах, около электростанции. В глазах его было такое отчаяние, что Феня остановилась с тревогой. Ей стало до боли жаль этого мальчонку, но еще больше удивилась его упрямству. Она как-то сразу решила пустить Алешку осторожненько в дело: попытка — не пытка.

— Алеша, бери-ка своих ребят и приводи их на плотину. Я встречу тебя. У меня есть работа для вас.

Мальчик ошарашенно посмотрел на нее, встряхнулся, улыбнулся, потушил улыбку, озлился, потом опять улыбнулся и вдруг пустился к поселку вприпрыжку. Потом остановился и крикнул, захлебываясь от радости:

— Я сейчас... Я разом, товарищ Отдушина... Мы сейчас же нагрянем...

...Феня думала: эти ребятишки живут какой-то особой жизнью — жизнью той детской поэзии, которая с годами выливается в талант, в героизм, в подвиги. Из них растут те люди, которые будут творить настоящую жизнь, без угнетения, без ненужных страданий...

4

Работали все ответработники, члены парткома, весь аппарат рабочкома. Вышел, как простой рабочий, сам Балеев, но совсем лишним казался Стрижевский — в чистом воротничке, в галстуке и блестящих ботинках. Над ним добродушно и грубовато трунил Викентий Михайлович:

— Наддайте, наддайте, Евгений Григорьевич. Ваши ботинки и галстук — прозодежда для представительства. Вспомните: если Адам пахал свое поле, а Ева пряла пряжу, где же тогда была техническая интеллигенция?

— В раю первым инженером был господь бог, строитель неба и земли. Это надо помнить.

— Вы острите слишком скучно и многословно. А ну-ка, Генрих Карлович Шлиппе! Засуньте вашу бороду за воротник: она засоряет мне глаза...

Стрижевский конфузливо улыбался: ему было неловко и унизительно чувствовать себя среди рабочих и технического персонала. А Шлиппе и здесь был простодушно-ясный и жизнерадостный.

Балеев со Шлиппе и Стрижевским работали в бригаде Баранникова, Кряжич — в бригаде Шагаева. Здесь же, со стариковской жаждой молодости, упоенно

хлопотал Митрохин и с созерцательным спокойствием трудился Борзяй. Было много дружной и веселой молодежи.

Кряжич приступил к работе, насилуя себя. В этих людях была сила, с которой он не мог бороться, не мог пойти ей наперекор. Впрочем, он уже переступил трудную грань своего прошлого. Шагаев хитренько подмигивал ему, и Кряжич чувствовал, что эта ехидна видит его насквозь и издевается над ним.

— Вы, Николай Николаевич, совсем не горите трудовым энтузиазмом... — ласково хихикал Игнатьич. — А ведь ваша свобода — в ваших руках.

Да, свобода в его руках: он может уйти отсюда во всякое время, но попробуй-ка он это сделать... Его проводят молчаливыми взглядами.

Кряжич ничего не ответил Шагаеву, но в глазах его метнулся злобный огонь.

— Вы теряете достоинство, Николай Николаевич, и становитесь смешным. Вы плохо владеете своей личностью: она не подчиняется вам...

Верно, он страдает не потому, что кто-то украл у него личность, а потому, что эту свою драгоценную личность он сам не умеет утверждать. В сущности он очень слабоволен и безличен — и к этому безличию привык с ранних лет. Он всегда был пленником, потому что некие силы играли на его гордости, а гордости, собственно, не было: была только поза, корпоративная маска.

Он увидел Борзяя и Митрохина, которые вдвоем возились над камнем. В их усилиях было так много страстного желания своротить камень с места, что Кряжич не мог оторвать от них глаз.

Борзяй зовуще улыбнулся ему из-за камня.

— Идите-ка сюда, голубчик Николай Николаевич. Молодежь жадничает — соревнуются друг с другом и с другими бригадами. А уж мы — по-стариковски, без всякого сногсшибательного героизма...

— Да, да, Николай Николаевич, именно, родной... — умиленно заулыбался Митрохин, вытирая лицо обоими рукавами. — Вы здесь хозяин, богатырь. Идите-ка сюда, идите-ка! Помогайте, батенька...

И Кряжич чувствовал, что Борзяй знает его, любовно следит за ним, и скрыться от этого милого человека нельзя — нет средств спрятать от него свои мятежные мысли. Этот тоже ждет от него настоящей гордости и силы.

Он подошел к ним и молча стал переваливать вместе с ними большой обломок скалы.

— Вот, Николай Николаевич... — задыхаясь, говорил Борзяй. — Вот я и Тихон Егорович тоже вкладываем свои силы в ваши египетские сооружения. Приятно. Когда все будет закончено, мы с гордостью полюбуемся вашим созданием и скажем: здесь есть немножко и нас самих — наших сил и воодушевления.

— Превосходно, Петр Иванович... — зарадовался Митрохин. — Именно!.. Такие слова не скажешь без душевного подъема. Чудесные слова!.. Какой вы счастливый человек, Николай Николаевич!..

А Кряжич напрягался изо всех сил и старался облегчить работу старикам. Он орудовал и ломом, и грудью, и всем телом. Помогали и Вихляев и Игнатьич. Камни подгоняли к деррику. Как-то незаметно Кряжич вошел во вкус работы, разгорячился, сердце забилось напористо и упруго, и ему стало физически радостно. Был момент, когда он чувствовал, что работает с удовольствием, что в этот миг он совсем другой, нисколько не похожий на того Кряжича, который брезгливо фыркал час тому назад.

Они соревновались с группой Баранникова, и Кряжичу было смешно и весело смотреть на Стрижевского, похожего на старого щеголеватого барина, который никак не мог привыкнуть к роли каменолома: он был уже обтрепан, истерзан и совсем пал духом. А Балеев был бодр и возбужден.

— Ну, ну, Евгений Григорьевич! Орудуйте поэнергичнее... Полезно, очень полезно растрясти жирок. Имейте в виду: вы здесь — только рабочий. А Баранников — проныра: он учитывает каждое ваше усилие...

Стрижевский молчал, как побитый.

Вихляев, который работал с Кряжичем, даже и сейчас не сбросил своего макинтоша. Он обливался потом и ворочал, как бык. Кряжич первый в перерыве

похлопал его по плечу и попросил покурить: он забыл дома свои папиросы.

— Плохие, Николай Николаевич... «Бокс»...

Вихляев застенчиво сунул ему измятую пачку.

— Ничего, ничего, покурим...

Кряжич сбросил и пиджак и кепку и стал непривычно простым.

— А ведь дело-то идет, кажется, здорово, Вихляев, а?

— А как же, знаете ли... тут важен подъем... порыв, знаете ли...

Кряжич улыбнулся ему и подумал: «Да ведь он — добродушнейший парень...»

Глаза Вихляева посвежели.

— Я вот о чем думаю, Николай Николаевич. Можно было бы использовать деррики... параллельно... Будем подтягивать камни тросами. Деррики не все работают.

— А верно, Вихляев. Великолепная идея.

Балеев кричал им торжествующе:

— Ага! ага!.. Закурочки? Поздравляю! Прокурите свою судьбу...

Кряжич опомнился, бросил папиросу и затоптал ее сапогом. А Вихляев поглядел на окурок с сожалением и отшвырнул его в сторону.

Сначала никто не заметил возни Вихляева у деррика, но когда он вместе с сезонником подтянул канат к камням, а другая группа тоже хлопотала поодаль с таким же тросом, в бригаде Баранникова началась тревога. Первый камень медленно пополз между другими камнями, подпрыгивая по скалистому дну. Неподалеку от него поползла другая черепаха. Митрохин смеялся измученным, но радостным лицом и в восторге тряс дряблой рукой. Молодежь заорала вразброд и победоносно смотрела в сторону балеевцев. Кряжич впервые переживал настоящее веселье. Он сорвал кепку и помахал ею Балееву.

— Викентий Михайлович, вы же безбожно отстали! Стыдитесь! Придется капитулировать. Поле сражения — за нами.

Балеев выпрямился и засунул руки в карманы:

— Я же говорил, черт подери... я же говорил, что Кряжич скрывает свою подлинную суть. Я же утверждал, что он нас подденет и спровоцирует. Так оно и вышло.

Он сам побежал к деррику, подхватил на бегу Баранникова, и они запрыгали по неровностям котлована и наперебой кричали что-то такелажнику.

Шагаев игриво подмигнул Кряжичу, пожал его локоть и с дружеской интимностью сказал:

— Будем жить, Николай Николаевич, без надрыва — просто и искренно.

И Кряжич с удовольствием заметил, что он уже не злится на Шагаева, и Шагаев показался ему веселым и проникновенным человеком.

«Что такое произошло со мной? — удивился он, озираясь. — Я уже как-то иначе воспринимаю и мир и людей. Кажется, я по-настоящему вхожу во вкус даже этой грубой работы...»

И ему казалось, что организм его до сих пор был как будто безнадежно отравлен, а сейчас вот словно влили в его жилы свежую, здоровую кровь, и тело и мозг зажили по-другому — бодро и радостно.

VIII. ОДНАЖДЫ В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС...

1

В летнем театре выступали местные силы: скрипачи, арфистка и пианист Константин. Это мастера высокой марки, музыканты, которые раньше были профессионалами, а теперь — просто служащие управления. Какая судьба занесла их сюда, почему они променяли пюпитры на учрежденческие столы — никто этим не интересовался. Это были обычные люди, скромные, незаметные в массе других служащих: ни одеждой, ни обликом они не отличались от счетоводов, от чертежников, от техников и даже от простых регистраторов. Правда, сослуживцы знали, что они играли

в Ленинграде, в Москве, но не вспоминали об этом. А когда заходили к ним в гости, хозяева изредка угощали их музыкой.

В этом концерте должны были выступать и кружки самодеятельного искусства: большая капелла и оркестр из русских инструментов. В больших афишах, которые окрыляли улицы белыми квадратами, выделялась фамилия — «Пушкин». Некоторые удивленно останавливались, привлеченные этим знакомым с детства именем, и читали: «Мелодический бас, рабочий-арматурщик Пушкин исполнит песни Глинки, Даргомыжского и Мусоргского».

— Эге! арматурщики, брат, не только мастера гнуть железо. Они загибают и мелодическим басом... Вот какие наши орлы!..

— Что ж... приготовим уши... послушаем, как загибает самородный мелодический бас...

Однажды ночью Константин проходил через площадку арматурных работ. Человек двадцать гнули железные полосы и бросали их в кучи. Было очень приятно смотреть на ритмические движения тел, на взлеты причудливо изогнутых стержней, похожих на посохи, на вопросительные знаки, и слушать их певучий звон. И вдруг в душе его загремела чудесная симфония. Она охватила все его существо, даже физически чувствовал он эту внезапную бурю звучаний. Невидимый оркестр заполнял все пространство, и он, Константин, был как будто в центре, а вокруг него пели скрипки, гобои, виолончели, звенели трубы и смеялись флейты. Это была та музыка, о которой мечтал он все эти годы, которую мучительно хотел создать, страстно вырвать из глубины сердца. Потрясенный, он стоял, отдавшись неслыханной мелодии, и ждал новых и неповторимых созвучий. Какой простой и чарующий лейтмотив! Это вагнеровский ураган и напевы Шуберта. Нет, это его, Константина, создание, это его жизнь, его поэма, его вдохновение. Чей это глубокий и чистый бас — разливный, звенящий металлом? Этот голос родился в буре оркестра, покрывая оркестр, и тьма ночи и огни строительства заколыхались и полетели в бесконечность. Пел кто-то из этих рабочих-арматурщиков — так,

подчиняясь ритму работы, отвечая ночным далям и личному настроению. Пел он: «Как во городе-то было во Казани».

«Как! арматурщик, простой рабочий... и Мусоргский?..» Константин бессознательно пошел на этот голос, пораженный его внутренней силой и красотой, и увидел бритого парня, высокого, мускулистого, голого до пояса. Бросалось в глаза его лицо: оно было широкое, угластое, а нос вздернутый, с энергичными ноздрями.

Арматурщик нечаянно взглянул на него, замолк, бросил железную полосу, и она задрожала на стане, как струна. Он вытер руки о фартук и стыдливо улыбнулся.

— Слушайте, дорогой мой... Вы понимаете... У вас же здоровенный голос. Где вы учились петь?

Парень, как виноватый, переступал с ноги на ногу и сбивчиво бормотал, точно оправдываясь:

— Да ведь... так оно... Где же нам учиться?.. Просто по любопытству... для себя... Это я... под граммофон все... В поле уходил... в бане пел... В бане вольготно выходит...

— Ну, ну, говорите, что вы еще поете?

— Да ведь что я могу петь... Так, попугайничаю. Ну вот — Мефистофеля: «На земле весь род людской...» Ну, «Еще одно последнее сказанье...» Вот тоже очень даже славная песня Чайковского — «Соловей»...

И вдруг совсем неожиданно расплылся в улыбке — рот стал огромный, щеки изрезались складками, зубы — широкие, сильные.

— А я вас знаю, Константин Ильич. Слушаю иной раз, как вы дома играете... Здорово это у вас получается! Вот это — наука... А мы что... Баловство одно... только и есть у меня, что фамилия знаменитая, Пушкин.

— Ну, так вот что, товарищ Пушкин. Завтра же вы придете ко мне, и я вас возьму в руки. И не возражайте. Вам нужно не арматуру гнуть, а петь. Чудесный голос! Слышите? Завтра в десять утра — у меня. Не обманете?

— Что ж, можно, Константин Ильич... только я уж очень стеснительный...

— Глупости. Я буду вас ждать. Встречу.

Они пожали друг другу руки и разошлись.

А дома Константин играл нервно, долго, бурно и не замечал, как заходила к нему мать и слушала его с печалью в глазах.

2

Летний театр построен был на площади Спорта, на краю высокого гранитного мыса. Отсюда широкая долина реки дымилась воздушной глубиной. Внизу густо толпились красные, зеленые и серые крыши поселка, вправо пересекала реку залитая огнями плотина.

На площади, недалеко от театра, в пылающей раковине павильонов сверкали медными трубами музыканты. До начала концерта они играли для гуляющей публики попурри и вальсы. А публика густыми толпами рассыпалась по площади — нарядная, праздничная. Больше было молодежи. В ярком свете электричества девушки казались очень красивыми, манящими и веселыми. Смех, воркование, выкрики, дразнящая певучесть женских голосов, вихри разноцветных платьев, шляп, повязок — все это кружилось, рассыпалось, плескалось вокруг театра по широкому размаху площади и опьяняло смутным беспокойством молодости.

Театр вмещал до полутора тысяч человек, а народу на площади было раза в два больше. У кассы стояли крикливые хвосты. Но окошечки были наглухо закрыты: билеты уже не продавались, и аншлаг четко смотрел на людей белым листом. Публика забивала проходы, осаждала администрацию клуба — требовала вынести концерт на открытую сцену, в раковину музыкантов.

В одной комнате сидели несколько человек, среди них — Паша, Васяй и Гудим. Мирон с Игнатьичем играли в шахматы. Паша вглядывалась в Хабло. Он сидел в углу и скучал.

— Над сезонником мы не работали, — говорил Гудим. — Не воспитывали его. Отсюда — разложение и отлив. Понятно?

— Не только от этого, Гудим... — Васяй сразу же приготовился к спору. — Работали мы неважно — слов нет. Плохая система обслуживания и так далее. Но тут — более сложные причины. Возьми, например, наши гигантские стройки... ведь они — всюду... Рабочая сила нужна до зарезу... Ищут, где лучше, где выгоднее... Всеобщее бедствие... летуны во всесоюзном масштабе...

— К сезоннику надо относиться особо, не механически... Это своеобразная сила. Проблема сезонника — одна из коренных проблем.

— А татары, Гудим? Это наиболее сырая сила, а не утекли же...

— По этому самому и не утекли.

— Подожди, подожди, Гудим... А ты помнишь, что сказал Сталин по национальному вопросу на Двенадцатом съезде партии?..

Паша, не слушая их, бросила свои слова в их разговор:

— Женщины показали себя прямо образцово, — главное, домашние хозяйки.

Шагаев ожидал очередного хода Мирона и рассеянно улыбался. Он вприщурку посмотрел на Хабло, точно прицеливался в него.

— Слушайте-ка, Хабло. Дело есть.

Хабло медленно повернул голову, и в его глазах блеснуло беспокойство. Он сторонился Шагаева, и видно было, что опасался его. Впрочем, сторонились Шагаева многие из инженеров, — не терпели его ядовитого языка.

— Ну, какое у Шагаева может быть дело?.. Он же известный бродяга на стройке. У него одно только — сосать свой тощий язык.

— А вы идите-ка сюда. Чего вы боитесь?

— Бояться не в моем характере. Кого способны вы испугать? Разве только лягушек?

Хабло встал и лениво подошел к Шагаеву.

— Ну, что скажете умного?

Мирон холодно оглядел Хабло и стал набивать трубку.

А Шагаев улыбался и колол Хабло остренькими глазками.

— Так вот в чем мое дело, Хабло. Я сказал Ватагину, что вы такой же инженер, как я — факир. Будьте другом, подтвердите, что я прав.

Хабло обнимал спинку стула и прислушивался к двери, не обращая внимания на Шагаева.

— Я подтверждаю, что вы болтун и сплетник.

Игнатий Игнатьевич раздумчиво подпер свою щеку кулачком.

— Напрасно. Хотите, я докажу, что вы самозванец?

Хабло осунулся и окоченел. Он злобно глядел на Шагаева и что-то соображал.

Мирон перехватывал взгляды Паши и думал: «Зачем это у нас произошло? Почему я не устранил тогда этой ошибки?..»

Мучило раскаяние, и было больно за свою необузданность. Злился: в своей личной жизни он запутался еще больше. Феня отброшена, а Ольга смотрит на него из прошлого с упреком в глазах.

Вошел Баранников и подсел к Васяю и Гудиму. Он сразу же заговорил озабоченно, но невнятно, почти шепотом.

— Ну, так как же, Хабло? — Шагаев казался грустным, и ему будто совсем не хотелось говорить. — Где это вы так насобачились играть чужие роли? Говорю это не из зависти, а отмечаю ваши таланты. Вот, кстати, Баранников мне говорил на днях, что вы совсем не знаете, что такое перекрытия...

Хабло встал и сказал развязным тоном:

— Мироша, вношу предложение заткнуть дырку этому идиоту.

Баранников подошел к нему и стал пристально всматриваться в его лицо. Он вдумчиво и враждебно усмехнулся, потом склонился к уху Мирона и прошептал:

— Репей просит вас, Мирон Васильевич, поскорее приехать к нему. Его вчера доставили из больницы.

Но сегодня с ним произошли какие-то странности: чуть было опять не укокошили. Очень он встревожен... Меня потребовал... Лица на нем нет... Везите, говорит, к Ватагину или Ватагина — ко мне... Что-то все толкует насчет Хабло... Просит Емельяна предупредить... Беспокоится, как бы этот Хабло не удрал... Верно, Мирон Васильевич: Игнатьич — прав... Мною точно установлено: не инженер, а самозванец. Я ловил его на каждом шагу. Мое убеждение укрепилось еще больше: Федот, да не тот... Маска.

Мирон молчал и посасывал трубку. Смотрел он мимо всех и был занят своими мыслями. Все почему-то глядели не на самого Хабло, а на его сдвоенную тень на белой стене, между Мироном и Игнатьичем.

Он подошел к двери с независимостью человека, который свободен в своих поступках, презирает людей и не считается с их оценками.

Васяй стоял у порога и закрывал собою выход. Хабло хотел отстранить его рукою, но Васяй оттолкнул его плечом и, ухмыляясь, пропел:

— Не уходи, побудь со мною...

Мирон поднялся со стула и подошел к Хабло.

— Зачванился, герой... Не признаешь старых друзей, не вспоминаешь с ними о прошлых днях... Вот, например, Паша Погадаева... Когда ты был Иннокентием, она тебя очень уважала, верила тебе...

Хабло побледнел и хрипло проговорил:

— Я не понимаю этих шуток. За кого вы меня принимаете?

Паша подошла к Хабло и посмотрела на него в упор.

— Провокатор! Каким ты стойким и самоотверженным революционером прикидывался в нашем подполье!.. Брат Софрон и рабочие, которых ты предал и расстрелял, не казнят тебя по ночам? Как это ты промахнулся со мной? Я тебя искала все годы. Носить партбилет убитого тобой рабочего и не сойти с ума...

Паша отвернулась от него и с ужасом в глазах отошла к Гудиму. А Гудим сидел невозмутимый и как

будто равнодушный к тому, что происходило в комнате. Игнатьич прошел к двери и стал около Васяя.

— Это не только самозванец, но и разбойник, — сказал он, ехидно улыбаясь. — Не только разбойник, но и оборотень.

Мирон курил трубку и не спускал глаз с Хабло.

— Ну-с, что скажешь, Хабло... или кто ты там?..

Хабло, с окоченевшим лицом, нагло усмехался.

— Напрасное волнение, Мироша. Вся эта ваша фантасмагория разлетится, как дым.

Дверь распахнулась, и вошел Емельян с красноармейцами.

IX. БЕСПОКОЙНЫЙ ПАРЕНЬ

1

Мирон, Емельян и Паша пошли вниз по широкой бетонной лестнице, где их ожидал автомобиль. На площади Спорта плотной массой толпился народ, а выше, в огненной раковине, стоял рабочий и пел далеким и разливным басом.

— Пушкин... — кивнул Емельян. — Прямо Шаляпин! Эх, в баню бы сейчас забраться! Попариться бы до высокого градуса.

— У тебя, Емельян, банные настроения приходят всегда не вовремя.

— Без бани, без крепкого пару жить не могу. В пару, под веником, я становлюсь на высоту холодной мысли...

— До бани ли сейчас? Комик ты. В реке бы покупаться — это дело.

Мирон засмеялся.

— Ты юморист, Емеля... Здорово это ты махнул тогда... с Кряжичем-то...

— Что ж тут смешного? — удивился Емельян. — Хотелось узнать поближе человека... познакомиться, нутро пощупать.

На площади взорвалась буря аплодисментов.

— А что же было с Кряжичем-то? — спросила Паша.

...Татьяна привела Кряжича к Мирону в партком и передала ему деньги, которые оставил у Кряжича Бубликов. Кряжич очень волновался, не знал, как держать себя. Мирон осторожно и приветливо ухаживал за ним, усадил его на свое место, послал за нарзаном.

— Тут всё очень просто, Николай Николаевич. Волноваться нечего. Как вы могли поступить?.. именно вы?.. По-моему, или попросили бы Балеева оградить вас от шарлатана, или, в худшем случае, скрыли бы, по слабости характера, или пошли бы к Борзяю.

— А почему вы думаете, что я пошел бы к Борзяю?

— Ну, не ко мне же в первую голову... К кому же, как не к Борзяю? Душевный старик.

Кряжич переглянулся с Татьяной, встретил ее ободряющие глаза.

— Скрыть этой мерзости вы не могли: вы не способны на подлость. Ну, и Татьяна Ивановна под руку попалась... Разве не везет вам, Николай Николаевич? У вас много хороших друзей.

— В данном случае я признателен только Татьяне Ивановне.

Татьяна улыбнулась.

— А как бы вы поступили, если бы на ваших глазах уродовали машины или калечили товарища? Я только бросилась к вам на помощь.

Пришел Емельян и сел в сторонке, как гость. Разговор стал легким, приятельским.

К деньгам и к событию с Бубликовым перешли незаметно, походя, точно этому случаю не придавали никакого значения.

Емельян спрятал деньги и записку Бубликова в портфель, подсел к Кряжичу и неожиданно выпалил:

— Знаете что, товарищ Кряжич? Сейчас у меня баня готова. Поедем попаримся. Честное слово. Баня-то у меня деревенская, на задворках. Вы парились когда-нибудь в деревенской бане?

Кряжич отшатнулся от него.

— Я, извините... в бане не парюсь...

— Вот чудак! Что может быть лучше деревенской бани?.. Ни за что не отстану, пойдемте, и никаких дискуссий. Самое дружелюбное место — это баня.

Кряжич растерянно смотрел и на Татьяну, и на Мирона, и на Емельяна и жалко улыбался. А Татьяна не могла понять смысла этой нелепой сцены и молча хмурила брови. Емельян задушевно уговаривал Кряжича, горячо обхаживал и не замечал ошалелых его глаз. Мирон едва сдерживался, чтобы не расхохотаться.

— Наш Емельян очень любит париться в бане, Николай Николаевич. Это его слабость. Он и меня замучил, будь он неладный. У него баня — это своего рода дружеское угощение. Если бы можно было, он и Татьяну Ивановну подхватил бы... да беда в том, что насчет нее у него руки коротки...

Емельян утащил Кряжича под руку.

Татьяна возмущалась:

— Нельзя же, Мирон Васильевич, так издеваться над человеком. Кряжич потрясен, а этот Емельян — вдруг к нему с баней... Можно ведь убить человека: он черт знает что мог подумать...

И внезапно рассмеялась:

— В первый раз вижу такого чудака.

Емельян потом тянул разочарованно:

— Черт ли... глиста какая-то. Парю его, а он — в обморок. Стащил с полка и едва отлил. Пришлось возиться, мыть его, одевать, обувать... Отвел домой как роженицу... А парень он — ничего себе... если бы не страдал женскими болезнями...

...Когда Мирон рассказывал об этом, Паша толкала рукою Емельяна и хохотала.

— Да ты в уме, Емельян? Тут человек душой разбит, а ты его в баню. Ведь он же думал, что ты его на расстрел тащишь... детина!

— Да ежели бы я его в баню не повел, он не спал бы ночей. Я тогда сразу этот его страх выпарил. Мы теперь — друзья. В бане мы тогда вели откровенный разговор. Я сразу же сообщил ему, что Бубликов уже

арестован ночью, а ему бояться нечего... Я у него раза два чай пил. Жененка у него очень уж декадентская. Мешает ему жить и работать. Но вот ты-то... Ты-то как до сих пор не уловила этого гуся Хабло — понять не могу.

— Эти гуси так меняют свою личину, что годы гуляют неузнанными. По руке только и узнала. Узнала же все-таки.

В бьюике сидели трое красноармейцев, помощников Емельяна. Они вышли из машины и пропустили в кабинку Мирона и Пашу, а сами поместились на передних откидных сиденьях. Емельян уселся рядом с шофером.

Паша чувствовала теплое тело Мирона, и эта мужская теплота так волновала ее, что ей хотелось заплакать. Она вздохнула, нашла его руку и положила себе на колени. И как только встретила его глаза, откинулась в угол сиденья. В его глазах она увидела холодный протест и недоброжелательство.

А Мирон чувствовал, что Паша стала слабее, и эта ее слабость наплывала на него нежеланной тяжестью. Она стала проще, ближе, душевнее — расстояние между ними исчезало, но этого-то он больше всего и боялся.

Они ехали по широкой улице социалистического города, по накатанной гудронной мостовой, вдоль бульваров. Трех- и четырехэтажные белые дома, в балконах, в геометрической строгости прямых линий, стояли поодаль друг от друга, под углом один к другому, нарушая обычный, стандартный порядок фасадов. Весь город был в зелени. И окна всюду расцветали оранжевым, зеленым и красным накалом. В нижних этажах, за сплошным стеклом сияли витрины магазинов — продуктовых, книжных, галантерейных. Кое-где на углах красиво пылали киоски — тоже из сплошного стекла. Пламенные флаги плескались над готовым зданием общественных организаций и над втузом.

— Не нравятся мне эти ящики... — Паша сердито завозилась в углу. — Почему нам навязывают такое жилье — скучное, казарменное, — когда мы хотим красоты и смелых полетов?

— Зато экономно — нет ничего лишнего. Быстро строится. Рабочий и инженер получают удобную, изолированную квартиру.

— Я против грубого практицизма. Это — не наше. А мы ведь призваны создать богатое и могучее искусство.

— Нам, Паша, пока некогда этим заниматься. Мы торопимся поскорее устроить сносную жилищную базу для рабочего.

— Чушь, Мирон. Красота — тоже быт. Мы строим новый город — город социалистический. Бездушия нам не простят новые поколения. Наши дома сделаны бездарно.

— А зелень, а цветники, а сады?

— Да ведь эти коробки только оскорбляют красоту садов. Надо строить так, чтобы одно соответствовало другому.

Мирон промолчал и взглянул на Пашу. Она сидела с закрытыми глазами — откинув голову в угол, только в очках ее скользили огненные точки фонарей и фосфоресцировал туман уличного света.

Красноармеец быстро повернулся к ним.

— Товарищ Погадаева правильно рассуждает: пролетарий должен вложить душу в свои дома.

— А разве мы не вкладываем души в нашу стройку? Ничего не сделаешь: пока приходится пользоваться чужими руками.

— Вот и выходит, — злилась Паша, — что город-то социалистический, а внешних социалистических особенностей нет.

Мирон раздраженно перебил ее:

— Эти внешние особенности придут потом. Сейчас мы строим основы нашего быта: общественные столовые, прачечные, клубы, детские сады, ясли. Форма всегда отстает от содержания.

— Это потому, что форму навязывают сверху. Содержание мы сами создаем, и это принимается как факт, и против этого факта не попрешь. Если бы проекты зданий обсуждались в массах, этого мертвого стандарта не было бы.

— Ты так думаешь? — в голосе Мирона на-

смешка. — В создании формы и стиля мы еще не имеем возможности проводить соревнования. Ни ты, ни я, ни Репей — никто еще не может сказать, во что выльется социалистический образ в фасаде нашего дома.

Они ссорились в первый раз, и ссора эта продолжалась в молчании до остановки машины. Они летели по широкой улице. Тут мостовая зернилась брусчаткой. В садах поодаль друг от друга стояли стандартные белые дома немецкого образца с верандами по бокам. Густые космы винограда кудрявились от крыши до земли. Это тоже был город, но город, похожий на дачное местечко.

Хабло занимал три комнаты. Репей — две. Обе квартиры — со всеми удобствами: просторная кухня, ванная с колонкой и душем.

Мирон с Пашей прошли по аллее на половину Репея, а Емельян с красноармейцами и шофером поднялись на крыльцо квартиры Хабло и постучали в дверь.

2

Агаша так вся и цвела, когда Мирон с Пашей вошли в комнату. Голосок ее звенел по-девичьи. Вся она была какая-то приглаженная, домашняя, теплая, необходимая в доме. Тоненькая, с внимательными глазами, она подставляла стулья Мирону и Паше, прилипала к ним и терлась кошечкой. Подбегала к окну, поправляла скатерть, занавески на окнах, на бегу прихорашивала рыженькие волосы, зажгла все огни — и в прихожей, и в кухне, и в ванной, а в комнате засветила и настольную лампу.

— Ах, как хорошо, товарищи! Вот уж славные вы какие! Я уж и не знаю, как за вами ухаживать...

Из другой комнаты — глухой бранчивый голос Репея:

— Да толкай ты их сюда, Гаша!.. Чего ты там колдуешь с ними?.. курица!..

Агаша спохватилась, заторопилась еще больше и зашептала испуганно:

— Ну, ну, ну, идите к нему... лежит и лается, неладный... Вся голова забинтована... Идите, а я пока чайник поставлю.

— Чаю, это хорошо... Лежишь, Репей?..

Из открытой двери, из сумерек, глухое ворчание:

— Черт ли! доктор говорит: лежи, а мне — противно.

Агаша подхватила под руку Пашу и потащила ее с собой:

— А ты иди-ка, я покажу, какие у нас теперь прелести. Сроду так не жили...

Комната была чистая, светлая, с огромными окнами в занавесях. Над столом оранжевый абажур из универмага, а на этажерке с книжками — настольная лампа с зеленым колпаком. На стенах — портреты Ленина, Горького и Калинина; над комодом — фотографии: группы, виды строительства и совсем неожиданно открытка с декольтированной красавицей.

Мирон прошел в другую комнату, к Репею. Лампочка с розеткой тускло освещала просторную спальню. Стены — голые, у кровати — коврик. У другой стены — детская кроватка клеткой. Репей сидел на краю кровати и обувался. Голова вся забинтована, точно туго надет был на нее тесный шлык. Усишки шевелились сердито.

— Квартира-то у тебя, Репей, ничего себе... жить можно.

— С какой точки рассуждать... Все квалифицированные так расквартированы... Надо же быт-то свой создавать... А в соседстве с этой шкурой жить нет никакого удовольствия... — Он ткнул в стену, сверкнул глазами и стал натягивать ботинок. — Я, Ватагин, утомился — в голову ударило... Угостили, сволочи поганые... показали Москву на карте...

Он свалился на подушку и затих.

— Ну, ты, Репей, лежи. Ежели приказано лежать — не бунтуй.

— Как это так — лежи? На работу надо идти, а я дурака валяю. Не тревожь — сейчас прояснится. Это от больницы — там меня дрессировали насчет неподвижного состояния... Две кости вытащили — не шутка.

Он опять поднялся и сел. Лицо его исказилось страданием. Скрипнули зубы.

— Я, Ватагин, почему тебя просил?.. Во первых строках, для того чтобы подышать дружеским духом... Оторвался... тоска... Спасибо, браток... Мы с тобой цапались... это хорошо... насчет дорогого дела цапались... без этого мы жить не можем... А ведь цапаешься, когда душа болит за успех дела... С этой позиции все кажется, что делаешь не так, как надо... а надо, чтобы во весь прекраснейший размах... Ты меня крыл, и я тебя крыл... Полежал я, подумал, и вот...

Репей взял руку Мирона, пожал ее с чувством и засопел.

— Верно, бунтую, браток... Только бунтую-то подурацки...

Мирон сел около него на кровати.

— Ничего, Репей... валяй дальше в таком же духе... Шайтан ты!.. Все равно ведь тебя не исправишь...

— О чем же речь, Ватагин?.. Я сейчас с открытой душой... хватили по башке, а на сердце — радостно...

За стеной — глухая возня: передвигалась мебель, падали на пол какие-то тяжести и рокотали мужские голоса. Репей прислушался и в тревоге уставился на Мирона.

— Это что там за погром?

— Емельян это... Хабло мы в город отправили. Мы — к тебе, а Емельян там с ребятами орудует.

— Да ну-у?!

Репей вскочил с кровати, но покачнулся и схватился рукою за голову. Мирон поддержал его и опять усадил на место.

— Свяжу, Репей. Лучше не ерепенься...

— Эх, ты... вот это — да!.. А я думал, проворонили... Как же это вы его подсекли? Вот молодцы какие!.. Нужно бы и этих двух... большого и маленького...

Мирон стал стягивать башмак с его ноги.

— Ну, что ты дурака валяешь, Ватагин?.. В гости приехал, а с хозяина обувку дерешь...

— Лежи смирно... Ахну вот еще раз по башке — не будешь трепаться...

Репей присмирел и ласково погладил Мирона.

— Только в такие часы, Ватагин, чувствительно узнаешь, как мы любим друг друга... Эх, раскис я в этой больнице!..

И опять сел на кровати.

— Так вот, Ватагин... Во вторых строках, я должен тебе заметить, что на меня еще нападение было... Прекрасным темным вечером. Неймется мне — вышел в садик прогульнуться. И черт меня толкает все за соседом в щелки подсматривать. Прохаживаюсь я этак инвалидом по аллейке. Тишина, благодать. И боли в башке будто испаряются. А тут Гашатка — в беспокойстве. По пятам да за мной, боится, как бы меня не стукнули. Теребит меня за бока и пищит: «Айда в помещение — баста! Около, говорит, заборов какая-то шатия бродит». И будто сердце у нее чуяло. Прогуливаюсь по аллейкам, и вдруг — раз! — камень около меня брякнулся. Ну, на один вершок только от головы пролетел. Сначала оцепенел, а потом—к забору. Слышу, удирают. Двое. Оружия не было, а то бы я пришил обоих. Тут меня и осенило: охотится за мной какая-то сволочь. И тогда, на пожаре, и сейчас продолжение следует. Кому-то я на дороге стал — убрать меня надо. Тут опять в расколотую мою головешку мысли пошли: и Хабло и эти два тайных незнакомца...

— Бредишь ты, Репей...

— Ничего не бредишь... факт! На пожаре-то я ему и бахни насчет иностранцев-то. Он и ухом не повел, а потом меня трахнули. Вот и теперь... из того же источника... факт! Шкуру с меня сдери, а факт. Видишь, брат, Емельян-то все-таки подсек его. У меня — верный нюх. Пойдем к нему — я ему все расскажу... я покажу ему Москву на карте... Ясно теперь и с поджогом.

— Туда сейчас нельзя.

— Нет, уж очень поглядеть охота. Насчет этой кикиморы предупредить надо: как бы он не упустил ее. Стерва.

В соседней комнате опять затараторила Агаша:

— И не нахвалюсь... Чисто, светло, приятно... И колонка есть у нас чудная. В ванне полощемся... А уж как для ребенка-то хорошо!

Голос Паши внушительный, грубоватый:

— Ты, Агаша, кухонными и младенческими благостями поменьше восторгайся. Надо включаться в общественную работу. Кухня — это между прочим... Ребенка-то надо в детские ясли... Я за тебя с этого дня возьмусь... Ты — не кухарка и не прачка....

— Да ты что это, Паша? Чтобы я своего ребенка в чужие руки отдала... В жизни этого не будет...

— Будет! Как же это — в чужие?.. Ласковые руки уже не чужие... Завтра же пойдем... Я тебе покажу, как наши женщины должны жить.

Завозился ребенок в кроватке, закряхтел, и кроватка заскрипела железными прутьями.

— Уговаривает... — засмеялся Репей. — Я сколько раз ее агитировал... Верит она и мной даже гордится... а вот сама чтобы... никак не вывозит... Ребятенок к месту ее пришивает... Жалко мне чувства ее омрачать...

Мирон подошел к кроватке. Ребенок смотрел на него с любопытством и ликовал в беззубой улыбке. Мирон взял его на руки, но младенец вдруг оглушительно заорал.

Вбежала Агаша со страхом в глазах.

— Дайте, дайте его... Уроните еще. Вы, мужчины, как медведи... Иди ко мне, Никандр!..

Мирон не давал — увертывался от Агаши.

— Ну, отдайте, товарищ Ватагин...

— Нет. Суну его в карман и увезу с собой...

Агаша счастливо хныкала и смеялась.

— Ну, отдайте же... вы его изломаете... Паша! чего он здесь разоряется?.. Иди сюда!..

Паша выхватила ребенка из рук Мирона и стала целовать его.

— С завтрашнего же дня — в ясли его, Репей!..

Мирон весело оскалился и щелкал пальцами перед личиком ребенка.

— Кстати, ты знаешь, какой у нас человеческий приплод, товарищ Репей? Подумать только! Три миллиона таких пузырей в год...

— Вот это — да! Вот это — народ!.. Покажем фашистам, Ватагин...

Агаша выбежала и через минуту крикнула из другой комнаты:

— Чай готов, товарищи. Идите, родненькие... А Репейчику я туда принесу...

— Ничего подобного... Инвалид я, что ли?.. Дай мне туфли... от башмаков в голову ударяет...

Паша возилась с ребенком.

— А Емельян шурует... — Репей подмигнул Мирону и опять прислушался к возне за стеною. — Разве позвать его почайпить?

— Нет, он долго будет возиться... а после этого в баню поедет.

— Нет-с, шалости, товарищи... Пойду обязательно, а то всю ночь не усну...

Они вышли из спальни и направились к выходу.

— Это еще куда? — ужаснулась Агаша.

— Держи мимо, Гашок! — Репей отмахнулся от жены. — Мы к Емельяну. Слышишь, какая там работа?

Они вышли из квартиры, а Агаша побежала к Паше и увидела ее совсем иной, чем несколько минут назад, — нежной матерью, ласковой нянькой, мягкой и милой сестрой. Агаша прислонилась к ней и была счастлива оттого, что ее ребенок чувствовал себя в руках этой очкастой женщины так же хорошо, как у нее, Агаши. Что-то вроде ревности кольнуло ее в сердце.

— Тебе, Паша, тоже родить надо... Теперь девке родить легко... не зазорно.

— А что же... может быть, и рожу...

Агаша жадно заглянула ей в лицо.

— От него, да?.. Я никому не скажу...

— А зачем тебе это знать?

Агаша со страстной убежденностью решила:

— От него хороший будет дитенок...

Она протянула руки, но Паша отвернулась от нее. Агаша покорно заулыбалась.

...Мирон под руку с Репеем прошли по аллее из молодых лип на веранду половины Хабло. Красноармеец, который сидел вместе с Мироном в бьюике, дружелюбно улыбнулся и отворил дверь.

Квартира заливалась ярким светом, все двери были открыты, и в глубине кабинета за письменным столом сидел Емельян, а рядом с ним — сухая женщина, очень бледная, длиннолицая и длинноносая, совсем не похожая на прислугу. Она взглянула на Мирона и Репея, дрогнула и окаменела. Красноармейцы и шофер производили обыск. Вытащены были все ящики стола, и бумаги тщательно перебирались и складывались ворохом перед Емельяном. Двое перелистывали и осматривали книги. Двое рылись в чемоданах, в шкафах, в вещах.

Емельян сидел безучастно, курил и щурился.

— Так вы, значит, гражданка, утверждаете, что служили у Хабло в качестве домашней работницы?

— Я, товарищ, знать ничего не знаю... Мое дело — хозяйство и кухня. Вы меня не спрашивайте.

— Почему вы сюда приехали вместе с Хабло?

— Я и раньше служила у него — привыкла. Он — как родной мне.

Репей сел и злорадно зашевелил усишками.

— Позволь мне, Емельян, задать ей вопрос.

— Давай.

— Будьте любезны, гражданка, вы — русская?

— Нет, не русская. Полька. Вы, товарищ Репей, меня знаете.

— Как не знать, гражданка! очень хорошо знаю. А вот вы с теми двумя беляками по-каковски изъяснялись?

— Мне даже обидно, товарищ Репей... какие же это беляки? Как это краснофлотские командиры беляками могут быть?

— Ах, вот как? А почему они стали через день англичанами?

— Я не знаю. У вас, товарищ Репей, должно быть, в глазах двоится. Я никаких англичан не знаю.

— Я тебе, стерва, не товарищ... — У Репея надулись жилы на лбу. — Ишь разыгрывает, сволочь... пролетарку изображает... Ты, гляди, Емельян, как бы эта мокрица в щель не юркнула. Видишь, как меня угостили? Тут, брат, есть и моя капля крови.

Емельян молча кивнул ему головой и поманил пальцем Мирона.

— Пошли сюда Погадаеву. Надо ей кое-что показать. И стаканчик бы чайку. Организуешь? И этого парня отсюда утащи — беспокоен. Можешь уезжать. Я здесь до утра.

Мирон подмигнул Репею и взял его под руку.

X. СМЕРТЬ ДОМОВОГО

1

Этой ночью Домаша прибежала в женское общежитие растрепанная, бледная и бросилась на кровать.

В огромном бараке, чисто выбеленном, залитом колючим светом лампочек, рядами стояли железные койки и топчаны, чистоплотно, с женской заботой украшенные белыми подушками, розовыми и синими покрывалами. Работницы уже по-ночному были откровенно раздеты: кто — в нижних рубашках, кто — еще в юбках, но без кофт, в лифчиках, иные лежали в постели полуголые, иные плескались у умывальника. Здесь жили женщины разных возрастов — и девушки и пожилые. Все они работали на разных участках строительства: арматурщицы, деревообделочницы, бетонщицы, уборщицы, чернорабочие, нарпитовки, стрелочницы...

Ложились они в разное время: одни уже спали — рано вставать на смену, другие сидели на своих койках и шили, третьи готовили уроки.

Домаша еще не успела привыкнуть к общежитию. Сначала она наслаждалась свободой — чувствовала себя так, будто опять стала девахой, которая может гулять по вечерам, плясать в хороводе под гармошку, петь песни и распоряжаться собою, как душа велит. Нет над нею мрачной руки свекра: она — не батрачка, она уже не замирает от одного взгляда старика-домового. С утра уходила в бараки сезонников и возилась там до обеда. Потом шла в столовую, а к вечеру опять

в бараки — встречать рабочих. Потом загрустила: каждый день вспоминала о брошенном хозяйстве — о корове, о курах и гусях, о своей печке, около которой она каждый день хлопотала. По ночам, во сне, слышала жалобное мычанье Чернавки, видела ее слезные глаза, и у ней сжималось сердце от боли. Кто-то теперь за Чернавкой ухаживает? Старик остался один, непреклонный и грозный.

Прокоп приходил к ней каждый вечер и по-прежнему был бодр, словоохотлив, полон всяких надежд и мечтаний. Она ждала его в сумерки у дверей общежития, как невеста, и когда он появлялся на дворе с задранной кепкой и с улыбкой смотрел на нее издали, у нее сладостно билось сердце. Она бросалась к нему навстречу, как в первые, ушедшие в прошлое дни их молодой любви. И в каждое свиданье они говорили об одном и том же — о покинутом доме, о старике и о близкой своей жизни в колхозе, на выселках.

— Старик не выдержит: он, Домашок, пойдет на капитуляцию. Такая жизнь ему не по силам. К тому же его выселят. Дни его жизни на счету...

— А я, Прокоп, о Чернавке тужу... снится она мне... так и мычит, так и стонет...

— Что же это, Домашок! — смеялся Прокоп и играл ее руками. — Опять к отцу в лапы потянуло?.. Эх ты, баба, баба!..

— Ой, нет!.. чтобы — опять к старику?.. Лучше сдохну, руки на себя наложу, чем у старика жить. Не привыкла я здесь: чужое все, не деревенское... Вот бы, Прокоша, опять зажить у себя... Торопись ты, неладный, со своим колхозом-то...

Он красноречиво развивал ей планы на ближайшее время: Что ж, всякое новое дело образуется в трудностях и опасностях. Собственность — всегда неподвижна и воспитывает боязнь в человеке. Народу пока немного: из сорока дворов — двадцать шесть организованы в коллективную работу. Идет уборка хлеба. Отец — один, но по старинке устраивает «помочь». Колхозников к себе близко не подпускает. Мужики судачат, что старик грозит пропороть Прокопа вилами, а то и косой башку отсечь. Ежели, мол, встре-

тится на дороге сноха, удушит ее или утопит в реке. Но это ж — не суть важное: один в поле — не воин.

— Потерпи маленько, Домашок... Несомненно, мы будем на высоте положения... Осенью развернем строительство колхоза на полный марш...

И Домаша слушала его слова — не деревенские, непонятные и большие — как чудесную песню. Эти свидания окрыляли ее, делали сильной и гордой: с ним, с Прокопом, они завоюют жизнь и сделают ее прекрасной и завидной для всех.

По утрам она уходила в барак сезонников. Народ это был деревенский, и ей, привыкшей к опрятности и уюту в своей избе и к чистоте женского общежития, было противно в душной казарме мужиков. Она прибирала постели, протирала столики у топчанов и стол посреди барака, обильно лила из ведра воду на пол, сметала кисельную грязь метлой, потом опять обливала водой и сгоняла ее шваброй, а в третий раз уже протирала тряпками. Она открывала все окна и двери и долго проветривала сарайную комнату, сырую от мойки.

Однажды, утомленная работой, она остановилась посредине барака с мокрым мешком в руке и задумалась: ей казалось, что нет чего-то важного в этом огромном помещении, заставленном рядами топчанов. Если это «что-то» (вот голова пустая — не вспомнишь!) не будет здесь — ей не справиться с делом. Хорошо бы на столы поставить цветочки — ромашки, васильки и кашку, а для запаху разбросать по углам мяты и богородицыной травки. И тут же вспомнила: нет портретов вождей и красных плакатов, как в клубе.

В это утро она пошла в профком к Бычкову и, не стесняясь, что там было заседание, прямо врезалась в речь какого-то рабочего:

— Товарищ Бычков, милый, дай ты мне картинок для барака. Ведь срамота одна — все стены в грязище.

Рабочие смеялись, а какой-то сердитый паренек прикрикнул на нее:

— Ишь культурница какая!.. Не знают без тебя, что ли? Обратись в культкомиссию...

Бычков вынул трубочку и усмехнулся:

— Это не дело, товарищи. Баба хорошая, ценная. Как тебя зовут-то? Она лучше понимает дело, чем наши работнички. Сережа, иди-ка сдери со стены все портреты и плакаты и отдай. Сейчас же, сейчас же мобилизуйся и поди-ка с ней, с Домашей, в барак. Сделай, как она велит.

Парень переглянулся с рабочими, которые неодобрительно посматривали на нее и на Бычкова, и почему-то засучил рукава.

Она долго любовалась ожившими стенами казарм и даже песню запела. Потом побежала в школу, где щебетали голоса ребятишек, и крикнула им, как бывало, кричала на детвору в деревне:

— Ребятишки! Бегите, милята, в лесок... во-он в тот, что в лощинке... нарвите цветочков... Бараки надо изукрасить...

Ее сдавила толпа мальчишек и девчонок в красных галстуках. Подошла вожатая, стриженая девчуха.

— Ты чего тут, товарищ? Адресуйся ко мне...

— А я не к тебе, а к ребяткам. Чего им сделается? Чем баловаться — по́мочь устроят... Чай, и в казарме люди жить хотят по-человечьи...

Вожатая надула губы.

— Так бы и сказала...

— Я и сказала... Чего ты разоряешься?..

И повернулась к выходу.

Вожатая крикнула:

— Ну, марш, ребята, в лес!

Через полчаса они примчались в барак, навалили целые вороха зелени и вместе с Домашей стали украшать стены.

2

Рабочие вернулись с работ и не узнали барака. Домаша смотрела на людей — на эту деревенскую команду, которая здесь уже не была похожа на мужиков, знакомых ей с детства; но это были и не рабочие, сосредоточенно идущие из цехов, суровые, с заводским своим обликом. Они были ни то, ни другое. В них иногда вселялся какой-то бес развязного удальства,

озорничества, вольности, и Домаше было боязно находиться вместе с ними. Она ждала каждую минуту грубой обиды и нахального слова. Сезонники не приняли ее забот — к картинкам отнеслись равнодушно, и это обидело ее. Несколько дней она была печальная. Как обычно, каждый вечер приходил Прокоп, говорил о своей работе на плотине и хвалился, что товарищ Шепель перевел его с бетонной работы на паровозный кран.

— Ну, а как твои успехи, Домашок? В обиду не вдавайся. Рабочий человек наломает себе кости за смену, так ему часто не до красоты.

В свободное от работы время Домаша шла к Стеше, к вожатой, в школьное здание, или на площадку для игр. Девчонка казалась грубой и сердитой, но такой уж у нее был характер. Домаша рассказала ей о своей работе, о том, как сезонники равнодушны к ее стараниям: для них все равно, что сарай, что дворец — одинаково свалка. Стеша смеялась и сверкала зубами.

— Вот это и есть, что называется переплавка, Домаша. Веди линию твердо. Мы возьмем тебя под защиту.

И действительно, она явилась с ребятами однажды вечером.

Детишки держались в строгом порядке и под барабан дружно шагали по казарме. Стеша отошла в сторону.

— Товарищи, наши пионеры пожелали прийти к вам в гости — узнать, как вы живете, и помочь вам наладить порядок.

Вышел шустроглазый мальчишка и оглядел помещение.

— Мы пришли к вам, товарищи сезонники, чтобы изучить ваш пример и рассказать в других бараках. Но примера — никакого. Грязища, нечисть. Уборщица вам красоту наводит, а вы сейчас же гадите. Дело это, да?

Сезонники, усмехаясь, переглядывались. Многие встали с топчанов и подошли к ребятам. С любопытством оглядывали их — любовались. Некоторые равнодушно возились с своими вещишками.

Потом смело выступила девочка.

— Товарищи, мы не можем допустить, чтобы вы плохо жили. Раз, товарищи, порядок — так порядок. Домаша каждый день для вас спину гнет... чтобы вы отдыхали и радовались... а вы опять собачите... Мы, товарищи, решили взять над вами шефство...

Сезонники подкашливали и окружали ребят.

— Да мы... разве назло... Казарма ведь... всякий народ...

Молодежь заигрывала с ребятами, а бородатые улыбались и гладили их по головкам. В бараке стало как-то светлее и радостнее.

— Вы, ребятки, это здорово... Угощать нечем, а в гости заходите... Эть, какие веселые!..

— Живем мы хмуро... это верно... Вы бы к нам с гармошкой когда пришли, поплясали бы...

— Под барабан тоже хорошо...

Ребятишки потолкались с сезонниками, поболтали и ушли опять под барабан. Сезонники проводили их до дверей.

В последние ночи приходили из соседних бараков и откуда-то со стороны люди приносили литровки, и рабочие пьянствовали до полуночной сирены. А на этот раз пьянство началось сейчас же, как только все ввалились в казарму. Домаша заметила, что озорники нарочно выживали ее из барака. Они начали толкать ее и бросать в нее портянками.

Она осмотрела горячий куб, завинтила дверку у печки, чтобы не выпали головешки, и пошла между койками к выходу.

Чьи-то шершавые лапы схватили ее в охапку и бросили куда-то во тьму. Помнила, что рвалась из рук, помнила, что вскочила и побежала в сутолоку и хохот. Опять упала.

Когда опамятовалась, увидела рядом старика с доброй бородой. С другой стороны поддерживал ее молодой парень, бледный и испуганный.

Впереди, в пустоте, стоял высокий человек в прозодежде, с палкой на плече и орал:

— Тут на татар надо, а вы с бабой... Шагай, Москва, на Казань!.. Мы этих ударников тоже разнесем по-ударному...

Вокруг сезонника с палкой толкалась кучка пьяных:

— Даешь!.. Айда, Расея!.. Охомутать через эту татарву хотят...

— Дык я же давно, гражданы... Давно же вам языком колотил...

Из этой толчеи и гама Домаша вышла на улицу.

...Высокое звездное небо, огни электричества на столбах. Какой вольготный простор! Домаше стало легко. Легко, одиноко и скорбно. Она плакала навзрыд и склонялась головой на плечо к старику.

— Дедушка!.. Родненький дедушка! Это зачем же?.. За что же?.. Что я им сделала, дедушка?.. Душу свою... сил не жалела...

А старик бодро утешал ее:

— Эка беда!.. Ничего-о!.. Плюнь на дураков окаянных... То ли, девка, бывает... Ничего-о, обвыкай... Слеза дорого стоит, а счастья на нее не купишь. Татар-то бы надо упредить... Беги-ка, Васятка!.. Кабы душегубства не вышло... Больно люд хороший, татары-то...

Парень подумал, отстал и скрылся во тьме.

— Всякий сукин сын любит кровь не овечью, а человечью. И моей крови жаждали, и я жаждал. Ну, иди, иди, милка... Не падай духом...

...Лежала она долго, не слышала шума и голосов женщин в казарме, не слышала собственного дыхания, только одно ощущала до невыносимой боли — свое сердце. Подходили к ней женщины, спрашивали ее о чем-то, трясли за плечо, садились к ней на кровать, но она не чувствовала этого.

3

Разрушались дома той улочки, на которой жили Феня с Татьяной. Все население — рабочие и инженерно-технические служащие — было переведено на верхние поселки и в соцгород левого берега.

Целые дни с раннего утра улица дымилась взрывами пыли. Дома были сложены из гранитных обломков в стародавние времена, а дворы обнесены толстыми низкими стенками из камней, наваленных друг на друга без глины. Избы стояли прочно и уютно уже целое столетие и дышали кряжистой живучестью. При каждом домике был фруктовый сад на задней усадьбе и кудрявый палисадник перед окнами. Крестьяне давно уже были выселены из своих насиженных гнезд и жили километров за пять от стройки, на равнине, где сейчас желтели жнивьем их поля и зеленели полосы овсов.

Оставался в своей хате только старик Микешин. Несколько раз за эти годы его пытались выселять, но он упорно и угрюмо сидел на месте и отказывался оставить свое дедовское гнездо. Раза три его вызывали в управление строительства — убеждали оставить свой двор, предлагали выстроить ему избу в хуторе выселенцев или выдать наличными полную сумму по оценке. Но он непреклонно качал седой головой и снисходительно строго внушал:

— Как я жил, так и буду жить в своем родительском доме.

— Нельзя же, дед... Понимаешь, нельзя... Это — полоса отчуждения.

— Сказал — не пойду, ну и не пойду. Здесь я родился, здесь и умру, сказать те...

Он понуро шел к начстрою, долго и упорно добивался свидания с ним. Викентий Михайлович выслушал секретаря Самородова, конопатого, лощеного человека, и стукнул карандашом по столу:

— Пусть зайдет.

Микешин вошел в кабинет Балеева и в величавой старческой покорности остановился у двери.

— К вашей милости, сказать те...

— Пройди сюда, старче, садись.

— Постоим, ваша милость... Не впервой...

— Что скажешь, старче?

— Не к летам мне переселяться, ваша милость. Умереть хочу в родительском доме.

— Но ведь другие же переселились?

— Другие мне не указ, сказать те. — И старик смотрел на Балеева небоязливыми, полынными глазами.

Балеев с любопытством изучал старика, и ему было занятно видеть этот тупой, норовистый характер. Это был корявый дуб, который нельзя пересадить на другую почву — его можно было только срубить и с большим трудом выкорчевать корни. Балеев уважал таких людей: он видел перед собой человека, который будет противостоять ему до конца.

— Какая же тебе польза от этого, старче? Ну, проживешь еще с месяц, а потом все равно придется уйти из своей хаты.

— Да ведь... как обойдется... Как время покажет... под богом живем...

— Не хитри, не хитри, старик... Не притворяйся... Живи пока, а там на себя пеняй: выселяться придется. Двор твой разрушим, а потом затопим.

Микешин опять низко поклонился и дотронулся рукою до пола.

— Премного вами благодарны, ваша милость...

— Предупреждаю, дед, что в случае надобности ты будешь выселен беспрекословно. Очень возможно, что это может случиться скоро. Твоя улица — под боем...

Викентий Михайлович на мгновение увидел в его чутких бровях насмешку врага, который привык надежно держать свои мысли и цели. И он с удовольствием посмотрел на спину старика и совсем не старческие плечи.

И вот старику объявили, чтобы он выбирался из избы, так как ее будут разрушать, но он встретил это предупреждение с мрачным равнодушием.

На другой день рабочие стали ломать крышу. Гнилой тес, покрытый зеленой плесенью, с треском и визгом отдирался от стропил и шлепался на землю перед окнами. Тяпали топоры наверху, бревна стропил с грохотом падали на потолок и потрясали избу до земли. С потолка дождем летели пыль и сор. По стенам расползались тараканы.

Старик, как полоумный, бесцельно бродил по избе и ни разу не вышел во двор. По окнам ползали мухи,

летали по комнате и бились башками о стекла. Он смотрел на них и сумрачно думал: «Дуры!.. бьются, как слепые, не знают, что к чему...»

Мохнатый шмель струнно выл на стеклах, и этот вой гудел во всем теле Микешина предчувствием неустранимой беды. Он бессознательно подошел к окну, защемил шмеля пальцами и бросил его на пол. Дряхло прошел к деревянной кровати и лег. Чудилось, что шмель еще живой и по-прежнему гудит низкой замирающей струной.

Глухо топотали шаги по потолку, бухали потрясающие удары падающих бревен, и невнятно перекликались голоса. Хата вздрагивала стенами и будто вся оседала в землю. Шмель уже не воет в тоске, он остался в сердце, а вот стены дрожат и стонут в последних судорогах прожитой жизни. Один остался от прошлой и очень далекой были... Сын ушел в другой мир и проклят...

В этих стенах он родился, бегал голенастым парнишкой...

Как давно это было! Будто не было детства, а только приснился какой-то детский сон... Солнце, зеленый лужок... галки на прибрежном песке... бархатный жеребенок бегает в поле около кобылы, которая щиплет траву. Струятся зноем скалы на том берегу, и река разливно сверкает на солнце... Был он когда-то хороший пловец — реку переплывал без отдыха. Девки хороводились на золотом песке и смотрели на его единоборство с бурным течением. Палаха пришла в его дом и стала покорной хозяйкой. Крепкий костью отец с длинной бородой. Зимою он прятал ее за воротник шубы. Никогда отец не ласкал его, не сажал на колени и никогда не смотрел на людей. Несколько раз он порол его ременным кнутом. Однажды исполосовал его до крови за озорство: вместе с другими парнями он вымазал дегтем ворота у старухи — девки-бобылки. С отцом не делился — и помышлять об этом не мог: рушить хозяйство отец не позволил бы.

А вот сейчас перевернулась жизнь — безвластное время, и дети поднялись на отцов. И только он — мало

уж таких стариков — несет в себе всю крепость и силу, переданную ему по наследству от отца.

Новое время, новые люди, которые вышли из бунтов и кромешных войн... Он уже не может наложить руку даже на сына: чужой он и непримиримый, со своими мыслями, со своевольными привычками... Загремели железные чудовища и одним махом вымели из вековых гнезд сельский мир. Одни ушли куда-то в безвестные края, других выгнали в неприютную степь, третьи смешались на стройке с пришлыми людьми, как Прокошка с Домахой, а он вот сидит здесь один, как обломок былого, — один во всем свете... Жизнь прошла, и слава богу... дошла до своего конца, а теперь умирать надо: идти уж больше некуда — все дороги заказаны... Только осталась одна дорога — могила. Он уйдет к богу и к родителям таким, каким прошел всю свою деревенскую жизнь. Пускай живут, как хотят. Новым бытьем он уже не может дышать: противно душе...

...Бухали удары на потолке, и дрожали стены. Изба уходила в землю. Почему так темно стало в глазах?

Стук в дверь, стук в окно. Удары замолкли наверху.

— Эй ты, коряга!.. Вылазь из своего логова... Стены будем ломать... Слышишь ты, что ли?.. Эй!.. Вот потешный старичишка.

Он не откликнулся и лежал на кровати, безгласный и глухой.

Потом сел, опираясь руками на кровать, и долго смотрел застывшими глазами тоскующего животного в избяное безмолвие. Он был похож на больного. Бессознательно встал с кровати и почуял: ноги дрожали, подступило удушье, искры вихрями носились по комнате. Он прошелся из конца в конец избы, остановился и долго думал о чем-то. Хотелось вспомнить что-то очень важное, но мысли кружились, путались, обрывались, таяли и исчезали бесследно. Ничего не вспоминалось, и это мучило его, как лихота.

Вот только и осталось в его жизни — старая изба. Завтра и избы не будет — не будет своего места, к ко-

торому он прикреплен с самого рождения. Около этой печи когда-то хлопотала старуха, а потом лежала под этим окном в переднем углу... Куда деться? Свивать себе новое гнездо или странничать? Он знает только свою нору и свое поле, а горизонты — пустынны и бесприютны. Он всегда боялся больших расстояний. Идти в выселки? Там новые избы, чужие и незнакомые.

Вспомнил: не поил сегодня скотину. Это — корова тоскует в хлеву. Тоскует, как и он. Напоить бы. И сам мучительно горел от жажды. Где-то здесь, в чулане, ведро с водой. Воды не нашел. Чувствовал теплые стены.

Он вышел в сени — под полом пискнули мыши. Непроглядная тьма охватила его и смяла ужасом. Он вошел в избу и плотно захлопнул дверь. За окном смеялся Прокоп... Прокоп уже проклят. Кажется, ржет кобыленка, зовет... Вышел опять в сени и увидел свою Пелагею, старуху. Она смотрела на него и манила за собою пальцем.

— Будет тебе тревожить свои кости, Пелагея... Лежишь и лежи, сказать те...

Но неудержимо шел за нею.

— Ну, куда? Куда ты?..

Опамятовался во дворе. Рабочих не было — должно быть, ушли обедать. Крыши не было, около стен навалены бревна. Жутко торчала труба наверху. Его выживали из норы, как зверя.

С реки наплывал шум половодья, и плеск волн лизал берег где-то очень недалеко. Высокая вода приходила на двор только два раза в его жизни: в тот год, когда он женился, и когда умерла старуха. Она умерла по весне, и гроб ее везли на телеге по воде — вода пенилась выше ступиц. Соседи провожали покойницу на лодках и верхами на лошадях. Уж очень как-то чудно: в августе никогда не бывает наводнения — откуда же эта вода? Он вышел за калитку и отступил опять во двор в изумлении и испуге. Вода хлынула через калитку и подворотню и побежала рекою во двор. Избы внизу уже по крышу погрузились в водовороты. Не река, а неоглядное озеро.

«Надо скотину выпустить, утонет еще...»

Вода уже доходила до колен, теплая, неощутимая. Она курлыкала и хлюпала по двору, в ногах, и мешала идти. Почему она густая и черная, как деготь? Он с трудом передвигал ноги, стараясь побороть водовороты, но никак не мог двинуться с места.

«Хоть бы дойти до крыльца-то...»

И как только подумал об этом — все пропало: двор был по-прежнему сух, и по земле кружились вихри сора и соломы. Он прошел в хлев, чтобы посмотреть на скотину.

Потом бессильно опустился у стены хлева на валун и равнодушно махнул рукой: не было силы гневаться и не было жалости к себе и к хозяйству.

«Вот и один... и ничего нет... как перст... Значит, так богу угодно...»

И впервые заплакал молчаливыми слезами. Плакал долго, и все ему казалось не настоящим и жутким, как сон. Не помнил, как встал и вышел со двора. Опамятовался уже далеко на улице.

...В тот же день его нашли мертвым на кладбище, в лесочке.

XI. СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ...

1

Утро было солнечное, горячее. Небо — синее, глубокое, безоблачное. Но на улице клубилась пыль от грузовиков и телег. Почему-то много толпилось людей у рабочкома. Очень высоко над горой парили два коршуна, делая широкие круги. Потрясали воздух далекие взрывы. Звенели стекла в окнах.

Мирон, с портфелем в руках, хотел уже выйти из комнаты, но в эту минуту быстро вошла с чемоданом Ольга, за нею сверкнула очками Паша.

— С рук на руки передаю тебе жену, Ватагин, — крикнула Паша. — Мы уже успели с ней наговориться.

— Ну, здравствуй, муж мой далекий, Мирон Васильевич. Не ждал? Как снег на голову?

Мирон в первое мгновение опешил — потом бросился к Ольге. На мгновение он увидел Пашу: она стояла в дверях и смотрела на них строго и пристально.

— Что ж ты меня не предупредила, Оля?

Ольга глядела на него с улыбкой радости.

— Решила так... накрыть тебя... Все равно ведь письма мои не читаешь... От тебя получаю весточку в полгода раз...

Она стояла перед ним, молодая, крепкая, оживленная. Лицо — свежее, без морщинок, со вздернутым носом.

— Ты ни разу не пригласил меня к себе. Значит, не хотел. А я вот сама нагрянула. Не беспокойся: уеду завтра же утром...

— Ну, вот!.. так я тебя и отпустил...

— Сюда я мимоездом. В санаторий еду. Ты не воображай, Мирон, что я к тебе именно. Завернула сюда поглядеть на ваши чудеса... Паша, ты чего же это там косяки-то распираешь? Иди-ка сюда.

Она подхватила Пашу под руку.

— Ты, Пашенька, с ним не стесняйся.

Руки ее были маленькие, ловкие, с нерабочими пальцами. Паша улыбалась, но пытливо наблюдала за нею. И Мирон отметил в ее глазах, что Ольга и нравится ей и отталкивает ее.

«Две жены... и обе разные... Две жены... почему такая нелепость? Почему Ольга более чужая, чем Паша?»

Ольга живет в нем воспоминанием молодости, а Паша только обожгла его, и ее ожоги — мучительны и желанны. Он взглянул на ту и на другую и почувствовал вину и перед Ольгой и перед Пашей.

— Ну, ты меня, Оля, прямо оглушила. Я даже не знаю, что делать с собой. Как ты хорошо сделала, что нагрянула!

— Ну? Вот уж не ожидала...

И она радостно засмеялась.

— Ты его знаешь, Паша? Он не врет. Но писем

мне от сердца не пишет. В Москву давно не приезжал. Тебя, Мирон, за это там здорово костят. Мы, Паша, позавтракаем здесь. Разрешается?

— Завтракать у меня нечем. Это — в столовой. А чай — можно.

— Нет, столовая — потом: обедать пойдем. Я, конечно, о чае. Закусить у меня есть кое-что. Ты куда-то спешишь? Не стесняйся, иди, иди. Мы здесь уж сами сообразим.

— Вот досада! — пожалел Мирон. — Как раз сейчас совещание у начстроя.

— Ну, иди! Чего ты оправдываешься?

И Ольга рассмеялась.

До самого управления он шел, немножко взволнованный. В ней видел он прежнюю Олю, какой он оставил ее три года назад, какой видел ее в каждый свой приезд — меньше жену, чем товарища.

Почему она торопилась предупредить его, что заехала к нему только на сутки? Он знал, что если бы он стал убеждать ее остаться у него, ей было бы приятно, но именно поэтому она упрямо заторопилась бы уехать раньше времени. Она — та же, но что-то в ней было новое, а что — трудно определить. Одно было несомненно: устала женщина, несла она в себе какую-то тяжесть, а в глазах — затаенная печаль.

2

Байкалов несколько раз пытался принять участие в работе по уборке камней. Он бросался в артель, но Мирон выводил его под руку и кричал грубо и оскорбительно:

— Если ты еще раз подойдешь к ним, я прикажу увезти тебя на берег и отправить в город. Довольно шуток!

Байкалов смущенно смеялся.

— Какой ты чудак, Ватагин! Для меня — большое счастье повозиться вместе с ребятами. Это же глупо сидеть болваном на камнях. Как ты этого не понимаешь?

— Я очень хорошо понимаю. Другого Байкалова нет. Ты еще нужен для партии и для страны.

Он усаживал Байкалова на скале и с притворной злобой грозил ему кулаком:

— Сойди только с места — схвачу за ноги и выброшу наверх.

Байкалов улыбался и покорно облокачивался на костлявые колени.

— Ну, иди, иди... Ладно уж...

В работе Мирон забывал о Байкалове. Нужно было за смену очистить от камней свой участок, а камней нарвали целые горы. Взрывы были на большую глубину, скважины долбились сандерсонами, и в них закладывались огромные массы жидкого кислорода. Последние геологические исследования дали неожиданные показатели: на той глубине, где должны были лежать монолитные породы, оказались прослойки рухляка, трещины и разрушения. Сроки были ничтожны, людские силы на счету, новые рабочие приливали слабо. В котлован мобилизовали женщин, стянули из ближайших деревень крестьян, прибыли из города толпы заводских рабочих, служащих и комсомольской молодежи. В тот день, когда Байкалов привел триста человек ударников и красноармейцев, из области прибыли первые партии навербованных колхозников.

Феня совсем замучилась: она не спала ночь и вместе с Татьяной и Вихляевым билась над распределением сил и механизмов. Десятники путали разнарядку, приходилось вмешиваться, проверять, исправлять, терпеливо втолковывать самые простые вещи. Она осунулась, постарела, глаза заскорбели. Татьяна упрекала ее:

— Голубка, ты не умеешь владеть своими силами. Берегись, родная, — сгоришь.

— Ах, Татьяна! У тебя холодная кровь.

Жили они уже несколько дней раздельно — на верхнем поселке, и комнаты их находились на разных крыльях дома. Феня в первый же день переживала тоску одиночества и прибегала к Татьяне несколько раз.

Она с нетерпением ждала того часа, когда вместе с бригадой уедет в район, где с новыми людьми в незнакомой обстановке отдохнет и освежится.

А когда уезжала, с Мироном не простилась.

Вокруг Байкалова копошились люди, с гулом и хрустом перекатывались камни, ревели машины и поезда, и каменная гарь удушливо вихрилась над толчеей полуголых тел. Он видел множество спин, голов, напряженных рук и ощущал какую-то большую жизнь, которая потрясала его. Эти близкие товарищи — из города и из строительного парткома, и просто рабочие, которых он не знал, — иногда поглядывали на него и улыбались. После пожара он чувствовал себя совсем слабым. Бывали часы, когда он едва владел ногами, а когда медленно шел по улице, ему не хватало воздуха. Он останавливался у стен домов и, вытягивая шею, дышал запаленно, жадно, мучительно. Иногда во время работы он внезапно откидывался на спинку стула, и лицо покрывалось пеплом. Товарищи испуганно подходили к нему и бережно брали под руки.

— Байкалыч, поезжай-ка, милый, домой...

Он вздрагивал, освобождался от этих испуганных рук и улыбался оскорбленно:

— Ну, что за глупости, товарищи! Я думал об одном деле... Видите ли, в чем корень вопроса...

И начинал оживленно развивать свою точку зрения по тому делу, которое он сейчас изучал.

...Сидел он на камнях и мучился. Что толку в том, что он наблюдает за работой других? Что скажет он себе завтра или сегодня ночью, когда ляжет с огнем в груди? Он только сидел и, страдая, ненавидя себя, смотрел на людей, которые создавали эти громады будущего, — сидел и кашлял, отрывал от себя шматки кровавой мокроты. Сидеть и созерцать — это и есть агония. Он будет сидеть и завтра и еще целый ряд дней и харкать кровью в расщелины скал. Разве в этом его назначение? Он нужен для партии, для страны... чем? этим кашлем и хриплым дыханием?.. Мучиться в бесплодном безделии — глупо и совсем ему не свойственно. Это чуждо всей его натуре. Жить!

Гореть полным пламенем! Жизнь — не в продлении молчаливых и созерцательных дней, а в ослепительной молнии порыва и бури всех сил. Вот он — бой. Он — старый солдат революции. Он всегда был среди масс и всегда горел боевым огнем... Борьба, восторг победы — в этом его жизнь... Сидеть, готовиться к тихой смерти, чувствовать, как чья-то мерзкая рука сжимает горло... Чушь! идиотизм! никому не нужная нелепость!..

Старик Митрохин вдруг отвалился от камня и сел, растерянно и младенчески улыбаясь. Потом отполз на четвереньках на выступ скалы и лег.

— Эге, наш старичок выбыл из строя... Ничего, ничего, отдохни, голубчик... — Это пошутил Игнатьич.

Оглянулись на Митрохина и другие. Что-то сказал Борзяй и улыбнулся опечаленным лицом.

Байкалов не помнил, как сорвался с места и бросился к этим людям. С восторгом, с наслаждением, плечом к плечу с этими полузнакомыми людьми он стал переваливать камень. Он слышал их истомленное дыхание, ощущал их горячие тела. Кто-то кричал ему в ухо: «Уходите вон! это не ваше дело!» Кто-то отталкивал его прочь, но он ничего не понимал, а бился, надрываясь от усилий.

Внезапно он оборвался и полетел куда-то в бездну.

Где-то рядом звенели прибрежные волны, где-то пели девушки... нет, это приближаются боевые полки... Музыка оркестров... Родная земля!.. Родные бойцы!..

Байкалов лежал около камня на боку и блаженно улыбался.

Столпились люди и спрашивали тревожно:

— Да как это вы допустили?.. С ума вы сошли, ребята?..

— Неужели конец?..

— Что ж это? Ведь вот какой беспокойный, миляга!..

Когда прибежал Мирон и наклонился над Байкаловым, он услышал хриплый шепот.

Байкалов смотрел на Мирона и улыбался кровавыми губами, улыбался конфузливо, как-то по-детски.

— Мирон... друг... Дай мне... твою руку... Я заканчиваю себя... гордо...

Мирон поднялся, оглядел встревоженную толпу, опять посмотрел на Байкалова, опять — на людей.

— Байкалыч!.. Что же это ты сделал с собой?

Мертвая рука Байкалова тянулась пальцами к башмаку Мирона, будто хотела схватить его ногу в последних судорогах жизни.

Паша, бледная, смотрела в лицо Байкалова суровым, почти грозным блеском очков, потом медленно опустилась на колени и поцеловала его в лоб.

XII. БЕССОННАЯ НОЧЬ

1

Как всегда, Гудим сидел за своим столом в парткоме и тщательно разбирался в бумагах, изучал ведомости и делал какие-то цифровые выписки на отдельном листе. Оглушали звонки телефона. Не отрывая глаз от бумаг, он брал трубку и говорил бесстрастно и внушительно, короткими фразами, буднично, сосредоточенно. Потом опять углублялся в работу.

Мирон сидел за своим столом и отмечал:

«Он весь какой-то засекреченный. И молчит-то он потому, вероятно, что ему нет надобности говорить с людьми».

В молчании они могли сидеть часами. И ведомости, и справки, и график работ всегда были на месте. Стоило Мирону только вопросительно взглянуть на Гудима, и на столе у него появлялись документы.

Работа машин сотрясала перемычки и прибрежные пласты земли. Стены пели, как струны. Мчались поезда в каньонах и по насыпям, и стены и пол

дрожали вместе с землей. Торопливо вбегали люди, штурмовали Гудима и Мирона и опять убегали. Врывались волны беспокойства, и опять наступала тишина и деловой шелест бумаги.

— Я пойду, Гудим. Трудно работать. Будто ранило меня сегодня.

— Безрассудная смерть. Такой гибели не признаю. Это то же самое, когда отдельные вояки геройски бегут на пулеметный огонь.

— Он иначе смотрел на смерть, Гудим. Он умер бурно.

— Ерунда. Бурно умирают психи и романтики. Надо уметь умирать за настоящим делом, без крика и позы.

— Не сомневаюсь, Гудим: ты умрешь деловито.

— Ну, смерть — это не дело, а конец делу.

В сущности этот парень был вовсе несложен. Выдавали его постоянство и особая спартанская честность. Он со всеми — начиная от начстроя до простого сезонника — держал себя одинаково, был ровен, подтянут, внешне холоден и замкнут.

...Пришел Цезарь на смену Гудиму. Гудим молча указал на документы, разложенные на столе, и вышел.

Позвонила Ольга:

— Тебя ждут, Мирон. Масса цветов, масса людей, знамена, музыка. Очень красиво. Я страшно устала, а гляжу и — до слез хорошо. Только что пионеры прошли с барабаном, салютовали. Сами свой венок принесли. Очень трогательно. Смотрела на них и плакала.

...У дверей клуба толкалось много рабочих — все хотели проникнуть в здание, но при входе стояла охрана и пропускала только по нескольку человек. Люди выходили молчаливые и серьезные. В глубине, очень далеко, глухо и мягко вздыхала музыка. Мирон прошел в зрительный зал, залитый огнями. Посредине на красной пирамиде, в ворохе зелени, в пальмах, стоял красный гроб, тоже заброшенный цветами. Мирон еще издали увидел маленькое известковое лицо Байкалова, немного скошенное набок.

У гроба по обе стороны неподвижно стояли четыре человека — почетный караул. Все пространство от гроба до стен было пусто. Музыканты сидели на сцене на фоне серебристого занавеса. У изголовья, под пальмой, стоял Балеев, а перед ним, в ногах, — Борзяй. По другую сторону — старик Митрохин и Кряжич. Было углубленное, скорбное молчание. Только музыка тихо играла что-то торжественное.

Вспоминались ночные беседы за чаем, звучали недавние его слова: «Обычное понятие смерти не имеет смысла... Надо сохранить пожизненную молодость...» Вот он лежит и смотрит на Мирона только маской, слепком недавнего Байкалова, но общим своим обликом и каждой в отдельности чертой своего лица живет в его памяти: еще не угасли спокойные и плавные его жесты, пристальные, очень задумчивые глаза, снисходительная и понимающая улыбка и эта обычная сутулость обреченного человека. Вспоминался тот Байкалов, который когда-то скакал на коне, доблестно дрался, водил за собою целые отряды в самые отчаянные места — в тыл к врагу, в расположение противника, где делал стремительные налеты по ночам на сильные, укрепленные позиции. Да, Байкалыч, за своими пределами — во вневременности — не будут реять перед тобою образы твоего прошлого: ты уже не засмеешься от воспоминания о том, как целый месяц щеголял в мундире полковника во вражеском городе и в одну ночь увел полторы тысячи солдат из казармы и всех пленных из лагеря. Да, было. А этот случай с Феней в солнечное морское утро... Еще сейчас живо в памяти, как реют крылатые вихри чаек над блистающей синью залива... Феня... Ее нет, она не проводит тебя до могилы: она где-то растаяла там — в миражных полях августа.

Может быть, он и прав, что смерть в подвиге, в горении всех сил — уже не смерть, а особое, потрясающее проявление жизни, как прибой, который бьется о скалы и отдает свою мощь и монолитам и родному морю.

— Твоя очередь, Ватагин...

Его подтолкнул Емельян. Около Мирона стал Чумалов. Да, Байкалову надо отдать честь как старому ветерану, бойцу, потому что они сами бойцы-ветераны. Он инстинктивно пошел с левой ноги, как и Чумалов, вслед за Емельяном и Гудимом, которые были подтянуты по-военному, в военном обмундировании.

На середине залы Гудим отделился и пошел вместе с Чумаловым по другую сторону гроба. У изголовья гроба Мирон сделал налево кругом и встретился с Пашей, которая стояла против него с высоко поднятой головой. Из-за очков, из-за льдистого перелива стекол смотрели на него строгие, только ему понятные глаза.

Вошла делегация городских рабочих со знаменами и с двумя венками из живых цветов. Рабочие в сопровождении Емельяна подошли к гробу и склонили знамена над телом Байкалова. Венки положили на подножие в кучу других венков.

Паша стояла прямо перед Мироном, неподвижная, высокая, пристальная. В ресницах была мягкая печаль. Ни боязни, ни тревоги, ни ревности он не видел в этих открытых глазах: они принимали мир таким, как он есть.

Приезжали из города ответработники, стояли в почетном карауле. Дубягу ждали завтра утром: он находился в районе. Ему телеграфировали о смерти Байкалова, и он сообщил, что выезжает в ночь.

2

Из клуба шли вчетвером. Ольга и Чумалов шагали впереди. Когда спускались по бетонной лестнице вниз, в поселок, молчали — несли еще в себе торжественную углубленность клубного зала и разливные звуки оркестра.

— Так и не удалось мне, Глебушка, побывать у тебя. — В голосе Ольги уже не было той невольной грусти и раздумья, как это бывает под впечатлением смерти.

Глеб подхватил ее под руку:

— Да ты, кажется, Оля, и мужа-то своего не видела как следует. Ты как будто не на свидание с ним прискакала, а хоронить Байкалова.

— Ну, ему не до меня...

— Оля! — Паша прикрикнула на нее с упреком. — Мирон говорит другое: это в твоей жизни нет ему места...

— Вот тебе фунт! Разберись тут, в этой семейной канители... — засмеялся Глеб.

— Ну, что же, очень хорошо. Значит, у каждого — своя жилплощадь. Независимы и не мешаем друг другу.

— Да, брат Ватагин... — Чумалов вздохнул с юмористическим сокрушением. — Женщина пошла сейчас суровая и дерзкая. Главное дело — она сейчас крепко стоит на ногах и знает себе цену. Но нет силенок перескочить через последний барьер — все будто хорошо, а баба кричит в ней курицей...

— Глебушка, не забывайся: не обобщай своих собственных пороков. Не приписывай их другим... — Ольга насмешничала легко, безобидно. — Вспомни, кому я уминала мозги... не тебе ли? На свою Дашу ты жаловаться не можешь.

Чумалов притворно рассердился.

— Ну, ты не слишком рьяно атакуй меня, Ольга. Бунтуете против мужского великодержавия, а сами создаете из него фетиш.

Паша возмутилась:

— Ты, Чумалов, не на меня напал: я бы тебе показала... Хорош коммунист — нечего сказать!

Чумалов с Пашей молча простились с Мироном и Ольгой и медленно пошли вниз, к мостовому переходу.

В комнату Ольга вошла первая и не зажгла огня. Мирон хотел повернуть выключатель, но она крикнула:

— Не надо, не надо, Мирон...

— Ты бы легла, Оля. Устала с дороги и здесь поволновалась.

Во тьме она крепко обняла его, и он услышал, как бьется ее сердце. Он подхватил ее на руки и

прижал к себе: горяченькая, маленькая, она показалась ему уставшей, беспомощной.

— Мирон, если бы ты знал, как я рвалась к тебе!.. Увидеть тебя... почувствовать тебя... Мне казалось, что стоит мне услышать твой голос, и я стану совсем другая...

Мирон ждал от нее каких-то значительных, волнующих слов, каких-то важных вопросов, которые она берегла до этого часа. Он приготовился к борьбе, а тут — вздох уставшего человека.

— Какой ты стал далекий, Мирон! Будто мы никогда и не жили вместе.

Он отвел ее к кровати, бережно положил на постель и сел, поглаживая ее руку.

— Знаешь, мне кажется, что я искала тебя всю жизнь и опять нашла. А как я страдала, как мучилась! Пытка началась с ухода Кирюшика. Мы жили уродливо. Мы не понимали ни себя, ни наших отношений друг к другу. И мы наказаны: мы потеряли нашего ребенка. Неужели нельзя уже исправить этих ошибок?

Она умолкла на мгновение, точно ждала от него ответа.

— Мне только больно, Мироша. Если бы ты знал, как мне больно!

И тихо заплакала, вцепившись в его руку, будто искала в ней защиты.

— Я истерзала себя, Мирон! И меня по частям унесли с собою и Кирюшик, и ты, и работа. От этого не отдохнешь, не вылечишься, никакие санатории не помогут. Я думала: вот прикоснусь к тебе хоть на несколько часов, и мы вместе решим, как жить дальше, как выйти на дорогу. Я только недавно почувствовала с особой силой, в каком я тупике... Мое единственное проклятие — это он, Кирюшик. Где он, Мирон? Какая его судьба? Почему ты... почему я тогда не бросила все и не пошла искать его по дорогам и городам? Почему? Потому, Мирон, что мы слишком дорого себя расценивали. Мы, мол, хозяева жизни, ну и должны выключить себя из личного обихода. Как будто бы... как это называется?.. самоот-

речение, что ли... а на самом деле самолюбование. Жизнь-то строили, а детей своих пускали по ветру. Видели далекое, а насчет близкого были слепы и беспомощны.

Она оперлась на локоть и простонала:

— И вот... найдем мы его или не найдем, Мирон, а он придет... он придет, явится и будет нашим судьей. Он скажет: вы изгнали меня из вашей жизни и обрекли на беспризорность, ну и расплачивайтесь: не способны вы создавать своих детей...

Мирону было жалко ее, хотелось нежно приласкать, взять на руки и прижать к себе, как ребенка. Но он с изумлением отметил, что в нем нет никакого порыва к ней, как к любимой женщине. Она переживала тоску человека, который забыл себя на многие годы и вдруг вспомнил, что у него есть дорогие боли, что им утрачены какие-то радости, которые надо возвратить. Хотелось сказать ей о встрече с парнем, похожим на Кирюшку, но промолчал: зачем напрасно волновать ее? Ведь это только маленькая случайность...

— Видишь ли, Оля... Прошлое, конечно, уже пепел, оно не воскреснет. Да и не нужно. Иные мы стали с тобой. Старые привычки и предрассудки мы вырвали из себя мучительно. Единственная наша связь — это наша независимость и свобода.

Она молчала, страдая от какой-то тяжелой мысли, боролась с собой, сжимала себя привычным усилием воли.

А Мирон чувствовал, что он слабеет: в этой ее борьбе с собою он увидел, что этот миг — последний в их жизни. Может быть, после этого они разойдутся навсегда, и прежней близости между ними не будет.

— Я живу каждый день все эти четыре года одной мукой, Мирон...

Он настойчиво привлек ее к себе.

— ...Одной болью, Мирон... о Кирюшке... Мне кажется, что, если я не найду его, я искалечусь, погибну, ожесточусь до бездушия...

— Оставь, Оля... Не будет этого... Ты слишком любишь жизнь, чтобы дойти до такого надрыва.

Байкалов это называл смертью, недостойной человека. Не забудь, Оля, что мы выносили жизнь на своих плечах. Ведь мы же собирали ее и создавали из хаоса и разрушения. Это была огромная нагрузка. Почему тебе так больно? Потому, что ты надорвалась, слишком устала от этого многолетнего напряжения. Будем теперь помогать друг другу.

Она вздрагивала в смятении женщины, которая смертельно устала от собственного самоотречения. Она хваталась за Мирона, как брошенный ребенок, которому страшно пустоты и одиночества. Да, он любил ее, мечтал о ней и жил только одним неугасающим ожиданием возврата. Вот она опять стала неожиданно близкой, и роднее ее нет у него никого на свете. Как странно: не было Ольги, она уже угасала в нем, как образ очень далеких дней, и вдруг опять она здесь, прежняя, живая, милая Ольга первых лет их жизни. Был момент, когда он хотел сказать ей:

— Оля, будем жить опять вместе. Мы уже не расстанемся.

Но это было бы насилием над собою: он уже не хотел нарушать своей личной свободы и ограничивать себя в своих холостяцких привычках.

— Я у тебя — будто во сне, Мирон. А на рассвете — опять одна. В дороге. Но оттого, что я дышала тобой короткие часы, это останется на всю жизнь. Один час бывает дороже года.

— Не уезжай, Оля. Мы еще не отогрели друг друга.

— Мне сейчас очень хорошо, Мирон. А через два дня мы уже будем мешать друг другу.

— Как тебе не стыдно говорить это, Оля!

Ей показалось, что слова его были холодны, неискренни.

— Почему же стыдно? Разве я лгу? Разве это не так? Дни — не наше время. А ночи будут похожи на отчуждение. Лучше унести с собой эти минуты.

— Ты не надеешься на себя, Оля...

— Нет, на тебя не надеюсь. Впрочем, может быть, и на себя. Не все ли равно? А ты на себя надеешься?

В ответ он только ласково засмеялся.

Она опять села на кровати и обхватила руками колени.

— Скажи, хватит ли у тебя храбрости быть откровенным?

— Разве я от тебя, Оля, прятался когда-нибудь, как трус?

Вот сейчас произойдет тот взрыв, которого он боялся весь этот день.

— Скажи мне что-нибудь о Паше...

Голос ее окреп, отвердел, но он на расстоянии чувствовал, как бьется у нее сердце.

— Ревность тут неуместна, Оля. Не волнуйся.

Она засмеялась, точно обрадовалась его словам. А он поднялся с кровати, подошел к столу и в темноте начал искать трубку.

— Зажги огонь, пожалуйста.

Он щелкнул выключателем.

Ольга приводила себя в порядок.

Они встретились глазами и отвернулись друг от друга.

— Это не допрос, Мирон. Ты на меня не сердись.

— Мне на тебя сердиться нечего, Оля. Ты вправе задавать мне такие вопросы. Но не спрашивай меня. Я чувствую сейчас только одно: никто мне так не дорог, как ты.

Еще не остывшая, но по-прежнему бодрая, она причесывала волосы, и они рассыпались на огне тусклыми искорками. Она долго не отвечала ему — думала о чем-то напряженно и мучительно. Казалось, что стоит ей оторваться от стола и повернуться к нему — и она не выдержит: закричит и выбежит из комнаты. И в этом их молчании звенела какая-то высокая, туго натянутая струна. Ольга вздохнула и быстро повернула к нему лицо. Глаза ее тонули в слезах.

...Уже светало, когда он сажал ее в автомобиль. Небо на востоке, над комбинатами и над городом,

было зеленое и прохладное, как вода. Сизые облачка были похожи на скалистые острова реки — такие же, как на нижнем бьефе. Они мерцали снизу малиновым накалом. Звезды в глубинах неба были далекие и дрожали, как капли, готовые упасть. Красная, закопченная с краю луна туманно висела в воздухе над водонапорной башней левого берега, и на этот тревожный диск не хотелось смотреть: что-то в нем, одиноком во мраке, было тягостное, похожее на предчувствие.

— Нет, нет... Я прошу тебя, Мирон... Совсем тебе не надо ехать... Я хочу одна — сделай мне это удовольствие.

Она обняла его, поцеловала и села в машину.

Он бросился к ней в кабинку. Опять хотелось, чтобы она осталась вместе с ним.

— Ну, уходи, уходи!.. Хватит! мне очень хорошо...

— Я, Оля, буду в Москве через месяц, полтора. Я подожду тебя. А ты отдыхай, набирай сил.

— Постараюсь...

Машина исчезла из глаз. Только далеко на повороте молнией сверкнули фары и потухли.

На строительстве густо роились ослепительные огни, что-то необъятно вздыхало на плотине, и далеко, на том берегу, по-утреннему кричали паровозики. Далеким орга́ном пели провода на столбах, точно замирал тихий аккорд какой-то оратории. На подъездных путях, недалеко за скалой, перекликались женские и мужские голоса, — должно быть, стрелочников:

— На верхний путь направляй... на верхний...

— Да знаю... на новый... который — к карьерам...

«Да, — думал Мирон, смотря в синий утренний сумрак, — да, на новый путь... Жизнь — всегда новый путь...»

Ему не хотелось идти в комнату. Он прошел через двор, поднялся по лестнице на утес и зашагал навстречу огням.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. ДОБРОЕ УТРО

1

Татьяна всю ночь провела на дежурстве, а утром долго сидела на техническом совещании у Кряжича и очень устала.

Когда она вместе с другими направилась к двери, Николай Николаевич попросил ее остаться, и она покорно согласилась.

Оба некоторое время молчали. Кряжич, вероятно, тоже не спал эту ночь. Он сердито швырнул в сторону дело в желтой обложке, быстро встал и прошелся по комнате.

— Вчера я ездил на пороги...— живо заговорил он.— Отдохнул чудесно. И знаете, как в юности, когда я был студентом... внезапное волнение от необъятной тишины. Один в мире... И все кажется таинственным и новым, а жизнь — прекрасной и полной счастья.

— Вы не чужды поэзии, Николай Николаевич...— пошутила Татьяна,— недостает только улыбок вечности и бездонных глаз вселенной.

— Мне недоставало только вас.

— Жаль, что поэтическое настроение находит на вас не вовремя.

Мимо окна, весело разговаривая, прошли парни и

девушки. Чей-то юношеский басок продекламировал в восторге:

Словно мы в пространстве новом,
Словно в новых временах...

Татьяна встретила изумленные глаза Кряжича. Он подошел к окну и проводил взглядом кучку молодежи.

— Только утро любви хорошо...

— Это только в поэзии, Николай Николаевич, а человек встречает утро каждый день.

Не отходя от окна, Кряжич задумчиво сказал:

— После той бессонной ночи, когда вы были у меня, я пережил первое необычайное утро в моей жизни. Я вышел из дома и долго стоял у вашего палисадника.

— У палисадника?.. Как романтично!..

Он отошел в глубь комнаты, как бы не желая слушать голосов за окном.

— И я тогда же почувствовал, что связан с вами навсегда. Потом я очутился у квартиры Борзяя. Мы пошли с ним к фонтану в сквере. И он сказал мне, любуясь восходом: «Голубчик, смотрите на мир только по-утреннему». Он умывался из бассейна и восклицал: «Как чудесна вода ранним утром!» А вода была действительно свежей и звонкой — как будто смеялась...

— Что ж, поздравляю вас с добрым утром, Николай Николаевич.

— Да, доброе утро... если бы передо мною не зияла пропасть...

Татьяна поднялась и протянула Кряжичу руку. Он осторожно принял ее, как драгоценность, и растроганно поцеловал.

— В пропасть попадают только слепые, Николай Николаевич. А у вас — молодые глаза. Вы уже достаточно много пережили за это время — перестрадали, переболели... Это очень прочищает зрение... — усмехнулась она, пристально всматриваясь в его лицо, в плечи. Эта странная привычка — всматриваться в собеседника — всегда смущала Кряжича. —

Вам кажется, что перед вами — пропасть. Но это бывает у людей, которые боятся пространства. В детстве, когда я была с матерью на рыбном промысле, среди песков, потешалась я над одной женщиной, которая не могла выносить ни далей, ни песчаных сугробов. Чуть только отойдет от барака, сейчас же замирает от ужаса: мерещится ей, что пески приходят в волнение и всасывают ее в себя. Она все плакала и причитала: «Хоть бы в деревню скорее, хоть бы в избу опять, хоть бы на улице нашей отдохнуть от этой страхоты»... Не посчитайте за хвастовство, Николай Николаевич, но я знаю, что такое дорога в даль. Борьба и мечта не существуют одна без другой. Как это ни странно, но годы беспризорности, скитальчества, полного опасностей, — самые дорогие для меня годы. Я увидела мир таким, каким вы его никогда не увидите. Главное: для человека нет ничего недостижимого, непреоборимого и ужасного.

Кряжич слушал ее внимательно, недоверчиво и невольно подчинялся ее очарованию. Ее былая беспризорность и босячество не вязались с ее настоящим обликом и воспитанностью, и он не мог себе представить, чтобы она когда-нибудь была в лохмотьях, в пыли, в грязи, в паразитах, — такой же, как и те девчушки и парнишки, чумазые, голодные, в струпьях, в рубище, с тифозными лицами, одичалые, которых он часто встречал в городах и на железных дорогах. Если это допустить как несомненную правду, то она — подлинное человеческое чудо. И он был убежден в глубине души, что в его жизни она одна сыграет какую-то огромную, решающую роль.

— Вы знаете, — волнуясь, сказал он решительно, — я хочу верить вам безраздельно, но мне часто кажется, что вы говорите несообразные для меня вещи. Я протестую против них, но, признаюсь, оспорить не в силах, хотя и не желаю признать себя побежденным...

Татьяна серьезно и вдумчиво ответила, подчеркивая слова:

— А вот я думаю, Николай Николаевич, что в этих ваших, скажем, поражениях и есть ваша

победа. И такие поражения и победы будут у вас еще острее и больнее. Я уже вам доказала, что я к вам — ближе, чем вы — ко мне. Поэтому не говорите мне больше таких пустых и чувствительных слов, какие говорили, например, сегодня...

Она вышла на улицу. Внизу, под утесами, зеркальным разливом сверкала река, и над нею дымился огненный пар. Вдали, от берега к берегу, навстречу друг другу, плыли два катера. Над переплетами железнодорожного моста тихо двигался товарный поезд.

В ушах еще звучал молодой басок:

Словно мы в пространстве новом,
Словно в новых временах...

2

Татьяна занимала комнату с огромным окном в сад, и ей казалось, что она живет на даче.

Остальная часть этой половины дома принадлежала мостовику Старателеву. Жена у него — молодая, полная, белокурая, с сытыми глазами. Она бегала по комнатам, по двору и щебетала с домашней работницей, а когда оставалась одна — пела песни и играла на пианино.

Как всегда, она встретила Татьяну в общей прихожей (она, должно быть, находит удовольствие встречать людей) и сразу же затараторила, играя своим грудным голоском:

— Только что вам принесли телеграмму, Танечка. Хотела вскрыть, честное слово — просто руки жгла... Пожирало любопытство. (Она особенно вкусно произнесла слово «пожирало».) Шучу, шучу, дорогая... не хмурьтесь... У вас, вероятно, уйма поклонников... Красота, как слава, — она сводит с ума.

Она поддразнивала Татьяну телеграммой, помахивала ею перед лицом и смеялась.

— Елена Дмитриевна, — холодно сказала Татьяна, — я не спала двадцать часов...

Елена Дмитриевна изобразила ужас на лице.

— Ну, идите, идите. Сейчас же ложитесь спать. Может быть, чаю хотите?

Она сунула ей телеграмму и повернула за плечи к ее комнате.

— Бедная девочка!..

Опасаясь, как бы эта женщина не ворвалась в комнату, Татьяна повернула ключ в двери и раскрыла телеграмму.

Она покраснела и, улыбаясь, посмотрела в окно. Золотились листья тополей, и небо от этого казалось глубже и синее.

Вакир... Он уже мчится к ней и вечером будет здесь, в этой комнате. За годы разлуки ни на один день она не забывала о нем, а письма его дышали любовью и ревнивой дружбой.

Свою уютную комнату она очень любила. Бумаги и книги на столе — в строгом порядке. Маленький чернильный прибор, бокальчик для ручек, кинжальчик с костяной ручкой в серебряной чеканке и ножны — в серебре, фотографии — на подставочках; какой-то бритый, носатый военный, а рядом — парень в юнгштурмовке. Глаза смотрят недоверчиво. Нос твердый, с сильными ноздрями. На стенах в рамках — фотоснимки строительства. У кровати — коврик. У Феонки комнатка по-прежнему пустая; только одна кровать, неряшливый стол, два стула. А ведь так важно, чтобы комната сияла белизной и пела; она должна говорить языком того, кто живет в ней.

Татьяна разделась и легла в постель. Как только закрыла глаза, сразу же погрузилась в дремоту. Во всем теле струилась усталость. Где-то поют струны гитары. Волнами мерцают видения: Вакир, Кряжич, толпы рабочих, полеты стрел, цветы в саду, летающие цветы... и вдруг гул набегающего поезда...

Она вздрогнула и открыла глаза. Парень с фотографии смотрел на нее, сдвинув брови.

С этим парнем Татьяна связана на всю жизнь: сколько потрачено сил, чтобы очистить его от преступных привычек, от душевной грязи, от озлобления, от неудержимого стремления к бродяжничеству, к воровству, к азартной игре.

3

Как-то вместе с двумя коммунарами она проходила по базару предместья (их трудовая коммуна находилась на отшибе, в пригородном лесу). Был день привоза: крестьяне понаехали из ближайших деревень с арбузами, огурцами, морковью, картошкой, птицей, яйцами. Торчали вверх оглобли, фыркали лошади, на возах сидели бабы и мужики, истошно торговались с покупателями. Молочницы длинным рядом сидели перед жестяными бидонами и звенели кружками. В палатках разноцветно играла на полках и прилавках бакалея, посуда, галантерея. Люди толкались лениво, бездельно, сбиваясь в кучи, и глазели на тряпье, на случайные вещи или слушали ловкого изобретателя, который занятно и красноречиво ораторствовал и играл руками, как фокусник. И среди этих толп мелькали беспризорники и какие-то подозрительные люди с беспокойными и пристально-зоркими глазами.

Татьяна не один раз бродила по базару — так, неизвестно для какой цели: для некоторых коммунаров это блуждание было потребностью. Может быть, тянула сюда неистребимая привычка, приобретенная в годы беспризорности, а может быть, просто надеялись встретить прежних друзей, которые уже стали далекими и чужими.

Оба парня были уже взрослые, одни из первых, попавших в коммуну.

Пашка, высокий и смуглый, ругался и торопил домой. А Козонок, малютка ростом, жадно приглядывался ко всему и порывался юркнуть в толпу.

Вдруг они услышали визг и рев у деревенских возов. Козонок, задыхаясь, крикнул:

— На ширмовке зашился...

Суматошно бежали люди, жадные до всяких зрелищ.

Трое мужиков били оборванного мальчишку и топтали его сапогами. Мальчишка был в крови и грязи. Кругом стояла куча людей и подзадоривала

мужиков. Где-то недалеко сверчком посвистывал милиционер, хотя его не было видно.

Татьяна ворвалась в середину толпы и всунула в рот свисток. Этот милицейский свисток всегда отрезвлял людей. Все трое носили значки на груди — комсомольский и ГТО, а когда выходили в город, надевали юнгштурмовки. Татьяна получила оглушительный удар по голове, но не растерялась и опять пронзительно засвистела. Пашка, бледный, с дрожащими губами, старался покрикивать весело:

— Помогай, граждане!.. Это же зверство... Трое бородачей на одну бородавку...

Протиснулся милиционер, и людей как будто стало больше. Кричали:

— Чего здесь эта комса?.. Они сами из этой шпаны...

— До каких же пор, граждане?.. Житья же нема от босоты... Последний крест с шеи рвут, мерзавцы...

Ребята подхватили пацана и поволокли сквозь толпу под грозной охраной милиционера.

...Татьяна открыла глаза и сквозь туманные волны света, радужно переливающиеся в ресницах, опять увидела парня, который смотрел на нее с фотографии. Парень рос, двигался и наплывал на нее, как живой.

Себя он называл Вакиром, а ее почему-то — Тиброй. Ей это нравилось: очень похоже на тигра и звучало симпатично.

Вспоминая свою бесприютность и отверженность, она немела от страха: как это она могла жить целые годы и не погибнуть среди преступной своры отчаянных головорезов?.. А ведь были моменты, когда перед нею сверкала финка, когда она могла быть растерзана где-нибудь на вокзале, на рынке, в трущобе... Вот хотя бы этот случай... Нет, не надо, не надо... Или вот когда у нее ослабели руки под поездом... Если бы она не заметила, что поезд подъезжал, замедляя ход на стрелках, она рухнула бы и... Нет, не надо, не надо...

II. ИСТОКИ

1

Былые дни вспыхивали перед Татьяной обрывками, отдельными событиями — и жуткими и смешными. То, что раньше казалось пустяком, представлялось сейчас страшной драмой, случайно не совершившейся катастрофой, а то, что ужасало когда-то, теперь вызывало улыбку, как забавное воспоминание. Вероятно, события прошлого всегда отражаются в перевернутом виде.

Первые годы детства — это каспийские ватаги. Плачет жалобная песенка:

На ватаге девки вянут...
Волга-матушка — река...
Девки вянут — лямку тянут...
Заливаешь берега...

И уж назойливо надрывают душу эти былые стоны, ушедшие с детством:

Ах, Волга, Волга! Ты плещешь вольно...
Любила час я... ах, сердцу больно...

Мать, в штанах, сидит на скамье в паре с другой резалкой. Всюду, на широком плоту, серебряными кучами — рыба. Она, живая, судорожно извивается, машет хвостами или бьется на полу, шлепаясь по грязной слизи. Пряная вонь от протухших рыбьих внутренностей, от жиротопни, которая дымится поодаль. Туда резалки относят в ушатах моло́ки. Девчата носятся на одноколках и визгливо орут:

— Нё! Нё! шемая-шимоза!..

И без передышки пронзительно кричат, задирая головы:

Любила час я... ах, сердцу боль-ино...

В штанах мать кажется чужой. В левой руке у нее маленький багорчик, которым она держит рыбу, а правая мгновенно разрезает ножом рыбье брюхо и выбрасывает красные внутренности в ушат. Мать часто хворает, и ночью, когда приходит с работы,

сейчас же валится на нары. Раза два она не смогла выйти на плот: лежала в жару и смотрела на Татьяну покорными глазами. Приходил рыжебородый плотовой и хватал ее за ноги. Из-под огненных усов сверкали крупные зубы. Мать грохалась на пол и скулила дрожащим голоском:

— Христа ради... Осип Иваныч... Моготы моей нет...

Татьяна смотрела с нар и плакала. Она до смерти боялась этого рыжебородого плотового в бахилах. Он не замечал ее, но ей казалось, что как только он поймает ее своими маленькими глазками, сейчас же схватит и задушит волосатыми красными руками.

Отец редко приезжал в барак, он *бегал* в море. А когда рыбаки вваливались в казарму, — страшные, в сплошных кожаных мешках, бородатые, — они вносили с собою грохот и беспокойство. Хозяин изредка наезжал из Астрахани на своем пароходе. Он был толстый и тоже бородатый, в длинном сюртуке, в картузе и блестящих сапогах. Он был очень похож на плотового — такой же рыжий, с такими же маленькими глазками. Только руки закидывал за спину и говорил невнятно, тихо. А управляющий был в золотых очках, бородка — клинышком, и весь был кургузый, быстрый, легкий.

Рыбаки садились за длинный стол посредине барака. На столе появлялась большая зеленая бутыль, и они, крякая и ликуя, пили стаканами водку. Отец не замечал Татьяны — он не ласкал ее, не привозил гостинцев. Мать ночью возвращалась с плота и, изнуренная, робко подходила к отцу, но он отталкивал ее, пьяный и безумный, и бил по лицу. Она падала на пол и выла, тоскливо и безнадежно. Рыбаки орали:

— Ваня-а!.. будя, а ты... Пей!.. Чертова бахила!.. — и начинали непонятно и жутко выворачивать знакомые, но бессмысленные слова — матерщинничать.

Отец опять садился, хватал стакан и пискливо запевал:

На серебряных волнах,
На златом песочке...
После девы мо-ло-дой...
Я искал следочки...

Мать поднималась с полу, обмазанная кровью, и шла умываться. Татьяна бросалась к ней с нар и поливала ей воду на руки. Мать ей казалась мученицей, обреченной каждый день на страдания.

Ночью сквозь сон Татьяна слышала, как сопел отец и мучил мать как-то совсем по-другому. Потом они лежали тихо, и мать шептала ласково и печально:

— Не вынесу я, Ваня... Мочи моей нету... И ты меня бьешь... За что?.. Чем я богу согрешила?..

А отец, пьяный, пыхтел и бормотал, засыпая:

— Весна скоро... терпи... Я вот... кровью блевал... Зарезал бы всех...

И скрипел зубами.

Часто по ночам Татьяна слышала, как вползал к ним на нары плотовой и тоже тискал и ломал мать. Татьяна притворялась спящей, но сама следила за каждым его движением. В казарме всю ночь горела висячая лампа, и в огромном сарайном помещении, с нарами в два этажа по стенам, мерцала дымная полутьма.

Мать, должно быть, догадывалась, что Татьяна видела, когда приходил плотовой, и со страхом просила ее:

— Ты, Танюша, дочка, не говори отцу-то... убьет он нас с тобой...

И Татьяна знала, что ей стыдно. Чтоб скрыть этот стыд, мать оправдывалась:

— Что же делать... Ведь я, Танюша, подвластная... Ну, ведь все-таки думаешь: нет-нет да и пожалеет...

Но весны не пришлось дождаться отцу. Во время шторма *посуду* бросало дня три. Люди выбились из сил в борьбе за свою жизнь. Троих смыло шквалом, и они исчезли в бушующих волнах. А волны были как горы, и суденышко проваливалось в кипящую бездну и взлетало к небу, на вершины водяных вихрей. У отца хлынула кровь горлом, и он упал. С гулом и грохотом через судно хлестнула огромная волна и унесла его с собою. Так рассказывал им один из уцелевших рыбаков, которого подобрал пароход.

С матерью они прожили на промыслах еще с год. Революция прошла у них на ватаге незаметно. Потолкались люди, помахали красными флагами, попели песни и бросили работу. Рыжий плотовой куда-то смылся, управляющий уехал на пароходе в Астрахань. Работы прекратились, и на ватагах наступила непривычная тишина. Не было хлеба, рабочие и работницы не получали жалованья. Начались болезни. Во всех бараках люди валялись в тифу. Мать тоже свалилась, пометалась без памяти несколько дней и умерла.

2

Беспризорность ее началась еще в незапамятные времена. Детишки — мальчата и девчушки, голодные и оборванные, — носились по улицам, по дворам промыслов, по песчаным отмелям. Они сбились в бандочки. Чтобы найти себе пропитание, они устраивали налеты на лабазы, взламывали бочки с икрой и жрали до отвала. Но когда охрана рабочих стала грозить им ружьями, они решили броситься в Астрахань. С такой бандой Татьяна попала на баржу, которую грузили рыбой, и через двое суток вышла на городскую набережную.

Татьяне было двенадцать лет. Их шайка *пробартижала* так все лето, пробавлялась на «исадах», на толкучках. В предместье, которое называли «фарфосом», на другом берегу Волги, шла стрельба, в городе тоже стреляли. Вожак их шайки, Шаланда, был боевой парень, курносый, с облупленным лицом и нахальными руками. Ходил он в длинном пальто в лохмотьях, но босиком, на вихрастой голове — киргизская овчинная шапка острым колпаком.

Летом в Астрахани душно и пыльно. Многие из шпаны ходили только в одних рваных штанишках, и ребята были черные от загара. Они несколько раз в день купались в Кутуме или Волге. Спали на кладбище, за городом, недалеко от коптилок, или в городском саду, или переправлялись на «фарфос». На «фарфосе» было сподручнее: там можно было легко

пробраться в лабазы, забитые бочками с селедкой. Однажды их захватила облава во время сна. Красноармейцы и портовые рабочие, с факелами, добродушно спрашивали: «Вы зачем сюда забрались, голошата?» Шаланда, впереди всех, смело смотрел им в глаза и, засунув руки в карманы, дерзко отвечал: «Наша мамаша — революция, и всякое место для нас — свое». В лохмотьях, грязный, как трубочист, Шаланда стоял перед патрулем, сильный, бесстрашный, великолепный. Рабочие и красноармейцы засмеялись. «Ну, раз такое дело, располагайтесь вовсю, а мы вас будем охранять. Жрали сегодня?» И опять Шаланда с гордым достоинством ответил: «Мы лопаем явочным порядком. Власть — на местах». Рабочие и красноармейцы здорово смеялись и шлепали их по плечам. И Татьяна впервые изумилась храбрости Шаланды: он держал себя с вооруженным отрядом, как равный. Точно гордился он своей беспризорностью и был чудовищно уверен в своей силе. Татьяна смотрела на него, как на героя. В Астрахани они пережили зиму. Однажды Шаланда сказал Татьяне: «Крыса, завтра побежим в Баку». Она верила ему больше, чем себе, и ответила: «Хорошо». Она не спрашивала, зачем именно нужно бежать в Баку: Шаланда не терпел вопросов.

В Баку они *стреляли* плохо. Там было хуже, чем в Астрахани. Город недавно был освобожден от белогвардейцев и англичан. Он был полуразрушен. Всюду пахло нефтью. На базарах за ребятами гонялись с палками, с визгом и гиканьем. Были дни, когда они голодали, как бродячие собаки. Впрочем, одна облезлая собачонка пристала к их банде и привязалась к Татьяне. Она даже спала рядом с нею. Татьяна с Шаландой научили ее разным штукам — ходить на задних лапах, воровать шапки и картузы, рыскать по городу и находить ребят в разных местах. Как-то собачка не возвратилась. Ее ждали сутки, только и разговору было, что о собачке. Все были в дурном настроении. Даже Шаланда скучал и ругался. Татьяна наорала на него и потребовала найти собаку. Шаланда хотел дать ей в зубы, но она ловко

ответила ему пинком в живот. Он ухмыльнулся и сказал: «Амба, ребята!» Встал, браво изобразил ногами стригущие ножницы и скомандовал поход. Потом пошла и Татьяна. На улице ее схватили какие-то ребята, похожие на комсомольцев, во главе с *шухерами,* и втолкнули в закрытый автомобиль. В автомобиле сидели вместе с другими комсомольцами еще трое совсем незнакомых оборванцев, — должно быть, татарчат. Привезли в хороший дом, и женщины в белых халатах погнали их в ванную. Татьяна брыкалась, плевала им в лицо, но ее скрутили, раздели и бухнули в ванну. Вода показалась ей густой, и вылезти из нее уже было невозможно. Вымыли Татьяну чужие, терпеливые руки, хотя две женщины неласково хмурили брови и брезгливо гримасничали. Правда, перед тем как погрузить ее в ванну, ей смахнули машинкой волосы и сейчас же сожгли их в колонке. Моментально выбросили куда-то и вонючее тряпье. Потом нарядили в серый балахон и привели в чистую комнату, где было много кроватей и девчат в таких же балахонах. Ее подвели к одной кровати около окна и сказали: «Вот твоя постель». Она с дикой тоской смотрела в окно. Думала о Шаланде, о собаке. Все здесь было противно — и серые балахоны, и скучные ряды кроватей, и бездушная чистота. Тут много света, воздуха, тут — сытно и просторно, но жить нельзя: за ней сразу же стали следить, командовать, ставить в ряды, заставлять убирать комнату, мыть посуду, тщательно умываться и в часы ученья делать карандашом и красками какую-то ерунду. Девчата хихикали над ней и называли «голашкой» и «мухоловкой». Только одна девчушка, похожая на калмычку, пристально смотрела на нее и манила скуластой улыбкой. Но узкие глаза ее, подернутые слезинкой, играли скрытно и хитро. Она что-то упорно таила про себя. Все звали ее «курдючкой». Татьяна обратила на нее внимание рано утром на другой день. Как только она легла в постель, ей стало страшно: почувствовала, что вся она покрыта клеем, а простыня и подушка пахли канифолью. Ей стало лихо до тошноты. Она

сползла с постели, залезла под кровать и там сразу успокоилась: засыпая, она даже ощутила запах подвальной сырости и пыли, и ей казалось, что она опять среди своих ребят: во сне видела близко около себя Шаланду и чувствовала его теплоту. Проснулась она от толчков. У кровати на корточках сидела «курдючка» и молча улыбалась.

Татьяна обозлилась и ударила ее ногой. Калмычка опрокинулась и завыла. Вскочили девчата и выволокли ее из-под кровати за ноги, потом навалились на нее кучей и начали шлепать по голому телу. Она брыкалась, плевала в них, пиналась и какой-то девчонке прокусила грудишку. Девчонка завизжала и стала бить ее ногами. Вбежали женщины, разняли их и едва водворили порядок. А потом враждебно бурчали: «Ты эти свои босяцкие привычки оставь. Ишь моду какую выдумала,— под кроватью почивать. Тебе надо воспитываться — жизнь свою сделать трудовой и сознательной». Калмычка пристально смотрела на нее издали и загадочно улыбалась. И, слушая белоснежных воспитательниц, Татьяна, немая, смотрела с брезгливой рассеянностью мимо них. Она бесповоротно решила смыться из этого чистого, бесприютного рая. Впервые в жизни она переживала настоящий ужас от этих голых стен, от звонков, от безысходно-непроницаемых стекол. А самообслуживание — чистка комнат, уборка постелей, шитье, а потом ученье терзали ее, как пытка. Зачем? За какую вину? Что она им сделала? Ведь она не просилась к ним. Что им нужно от нее? Ватага, Астрахань, банда Шаланды, рынки, подвалы, собака, безграничная свобода — все это ослепляло Татьяну, как мечта о счастье.

Однажды ночью, когда все спали, Татьяна решила вылезти в окно. Она еще днем попробовала бесшумно открывать тяжелые рамы. Несколько раз вставала с кровати и понемногу крутила ручку шпингалета. Когда ей чудилось, что кто-то рядом возился и переставал сопеть, она опускалась на пол. Один раз, когда рама задребезжала, Татьяна замерла и чуть не задохнулась от сердцебиения. Никто не про-

снулся, но Татьяна чутко и подозрительно прислушивалась: свое дыхание, дрожащее от ударов сердца, и свою возню принимала за беспокойство девчат. И как-то мгновенно нашло на нее озорное желание — действовать без опаски: она ненавидела и эти стены, и этих девчат, с которыми она никогда не сдружится. Она презирала их идиотскую робость перед воспитателями и тупое их кокетство друг перед другом и перед мальчишками. Они были из другого мира. С злой радостью она связала в узел простыню, одеялку, наволочку и выпрыгнула из окна в палисадник. На улице было пустынно и темно. Где-то за углом шагал сторож и пискливо напевал песенку. Из палисадника нужно было выйти в калитку, которая как раз вела к воротам, где дежурил сторож. Татьяна предпочла перелезть через железную ограду. Она подняла узел и быстро юркнула в кусты. Когда схватилась за прутья и вскочила на каменный цоколь, до помрачения испугалась: сзади кто-то схватил ее за подол. Она оглянулась и увидела калмычку. Во тьме она очень хорошо заметила ее скуластую улыбку и белые зубы. Калмычка торопливо указывала рукой куда-то в сторону: можно, мол, шмыгнуть в дыру, а перелезать через ограду нет надобности. Она махнула ей ладошкой и побежала вдоль оградки.

Так они вместе с калмычкой и дали тягу из этого ненавистного дома.

Ночными улицами добрались до того подвала, где обитала банда Шаланды. Но там было пусто. Только крысы шарахнулись от них в разные углы. Как быть? Вероятно, Шаланда перекочевал в другое место, или махнул в другой город, или тоже попался в руки облавы, как и она, Татьяна.

Калмычка ласково мяла ее плечо. Потом обняла и поцеловала в шею. И, как только Татьяна услышала ее дыхание, она поняла, что с этого момента они связаны навсегда. Татьяна спросила: «Как тебя звать?» Калмычка ответила: «Марья». Татьяна удивилась и захохотала; ей девчонка показалась совсем маленькой, почти куклой от этого

имени, а «Марья» чудилась большой, жирной бабой. «Ты же — не Марья». Калмычка ответила упрямо и убежденно: «Я — Марья! Я давно зову себя Марьей». Татьяне стало любопытно. «Пускай, Марья так Марья... Лучше Маша». Калмычка строго и настойчиво поправила ее: «Никакая Маша — Марья». Татьяне стало легко. «А меня зовут Татьяной... Это как, по-твоему?» Калмычка без раздумья сказала: «Татьяна на реку похожа, а Марья — на лошадь». Татьяна зачванилась: «Хорошо. Ты не бойся: нам вместе придется колесить... Не знаешь, где найдешь, где потеряешь...» — закончила она мудростью, которую слышала не раз от женщин на промыслах.

Они решили ехать в Сухум. Пробрались на рынок. Светало. На рынке было еще пусто. Они приютились в ларьке и, прижавшись друг к дружке, заснули. Вскочили они, когда заговорили люди. На толкучке уже бродили барахольщики. Свой узелок Татьяна продала кривому татарину с крючковатым носом и большим зубом, который торчал из-под коричневых усов. Дал он ей мятую бумажку. Они купили хлеба и арбуз. Потом пошли на вокзал. Отправлялся какой-то поезд. Народу было так много, что нельзя было пройти на перрон. Они прыгали через тела, узлы, сундуки, проскочили, как ящерицы, к поезду и забрались на крышу вагона. Там уже сидели и лежали люди. Пристроились они около одного грузина в очках и в солдатской шинели. Остренькая бородка делала его добродушным. Всю дорогу он улыбался им и угощал хлебом. Они наврали ему, что едут к родителям в Тифлис. Отцы отвоевались, а теперь требуют их к себе. Они из детского дома. Гражданин засмеялся и подмигнул им. «Стриганули, девчата? Признавайтесь. Я никому не скажу». Татьяна нахально спросила: «Ты в тюрьме сидел?» Гражданин смутился и покраснел, но засмеялся, поправляя очки: «Немножко сидел». — «Ну, так в этом идиотском доме в тысячу раз хуже. Попробуй попасть туда». Гражданин с сожалением сказал: «Устарел, девчата: не влезу в детский дом». — «Ну, счастлив

твой бог». Он вздохнул. «А вы счастливее моего бога».

Так они доехали до Тифлиса. Марья всю дорогу цепко держалась за Татьяну — боялась упасть.

В Тифлисе были строгости, весь город полон военными. На базарах им удалось стащить кое-какой *шамовки,* и они едва унесли ноги, когда завизжала грузинка с черными усиками. Ночевали они на Давыдовской горе, в камнях.

3

Эти два года кажутся непрерывной ездой. В Сухуме они перезимовали; пели песни и плясали у санаториев перед больными. Калмычка принесла с собою напевы и пляску степей и юрт. Жилось им свободно и удобно. Гнездо они себе свили в развалинах дома, за городом, в стороне от шоссе. Здесь Татьяна пережила первое страшное событие, которое потрясло ее на всю жизнь, но и укрепило ее силы и характер. Жизнь без Шаланды приучила ее к самостоятельности, к находчивости, к независимости.

Однажды весной Татьяну и Марью застиг на улице Дельфин, вожак одной банды. Он очень ласково схватил их обеих за шеи и с улыбочкой сказал: «В моей республике один закон: добычу на бочку. Мой салон — вилла такая-то. А ваши каюты и маршруты мне хорошо известны». Татьяна вырвалась и с презрением обрезала: «Сволочь ты и дурак. Ты — не вожак, а дармоед. Я вот найду Шаланду и покажу ему твое зеркало...» Он презрительно засмеялся, отпустил Марью, ни живую ни мертвую. «Хорошо. Ты будешь моей марухой. Красивая. А Шаланда потух: спичка сгорела, а уголек я бросил в море». Татьяна не поверила (она уже знала приемы таких парней — оглушить и брать на *фонарь*): откуда он знает Шаланду? Дельфин ушел от них с тонкой улыбкой человека, имеющего неограниченную власть: можете, мол, пока стрелять как угодно, но вы — в моих руках. Татьяна в тревоге потащила Марью, и они окольными

переулками вышли за город. Татьяна решила как-то без раздумья: нужно иметь оружие. Нападет Дельфин — она его зарежет, хотя бы ей и самой пришлось погибнуть. Красть такие вещи она еще не научилась. Это нужно сделать проще, безопаснее. Девочки шли по шоссе к Новому Афону. Они заметили уже раньше, как по этому шоссе каждый день ходила разболтанной походкой оборванная, похожая на дурочку, моложавая женщина. Эта женщина, очевидно, была раньше «из благородных»: и в лице, и в гордо вздернутой голове, и в фигуре видна была «барыня». Однажды Татьяна встретила ее отдыхающей в бурьяне, у дороги. Ела она какую-то гадость, в руке блестел маленький кинжальчик. «Мы идем сейчас на охоту, Марья», — сказала Татьяна. Марья не удивилась. «У этой дурочки... знаешь?.. есть кинжал. Он нам нужен». Марья кивнула головой. «У меня тоже есть». И она вытащила откуда-то из-под юбчонки тоненький ножичек, похожий на финку. Татьяна раньше его не видела. «Откуда он у тебя?» Марья деловито ответила: «Он у меня всегда». — «Как же его не отобрали? — «Его никто не найдет. Его нет, а он — у меня». Ножичек был опасный, как змея. Он исчез так же внезапно, как и появился. Марья была серьезна и уверена в себе. Такой ее Татьяна еще не видела. «Ты, Марья, молодец». Марья гордо подтвердила: «Да».

Шли они с час. Был март, и солнце грело по-весеннему. Шоссе сухо желтело, как накаленное. Зеленели ранние кустарники и травы. По камням и скалам кудряво расползался плющ. Море блистало зеркально, и в разных местах по его поверхности роями летали ослепительные искры. Ныряли парами дельфины. Кружились чайки. Пахло теплой сыростью и тлением. Всюду на солнце белели и синели цветочки.

Барыня лежала неподалеку от дороги, на горке. Должно быть, она покушала, пригрелась и заснула. Ее никто никогда не обижал: ее считали блаженной, юродивой. Она никогда не просила ни приюта, ни милостыни. А когда крестьяне-абхазцы протягивали

ей хлеб, она презрительно фыркала и гордо проходила мимо.

Татьяна и Марья подползли к ней и увидели ее полунагой. Здесь же лежал и кинжальчик с костяной ручкой, отделанной серебром. Татьяна схватила его, всунула лезвие в ножны и хотела уползти обратно.. Но барыня проснулась, медленно села и с удивлением уставилась на девчат. «Ты гнусная воровка...» — сказала она брезгливо. Татьяна встала и мигнула Марье. Марья подошла и встала рядом с нею. «Нет, я не воровка».— «Возврати мой кинжал».— «Не отдам. Он мне нужен. Тебе не с кем драться». Барыня закачалась взад и вперед и заплакала. Она с ужасом смотрела на Татьяну и скалила зубы от рыданий. Потом упала на траву и стала биться и хрипеть. Девочки бросились бежать по дороге к городу.

Ночью в развалины к девочкам пришел Дельфин. Они, обнявшись, лежали в зарослях барбариса. «Ну-ка, марушки... выкладывайте ваши богатства. Завтра пойдете стрелять по моей инструкции». Он поймал Татьяну за голое плечо, она вздрогнула: рука у него была длиннопалая и холодная.

Произошло все быстро и просто. Татьяна долго отбивалась, отступая от Дельфина. Она размахивала кинжалом перед ним, а он безбоязненно наступал на нее и старался схватить за руку. Она очень волновалась — не рассчитывала движений, да и не думала пускать оружие в дело. Невыносимо больно он сжал ее локоть, а другою рукою, будто играя, выщелучил кинжал из ее пальцев. Замирая, она крикнула: «Марья!» Дельфин охнул и повалился на камни. Марья держала свой ножичек и молчала. Татьяна выхватила у Дельфина свой кинжал и бросилась бежать. Опамятовалась она у дороги одна. Было очень темно — ни звезд, ни луны: южные ночи бездонны и непроглядны. Даже дороги не видно было под ногами. Истерически визжали шакалы в горах, и их визги были похожи на припадочные выкрики женщин: шакалы как будто оплакивали Дельфина. Почему нет Марьи? А вдруг Дельфин очнулся и зарезал калмычку ее же ножичком? Татьяна несколько

раз сдавленно крикнула: «Марья! Марья!..» Калмычка выскочила из кустов. Она подлетела к ней внезапно — даже испугала. Свой ножичек она держала так же, как и тогда, — на отлете. Другой рукой шарила в кармане и звенела деньгами. «Вот... это — у него... на!» — «Это ты зачем?» — «Надо. Далеко пойдем. Покупать будем». Татьяна разозлилась и ударила ее по лицу. «Зачем это сделала?.. Обобрала?» Марья приняла удар спокойно, точно ожидала его. «Это не его деньги. Нам нужно». — «Спрячь ножик». Марья посмотрела на лезвие, присела и вытерла его о землю. Потом встала, подумала и сказала: «Он хотел задушить меня, но я его опять резала». Татьяну стала трясти лихорадка. «Ты так и меня зарежешь, Марья». — «Нет, это за тебя... за тебя всех буду резать...» Татьяне впервые показалось, что Марья была похожа на свой ножичек-змейку.

Так они шли до Сочи, с оглядкой, с постоянным страхом, по тропинкам в горах и по берегу моря, а ночью — по шоссе: боялись, как бы не было погони. В Сочи они пристроились под вагоном скорого поезда и добрались до Кавказской, а оттуда — до Краснодара. В Краснодаре им не понравилось: и холодно и зашарпанный городишко. Они махнули в Новороссийск. В Новороссийске тоже не понравилось: туго с шамовкой, голод, норд-ост, бесприютность. Решили пробраться на пароход и проехать в Крым. Но в этот момент их накрыли на пристани комсомольцы и отправили в колонию за город, в Мысхако, на виноградники.

На этот раз не только кинжальчик, но и ножик Марьи отобрала заведующая колонией — сухая, с коричневой охапкой волос, косая. Казалось, она смотрит одновременно в разные стороны: куда ни зайди, зрачок сверлит остро и пронзительно. За эту охапку волос ее прозвали Медузой. Татьяна и Марья замкнулись и онемели. Медузе они не отвечали на вопросы, как будто ее не слышали, а когда она хотела заняться ими, они проходили мимо, точно перед ними была пустота. И опять Татьяна переживала ту же мучительную тоску по свободе, как и в бакинском

детском доме. Вместе с Марьей они работали на виноградниках, убирали комнаты, малевали картинки и задыхались от скуки. Часто уходили в горы или к морю, слушали плеск волн, смотрели на летающих чаек, на далекие белопарусники и думали об одном: надо бежать из колонии во что бы то ни стало.

4

Однажды летом они все-таки выкрали свои ножички и ночью ушли из колонии. Утром они забрались в открытый товарный вагон. В вагоне было шестеро пассажиров: три женщины и трое мужчин. Женщины были разных возрастов: одна — молодая, прилично одетая, с лицом куклы, болтушка и хохотунья, другая — полнотелая сестра милосердия, молчаливая и равнодушная, третья — пожилая, обложенная мешками домохозяйка. Она все время сидела в куче своего добра, подозрительно следила за людьми и постоянно ощупывала вещи. Лицо ее лупилось, а нос блестел, будто смазанный маслом.

Молодой, очень бледный худой военный приветливо втолкнул их в теплушку. Татьяна уже расцвела в красивого подростка: и лицо спокойное, холодное, и фигура рослая, еще не созревшая, но уже сильная в формах, и рассчитанные самолюбивые движения. Поняла она одно: каждый день — это борьба, а в борьбе нельзя теряться. Как бы трудно и опасно ни было, надо пересилить страх. Это сознание пришло к ней после Баку, после Сухума, в те дни, когда они с Марьей шли пешком до Сочи. На поездах и в коммуне она уже муштровала себя каждый час, каждый день. Медуза и воспитатели возненавидели ее именно за это ее гордое, независимое и презрительное отношение к людям. Она остановилась перед военным и смело подняла голову. «Товарищ командир, вы, конечно, едете в этом вагоне?» — «Да, я еду в этом вагоне». — «Значит, вы возьмете нас с собой». — «Но я еду до Ростова». — «Ну, что ж, доедем и мы до Ростова, а там видно будет». — «Из

детского дома? Дали тягу?» Татьяна вызывающе оглядела его и прищурилась. Военный улыбнулся. «Садитесь. Я буду шефствовать над вами».

Пожилой человек, похожий на мастерового, ругался с домохозяйкой, толкая ногой мешки, и называл ее «лоханкой». «Ты меня не охаль, гвоздолуп, — кричала она дрябло. — У меня — сын красноармеец».

Третий был молодой парень. Он бездельничал, скучал, пел песни. Он попробовал потрогать Татьяну, но получил оплеуху. Военный простодушно предупредил его: «Повтори еще — и полетишь на южный полюс». Парень трусливо уполз в угол вагона. Он все время ластился около дамочки, но та его раза два осадила: «Вино есть?» — «Нет». — «Ну, и долой на длинную дистанцию».

Военный назвал себя Коробкиным. Он расспрашивал Татьяну о ее жизни, но она сказала: «Зачем? Я сейчас ученая». Он знающе улыбнулся: «Вижу. Ты сильная. Хочешь, будем с тобой переписываться?» Татьяна кивнула головой — согласна. Он показал глазами на Марью и спросил: «Это что же — твоя тень?» Татьяна засмеялась и обняла Марью. «Она — малютка, а никого не боится». Коробкин лукаво подмигнул: «Значит, было дело?» — «В нашем положении всяко бывает». Марья вдруг вскочила на колени. «Я с тобой всегда. До смерти не отстану. Вот пойду хлеба тебе добывать...» Коробкин долго смотрел на нее и почему-то вздохнул: «Вот это — верность, да».

Они сидели в дверях вагона и смотрели на знойные поля Кубани, пустые, заброшенные хлеборобами. Неслись мимо бурьяны, полынь, недавние окопы, подсолнечники. Летел на ветру обрывок газеты. Скучно проплывали далекие курганы и зеленые хуторки в дымке полдня. «Много трудов и затяжной борьбы потребуется, чтобы опять заволновались эти поля пшеницей... — задыхаясь, сказал Коробкин сурово. — Ты знаешь, что такое — куркули? Это страшная и коварная сила. Борьба с ними будет продолжаться годы. Вам надо научиться бороться и работать». Татьяна разозлилась: «Такие слова мы слышали».

Коробкин утомленно усмехнулся: «Вы не для детских домов. Вы нуждаетесь в иной организации жизни». Вдруг он покачнулся было, но превозмог слабость. «Есть у меня на Украине товарищ — чекист. Он собрал беспризорную братию. Ребята там сами себя воспитывают. Поехали бы вы туда и поглядели. Я письмо дам. Не понравится — уйдете: он держать не будет. Напишешь мне потом, как и что... а?» Татьяна верила Коробкину и чувствовала, что он один из тех людей, к которым привязываешься на всю жизнь. Но она привыкла не поддаваться настроению, а убеждаться собственными боками. Настроение и доверчивость — это удочка. Черт его знает, — может быть, и Коробкин один из тех, которые умеют без мыла залезть в душу... Она украдкой проверила его взглядом и равнодушно сказала: «Подумаю». А он понял этот ее взгляд и погладил ее по руке. «Не веришь ты мне, не веришь... Это хорошо, что не веришь. Добирайся до всего собственными силами и мозгом...» Потом вздохнул и тепло сказал: «Мужайся, дерись, не щадя сил!.. И еще одно: очень лакомая ты приманка для всяких хищников... Я мог бы вас в Ростове в детский дом пристроить, но это...» Татьяна докончила сердито: «Это идиотство». — «Пожалуй, для такого характера, как твой, верно — идиотство».

Они обсудили, как быть дальше. Он сойдет в Ростове. Ее с Марьей надо направить в тот город на Украине, где живет его приятель. Согласны ли они ехать прямо туда? Очень хорошо. Он сейчас напишет письмо, а завтра они будут в Ростове, и он достанет им командировку и проездные билеты. Письмо он написал дрожащей рукой, часто отдыхая, и передал ей без конверта, только на чистом месте написал адреса — и приятеля и свой временный, ростовский. Сначала он должен отдохнуть в клинике: врачи сказали ему, что у него от легких осталась четвертушка. А он им не поверил: он еще достаточно хорошо дышит, только слабость бывает изнурительной... Он бы не поехал, да товарищи прогнали... Чахотка от тяжелого ранения: один опасный враг ранил его на

улице... Правда, того расстреляли, но чахотка осталась... какая-то сволочная... да и рана еще не совсем зажила. Ночью он метался в жару, обливался потом, задыхался, хрипел и бредил. Татьяна ухаживала за ним. Он не выпускал ее руку и держал у себя на груди: «Мне так легче, Танечка. Не отнимай своей руки. Ты прекрасная девушка». Потом он сел, попросил воды. Она напоила его. От него исходил жар. Она держала его голову. Лицо его было мокро и липко. Он обнял ее и прижался головой к ее голове. «Я знаю... я верю... ты победишь... Ты мне сейчас — как родная сестренка... Жизнь у тебя впереди...» И от этого голоса и ласки, а может быть, оттого, что ей стало жалко Коробкина, она заплакала.

Перед утром она задремала в тот миг, когда он затих. А когда очнулась, он был без сознания. Последние часа два она сидела при нем неотлучно — сторожила его и не подпускала к нему никого. Впрочем, все лежали пластом в глубоком сне. Она хватилась Марьи — Марьи не было. Она, Марья, была здесь до той минуты, пока Татьяна не заснула, а когда очнулась... где же Марья? Парня тоже не было в вагоне. Что это? Сбежала ли она с парнишкой, или он обманом увел ее на остановке, или, может быть, она ушла на охоту за хлебом и ее схватили?..

Люди проснулись уже перед самым Ростовом, а когда поезд остановился, сестра милосердия, мастеровой с мешочницей и молодая дамочка сейчас же бросились к широкой дыре вагона. Татьяна наорала на них: «Чего вы разбегаетесь? Помогите человеку: он без памяти...» Сестра испугалась. «Я сейчас... посиди с ним».

И вагон сразу опустел. Коробкин лежал неподвижно и хрипел. Так просидела Татьяна с ним полчаса. С обеих сторон стояли красные вагоны и загораживали вокзал. Татьяна выпрыгнула и, ныряя под вагонами (они стояли в три ряда), выбежала на платформу. Окольными путями она пробралась в вокзал, нашла ОРТЧК и вошла в маленькую грязную комнату. Там никого не было, горько пахло та-

баком. Она бегала по коридорам и залам, густо забитым людскими свалками. Всюду лежали больные. Они стонали, метались в жару. В разных местах рыдали женщины, визжали дети.

Она увидела в толпе военного в ремнях, с рыжей кобурой на одном боку и кожаной сумкой — на другом. На левом рукаве — красная перевязка. «Товарищ, в вагоне лежит чекист Коробкин. Мы только что приехали. Он без памяти. Возьмите его». Чекист, небритый, весь измятый, с провалившимися щеками и глазами, тупо взглянул на нее и сказал: «Уже изъяли...» Она настойчиво и взволнованно крикнула: «Он сейчас лежит там... в четвертом составе... Я только что от него...» А чекист, оглядывая ее, бездушно повторил: «Сказано — изъяли, значит изъяли...» Тут уж ей стало совсем страшно. Платформа клокотала людьми. Стоял поезд. На буферах и на крышах вагонов было полно пассажиров. Думая о Коробкине, она пробралась через несколько составов и с трудом нашла свой поезд. Коробкина уже там не было. Возвратилась к пассажирскому в тот самый момент, когда кондуктор свистел в свой сверчок. Она юркнула под вагон и пристроилась там между какими-то железными переплетами.

На остановках она вылезала, чтобы промяться. Ехала уже часа три. У нее болело тело. Ей казалось, что она — ничтожная пылинка и ее в каждое мгновение может стряхнуть эта громада в ураган, бушующий внизу, в грохот и лязг колес. Был момент, когда она должна была переменить положение. Острое железо невыносимо жгло ноги и руки. Она почувствовала, что теряет точку опоры. Вот сейчас она оторвется и упадет... Миг — и от нее ничего не останется. Она висела над бешено несущейся метелью, между застывшими струями рельсов. Вихри песку, пыли жгли ее, как огонь, ослепляли, забивали рот, нос, уши, рвали платьишко...

В этом сокрушительном вое и визге она, сжимая зубы и теряя сознание, напряглась, как струна. И в последний миг, когда прошла волна безнадежного отчаяния, которое было похоже на сонное равнодушие, она услышала грохот колес на стрелках. Поезд стал замедлять ход, ливень песку прекратился, а воздух стал мягче и гуще. Никогда еще она не переживала такой потрясающей радости, как в эту минуту.

Она не помнила, как остановился поезд, не помнила той теплой тишины, когда вагон врос в землю — в памяти осталось только одно: ее отрывали от металла какие-то люди, а потом увидела над собою синее небо, солнечные облака и прибойный плеск моря где-то очень близко.

Город был тихий, слепой, а волны моря внизу, под обрывами, лениво ползли на песчаные отмели. Всюду безлюдье — не до купанья было в те бездомные годы. Она сбросила платьишко и стала полоскаться, смывать кровь с лица, рук и ног и плавать. И в волнах она чувствовала себя воздушной чайкой. Тело свое видела в воде зеленым и прозрачным.

Ныряя и плавая, она увидела у своего платьишка парня в полосатой матросской рубахе и брюках-клеш. Он курил папиросу и смотрел на нее издали равнодушно, но пристально. Кинжальчик лежал под платьишком. Если этот парень похитит его, она погибла. Но он не обращал внимания на ее тряпки. Татьяна уже приучила себя пользоваться последней минутой надежды. Эта минута была для нее спасительной: надо только собрать все силы в кулак и решительно идти напролом. Она вышла на берег.

— А ну-ка, отдай в сторону!.. — сказала она угрожающе. — Я не переношу запаха кота...

Парень был высокий и сухой, как вобла. Он смеялся и осматривал ее сбоку, как петух.

— Тебе надо покушать и отдохнуть, джаным. Я вижу на твоем лице печать голода и страдания.

Он как будто декламировал с эстрады.

— Поворота кругом! — приказала она. — Иначе у нас не будет разговора.

— Ах, принцесса! Твоя нагота меня ослепляет.

Она схватила камень и замахнулась на него. Глаза ее стали темными, а брови жгучими. Парень театрально отвернулся.

Она быстро набросила на себя платьишко, спрятала кинжальчик и пошла по песчаному берегу. Парень не отставал от нее.

— Держи по дороге вверх, джаным, алло!

— Я пойду туда, куда мне нужно. Нам с тобой — не по дороге.

Татьяна ощутила его руку и вздрогнула от отвращения. Он сопел и посвистывал кривым носом. Она быстро обернулась к нему и оглядела его исподлобья. Вероятно, в ее глазах он увидел что-то опасное: он изумленно пошевелил бровями, ласково улыбнулся, вынул финку из кармана и поиграл ею перед ее лицом, как жонглер.

— Это стальное перо может подписать любой приговор, Кармен.

Татьяне казалось, что она стоит на туго натянутой ниточке или на лезвии этой порхающей финки. Ее загоревшее лицо серело, и вся она, как завороженная, зорко следила за полетом ножа.

Быстрым взмахом она вышибла из его рук финку. Как кошка, подхватила ее и бросила в море. Парень оскалил зубы.

— Ловко! Красивый жест.

Берег был крутой и сразу же спускался в воду. Татьяна бросилась вверх по камням и осыпям земли. Руки парня, как щупальцы, схватили ее за платье. Татьяна с ужасом почувствовала, что они сейчас же опутают ее, как веревки.

Она обернулась и ударила его по лицу. Он потерял равновесие и кубарем полетел вниз. Сорвался большой камень и, прыгая, быстро покатился за ним. Настиг он его уже у воды, ушиб его и швырнул в волны. Парень нырнул, потом забарахтался и стал захлебываться. Татьяна бегом спустилась по обрыву и протянула руку.

— Ну, ну... давай, давай!.. Больно ударил камень-то?

Он, жалкий, испуганный, сел на скалу и, не оборачиваясь, пробормотал:

— Уползай сейчас же, пока цела... Ну? Алло!..

Далеко, по тропинке вниз, спускались оборванцы.

Она всегда помнила это событие и с ужасом спрашивала себя: как могло случиться, что ее миновала кровавая расправа?

6

Так она добралась до того городка, где была колония, организованная другом Коробкина — Шастиком. Она занимала старинное помещичье имение, с большим парком и прудами в зеленой ряске. Встретили ее парни и девчата, чистые, опрятно одетые. Они окружили ее тесной, крикливой толпой. В вестибюле, у двери, стояла девчуха с повязкой на щеке, с винтовкой у ноги. Она пристально и строго оглядела Татьяну, но не пошевелилась — точно была в столбняке. Ребята провели Татьяну по коридору под руки, смеялись, спрашивали, но она, оглушенная, ничего не понимала, и ей стало жутковато. Ей показалось, что она сама по-дурацки попала в западню, что Коробкин, пожалуй, обманул ее. Этот темный коридор, девчуха с винтовкой и орава ребят встревожили ее; захотелось убежать отсюда без оглядки. Но упрямая гордость заставила ее держаться уверенно и смело.

— Ведите меня к самому Шастику. Я имею к нему поручение.

Открылась дверь, и Татьяну ослепило солнце. Пол, столы, стены пылали огнем. Большие окна были открыты настежь. За окнами — густая синева и дымная глубина соснового леса. Навстречу шел высокий, плечистый человек в коричневой гимнастерке.

— Я — к товарищу Шастику.

— Я — Шастик.

Он взял ее за руки и провел к столу.

— Садись.

— Я — от Коробкина. Знаете такого?

— Знаю такого. Раз ты от Коробкина — ты моя

гостья и друг. Вот сюда садись, рядом со мной. От Коробкина давно не имею известий.

— С Коробкиным я ехала в товарном до Ростова. Вот письмо. Больной он... может, и помер...

Шастик взял письмо и, прежде чем прочесть его, оглядел Татьяну внимательно и заботливо. Щеки и большой лоб были освещены отраженным от пола солнцем. Он пробегал глазами по строчкам, и глаза у него улыбались, грустнели, недоумевали и лукаво щурились. Он вздохнул, бережно сложил измятую, грязную бумажку и осторожно спрятал ее в карман.

— Спасибо тебе за это письмо. Если ты его читала...

— Я его не читала. Коробкин говорил о вас так, что сердце билось.

— С этим парнем мы всю гражданскую войну прошли... Бесстрашный человек... Он очень на меня влиял...

— А он говорил, что вы на него влияли...

— Ну! — Шастик засмеялся растроганно. — Друзья, очевидно, взваливают друг на друга всякие добродетели... Итак, погостишь у нас?

— Не знаю... погляжу...

Он встретился с ней глазами (глаза его были навыкате, молодые, теплые, лукавые) и улыбнулся. Этой улыбки не могла выдержать Татьяна и сама улыбнулась: в этой улыбке Шастик как будто весь распахнулся. Ей стало так легко и хорошо, что хотелось погладить Шастика по руке.

— Вот что, Таня. Ты у нас погости, отдохни хорошенько, а потом увидишь: если понравится — останься. Но мне хотелось бы, чтобы ты чувствовала себя здесь вольготно, чтобы ты нашла у нас свой дом, свою семью. Ребята у нас неплохие. Жизнь трудовая. Организуем мастерские. Завод решили строить. Рабфак открываем, школу, курсы. Богато и интересно стараемся жить. Театр у нас свой, капелла и разные кружки. Сама увидишь. А сейчас пойдешь в ванную — вымоешься. Познакомишься с молодежью. Видишь, как они встретили тебя? Мне нравится... обрадовались...

Что-то приятное, умное, задушевное было в этом человеке. Он был похож чем-то на Коробкина, а чем — не могла сказать. Вероятно, этой задушевностью и простотой. И Коробкин и Шастик были в ее глазах необычными людьми. Они живут и действуют не так, как остальные: в них горит какая-то чудесная сила, и дела их и слова неотразимы и прекрасны. Пусть она потеряла Коробкина, но зато нашла его друга.

— Я справлюсь о Коробкине... — сказал он грустно и опять вынул из кармана письмо. — Я напишу в Ростов. Долго я о нем не имел известий. Знал, что болен, но не предполагал, что так серьезно... Молодой, энергичный, талантливый человек... Жить бы ему надо...

Он опять улыбнулся, и опять от его улыбки повеяло на Татьяну теплом и сиянием.

— Какой он молодец, Коробкин-то, что направил тебя ко мне...

— А к кому же другому он мог меня направить?.. Он думал только о вас... и говорил о вас...

— Ну, как!.. у нас много близких друзей и соратников...

— Много... — рассердилась Татьяна. — Говорите, что угодно, только таких, как вы, нет...

— Это почему же? — И у него лукаво вспыхнули глаза.

— А потому... потому что вы хороший, как он...

И опять они улыбнулись друг другу.

Так началась новая жизнь у Татьяны.

III. ЗА СТАКАНОМ ЧАЯ

1

Мирон шел по улице поселка на собрание актива. До заседания он решил зайти к Балееву. В настроении Викентия Михайловича опять колебания. Иностранная консультация заявила, что она не бе-

рет на себя ответственности за доброкачественность бетона при таких немыслимых темпах и рекордах. Его заместитель Стрижевский держит себя как заговорщик. Балеев видел, как он организовал вокруг себя всех старых специалистов. Пошли слухи о невменяемости Балеева, о его странной привязанности к белке, к девочке-калечке, о трусости его перед Ватагиным. Заговорили о карьеризме Мирона и Чумалова, о том, что они ловко прибрали к рукам начстроя. Стали говорить о Стрижевском как о преемнике Балеева. Намекали на то, что Бубликов — жертва, пешка, ширма, что арест его — это отвод глаз, а главные организаторы вредительства — Стрижевский и Шлиппе, что вредительская организация не только не ликвидирована, но укрепилась и захватила большинство инженеров стройки, что Балеев знает об этой организации, но молчит, потому что боится за свою шкуру. Находились такие болтуны, которые утверждали, что Балеев сам косвенно принимает участие во вредительской организации, так как вынужден поддерживать ее по директиве откуда-то свыше. Дальше сплетничали о том, что встречный план — это стратегический ход вредителей. При этом указывали на Бубликова, который рьяно выставлял себя сторонником встречного плана. Об этом шептались в гостях друг у друга, за стаканом чая, на улице, на участках, в управлении, в клубах, в кино и даже на курсах по повышению квалификации.

В другое время Мирон не придал бы этим сплетням никакого значения, но сейчас, в дни особенно напряженной подготовки к развороту работ и к созданию крепкого ведущего коллектива ударных бригад, такие настроения среди инженерно-технического персонала и рабочих грозили разложением. Несомненно, кто-то был заинтересован в распространении нелепых слухов — именно таких, которые волновали бы своей дурацкой неожиданностью и неправдоподобием. Часто к нему заходил Емельян в сопровождении красноармейца. Емельян предупреждал техсекретаря, кудрявого парня с преданными глазами:

— Прояви-ка свой ангельский дар, голубчик, чтобы через три минуты был доставлен чаек... и покрепче, знаешь...

Парня звали Ангелом, и Емельян всегда шутил над его именем.

— Есть, товарищ Емельян.

— Подлинно ангел: исполнителен и проникновенен.

— Я, товарищ Емельян, эту свою мистику ликвидирую. Черт ли! Меняю Ангела на Дудора.

— Зря. Стыдишься, приноравливаешься... Нехорошо. Чем Дудор лучше Ангела?

— А тем, что и самому придраться не к чему и звучит сердито.

Емельян скрывался за дверью, а красноармеец садился около стола Ангела на деревянный диванчик.

— Хороший парень! — восхищался Ангел, кивая головой вслед Емельяну.

— У-у! Товарищ Емельян? — цены нет!..

О чем толковали Емельян с Мироном в кабинете, какие решали вопросы — ни Ангелу, ни красноармейцу ничего не было известно. Может быть, они делали какие-то догадки, но каждый про себя: они оба были большие конспираторы и «в порядке охраны» ни словом не тревожили друг друга, а говорили о самых обычных вещах: о том, сколько раз в декаду каждый бреется, когда бывает в кино, с какими девчатами гуляет в свободный час.

Вечер был прозрачный, оранжевый, звонкий. Небо горело за домами алой пылью. Направо, глубоко внизу, неслась река в фиолетовой дымке.

Всюду лучились огни, но они были еще бледны в свете закатного сияния.

Мирон уже не замечал всего этого величия: это был только объект его работы — будничная, трудовая жизнь. Красота сооружений, гигантские размахи площадок с живым движением механизмов, с густой сетью рельсовых путей, целый город заводов, мастерских и всяких подсобных предприятий, десятки тысяч рабочих, дым, пар, густые облака взрывов, голубые башни, взлетающие со дна реки, — все это

уже не волновало его, а постоянно держало в напряжении, в беспокойстве, в тревоге за завтрашний день.

В огромных окнах квартиры Балеева ярко горело электричество. В столовой блистал самовар, за столом сидело четверо: сам Балеев, Варвара Михайловна, очень важная и величавая, Константин в рубахе с засученными рукавами и, к удивлению Мирона, Глеб Чумалов. Ораторствовал Константин, размахивая руками и устремляясь то к Чумалову, то к Балееву. Варвара Михайловна, сверкая золотым пенсне, в ужасе отмахивалась от него.

— Мирон Васильевич!

Опираясь на подоконник, Балеев высунулся в окно и махнул рукой.

— Очень кстати, честное слово... У нас самовар на столе... Глеб Иванович здесь... Ну, ну! без всяких церемоний...

Не успел Мирон войти на крыльцо, как стеклянная дверь распахнулась и пожилая горничная в белом переднике, в кружевном чепчике, очень опрятная, немножко чопорная, кивнула ему головой.

— Пожалуйте, товарищ Ватагин!

Приемная была залита светом, всюду по углам — цветы, пол натерт до глянца, но стены — простые, побеленные известкой, и стулья и столики простые.

Балеев встретил его в дверях. Он был в вышитой русской косоворотке. Протягивая руку, он громко и грубовато сказал:

— Давно бы так... Хорошо, что в окно увидел, а то бы...

Важно подняв седую голову, Варвара Михайловна, сдержанно улыбаясь, оттягивала нитку жемчуга.

Мирон подошел к ней, очень осторожно взял ее тонкие пальцы и как-то совсем неожиданно для себя и для всех поцеловал ее руку.

Константин ликовал:

— Какое огромное удовольствие доставили вы нам, Мирон Васильевич!.. Это замечательно.

С чуть заметной насмешкой в голосе Варвара Михайловна сказала, растягивая слова:

— Сюда, товарищ Ватагин. Между мною и Викентием Михайловичем вам будет более уютно.

Мирону было приятно и беспокойно от этой пронзительной (он так и подумал: «пронзительной») чистоты и строгой опрятности. Всюду, по стенам, перистые пальмы, жирные лапы филодендронов, цветущие олеандры. Широкий тяжелый буфет занимал почти всю стену и радушно переливался огранкой толстых стекол.

Варвара Михайловна налила стакан чаю Мирону; он подхватил блюдечко и даже поклонился, когда благодарил. Не знал, как держать себя, и стеснялся. А Глеб чувствовал себя свободно: он громко кусал сахар, хотя перед ним лежали щипчики, и хлебал чай из блюдечка. Он даже похлопал по спине Константина и развязно сказал ему:

— По вашей комплекции, товарищ пианист, вам нужно быть водолазом. Ручки-то!..— он с восхищением помял ему бицепсы, — ручки-то!... как у атлета...

Балеев откинулся на спинку стула и усмехнулся.

— У вас, Глеб Иванович, что называется, натуралистическое отношение к миру.

Константин наклонился к Глебу.

— Рояль — инструмент тяжелый, но клавиши могут играть и тогда, когда по ним прыгает воробей. Эти клавиши производят ураган под пальцами мастера.

О предстоящем заседании не говорили, точно избегали касаться тех вопросов, которые волновали всех. Варвара Михайловна пожаловалась на Константина, что он занимается не своим делом: смешно музыканту сидеть в кабинке кранового машиниста. Глеб поддержал ее: пожурил пианиста и назвал его опрощенцем. Балеев пошутил, что Глеб Иванович подрывает основы — разлагает и разбазаривает кадры машинистов, которые подбираются с большим трудом. Поговорили немного о музыке. Викентий Михайлович трунил над Константином: признать, мол, за музыкой функцию труда едва ли возможно. Недаром музыканты переходят на краны и садятся

на бухгалтерский стул. У них атрофируется «чувство зада». Старик Гёте тонко съехидничал: «Если зада не дано, на что же сядет рыцарь?..» Варвара Михайловна возмущенно взмахнула руками и рассмеялась.

Константин загорячился и стал доказывать, что высокое искусство создается народом деятельным, ведущим и расцветает в эпохи исторических переворотов. Взять хотя бы Возрождение... Русский народ один из талантливых и активных народов, и искусство у него — богатое. Он, Константин, согласен с Костомаровым, что лучшие русские песни прославляют больше всего силу и настойчивость, в них чувствуется душа сильного работника.

Викентий Михайлович с усмешкой возразил:

— А вот Карлейль когда-то провозгласил особую добродетель русского народа — «талант повиновения».

Он медленно сжал кулак, показывая, как понимать этот «талант повиновения».

— Народа-раба, народа-непротивленца...

— Басни, — запротестовал Мирон. — Это дворяне и интеллигенты выдумали. Они очень любили повторять: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» в качестве созерцателя. А этот народ «под ношей крестной», как деятель и борец, сбросил их под откос. Он строит свой мир. Он создал свою эпоху. А эта эпоха — сплошная борьба. Наше созидание, наши перевороты в индустрии приводят его в трепет: большевики грозно перевооружаются, они возводят неприступные твердыни, они и армию и всю страну одевают в сталь. А посему настало время истребить этих проклятых большевиков, оседлать земной шар и от удовольствия заболтать ногами. Мы — накануне мировой войны. Да что накануне! Война уже идет: каждая новая стройка — это уже поле сражения. Взять хотя бы нас: последние события — это не только разведка, но настоящее диверсионное наступление. Хабло и Бубликов — это не только внутренние враги, но и вожаки десантных отрядов. Немцы, — а мы знаем их породу, — внешне

ведут себя лояльно, но я убежден, что это шпионы и организаторы тайных фашистских банд. Нам пора, кажется, по-настоящему перейти на казарменное положение.

По свойственной Глебу прямоте и горячности, он в упор спросил Балеева:

— А вы разве доверяете тому же Стрижевскому? Шлиппе — не в счет: этот глуп, как мудрец.

Викентий Михайлович сурово взглянул на него и пошевелил недобрыми бровями. Он сердито хмыкнул и пробормотал:

— Об этом за чаем не говорят.

Мирон заметил, что арест Бубликова, Хабло и других вредителей очень крепко сплотил рабочие массы и здоровые кадры инженеров. Пришли свежие силы — и квалифицированные рабочие и сезонники. Наплыв людей так велик, что негде их размещать. А вот Стрижевский, ведающий строительными работами, тормозит постройку новых домов. Надо заставить его выполнять порученное ему дело в твердые сроки. Вообще этот человек беспокоит Мирона: около него группируется подозрительная публика. Почему он замял дело с пожаром на комбинатах? Кряжич — честный человек, но на него вредно влияет Стрижевский. Бубликов тоже хотел повлиять на Кряжича, но не учел, с кем имеет дело. Надо Кряжичу помочь выбраться на правильный путь.

Викентий Михайлович хмурился и нетерпеливо стучал ложечкой о стакан.

— Вы несправедливы к Стрижевскому, — проворчал он. — Стрижевский — опытный и авторитетный инженер. В упрек ему можно поставить одно — излишнюю осторожность.

Чумалов встал и с грохотом отодвинул стул. Варвара Михайловна испуганно вздрогнула и с опаской посмотрела на него.

— Я знаю его осторожность... — сердито сказал он, выходя из-за стола. — Мы тоже осторожны, но наша осторожность — боевая. Его и наши цели — противоположны. Не защищайте его, Викентий Михайлович: он достаточно попортил всем крови.

— Да ведь он же интриган, дядя!.. — крикнул Константин. — Как ты этого не понимаешь!..

Балеев тоже встал и недобрым взглядом проводил Глеба.

— Так вы что же... считаете его вредителем?

Глеб остановился и, встретив взгляд Викентия Михайловича, с недоумением спросил:

— А разве он ваш единомышленник?

Все взглянули на Балеева в ожидании. Он молчал несколько секунд, не отрывая холодных глаз от Глеба. Варвара Михайловна мыла посуду и с тревогой поглядывала и на брата и на Чумалова. Константин улыбался, сдерживая вздох. Мирон сидел спиною к Варваре Михайловне и спокойно посасывал трубку.

— Единомыслие не обязательно в практике дела. Ленин говорил когда-то, что социализм строится и чужими руками.

— Да. Но эти чужие руки должны выполнять *нашу* работу. А Стрижевский нам противоборствует. Мы уже можем противопоставить другие силы, крепкие единомыслием. Без единомыслия не может быть побед, Викентий Михайлович.

Балеев с враждебной суровостью сел на свое место и подал стакан Варваре Михайловне. Она умоляюще глядела на брата, обеспокоенная спором.

— Да, да, Варя, покрепче!.. Все это ерунда! Мы таким образом можем разогнать всех ценных работников... Жидкий льешь, жидкий, Варя!.. Не только Стрижевского, но и Кряжича, и Старателева, и даже молодого Корытина...

Мирон хладнокровно заметил:

— Кряжич будет нашим единомышленником... если мы захотим... А Стрижевский с своей компанией будет бороться против нас до конца. Очень опасный человек.

Глеб подошел к ним и нетерпеливо перебил Мирона:

— Не забывайте, Викентий Михайлович, что он не стесняется сколачивать своих единомышленников и в наркомате... Слушки, сплетни сочиняются каждый

день... Наш секретарь Самородов — мастер собирать всякие нелепости. Он и вас угощает этой юмористикой.

— Самородова надо прогнать... — отрубил Балеев. — Он сам распространяет эти слушки и сплетни...

Мирон вынул трубку и обличительно ткнул ею в сторону Глеба.

— Вот. Я удивляюсь Чумалову. По-моему, этот Самородов — прохвост. Но Корытин — просто работяга. Правда, живет он только сегодняшним днем, а ведь завтрашний требует одушевления и мечты. Мечтать же он не способен. Поэтому он больше понимает Стрижевского и Кряжича.

Балеев сердито звенел ложечкой в стакане. Константин все время пытался вступить в разговор, но в то же время слушал и Глеба и Мирона с удовольствием. Он воспользовался паузой и горячо заговорил о том, что больше всего интересовало Мирона.

— Сегодня ты, дядя, должен обнажить свой меч...

— Это еще что за меч? — насмешливо осадил его Балеев.

Но Константин не смутился, а загорелся еще сильнее. Мирон поощрительно улыбнулся и подмигнул ему. А Глеб засмеялся и, заложив руки за спину, приготовился слушать.

— Правильно! Коль рубить, так уж сплеча...

Варвара Михайловна в ужасе уставилась на Константина, сняла пенсне, опять надела и простонала:

— Боже мой, Константин...

— Заранее обнажи меч, дядя, чтобы тебя не обезоружили. Стрижевский пожимает тебе руку очень деликатно и обворожительно сверкает зубами. Но его рука настойчиво и нежно отводит твою руку от меча. Однажды он тебе предъявил ультиматум, а сейчас провоцирует Кряжича. Лицемерие и провокация — вот его тактика. Я хотел бы, чтобы сегодня ты сокрушил черную гвардию... Глас народа, дядя...

Балеев пренебрежительно поднял одну бровь.

— В этих делах ты, Костя, круглый музыкант.

Глеб опять засмеялся и дружески пошлепал по плечу Константина.

А Мирон заметил, что слова Кости взволновали Балеева. Очевидно, он почувствовал в них не только личное настроение музыканта. В последние дни Викентий Михайлович был сварлив и груб. Начальники отделов старались избегать встреч с ним, пропадали на участках. Стрижевский на его грубости улыбался, сверкая зубами, и как будто нарочно являлся к нему вместе со Шлиппе, с иностранными консультантами и ставил перед ним острейшие вопросы материального снабжения. И действительно, перебои в доставке леса, металла, труб, рельсов, паровозов, цемента, кирпича ставили стройку в тяжелое положение. Цемент присылался других марок, вместо пиленого леса засылались целые составы ненужного баласта и т. д.

— Какого черта сообщаете вы мне об этих безобразиях, Евгений Григорьевич? — кричал Балеев. — Это ваше дело. Вместо того чтобы мчаться в Москву, навели бы порядок в деле снабжения.

Стрижевский сверкал зубами и прикладывал ладонь к груди.

— Не вправе, Викентий Михайлович: это не моя функция. Консультанты не дают покоя ни мне, ни Генриху Карловичу...

Шлиппе безмятежно гладил свою бороду.

И Викентий Михайлович видел, что Стрижевский умело и тонко ведет игру; он прячется за спину иностранцев, подставляет под удар и Шлиппе и отдел снабжения и, главное, перелагает всю ответственность на него, Балеева. Было ясно: Стрижевский шел против него развернутым фронтом. Несомненно, что он имел своих людей и в отделе снабжения, и на железной дороге, и в центре, тесно связан был и с немецкими консультантами. Многие прорабы, вроде Корытина, и некоторые начальники объектов были под его влиянием, а добряка Шлиппе брал, очевидно, обманом. Всем было известно, что Кряжич уважал его и, не стесняясь, говорил о Стрижевском, как о человеке,

который мудрее всех решает вопросы хозяйственного плана. Поэтому сегодняшнее собрание для Викентия Михайловича было тяжелым испытанием. По существу это будет не борьба «встречников» и «хозпланщиков», а схватка между ним, Балеевым, и Стрижевским.

— Давайте договоримся, Викентий Михайлович,— услышал он голос Мирона. — Пусть наше слово сегодня будет последним.

— Я буду говорить тогда, когда найду нужным, — резко ответил Балеев.

Мирон встал и учтиво простился с Варварой Михайловной.

— Подождите, куда же вы? Сейчас поедем вместе.

— Я, Викентий Михайлович, пешком, — предупредил его Мирон. — Чумалов как хочет, а я предпочитаю шагать.

— Уговор, Викентий Михайлович,— сказал Глеб. — Я — у руля.

— Знаю я, какой вы у руля!.. Дудки!..

2

Высокий парень в юнгштурмовке, с рюкзаком за плечами, поднялся на открытую веранду, косматую от дикого винограда, и нажал пальцем белую пуговку: дверь отворилась, перед ним появилась Татьяна. Лицо ее вспыхнуло от радости.

— Наконец-то!.. Ведь поезд пришел два часа назад... Где же ты пропадал, Вакир?

— Прежде всего привет и любовь, Тибра.

Не отрывая взволнованных глаз от ее лица, он встряхнул ее руки, а потом поцеловал их в ладони — то одну, то другую.

— Ой, какой же ты стал славный, Вакир!..

Вакир все еще любовался ею и, борясь со своим счастьем, сдержанно говорил:

— Тут у вас, извини, пожалуйста, такие масштабы и пространства, что пехтурой до цели не доскачешь.

Татьяна смеялась.

Вакир снял рюкзак и осторожно положил его у стены, около двери. И, когда сорвал кепку, стал лобастым, самоуверенным. Глаза у него были большие, пристальные, с коричневым жарком, самолюбивые. Постороннему человеку они показались бы недобрыми, заносчивыми.

— Надо прямо сказать, Тибра: выглядишь ты вполне литературно. Красавица. Вот как наука-то облагораживает...

Она оглядывала его со всех сторон.

— Тибра! Ведь я еще не обнял тебя с дороги. Могу?

— Тебе виднее.

Он прижал ее к себе, поцеловал и быстро отошел в сторону.

Татьяна с восхищением проводила его взглядом и улыбнулась: какой молодец! как научился владеть собою!

Оба помолчали, еще пьяные от радости, не находя слов в первые минуты встречи. Переглядываясь, они смеялись и как будто стеснялись друг друга.

— Последнее твое письмо, Тибра, взбудоражило ребят. Ежели, говорят, Тибра требует, — бери ноги на плечи — и лети. Хотел на аэроплане, да начальник аэродрома закапризничал: в мерку, говорит, не вышел, чтобы к невесте — по воздусям.

Татьяна смеялась.

— Ты, дорогой мой, сумел завоевать самого себя. А завоевать невесту — не хитро.

— Ах, Тибра, родная, у тебя — вызывающий румянец на щеках...

Татьяна захлопотала около стола и блеснула чайником.

— Садись, закусывай. С чем тебе чай — с молоком или с вареньем?

— С поцелуями.

Татьяна погрозила ему кулачком.

— О ребятах ты уже говорил. А Шастик?

— Он дал мне увольнительную бумажку сроком на десять дней, чтобы выполнить формальности в

загсе. Ну, любовные переговоры, проверка темпераментов, то, сё... В декаду уложится...

— Дай-ка мне эту бумажку.

Вакир небрежно вынул записную книжку, порылся в ней и мимоходом бросил на стол перед Татьяной вчетверо сложенный листок.

Она с серьезным видом пробежала глазами по строчкам.

— Родной, милый Шастик!.. Он пишет здесь, что посылает тебя в мое распоряжение.

— Ну, это липа, Тибра. Бумажка ясно говорит, что я должен возвратиться в цех с новыми силами.

— Ты так думаешь? Очень хорошо. Но я смысл бумажки понимаю иначе.

Она разорвала ее на мелкие кусочки и бросила их в корзинку под столом.

— Теперь ты, милый Вакир, свободен и можешь располагать собою, как хочешь.

Вакир стоял перед нею озадаченный.

— Подожди... Ведь я же теперь как будто опять вроде Гавроша...

— Сядь со мной, Вакир, ты — далеко. Рассказывай мне о своей жизни в колонии, о Шастике...

— Через десять дней я должен возвратиться. Бригада моя заиграет в чехарду.

Глаза Татьяны смеялись, но сказала она сердито:

— Ты будешь работать здесь. Пойдешь на монтаж электростанции. Это решено.

Вакир знал ее хорошо: часто о серьезных вещах она говорила шутливо, а шутка выливалась в серьезных словах. У нее это выходило ловко и тонко. И от этого иногда ребята попадали впросак. Было всегда весело и занятно, и всем казалось, что они после этого становились умнее и лучше.

Перед ним открывался свободный выход в жизнь, где он мог располагать собою как угодно. Прошлое исчезло, не оставляя следа, и никто из окружающих его людей не догадается о том, что он был когда-то *уркаганом*. Здесь открытые горизонты, и к этим горизонтам ведут бесчисленные пути. Он может выбирать любую дорогу и пробиваться к своим заветным

целям. А рядом с ним — Тибра, неизменный друг и товарищ. Это та же Тибра, но здесь она — другая: она стала значительнее, больше, сложнее. Она воспитана колонией, но колония уже не может ее вместить. Ребята провожали его как родные братья и кричали ему в окно вагона:

— Возвращайся скорее, Вакир. Не задерживайся там. Приветствуй Тибру.

А Шастик прощально помахивал рукой и добродушно морщился от хорошей улыбки.

— Знай одно, Вакир: ты свободен. Я в тебе уверен твердо — ты не подкачаешь. Пожми руку Татьяне.

Что это были за странные проводы? Он уезжал на десять дней, а его напутствовали как отъезжающего в неведомый край. Впрочем, что же тут странного и необычного, когда он действительно уезжал за эти годы впервые? Он вспомнил об этих проводах, о том, как обнял и поцеловал его Шастик, и мысль о том, что он может не возвратиться к ним, показалась ему чудовищной. Тибра решительно разорвала его отпускную и даже не поинтересовалась, хочет ли он остаться здесь и может ли так просто оставить колонию. Для нее колония — это далекие годы. Она уже утратила с нею все связи: она пришла в колонию сама и сама же вышла за ее порог. А для Вакира колония — целый переворот в душе: коммуна взяла его прежнюю кромешную, но желанную жизнь бродяги. Тибра для него была не просто случайной девчонкой, сердобольно, вместе с другими парнями, поднявшей его на гнусной площади базара, а чудесным видением, воплощением его неясных дум и мечтаний, которые мерещились ему в бесприютные ночи. Коммуна оказалась беспощаднее тюрьмы: в колонии не было ни стражи, ни слежки, ни высоких стен, ни замков. Но тысячи невидимых нитей связали его с такими же парнями, как он, с Триброй, с Шастиком, с каждым предметом. Ему хотелось бежать, но бежать был не в силах: что-то огромное, непостижимое удерживало его. Это была Тибра, это был Шастик, это были коммунары, такие же бывшие правонаруши-

тели, которые выбрали его в конфликтную комиссию. Это, наконец, работа в мастерской, где он постепенно от отвращения к труду пришел к радости за хорошо сделанные вещи.

— У тебя, Тибра, основной порок — въедаться в душу.

Татьяна подошла к нему и коснулась щекой его щеки.

— Вакир, ты самый родной и близкий мне человек...

Эта ее ласка была неожиданной для Вакира. Он растерялся и не знал, как держать себя и что ответить ей.

— И я, Вакир, вовсе не хочу насиловать тебя. Поживи, оглядись, понаблюдай. Признаюсь тебе: с Шастиком я уже договорилась.

— Но почему же он ничего не сказал?

— А разве тебе не дорога моя дружба?

Он порывисто обнял ее, и у него задрожал подбородок.

Да, он совсем стал новый — неузнаваемый, чужой и родной. За годы разлуки он вырос в настоящего мужчину: высокий, сильный, мускулистый, с мужественным лицом, он смотрел на нее ясным, честным взглядом убежденного в своей правоте человека, который знает, что такое путь к счастью. Татьяна не отрывала от него глаз и находила в нем новые и новые черты. Не только зрелость молодости расцветала в нем, но весь он светился внутренним благородством.

А когда-то «трудный» это был парень. Долго не могли переломить его: замкнутый в себе, болезненно подозрительный, он бродил по лесу и тосковал. От работы отлынивал, смотрел на всех с ненавистью и вызывающе посвистывал. Даже ее, Татьяну, не подпускал к себе: враждебно издевался на нею, говорил грубости, ругался и обидно оскорблял ее:

— Здесь все — лягавые... и ты — лягавая... Меня не возьмете на аркан. Вот укреплю корпус и уплыву в великий океан...

— Твой океан — болото, Вакир. Единственная там пристань — это шалман и домзак. Ты — трус.

Она уходила от него, а он усмехался, посвистывал, но незаметно для себя с беспокойством и с испугом смотрел ей вслед и медленно шагал по дорожке. Да, он мог убежать из колонии, мог не выходить на работы в мастерскую, мог в отчаянии ругать Шастика:

— Обработать хочешь?.. Не на такого напал. Я имел дело с шухерами, а с тобой, малиной, не хочу. Ты только ловишь лягавых мух. Я от папаши удрал, удирал от шухеров и угрозы и от вас удеру, хоть бы вы расставляли сотни облав...

А Шастик невозмутимо говорил ему с весельем в глазах:

— Я тебя не держу — иди. Не думай, что ты — дорогая дичь, а мы — охотники. Облавы! Это на тебя-то — облавы?.. Тебя подобрали полуживого, выходили, выкормили, окружили вниманием, дружбой, за тобой ухаживали. Бескорыстно — пойми! Человека спасали, на ноги ставили... Подумай...

— Хо, палкой в рай загнали... а в этом вашем раю подохнешь с тоски...

Шастик добродушно смеялся.

— Ну, что же, валяй, валяй!.. А должок-то уплатишь?.. Или просто на виду у всех обворуешь колонистов и улизнешь?..

Вакир вздрогнул.

— Липа!

— А кто же тебя кормил, одевал, ухаживал, лечил? Кто тебя кормит сейчас, чьей постелью ты пользуешься? Вот сегодня будет собрание, и ребята объяснят тебе...

— Наплевал я на ваше собрание.

Татьяна стояла у порога и смотрела только на него, Вакира. И когда он встретился с ней взглядом, понял: она одна жила в нем, как совесть, как мечта и надежда.

— Он был мелкий воришка, дядя Шастик. Но с прошлым у него кончено. Я за него ручаюсь... — И сразу же тоном приказания закончила: — На собрание он пойдет, дядя Шастик. Со мной пойдет.

Она взяла Вакира под руку и вывела его из комнаты.

— Скажи мне, чего ты хочешь? Ведь все, что желал бы ты иметь и о чем мечтаешь, будет у тебя...

— Напиться хочу... до смерти...

— Дурак, неужели ты так отупел? Ведь ты вот живой и здоровый потому, что среди нас...

И вот сейчас они сидели за чайным столом плечом к плечу и говорили ненасытно — о Шастике, о коммуне, о ребятах, — шалили и смеялись. Такие минуты братской нежности бывают только в ранней молодости.

IV. БОЙ

1

В новом Доме общественных организаций это многочисленное собрание было первым. Здание было двухэтажное, с портиком и обширным балконом. Широчайшая гудронированная улица была похожа на площадь, где должны происходить военные парады и демонстрации. Напротив строился кинотеатр, дальше шли многоэтажные корпуса жилых зданий соцгорода. По фасаду нарядно горели на клумбах и рабатках цветы. Улица сияла электричеством: матовые луны набухали светом вдоль тротуаров и у портика, а пронзительные яркие фонари улетали вдаль, в перспективу улицы, частой оторочкой.

Закончена была трамвайная линия в старый город, вплоть до вокзала — на пятнадцать километров, и со дня на день ждали появления шустрых блистающих вагонов. Это ожидание было приятно и тревожно: жизнь соцгорода будет тогда беспокойной, звонкой, говорливо-молодой.

Татьяна и Вакир прошли через просторный вестибюль, ярко сияющий снежно-белыми стенами и поющий эхом шагов и далеких голосов. Около книжного киоска толпились рабочие, а продавщица, хлопотливая и румяная, в кудряшках, металась за прилавком, слушая сразу нескольких человек.

Зал заседаний был огромный — во всю ширину здания, и эстрада с красным столом во весь просцениум казалась очень далекой, а люди за столом — маленькими, как подростки. На столе мутно и мягко зеленели абажуры ламп. На трибуне, отделанной под дуб, стоял юркий человек, конопатый, весь коричневый. Он кричал надсадным тенором и размахивал руками. Весь зал был туго набит людьми. Люди сидели и вдоль стен и на подоконниках. В президиуме Татьяна заметила Балеева, Стрижевского, Шлиппе с длинной бородой, Кряжича, почему-то необычно бледного. Мирон сидел в середине перед микрофоном. Он наклонялся к Балееву и доказывал ему что-то, вбивая кулаком в стол каждую свою фразу. Балеев сидел невозмутимо и посматривал на кулак Мирона.

Вакир впервые входил в такой огромный зал с такой массой людей. Никто не нарушал порядка, никто не курил, и хотя было душно, но дышалось свободно.

Этот зал казался величественным, массы людей — бесчисленными, голос оратора в репродукторах громоподобным, и все люди в президиуме и в зале — необыкновенными. Даже Татьяна стала вдруг какой-то новой, какой он ее не видел никогда.

— Это говорит Самородов... секретарь начстроя... — шепнула Татьяна, и ему сразу стало хорошо, когда ощутил ее дыхание. — Пыла у него избыток, кричит громче всех и вершит делами в управлении.

— Прохвост? Карьерист?

— Нет, вернее — конъюнктурный энтузиаст.

Самородов говорил весело, легкокрыло, острил, играл анекдотиками и изо всех сил старался понравиться людям.

— Нельзя сантиметрами измерять географические расстояния, а граммами — глыбы взорванной скалы. Тут надо переключаться на другие нормы и орбиты, — этого требует народ и революция. Крепкий фундамент социализма можно создать только железной волей и пламенной энергией. Наряду с орлами есть и другие птицы...

Кто-то крикнул в передних рядах:

— Воробьи и сороки!..

Зал загремел хохотом.

Татьяна оживленно разговаривала с каким-то очень высоким краснолицым человеком. Смуглый, большеголовый рабочий, похожий на любителя тяжелой атлетики, ласково жаловался:

— Пора кончать, товарищи, эту канитель... Горе одно, честное слово... Проблема одна — бить саботёров с треском...

И улыбнулся Вакиру, как другу. А сидящий перед ним синелицый металлист поучительно успокоил его:

— Внимай, Макуха, в последний раз. Чтобы драться, надо терпеть... и кулаками слушать...

Вихрастый парень в свитере с негодованием таращил на них глаза.

— Ну, нельзя же играть с народом... Народ требует ответственного направления... Разъяснять ясное — значит затуманивать...

Здесь же восседал и каменолом Матвей, в новом теплом пиджаке. Борода его по-прежнему была туго примята. Рядом с ним сидел тощенький Никита, который пытался спасти лом из залитого водою котлована. Тонул Никита и не утонул. Живучий оказался мужичонка. Матвей за эти месяцы раздобрел, а Никита и сейчас был такой же дохлый. Матвей не отпустил его в колхоз и сам не поехал. У него была уже большая бригада, и он гордился, что на стройке он старый и испытанный бригадир.

Слушал он ораторов внимательно, а на разговаривающих поглядывал неодобрительно. Только однажды ткнул Никиту под бок и проворчал:

— Чего-то, погляжу я, голова, ветра нет, а пыль — в глаза, сорока-барыня...

Никита охотно ответил:

— Артель в безделицу покричать любит...

Он оглядел густые ряды голов вокруг себя и жалко улыбнулся.

— Старательный народ... веселый...

Мирон встал, позвонил в колокольчик и назвал имя Шлиппе. Главный инженер, должно быть, не

ожидал вызова — сидел за столом спокойно и безмятежно, любовно поглаживая длинную бороду. На него с понуждающей улыбкой смотрел Мирон, а Балеев с притворным злорадством кивал ему головой. Стрижевский блеснул зубами и что-то шепнул ему на ухо.

Шлиппе не привык выступать и теперь чувствовал себя беспомощно. К трибуне он шел с дрожью в бровях. Он сознавал, что слово его должно быть сказано в этот момент твердо и полновесно. Надо произнести это слово внушительно, убежденно — так, как он говорил на узком совещании у себя в кабинете. Бесхитростный добряк, который любил, чтобы около него толкались люди, и сам молодел среди людей, душу которого не омрачили никакие трудности (всё идет в жизни, как надо), Шлиппе не вдруг растерялся перед этой тревожной и грозной толпой. Издали казалось, что его волнение — это пафос, торжественная приподнятость, и он не в силах выразить вихря глубоких мыслей. И когда раздался перед микрофоном его хриплый голос с трещинами, с кашлем, с одышкой, а репродуктор рявкнул и задохнулся, люди заулыбались.

Он долго барахтался в многозначных нагромождениях кубометров невыбранной скалы, неположенного бетона и невыработанных человекочасов. Едва владея разбухшим и высохшим языком, он плутал в теснинах и глыбах невзорванного камня, неизготовленных железных конструкций и недоставленного заграничного оборудования. Изнуренный, он, наконец, остановился, оглядывая высокие пространства зала.

На него с беспокойством посматривал Стрижевский, а Кряжич весь напрягся от нетерпения и готов был вскочить каждый миг. Мирон как будто не слушал Шлиппе и забыл о нем: он безмятежно разговаривал с Балеевым и пошлепывал ладонью о стол. Викентий Михайлович шевелил бровями и хватался строгими пальцами за бородку и усы. Раздались возгласы:

— А какие у вас выводы, товарищ Шлиппе?

— Что же предлагает управление строительства?

Шлиппе вздохнул и погладил бороду.

— Управление стоит...

— Именно стоит... и как будто стоя спит...

— Управление стоит на точке зрения невозможности выполнения встречного плана...

— Ого! вы лучше расскажите, что вы делали...

— С кем вы разговариваете, позвольте вас спросить?..

— Я как главный инженер не могу взять на себя ответственности...

— Обязаны... В первую голову ответите вы...

— Но дело сложнее, чем мы думаем... Бывают в наше время такие чудеса, что фантазия вдруг превращается в реальный факт... Слабые головы не вмещают этого и трещат, как, например, моя...

Кое-где засмеялись и захлопали; он смешался и замолк.

Стрижевский застыл в неприступной отчужденности и не шевельнулся, когда около него сел Шлиппе. А Шлиппе склонился к нему и безмятежно прошептал:

— И зачем только беспокоятся люди? Жизнь все равно возьмет свое: все просто и ясно.

Стрижевский, играя пальцами по столу, съязвил:

— Вы удалите свою бороду, Генрих Карлович: она у вас — флюгер.

Кряжич подбежал к Шлиппе и воткнул ему в петлицу сухую хворостинку, которую он отломил от старой гирлянды на пилястре.

— Это вам, Генрих Карлович, за блестящее выступление...

— То есть что такое?

— Почетная лоза, как видите...

Шлиппе весь заколыхался от хохота и погладил хворостинку.

Один за другим стали выходить на трибуну рабочие, парторганизаторы, бригадиры, молодые инженеры и, волнуясь, требовали принятия плана. Они доказывали, уверяли и клялись, что план до морозов будет выполнен. Это они утверждают не по собственному капризу, а от имени рабочих масс и инженерно-технических сил.

Около Мирона давно уже терся инженер Корытин, похожий на цыгана. Время от времени он лениво и мрачно убеждал его в чем-то, но Мирон не обращал на него внимания. Потом Корытин угрюмо пошел на трибуну. Он неторопливо разложил перед собою бумажки, вынул записную книжечку и деловито распределил все по местам. Начал он тускло, тягуче, скучно. Он заявил, что всякую работу он решает, как математическую задачу. Мало воодушевления в труде, нужно еще воплотить это воодушевление в точные цифровые данные. Нечего зря болтать об энтузиазме. Его, Корытина, не интересует это красивое слово: он сторонник сурового дела. А это дело и реальные факты вовсе не располагают к карнавальным настроениям.

Шум и смех заставили его замолчать, но он невозмутимо защитился широкой ладонью.

— Не кричите! Докажите, что вы можете слушать. Я считаю встречный план противным конкретной математике дела.

Шум рос, отовсюду покрикивали на него насмешливо и презрительно. Но он был убежденно спокоен и тверд.

— Тут во всем — дутая словесность и беспочвенный восторг. Давайте посчитаем с карандашом в руках... Вот...

Он показал записную книжку и карандаш и даже послюнявил его.

Мирон нахмурился и стал искать взглядом кого-то позади себя, потом в зале. Он встал со стула, отошел в глубь эстрады к Чумалову, неторопливо вынул трубку и стал набивать табаком, старательно прессуя его большим пальцем. К нему подошел Осокин и растерянно забунтовал, но Мирон не слушал его. Глеб весело скалил зубы.

— Парень-то немножко тяжеловат... Должно быть, чумачил на волах...

— Ну, зачем ты выпустил этого балбеса, Мироша? — волновался Осокин. — Как же это можно?

— Чего ты кипятишься, Осокин? — добродушно засмеялся Глеб. — Ведь все равно сейчас его раздерут.

— Да разве можно шутить с массами, товарищи дорогие!..

Мирон прислушался к словам Корытина и, казалось, наслаждался его хрипловатым, по-простецки убеждающим голосом. Так и чувствовалось, что он, Корытин, не может поступиться своей правдой, что он готов на все, чтобы эту правду честно выложить перед людьми.

Мирон сосал трубку и вдумчиво поглядывал на Осокина и на Глеба. В его глазах они увидели знакомый лукавый блеск.

— Молодец! Режет открыто и честно.

Осокин с изумлением глядел на него и не верил своим ушам.

— Да ты в уме, Ватагин? Его сейчас же надо лишить слова. Коммунист ведь... где же дисциплина-то?.. Ты понимаешь, какая пойдет смута в башках? Я сейчас выступлю и съем его, негодяя.

Мирон безмятежно отвернулся от него и обменялся взглядом с Глебом. Глеб понял его и усмехнулся.

К ним подошел растерянный и потный молодой человек в помятом воротничке, с галстуком на боку.

— Я прямо ушам своим не верю, товарищ Ватагин. Ведь Корытин ни словом не возражал на собрании партколлектива. А сейчас... Что же это за манера?

— Да, скверная манера, Яхно: бдительности у тебя мало. Даже за галстуком не следишь — набоку... И не брит...

И, в упор всматриваясь в Яхно, он улыбнулся. Яхно осунулся и посерел.

— Ведь на собрании, товарищ Ватагин, он ничем себя не проявил, насчет своей позиции. Он даже и не выступал...

— Плохо же ты знаешь своих коммунистов... — засмеялся Глеб.

Мирон невозмутимо сосал трубку.

— Вот в том-то и дело, что он не выступал... А ты остался безучастным. — Он вынул трубку изо рта и

небрежно, как будто между прочим, спросил: — Кто же у вас все-таки ведет за собой коммунистов-то — ты или Корытин?

Яхно изнемогал от взгляда Мирона и взбешенных насмешек Глеба. Осокин страдал, но его гнев и смятение были просты и понятны. Он был не страшен Яхно.

— Башки вам надо рвать, чертям собачьим... — метался Осокин в отчаянии. — А тебе в первую голову, Яхно... Любуйся вот на своего активиста...

— Я сегодня же соберу бюро, товарищ Ватагин.

— Запоздалая торопливость, это уже поражение, Яхно. Иди.

Корытину не давали говорить. Он пытался перекричать рев и гул, но голос его потухал здесь же, у трибуны.

Балеев холодно смотрел в зал, и нельзя было понять, кому он сочувствует.

2

Татьяна молча и строго смотрела на Мирона. Вакир увидел, как лицо у нее окаменело, брови слились у переносья и стали жесткими и жгучими. Мирон встретился с ней глазами, удивленно поднял брови и понимающе улыбнулся.

Он назвал ее имя и опять посмотрел на нее смеющимися глазами.

Татьяна еще ни разу не выступала на собраниях: за нее говорила порывистая Феня. Теперь же Фени нет, и надо было самой отвечать за себя и за людей своего участка. Она знала, что и молодые инженеры, и рабочие, и Вихляев смотрят на нее с гордостью и любопытством. Но непривычка к выступлениям и необходимость выйти на трибуну вдруг сковали и тело и мозг мучительным холодом. И в тот момент, когда она обратилась к залу и встретила простоту знакомых лиц и дружеские ободряющие глаза, она сразу почувствовала неудержимый порыв громко крикнуть:

— Товарищи!

А на самом деле этот призыв прозвучал очень спокойно и даже неприветливо-холодно.

Ее нежная красота, скромно приглаженные волосы и девичья чистоплотность как-то не вязались со строгостью и силой ее голоса. Она волновалась и дрожала от неиспытанной слабости, но всем казалось, что она невозмутимо уравновешена и ей совершенно безразличны и люди и обстановка.

Она говорила о том, что навстречу идут такие дни, когда все неизбежно должны действовать верно, метко, наступательно и согласованно. Напомнила, что когда-то строительство начато было буквально голыми руками. Кто тогда был главной действующей силой? Грабарь-землекоп с его лопатой и лошаденкой, каменолом с киркой и ломиком, бурильщик с молотом и стальным стержнем, плотник с пилой и топориком. А в центральных мастерских — слесаря-кустари. А транспорт? — телеги, вагонетки, площадки. Протяжение подъездных путей — ничтожное. Темпы были неторопливы, отношение к труду первобытно. Да и людей было мало — каких-нибудь две-три тысячи. Правда, делали поправку на механизмы, которые еще лежали на складах Нью-Йорка, но эти поправки не вызывали тревожных вопросов о неизбежности переворотов в методах труда. И рабочие и инженерно-технический персонал несли в себе многолетние навыки, выработанные в условиях капиталистического хозяйства. Вот чем определялись те нормы и те темпы, которые господствовали в продолжение трех лет. И вот откуда вышли те идеологи умеренности и аккуратности, теоретики малых масштабов и узких мирных технических возможностей, которые теперь кажутся смешными и нелепыми метафизиками. За это время стройка пережила большую революцию в технике: труд механизировался до высоких пределов, и этот труд стал новым и по содержанию и по форме: он количественно и качественно стал иным. Грабари вытеснены экскаваторами, каменоломы — сандерсонами и кранами, площадки — думпкарами, плотники уже в деревообделочных мастерских. И теперь на базе этой высокой техники создаются новые кадры рабочих и инженеров,

которые уже задыхаются в узких клетках старых норм. Они стремятся разорвать эти ржавые путы.

— А вы, уважаемые метафизики, — крикнула она, — вы отстали от жизни, вы не видите реальной действительности и живых творческих сил... (Эти ее слова встретили бурные аплодисменты и крики.) Массы идут впереди вас, а вы не только топчетесь на месте, но пятитесь назад. Вы тормозите движение, вы препятствуете, мешаете развитию трудовой сознательной инициативы, вы стараетесь потушить энтузиазм и пафос тех, кто восстал против ваших метафизических норм и устарелых понятий.

Кряжич не выдержал и, бледный, надрывно выкрикнул:

— Это возмутительное безобразие!..

Стрижевский сидел неподвижно, застывший в пренебрежении к оратору. Он делал вид, что даже не слышит стоящей перед ним суровой Татьяны. Шлиппе улыбался с простодушным удивлением. Балеев смотрел на Татьяну с любопытством и даже приложил ладонь к уху.

— Товарищ Кряжич! — крикнула Татьяна.— Безобразие в том, что вы, замечательный инженер, живущий стройкой, пасуете перед трудностями, отстаиваете прогнившие традиции, осужденные жизнью. Безобразие в том, товарищ Кряжич, что вы, честный мастер инженерного искусства, не понимаете еще тех сдвигов, которые происходят в действительности. Вы не имеете мужества смело идти с нами вперед.

Стрижевский медленно встал и величественно вышел в дверь. И все поняли, что он сделал это демонстративно. Шлиппе не заметил, как ушел Стрижевский: он слушал Татьяну с удовольствием и одобрительно кивал головой, поглаживая длинную бороду. Балеев изумленно поднимал брови и все чаще склонялся к Мирону, бросая ему какие-то короткие фразы. Мирон весело смотрел и на Татьяну и на людей в зале.

Вакир никогда еще не видел Татьяну в таком возбуждении. Она и раньше была неотразимо прямодушной, и раньше слова ее звучали правдиво и сильно, но сейчас в мужественном ее голосе было что-то очень

большое и значительное. И Вакир понял, что ее сила — сила всех этих людей, которые наполняют зал. Он жадно слушал ее и всем своим существом переживал огромное чувство любви и преданности к этой родной девушке.

— Знаете ли вы, товарищ Кряжич, чем кончают те, кто не понимает нашей жизни и упорствует в своем неверии? Они бесследно исчезают или уходят в лагерь врагов.

Волнами прошел из конца в конец смутный гул. Как-то невольно вся масса лиц и глаз повернулась к Кряжичу. Балеев крикнул спокойно и добродушно:

— Не пугайте, товарищ Братцева. Кряжич врагом не будет.

— Да, Кряжич — наш, Викентий Михайлович. Но его нужно прокалить на хорошем огне...

Эти слова ее потонули в смехе и рукоплесканиях.

3

Викентий Михайлович подошел к трибуне в ожидающей тишине. Он кашлянул, и зал загремел аплодисментами. Аплодисменты он встретил, как должное, и с досадой отмахнулся.

— Слишком много громких слов и размашистых чувств, товарищи. Кому это нужно? Если мы и дальше будем играть в словесную чехарду — черта лысого построим плотину и электростанцию. Основное требование большинства — это шестьсот тысяч кубометров бетона. Предположим, что мы их втиснем в срок. Но котлован-то вы приготовили к кладке? Вынуты ли у вас сотни тысяч кубометров скалы? Нет. Она лежит еще в первозданном монолите. Этот гранит нужно еще взорвать, взять его, увезти на камнедробильные заводы и выбросить в отвалы...

— Викентий Михайлович! — крикнул Мирон. — Мы вам уже подарили эти первозданные граниты... Разве вы пренебрегаете хорошим подарком?

Балеев даже не взглянул на него и ответил небрежно:

— У меня пока еще нет в руках этого подарка. Это только обещание. Я привык не верить горячим уверениям. Этот ваш подарок еще во власти речного дна. Вы еще не выдрали его из лап господа бога, а хвалитесь, что подарили. Ерунда.

— Викентий Михайлович! — с гневным достоинством крикнул Мирон. — Слово рабочего класса — это дело. Он дарит вам тысячи кубометров скалы, и вы получите этот подарок к сроку. Массы требуют от вас ответного подарка, — вот эти шестьсот тысяч...

Зал загремел овацией и криками.

Вакир увидел, как Балеев, оглушенный и встревоженный, отступил назад. Он взглянул на Ватагина, требуя у него помощи, но Мирон не отвечал на его взгляд. Вдруг Балеева как будто осенила какая-то мысль: он решительно шагнул к самой рампе и поднял руку.

— Хорошо! Я принимаю ваш подарок... и вместе с организациями возглавлю вашу борьбу. Раз шестьсот тысяч — пусть шестьсот тысяч... Они ваши... Но...

Вакир уже не мог забыть того, что произошло в зале. Все бросились со своих мест в проходы и хлынули вперед.

Мирон непрерывно звонил колокольчиком.

Викентий Михайлович властно призывал рукою к молчанию.

— Но имейте в виду... Слышите?.. Имейте в виду...

Грохот, крики и гул быстро замерли.

— Если вы не выполните своих обещаний... если вы ослабите темпы и будете проваливать план, — не ждите пощады...

Он повернулся и твердо пошел на свое место, как человек, для которого ничего не осталось, кроме неизбежного.

Чумалов, со свойственной ему стремительностью, обнял Балеева и зарычал от восторга:

— Викентий Михайлович! Это же замечательные люди...

Балеев засмеялся в волнении.

Как нервный человек, Кряжич ощущал эту многоликую массу людей обостренно и мучительно. Он видел

в глазах и лицах вражду и всплески надежды. Он с ужасом чувствовал, что не по доброй воле устремился к трибуне. Этим людям он должен был дать ответ... Стрижевский ушел, но его уже не встретят, как друга. Бороться — бессмысленно и безнадежно. За что бороться? За какие незыблемые истины? То, во что он верил, колеблется под натиском новой правды. Шагаев и много других инженеров — не на его стороне. Сам начстроя открыто стал в их ряды. Привычные истины лежали в голове надежно, твердо, неоспоримо, как кирпичи в здании, как математические аксиомы. Между ними и политикой не было никакого сродства, — так думал он, Кряжич, так думали и многие из его соратников. А когда Бубликов нагло предложил ему произвольно изменить формулу и дал ему понять в тот кошмарный вечер, что бычки испорчены при его, Бубликова, участии, Кряжич впервые испытал настоящее потрясение: незыблемая истина может быть превращена в орудие злодейства, математическая формула в руках вредителя может служить разрушительной силой. Но после ареста Бубликова и его соучастников эти законы и формулы были реабилитированы и опять заняли свои места. Он не верил в длительность и рост новых размахов труда, не верил в ударничество и соревнование как в разработанную систему: ему казалось, что этот новый метод — искусственный прием, что все скоро выдохнутся — пыл пройдет, и вся эта масса людей разбежится по своим деревням и цехам. Но когда он увидел, что соревнованием захвачены и старые инженеры — Шепель, Вихляев, Шагаев, Митрохин, — он испугался: эти трезвые люди поразили и встревожили его как психически больные.

По странной ассоциации, в тот миг, когда он бросился к трибуне, он вспомнил о жене, Рите, и непоколебимо решил, что ее надо отправить на север: это она отравляла болями его голову и мутила постоянным нервным беспокойством.

Когда он стал на трибуне и, бледный, с лихорадочным переливом в глазах, встретил устремленные на него взгляды, ему стало страшно. Несколько секунд он

молчал, и люди ожидающе молчали. У него закружилась голова, и он поднял руку ко лбу.

— Товарищи!.. Я вышел только для того, чтобы заявить, что я... решительно и бесповоротно... пойду с вами до конца... Прошу мне помочь и поддержать меня...

Люди как будто не поняли, что сказал Кряжич. Многие стали перешептываться и с изумлением озираться. Даже отчетливо слышались вопросы:

— Что он сказал? О чем он просит?..

И когда Татьяна крикнула: «Николай Николаевич!.. Поздравляю вас!..» — зал всколыхнулся овацией. Кряжич встретил лицо Мирона, хорошее, приветливое, дружески улыбающееся, и суровые глаза изумленного Балеева, и ему стало легко и радостно.

Вакир никак не мог побороть дрожи в ногах и странного замирания в груди.

Его охватил неиспытанный восторг, и чувствовал он, что такой же восторг переживают и другие. Он до боли бил в ладоши и уже любил и этого неведомого Кряжича, и Ватагина, и Балеева.

Тибра кричала ему:

— Ну, Вакир, помнишь, как ты мечтал: вот укреплю свой корпус и уплыву в великий океан... Вот и плыви: океан — перед тобой...

V. КОСА НА КАМЕНЬ

1

Татьяна с Вакиром прошли на сцену, где шумно и возбужденно толпились около Мирона, Балеева и Чумалова рабочие и инженеры. Все продолжали спорить: одни с ликованием, другие с покорной вдумчивостью. Совершилось большое событие, и каждый старался найти свое место и подать свой голос. Мирон неторопливо и коротко отвечал на вопросы, а словоохотливые речи обрывал недружелюбно:

— Надо было выступать. Почему только сейчас развязал язык?

Балеев оживленно перекидывался словами с обступившими его людьми. Густые усы и бородка дрожали от усмешки, а глаза необычно блестели от волнения.

Татьяна подошла ближе к Мирону, но не вмешивалась в разговор. Он поверх голов взглянул на нее и удивился: она никогда не подходила к нему после заседаний. Может быть, хочет узнать его мнение о ее выступлении? У нее ярко блестят глаза, на щеках волнуется румянец. Кряжич жал ей руку и что-то горячо доказывал. Потом засмеялся и убежал. Расталкивая людей, Мирон направился к Татьяне, но к нему подскочил конопатый Самородов. Он фамильярно подхватил его под руку и развязно прощебетал высоким тенорком:

— Ну, Ватагин... красота!.. Поздравляю с победой... Разгром полный... Викентий Михайлович-то... а?.. Кряжич потряс меня до глубины души... Молодец! Обыграл момент, что называется, с высоким настроением...

В его лице, усыпанном веснушками, не заметно было волнения: наоборот, оно необычайно похолодело и по-новому стало вдумчивым и озабоченным.

— Что значит — «обыграл»? — грубо возразил Мирон. — Он заявил о себе просто и искренне.

Он освободил свою руку от руки Самородова и отвернулся. Но Самородов опять оказался рядом с ним.

Мирон сердито взглянул на него, но Самородов сделал вид, что не заметил его недружелюбия. С загадочной улыбкой в глазах он безразлично проговорил:

— Да, да, конечно... искренне и просто... Но, дорогой товарищ Ватагин, есть индивиды, про которых можно сказать словами поэта:

Взял с собой злодей
Для обмана людей
Чётки...

Я хотел бы обратить твое внимание на Ша-га-е-ва.

— А что?

— Ничего... Коль смотреть — смотреть уж в оба... У поэтов есть всегда готовые слова... Однажды у меня

вышла путаница с телефонами, и я услышал шутливый разговор... Невинный!..

— Какой там разговор... чушь!

Мирон с презрением скосил глаза на Самородова, но тот пристально смотрел в зал, точно искал кого-то.

— Я только о бдительности говорю, товарищ Ватагин... Считаю долгом... Возможно, что и шутка... Хабло и Бубликов ведь тоже ходили на свободе...

— Ну, говори толком, в чем дело...

— А ты последи за милейшим Шагаевым... понаблюдай... Мне ничего не известно... но он ведь твой друг и партнер по шахматам.

И, напевая какой-то фокстротик, он быстро скрылся за дверью.

Мирон знал Самородова как болтуна и шута, а назойливость его вызывала только досаду. Он не поверил ни одному его слову, а интригующие намеки на какие-то подозрительные дела Игнатьича возмутили Ватагина. И все же, помимо воли, он почувствовал тревогу: чем черт не шутит! А вдруг в брехне этого фанфарона есть зерно правды? Игнатьич?.. Чтобы он был способен на вредительство?.. Такая дичь может прийти в голову только Самородову... А кто такой Шагаев?.. Можно ли за него ручаться?.. Какие для этого есть гарантии?..

Мирон подошел к Татьяне и пожал ей руку.

— Вы выступали хорошо, Татьяна Ивановна: крепко и сокрушительно.

Татьяна озиралась, ища кого-то в толпе.

— Вакир, где ты? Иди сюда!

Вакир стоял далеко в стороне и занят был разговором с Васяем.

Он быстро подошел к ним и поклонился Мирону.

— Этот молодой человек, Мирон Васильевич, из трудовой колонии. Приехал сюда по моему вызову. Комсомолец. Пристройте его к себе на ночлег, на одну ночь.

— Пожалуйста. Сядем в машину и поедем. Всем по дороге.

— Нет, я сейчас на смену, а его захватите.

Вакир помрачнел и замкнулся.

Татьяна с упреком посмотрела на него. Он с обидой сказал:

— Я тебя, Тибра, совсем не понимаю...

Мирон безмолвно подтолкнул Вакира к выходу.

Прощаясь, Татьяна пристально поглядела в глаза Вакиру, но он отвернулся.

В машине ехали молча: Мирон почему-то не находил слов для парня. Смотрел по сторонам, на мелькавшие огни фонарей, на освещенные окна несущихся домов и чувствовал какую-то странную неловкость и неудобство.

Ему хотелось расспросить юношу о коммуне, о ребятах, ознакомить его со стройкой, показать объекты, но он молчал, — не мог побороть своего оцепенения.

Когда проезжали мимо белостенного дома за высоким забором на взгорье, поодаль от дороги, Мирон положил руку на плечо шофера:

— Подбрось-ка нас, Степаша, к жидкому воздуху. Давно не был.

Вакир живо откликнулся:

— Жидкий воздух? Многое видел на своем веку, а жидкого воздуха не видал.

— Завод, — приветливо ответил Мирон, — штука любопытная. Иногда полезно хлебнуть ядреной тишины и живительной простоты. Люблю это место.

«Словечками-то охотник поиграть...» — усмехнулся Вакир и покосился на Мирона. А Мирон устало и задумчиво смотрел куда-то вдаль и как будто не интересовался Вакиром.

Шофер круто свернул с шоссе влево, на переезд, и помчался к заводу.

Красноармеец хотя и хорошо знал Ватагина, но пропуск его проверил тщательно. Он вопросительно оглядел Вакира и почему-то неохотно пропустил его после слов Мирона:

— Этот парень — со мной.

Они вошли в большую комнату, и Вакиру показалось, что свет в ней сиял чересчур торжественно. Бросились в глаза голубые высокие цилиндры вдоль стены, а между ними какие-то музыкально рокочущие дви-

гатели. Звенели ручьи воды в металлических резервуарах. Воздух был легкий и приятный, совсем не такой, как в цехах завода.

Поразила Вакира и другая особенность — полное безмолвие, точно все эти таинственные механизмы работали сами по себе, без участия человека. Что-то в этих сверкающих пространствах с голубыми аппаратами и черными машинами было величавое, храмовое, но насыщенное огромным напряжением и строгим движением, скрытым от глаз. И слова Мирона о «ядреной тишине и живительной простоте» уже не казались кудрявыми.

К ним подошел высокий, бледный человек, похожий на иностранца, с неестественно прозрачными глазами и очень радостно пожал руку Мирону и ему, Вакиру.

— Ну-ка, товарищ Васин, покажите этому молодому человеку свои чудеса.

Васин с готовностью и с еще большей радостью пригласил их с собою. Когда он говорил, все время улыбался и спрашивал глазами, довольны ли они, интересно ли им. И Вакир был уверен, что этот неведомый Васин очень огорчился бы, если бы заметил, что они равнодушны и глухи к его словам.

Вот корпус всасывающего насоса — несложная и добродушная машина: она жадно поглощает внешний воздух и подает его в этот цилиндр. Тут воздух очищается от углекислого газа, потом просушивается и переходит в компрессор. В компрессоре он сильно сжимается, становится горячим, его надо охладить, — и вот он проходит через змеевик и врывается дальше — в следующий компрессор.

— Пожалуйста! Милости прошу. Все очень просто, неотразимо и действует успокоительно.

Дальше, в других компрессорах, воздух сжимается в три раза больше и опять охлаждается... А там, в самом конце — давление до двухсот атмосфер. Поиграйте воображением!.. Вся скрытая теплота безжалостно выжимается из воздуха, чтобы уплотнить его до последней черты. За этой чертой — смерть воздуха, и — рождение его в новую жизнь. Именно в этот миг он

выпускается на свободу. Вот в этом последнем резервуаре совершается это чудо нового рождения. Что там происходит? Вырываясь на свободу, воздух изнывает от жажды и холода и росою падает на стенки цистерны, собирается в чашечках и стекает вниз. Время от времени открываются краники, и жидкость, голубая и прозрачная, как небо, течет в термосы. Температура этой жидкости сто восемьдесят пять градусов ниже нуля. Прекрасный случай испытать свое воображение.

Васин торопливо схватил кружку со стола и подставил ее под кран. Вакир увидел, как из крана полилась вода с обычным журчанием, но сразу же исчезла в густом, очень тяжелом клубочке пара. Этот пар был похож на пену, и так же, как пена, стекал по стенкам кружки и сразу же таял бесследно. Неподалеку стояли большие термоса, похожие на бидоны, и по их стенкам тоже сползал вниз кудрявый туманец.

Вакир был взволнован не чудом превращения кислорода воздуха в жидкость, а вот этой обидной простотой процесса. Его тревожило беспокойство голубой бушующей жидкости. В кружке, белой от инея, клокочет, как кипяток, водичка — не на огне, а просто на воздухе. Какая страшная сила! Должно быть, воздух для этой жидкости кажется пламенем домны. Разлетались в стороны брызги, и под облачком пара булькала, взрывалась, пыхтела, сотрясая кружку, живая вода. Вакиру стало хорошо, почему-то хотелось смеяться. Он видел, что Мирон стал простым, близким и понятным, и уже не было к нему недоверия, опаски, недоброжелательства. Ватагин медленно обернулся к нему и лукаво улыбнулся:

— Ну, что, брат... Красота!.. Мы вот этой водичкой взрываем целые скалы...

Он вынул коробок, зажег спичку и бросил ее в кружку. Ослепительное пламя вспыхнуло под пленочкой пара, и видно было, как жидкость клокотала голубыми молниями. Потом он схватил обрывок газеты со стола и всунул его в кружку. Когда он вынул бумажку, она была сухая, но дымилась густым паром. Он бросил ее на пол, и она мгновенно превратилась в пыль. Он засмеялся и смотрел вниз, как очарованный.

— Да, брат, вот какие чудеса... Попробуй поиграть, Вакир. Может быть, желаешь окунуть туда пальчик или хлебнуть этого нарзана?

И он сам быстро сунул палец в жидкость и мгновенно вынул обратно.

— Вот какой я герой!..

Вакир шагнул к кружке и приготовил палец, но Васин весело схватил его за руку.

— Стоп! Я спасаю вовремя ваш юный перст. Надо с расчетцем... надо владеть моментом и движением.

Васин долил кружку из крана и радушно поставил ее перед Вакиром. Мирон подмигнул Васину:

— Еж.

С сосредоточенным вниманием Вакир спокойно и неторопливо окунул палец в жидкость и удивленно взглянул и на Васина и на Мирона.

— Ну, что, кусается?..

Жидкость была сухая, точно он всунул палец в ртуть или в вату. И холода будто не ощутил. Палец как палец, только кажется чище и немного бледнее других.

Вакир будто освежился здесь, будто сам окунулся в эту волшебную жидкость. А Васин, как фокусник, подхватил тяжелый бидон и наклонил его над металлическим ящиком, где доверху лежали красные бумажные колбаски, начиненные сажей. Ящик был совсем маленький, а бидон очень большой. Жидкость лилась на колбаски долго, но ящик не наполнялся, и колбаски были сухие: они ненасытно поглощали кипящую влагу и дымились.

— Интересно жить на свете... — изумленно сказал Вакир, не отрывая пораженных глаз от клокочущей струи в переливах огня.

Мирон, довольный, взял Вакира под руку и повел его к выходу:

— Хватит на первый раз. Хорошенького понемножку.

И, когда сели в машину, сказал с удовольствием:

— Чайку сейчас попьем... отдохнем, понежимся... Побушевали сегодня... хороший народ...

— А враги-то все-таки серьезные, товарищ Ватагин.

— Ну, конечно... Главное — не в этом, а знать надо врагов. Ты в ком же врагов учуял?

— Барин там сидел, такой седоусый... Удрал, когда Тибра говорила...

— Это Стрижевский?.. Да, с улыбочкой зверь...

Мирон пытливо покосился на Вакира.

— Ты как насчет образования-то?..

— Рабфак кончил.

— Учиться будешь: командируем в институт.

— А я приехал сюда как будто в гости к Тибре.

— А, это — к Братцевой? Давно ее знаешь?

— Можно сказать, родился у нее на руках.

2

Машина подкатила к ограде белого длинного особняка, с открытыми верандами по бокам. Как и все дома, этот особняк был окружен фруктовым садом. Они вышли из машины, и Мирон махнул шоферу.

Вакир шел сзади и смотрел в спину Мирона. Серая кепка как будто мала для его головы, и затылок, с шишкой внизу, был неприятен Вакиру. На кой черт сдала его Тибра на руки этому человеку? Что за приемчик? Тяжелы такие люди: изнурительно к ним приспосабливаться. У него задергалась голова. Он быстро побежал по дорожке сада.

— Это чего? Вот малохольный... — Ватагин озадаченно вгляделся в парня и пошел за ним вслед, но сейчас же повернул обратно, чтобы встретить его с другой стороны.

Далеко на стройке голубым хвостом кометы улетал в небо тающий луч прожектора. Его пересек другой голубой хвост. Они ловили облачка в бездонной высоте и рвали их дымные клочья. Мирон взглянул в звездное небо и увидел, как в сторону луны ослепительная стрела прорезала зенит и погасла, оставив после себя фосфорическую линию. Вакир бежал навстречу по мерцающей дорожке, размахивая руками. Неподалеку от Мирона он сделал высокий прыжок и остановился, улыбаясь.

— Вот и всё...

— Ловко, ловко... — одобрил Мирон. — С чего это ты вдруг сорвался?

— Привычка.

— Пожалуй, и я пробегу с тобой. Могу еще поспорить.

Мирон бросил кепку на газон, подтянулся и поправил гимнастерку.

— Ну? Начинай!..

И ринулся вперед. Мимо него бурей пролетели кусты акаций, копны яблонь и груш. Рядом с ним, не отставая, легко и упруго бежал Вакир. Почти невесомо и беззвучно летел он по дорожке, как по воздуху. Мирон распалился и свирепо взял предельную быстроту. Вакир как будто смутился и отстал. С ветром в ушах Мирон несся вперед, в лунную тьму аллеи.

Вакир смотрел на согнутую фигуру Мирона, слушал его запаленное дыхание и уже знал, что на следующем повороте Ватагин выдохнется.

Это смешило Вакира и возбуждало в нем злорадное желание поразить его внезапным ударом. Здесь уже придется поработать изо всех сил. Надо сделать так, чтобы оставить его позади, а потом спокойно показать настоящее высокое искусство бега.

Через секунду он уже пролетел мимо Мирона и легко, точно на крыльях, пронесся вперед. Что за оказия? Мирон с беспокойством и злобой чувствовал, что через несколько минут он не выдержит и безнадежно остановится.

Чувствуя, что он задыхается, а в ногах и в теле дрожит изнеможение, Мирон подстегивал себя каждым ударом ног. Вакир уже был впереди на взмах руки. Он несся плавно, без всяких усилий и не обращал внимания на Мирона. Красавец, черт! Откуда столько сил и уверенности? У самой веранды они сравнялись. Мирон взвыл и вцепился в его плечо.

— Ну-у?.. То-то же... Поспорим, молодой человек... Поспорим, кто кого...

И он всей тяжестью оперся о плечо Вакира. Грудь разрывалась от огня и жадно вбирала воздух.

— Ты сперва отдышись, товарищ Ватагин...

— Чего? Кому это ты говоришь, юноша?

— Отяжелел, отяжелел, товарищ Ватагин...

— Хвастун! Где твоя победа? Ежели бы я так тренировался, как ты, я бы тебя на хвосте тащил.

— Я не прочь, товарищ Ватагин. Потренируемся...

3

Они вошли в комнату, и Мирон включил свет.

— Ну, располагайся, как тебе хочется, юноша.

Вакир снял с себя юнгштурмовку. Глаза его блестели и на скулах горели красные пятна. Он взял из рук Мирона чайник и подошел к раковине. Мирон возился у стола — прибирал бумаги и книги.

Вакир украдкой посматривал в затылок и спину Мирона, точно старался определить характер этого человека. Сегодня на многолюдном собрании, где были люди разных квалификаций, разных знаний, сил и веса, он держал себя как хозяин, как проникновенный руководитель, у которого каждый на счету и который видит каждого насквозь. Он как будто заранее предвидел, что скажет и друг и недруг, соратник и противник, и одинаково относился к тому и другому — с терпеливым вниманием и уверенным хладнокровием. Он чувствовал здесь себя, как рыба в воде, и заранее знал, что достаточно сказать ему, самое обыкновенное слово — и все будет хорошо, нерушимо, четко: каждый из этих сотен станет на свое место и не отступит ни на шаг. Да, надо обладать большой силой убеждения и власти, чтобы заставить пойти за собой такого льва, как Балеев, и вынудить Кряжича заявить о своей готовности поддержать трудовой штурм строителей.

Мирон обернулся к Вакиру и улыбнулся.

— Не стесняйся, брат. Дыши и действуй, как тебе хочется.

— Отвык я стесняться, товарищ Ватагин.

— Ну, так держи себя посвободнее... — и потрепал его за плечо. — Когда же стрельнул из дома-то?

— Да так... тому лет восемь...

— Значит, одновременно с моим Кирюхой. Откуда?

— Из Москвы.

— Здорово. Может быть, встречал такого паренька, добровольца беспризорной гвардии — еще головой дергает?

— Мало ли таких парней, товарищ Ватагин!..

Мирон смущенно прошелся по комнате и задумчиво остановился у окна, за которым чернела тьма.

— Мальчишка-то, пожалуй, исчез по моей неосмотрительности.

— Неосмотрительность тут ни при чем, товарищ Ватагин. Я по себе сужу: беспризорным я стал раньше, годика за два до освобождения от родительского шефства. Мои дорогие родители и я — были одинаково безнадзорны. У нас была не комната, а центрифуга: с утра мы разлетались в разные стороны. Революцию и социализм папаша и мамаша делали, как кукушки. Папаша забывал о мамаше, а мамаша о папаше, оба вместе о мальчонке. А я, кукушкин сын, наслаждался свободой. Воровать и владеть финкой я уже здорово научился до ухода: без этой школы я погиб бы, как цыпка.

Мирон похаживал по комнате и со всех сторон приглядывался к парню: он как будто примеривался к нему, старался почувствовать его всего. Вакир говорил с фамильярной шутливостью, в его иронии звучало что-то злое и пренебрежительное и к прошлому и к близким людям, которых он с подчеркнутой насмешкой называл: «дорогие родители».

В его самоуверенности и независимости было что-то наигранное. Были моменты, когда Мирон перехватывал его взгляд на лету, и ему казалось, что в душе парня на всю жизнь осталась неугасимая вражда к отцу и матери. Отметил Мирон и другую особенность: парень упорно избегал встречаться с ним глазами и держался поодаль.

— Как тебя все-таки звать-то? Свое это у тебя имя или выдумка?

— Вакир Омиров, к вашим услугам, товарищ Ватагин...

— Чего-то не встречал такого имени. Разве ты — татарин?

— Что в имени тебе моем, товарищ Ватагин?..

Они столкнулись взглядами, и Мирон увидел в напряженных глазах Вакира вызывающий смех.

— Тебе как будто мое имечко не по душе?

— Неужели, Вакир, не было у тебя никакого желания увидеть мать и отца?

— Чего ради?

— Ну, как же... ведь самые близкие люди...

— Нет, об этом не мечтал. Маленькое удовольствие. Впрочем, не скрою. Первый год я пережил трудно: еще терзала привычка к дому, а потом меня преследовал голос матери... ее глаза... Мне чудились они в каждой женщине. Бывало, идешь по улице или по вокзалу, видишь, смотрит на тебя баба или дама, и замрешь: мерещилась мать... Во сне постоянно снилась. Ревел иногда по ночам. А потом все испарилось... Бабы на базаре были страшнее мужиков — жуткие ведьмы: они способны на утонченные пытки. Одна, очень добрая с лица, торговка, у которой я стырил морковку, отъела мне ухо. Вот, это самое... — Вакир издали показал рябую ушную раковину. — Все визжала: «Дайте, я его сама... дайте, я его сама...» Помню, все ловила мой нос и подбородок, а я защищался. Как сейчас вижу ее лицо; такого лица в жизни не встречал: и зубы и глаза оскаленные. Вцепилась мне пальцами в уши и ловит то нос, то подбородок. Ну, а когда у нее с носом моим и подбородком не вышло, она вцепилась зубами в ухо. Удивительно, что я даже боли-то не чувствовал. Эта баба мне защитой послужила: толпа била-то по сути не меня, а ее. С тех пор до помрачения боялся баб... и сейчас боюсь...

Мирон молча подошел к нему и посмотрел на его ухо. Издали оно казалось совсем обычным, но вблизи было изуродовано: рваные кусочки и клочки срослись, как лапша, по краям раковина зубрилась бородавками и сосочками. Мирон пристально, с мрачным гневом оглядел Вакира, вздернул плечами и отошел к столу. Он закурил трубку и прошелся по комнате.

— Да, Вакир, мы преступно относились к своим обязанностям отцов.

Вакир засмеялся, и этот смех показался Мирону неуместным.

— Подумаешь, обязанности... не в этом сила...

— Вот как? А в чем же сила?

Вакир ткнул пальцем в чайник:

— Кипит...

Мирон заварил чай и поставил чайничек на пар.

— На десять минут, — до винной крепости и терпкого аромата. Чай должен вызревать.

Вакир видел и обостренно чувствовал только глянцевый череп Мирона и твердые глаза. Он подошел к столу и стал расставлять фигурки на шахматной доске.

— Играешь?

— Так себе...

— Может быть, сразимся?

Когда расставили фигуры, оба почему-то взглянули друг на друга и улыбнулись.

«Тертый калач... — подумал Мирон. — К нему просто не подойдешь».

— Итак, в чем же сила? — спросил он, переставляя фигурки, — спросил как будто между прочим, погружаясь в игру.

— Это насчет чего?

— А я округляю мысль насчет отцов и детей.

— По-моему, товарищ Ватагин, притча о блудном сыне — самый фальшивый и идиотский рассказ в евангелии. Сын — проходимец, пьяница. Домой он не мог возвратиться, да еще такой хороший. Все равно ведь брат вытурил бы его, как дармоеда. А отцу нечего радоваться: он хорошо знает, что это за фрукт. Для чего он какую-то пьянку устраивает? Что он этим хочет доказать?

— Свою любовь к сыну. Вполне понятно, Вакир. Тут даже некоторый воспитательный прием.

— А чего он раньше смотрел? Надо было с самого начала проявлять эту любовь. Бродяжит сынишка — и пусть не вспоминает даже о нем. А туда же... пир... Чушь!

Игра шла скучно, механически. Фигуры брались обоими равнодушно.

— По-моему, ты неправ, Вакир. Если бы, скажем, мой Кирюха явился ко мне так же внезапно, как этот блудный сын, я бы тоже устроил ему пир горой.

— Ерунда. Фальшь. Игра.

— Как это — фальшь, игра?

— Да ты же, товарищ Ватагин, совсем не знаешь своего Кирюху. Не знает и он тебя. Откуда у тебя любовь к нему?

Мирон оторвался от игры и смахнул все фигуры с доски. Он молча прощупал недобрым взглядом парня и выбил трубку. Вакир встал и подошел к чайникам.

— Тащи сюда, на стол. Ставь на газету.

Вакир хотел поставить на стол оба чайника сразу. Он держал ручку, обвитую камышом, горизонтально и очень ловко пронес на вытянутых руках, но на последнем шаге споткнулся, и маленький чайник полетел на бумаги, которые горой лежали перед Мироном, а потом к нему на колени.

— Ну, ты! — вдруг вспылил Мирон; он бросил трубку, вскочил на ноги и грубо отшиб Вакира в сторону.

— Философ лопоухий!.. У тебя, должно быть, ловкость рук — на другое...

Вакир поставил чайник на стол и, дергая головой, отошел с окаменевшим лицом. Оба замолчали тяжело и враждебно. Ватагин схватил пачку чаю и сердито опрокинул ее над чайником.

— Ну, подходи, садись... Нечего там... — примирительно сказал он. — Сейчас снова все сорганизуем.

Вакир решительно взял юнгштурмовку и картуз и повернулся к двери.

— Ну, я пошел...

— Постой, постой! Куда же ты? Вот чумной какой!..

Вакир не ответил и быстро вышел.

Мирон стоял около двери и растерянно смотрел на ее матовую белизну.

Ему стал противен и чай, и стены комнаты, и бумаги, и вещи (все как-то помертвело), и сам себе стал противен... Зазвонил телефон, точно засмеялся над

ним. Мирон протянул к нему руку, но раздумал взять трубку и отвернулся к окну.

Какое странное совпадение! Этот парень, с сомнительным именем, исчез из Москвы в тот же год, может быть, в тот же день... исчез при тех же обстоятельствах... Отец и мать... Кто они такие? Он не помнил никого из ответработников, у кого так же, как у него, навсегда сгинул бы мальчишка. Не жизнь и не смерть — просто растаял, как призрак. Надо подробнее изучить его... расспросить Братцеву...

4

Размахивая юнгштурмовкой, Вакир шел по бульвару. Раза два он оглянулся назад, будто опасался, что Мирон бросится за ним вдогонку. Липы густо сплетались ветвями над головой, и листва закрывала небо. Листья падали на дорогу, играя в огне электричества, и вспыхивали, как мотыльки.

Сначала Вакир шагал быстро, взволнованно, потом остановился и задумался. Осматриваясь по сторонам, он медленно пересек мостовую и поднялся на взгорбок, к высокой металлической мачте с размашистым коромыслом наверху. Прямо спускалась вниз, к реке, ровная, еще не тронутая степь в осенних бурьянах. Она тлела и дымилась, потому что тлел и дымился воздух ночным заревом. Огни строительства заливали полгоризонта, и небо мутно сияло, вспыхивало разрядами и рассекалось голубыми хвостами прожекторов. Это ослепительное море огней дрожало, вихрилось, пульсировало в далеком грохочущем реве реки. И там, за этим речным и степным простором, она неслась в фосфорной пене в гористую ночь. Медными отблесками светились скалы на том берегу. Пологая и гладкая спина острова тоже дымилась и таяла, исчезая во тьме. С реки дул холодный ветер и трубил в железных переплетах мачты далекой сиреной. Пахло полынью и умирающей травой. Недалеко за отвалами земли прогрохотал паровоз. Он выдыхал клубы пара и легко бежал из ночного мрака к строительству.

Что случилось? Почему он, Вакир, как испуганный бездомник, очутился здесь? Неужели выгнал его окрик этого человека? В этом окрике не было ничего оскорбительного, чтобы можно было струсить или обидеться. Разве на него так орали разные люди, когда он был беспризорным? И орали, и били до потери сознания, и сажали в кутузку... Вообще люди относились к нему, как к бродячей собачонке, — нет, как к воришке, к паразиту, к правонарушителю, который существовал за пределами законов. Он мог сделать все, и с ним могли расправиться как угодно. Но закон формально защищал его, и эта защита превращалась в постоянное преследование. А в целях самозащиты он присоединялся к банде таких же ребятишек, как и он, и банда эта была силой, с которой считались все. Вот хотя бы зимовка на вокзалах на Украине. И буфет подкармливал их, чтобы гарантировать себя от разгрома, и потребиловка снабжала папиросами, спичками, всякой мелочью, чтобы охранить лавочку от грабежа. Железнодорожная администрация тоже жила с ними в дружбе, чтобы не нажить от них каких-нибудь неприятностей. Их боялись, от них откупались. А в одном большом доме в Ростове, где они ночевали зимою на верхней площадке перед чердачной дверью, их всех, восемь пацанов, квартиранты одели и обули, только просили не пускать на лестницу никого постороннего. Но стоило ему отбиться от своей шайки, и он был беззащитен: те же люди, в тех же местах готовили ему свирепую расправу.

Так что же произошло сейчас? Ватагин отнесся к нему неплохо. Мало этого: он, Вакир, видел, что Мирон как-то по-особому внимательно и проникновенно подошел к нему. Чувствовалось, что Вакир для него не просто случайный парень, а связан с ним долголетней своей драмой: он, Вакир, для него — образ его сына, его совесть, мучительная тоска. Вот, вот. В этом — главное. В этом вся пропасть между ними, и эту пропасть не превозмочь. Никогда, ни на один миг не мог Вакир забыть какого-то необъяснимого ужаса перед отцом, которого он не знал, не понимал, считал страшной, почти сверхъестественной силой. Этот ужас до

сих пор душил его и вместе с этим ужасом — непримиримая ненависть на всю жизнь. За эти годы скитальчества он был в Москве только один раз. В лохмотьях, в угольной гари (спал в бункерах одного дома), целый день бродил он по улице около завода и ждал, когда выйдет мать. Только затем и приехал с юга, чтобы увидеть ее издали. Впрочем, он и мать ненавидел, но ночные ее заботы о нем в постельке и ее глаза, которые он встречал сквозь сон, не мог забыть ни на час. Ненависть к ней была иная, чем ненависть к отцу; к нему была ненависть-ужас, который выгнал его из дому навсегда: нужно было освободиться от невыносимой пытки. А к ней эта ненависть вылилась в тяжелую обиду, в скорбь, во вражду: а-а, тебе дороже завод, другие люди, машины, вещи? Ты отбросила меня от себя, я стою у тебя на дороге, ты хочешь себе свободы от меня? Хорошо. Я тебе отплачу. Я тебя заставлю плакать и метаться всю жизнь...

Так приблизительно думал он и отомстил ей с мучительным наслаждением. Но эта месть только ранила его, и он сам долго метался и плакал от раскаяния.

Он болтался у ворот два дня, но матери так и не увидел. Дальше он не мог ждать: его спугнул сначала сторож, а потом — *мильтон*. Свисток гнал его до самого вокзала. Там Вакир сел на поезд и укатил на берег Черного моря. В своей свободе — сначала в Москве, в банде безнадзорников, таких же, как он, потом среди беспризорников — он нашел настоящую жизнь, потому что эта жизнь полна была бесшабашности, дерзких приключений, борьбы с милицией, с торговцами, со спекулянтами, с законами и правилами мирной жизни и с такими же людьми, как его отец, которые калечили его жизнь. Это вольное существование обрекло его на постоянные переезды с места на место: с севера на юг, с юга на Урал, с Урала в Закавказье, с Закавказья на Украину... Это были вечные перелеты очертя голову, с птичьей настороженностью (как бы не зацарапали шухеры, как бы не избили, как бы не засыпаться во время налета на ларьки, на прилавки, на рыночных дам...), с постоянной муштровкой

себя в юркости, в ловкости, в изобретательности, в проворстве рук. Слух его и глаза обострились до такой степени, что прежнего себя он считал просто олухом; он изощрился в наблюдательности и по одной незначительной мелочи — по походке, по лицу, по смеху, по фигуре, по привычке носить сумочку, портфель, корзинку — сразу и безошибочно определял характер женщины, служащего, торговца. Он уже хорошо знал, когда можно легко, играючи, запустить руку в карман, в корзинку, вырвать сумочку или портфель.

В поездах он обычно барабанил в ложки и пел с разными забавными вывертами, жестами, мимикой, с прибаутками и всегда умел выудить медяки и серебрушки. Он даже научился произносить острые речи перед пассажирами: обличал их в бездушии, в обывательстве, в равнодушии к общественным неполадкам, когда «бедные, несчастные дети» принуждены скитаться и страдать, как бродячие, паршивые собаки. Это производило впечатление: люди хохотали, восхищались, задумывались и бросали ему деньги. Чтобы совсем растревожить людей, он начинал импровизировать жалобные песенки о «маме моей родной», которая протягивает ему руки из могилы, о своей жестокой жизни... Этих песен, сочиненных им походя, по смелой находчивости, было у него много, но они быстро забывались. Только одну он хорошо запомнил, потому что повторял ее часто, отделывая, совершенствуя, и про себя и во время пения. Он даже записал ее в книжечке, которую вытащил у одного гражданина в трамвае.

По теплушкам, по вокзалам,
По дорогам, по подвалам
Ветер нас гонял.
    Под вагонами чертили,
    По карманам фарт ловили.
    Черт бы нас побрал...
За шамовку, за ширмовку,
За блатную жизнь-воровку
Шухер нас ловил...

И когда он подобран был Тиброй, избитый и истерзанный, и доставлен в колонию, он впервые почувствовал, что Тибра оборвала навсегда его прошлую жизнь.

У него был проломлен череп и повреждено ребро. Когда он пришел в себя и стал выздоравливать, не мог понять, где была действительность и где бред. Потом Тибра рассказывала ему, что он несколько раз вскакивал с постели и пытался бежать. А когда хватали его, дрался, кусался и в исступлении кричал. Только она одна могла укрощать и успокаивать его. Она мягко и ласково обнимала его, шептала ему что-то нежное, невнятное, прижималась щекою к его лицу. Он теплел и послушно затихал. Когда ее не было в палате, он тосковал, стонал, требовал ее к себе, впадал в бешенство и рвал на себе повязки. Потом она приучила его терпеливо ждать ее в определенный час, и он счастливо смеялся ей навстречу и тянул к ней свои руки. От ее волос растекались по всему телу теплые волны, и он долго держал ее голову в своих руках.

Вместе с нею стал заходить военный, высокий человек с веселою улыбкою. Тибра часто ему говорила слово «трудный», а он подмигивал и очень хорошо смеялся.

— Всякий человек труден, потому что трудно достается жизнь. Ну-ка, попробуй, мол, пережить то, что я пережил... Правда ведь, милок?.. Это я — для себя... А она, брат, пережила жизнь тоже нелегкую. Но зато и человечина из нее получилась. Ты не протестуй, Татьянушка... Эка, подумаешь, скромная какая!.. Надо ценить и уважать себя по достоинству. Личность у нас должна стоять высоко. А правдивость к себе и к другим — лучший показатель оценки. Вот-с. Ну, голубок, выздоравливай скорее — дыши, накачивай в себя побольше крови, а потом мы тебе таких замечательных ребят покажем — прямо ахнешь...

В этом военном человеке он внезапно увидел что-то общее с отцом. Он давил его и оттеснял Тибру. Тибра его любила. При нем Тибра не отдавала себя Вакиру. Вакир видел, что этот человек — хитрый: он обхаживает его и метит, как бы поймать на удочку.

Отсюда начинается новая страница его жизни, или, лучше всего, — новый зигзаг, новый излом.

Три случая неугасимо горят в памяти: это полет на аэроплане, когда мир увидел он с высоты и когда

перевернулась его душа; потом — когда Шастик выдвинул его заведовать распределителем, а потом — избрание его в конфликтную комиссию. Эти три события заставили его мыслить по-другому. Было трудно и непривычно, но сразу же потрясла его неиспытанная гордость от того товарищеского доверия и уважения, которые были ему оказаны. Он как-то в первое время даже не узнавал себя. Точно он выпарился в бане и почувствовал себя чистым и праздничным. Эта же гордость заставила его бороться в цеху за первенство в соревновании и за отличные успехи в ученье. И книги стал читать с особым напряжением и жадностью.

Тут совсем неважно, что сказала бы Тибра. С ней дело второстепенное. Не такие каверзы бывали когда-то, и Тибра умела весело сбивать пыль и нагар с его души. Здесь важнее всего личная самооценка. Тибра всегда хватала его за шиворот и смеялась со строгим упреком в глазах.

...Шел он обратно нерешительно и виновато. Свет горел ярко, и кустарники на дорожках и ветви деревьев пламенели и пересыпались искрами. В окне он увидел Ватагина, который ходил по комнате, заложив руки за спину, и думал о чем-то сосредоточенно. Потом он остановился перед окном и пристально стал глядеть на Вакира.

Чтобы понять этого человека и подойти к нему, надо обуздать себя. Чтобы бороться с ним за свое достоинство, надо суметь держать себя в руках. Здорово же он свалял дурака — удрал от него...

Шел он как-то ощупью, с натугой, часто останавливался и задыхался от сердцебиения. Отворил он дверь быстро и даже забыл ее закрыть. Он стал на пороге и молча, с жаром в глазах, посмотрел на Мирона. Лицо его немного осунулось и побледнело. Ватагин как будто ждал его: он встретил его без всякого удивления.

— Ну-ка, иди, друг, пей свой чай и поедем на плотину.

И неторопливо, как будто между прочим, затворил дверь.

Вакир сел к столу и, не сдерживая дрожи в голосе, сказал:

— Я сглупил, товарищ Ватагин. Я это сознал и... прошу не обращать внимания...

Мирон дружески улыбнулся, потрепал его за плечо.

— Чудак! Какое это имеет значение?..

И он подвинул ему стакан с чаем.

Вакир незаметно поймал руку Мирона и крепко пожал ее. Мирон так же крепко сжал его пальцы.

На столе лежала четвертушка бумаги, на которой еще не высохли фиолетовые строчки. Крупные буквы лежали кругло, тяжело и связаны были надежно и крепко. Вакир прочел невольно:

«Начальнику трудовой коммуны. Прошу сообщить есть ли и был ли в числе воспитанников Вашей коммуны Ватагин Кирилл Миронович. Разыскиваю сына много лет».

Вакир небрежно отодвинул бумажку и на мгновение встретился с испытующим взглядом Ватагина.

VI. «МУХА»

1

В те минуты, когда бывали заминки с подачей бетона, Катя подбегала к парапету, впивалась зелеными пальцами в шаткие перильца и замирала от жуткого наслаждения. Перед нею проваливалась бездна, и там, в глубине, бушевала вода. Из пролетов бычков свергалось жирное чудовище водопада. Порывы ветра подхватывали и пар и облака брызг и бросали их выше плотины.

Парапет дрожал, качался, и Кате чудилось, что она падает вместе с загородкой в пропасть.

Белокурые волосы выбивались из-под кепки и хлестали по лицу. Она по привычке дула на них, а они не слушались — щекотали щеки и глаза.

К ней подбегал Максюк, и от его близости ей было приятно и хотелось шалить. Максюк — коренастый

парень, с веселыми глазами и большим ртом. Он был бригадиром комсомольцев на бетоне, и эта бригада решила первой закончить наращивание гребенки и добиться во что бы то ни стало первой же положить последнюю бадью.

Плотник Трифон Подобедов, неизвестных лет, сухонький, с облезлой головой, с пеньковой бороденкой, каждый день был на глазах у Кати. Он взмахивал топором на опалубках и при каждом ударе похрапывал:

— Х-хек! Х-хек!..

И был ловкий, юркий, зоркий, к людям — пристальный, заметливый, хитренький, с беспокойным, балагурным языком. А голос был сипленький, бабий, пронзительный. Работал Трифон на опалубках уже три года, в деревню не отъезжал, считался лучшим плотником. При осмотрах опалубок других бригад он был первым экспертом: шел впереди всех и пищал песенки без слов. Все посмеивались, подмигивали, но знали, что слово Трифона будет верным и бесспорным. И неизменно он начинал торжественно, как сват на свадьбе:

— Ну, что же... дело верное: доски звонки, гвозди тонки. Все мы плотники, народ чистокровный... Духовитее и чище никоего труда несть... Древо-то, оно, то есть, ладаном пахнет... Ну, и плотник сам сбит плотно... Хоть, скажем, жуликов и средь нас до черта, все ж таки... мы, ребята, людской род сустречаем новым домом... чище золота... И мы провожаем его новой домовиной... то есть гробом, по простой арифметике...

— Ну, понес, лысый скоморох!..

Инженеры, десятники, рабочие скалили зубы.

— Старый кот, как он ловко прыгает по опалубкам-то!

— Душа легкая, ребятки, а кости — голубиные... Такое со мной было: вязал я кумпол на великой высоте колоколенки. А округ внизу — избушки, такие соломенные, убогие, и поля кружатся. И такая бедная и терпеливая деревенька, такой народ скучный... Ну, конечно, встосковала душа, и с кумпола возопил

я к облаку: господи, на кой тебе черт сдался этот храм в сей скудости? Тебе их и без того насобачили сверх меры. Гляди, мол, народ-то какой бедственный. Лучше бы ему жизнь облегчить, чем богу мухоловку строить. Ну, а мой дружок-то чертом оборотился и на меня — с топориком. Я это испужался, и колоколенка — набок. Чую, лечу кувырком, и небо кувырком, и земля кувырком... Подхватило меня ветром, завертело в воздухе. Пасть я не пал, а легче пушинки лег на щепку и стружки.

— Пьяный был ты, Подобедов... назюзился...

Трифон грозил кому-то мозольным пальцем.

— Двадцать годов душа не примает. Зарок дал своей бабе у гроба ее. Сам и гроб делал. Так-то... Сижу это я на стружках, а народ округ меня бормочет: убился, мол, Трифон-то, беда-то какая!.. Я же безвредно сажусь на сию стружку, и так мне дули моченой захотелось — моготы нет. Сижу и взываю: «Дули бы мне... дули... с рассольцем, бабоньки...» А они хохочут. Ну, рассерчал я. Встал и пошел в лавочку дули покупать. А за мной, — как в троицын день, народ веселится... Вот откуда у меня легкость естества. А теперьча я даже с опалубков не сверзаюсь. Истинный стал паучок... как на тенетах...

Каждый день Катя привыкла встречаться с Трифоном. Он подходил к блоку с топором в руке, смотрел на нее сверху, с борта опалубки, и сипел какую-то песенку без слов.

В парусиновых комбинезонах, в резиновых сапогах девчата были тяжелые, неуклюжие, потешные, как медвежата. Но их лица бледнели от негодования на кранового машиниста, который работал неровно: то медлил и останавливал машину, то бешено пускал вскачь, а потом любовался на бадью, которая кружилась на стальных канатиках. Бетонщицы орали на такелажника, молчаливого парня с свинцовыми глазами и скучающим лицом:

— Рохля ты!.. Болван чертов!.. Что ты там с машинистом за карусель устраиваешь? Бадью не может подать без помехи...

Такелажник равнодушно отвечал:

— Граммофонит на макаронах, кашеварка.

— Ну, майнай же, черт!

— Главое зло у нас — от дроты: веревки вьет, подлая...

Девчата чуть не плакали. Бадья кружилась над ними, как паук на паутине, страшная в своей тяжести, желанная и ненавистная. Чудилось, что она смотрела на них сложными глазами гигантского насекомого.

Однажды в соседнем блоке оборвалась бадья и грохнулась на опалубку. При падении она в щепки раздробила щиты и, отразившись в сторону, с гулом ринулась в водопад и исчезла в пучине.

Всюду — и на ряжевом мосту, и наверху, на плотине, и на перекрытиях опалубок — растерянно перебегали рабочие, махали руками и истошно кричали навстречу друг другу. Все краны остановились, и бадьи закружились на разных высотах, как по сигналу.

Катя увидела, как суматошливо толкались плечами и мешали друг другу люди, которые тащили по настилам досок что-то тяжелое, мягкое и неудобное.

Черная паутина троса легко, как шпагат, трепалась на ветру. Вели под руки двоих раненых. Они шли с опущенными головами. Девчата боязливо жались друг к другу и со страхом смотрели на свою бадью.

Катюша уже считалась на плотине одной из лучших ударниц, но никак не могла догнать Максюка. Переходящее знамя соцсоревнования неизменно развевалось на его блоке. Вместе с ребятами Макс был заснят фотографом. Снимок был помещен в газете, а под фотоснимком крупными буквами напечатано: «Равняйтесь по бригаде Макса Половинкина». И тут же красовалось письмо в редакцию самого Максюка: «Темпов не сдадим. Повысим число подъемов. Вызываем на соревнование другие бригады». Когда Катюша прочла это хвастливое письмо и поглядела на курносую улыбку Максюка на фотографии, она побледнела от зависти.

— Молодец Максюк!.. — крикнула она весело и страдальчески улыбнулась девчатам: — Ну, родненькие? Как? Вызов принимаем?..

Она торопливо написала грязными от работы руками письмо в газету: «Отвечаем на вызов тов. Половинкина новыми рекордами». И подпись: «Ударная бригада бетонщиц Кати Бычковой». Насчет этой подписи девчата поспорили: каждой болезненно хотелось, чтобы в газете было пропечатано ее имя. Катя сначала возражала: зачем это нужно? ведь это — не индивидуальная подписка на заем, где каждого надо брать на учет. Это же — коллектив «в общем и целом». Девчата обидно замолчали, Катюша спохватилась, поняла что-то и засмеялась.

— Девчата, эврика! Подпишемся все по алфавиту.

Теперь уж запротестовали все:

— Нельзя! Недопустимо! Бычкова пускай так и значится в заголовке... Бригаду Кати Бычковой в Москве знают.

Анохина Валя была самой маленькой в бригаде, но по возрасту старше всех, и к ней относились с снисходительной бережливостью, как к ребенку. Она не обижалась и даже чуть-чуть жульничала: делала вид, что хочет забежать вперед, но ловко и незаметно оказывалась позади, будто ее оттолкнули подруги.

Письмо их появилось в печати. Газетный фотограф снял их в комбинезонах, с лопатами. Внизу стояла подпись: «Славная бригада Кати Бычковой выполнит свое обязательство перед рабочим классом и оправдает звание членов героического комсомола».

Но бригада девчат отставала: Максюк бил их самым беспощадным образом. Каждую смену он обгонял их на две, на три бадьи, а один раз перекрыл на целых пять. Репортер газеты как нарочно стоял у них над душой, ухмылялся, молчал и злорадно отмечал в блокнотике их позорный провал.

Девчата не сдавали блока сменной бригаде, а Катюша держала в руке жетон и не хотела его вручать десятнику: еще четыре бадьи — и показатели будут

у них одинаковы с бригадой Максюка. Но бадья издевалась над ними: она застывала над их головами и медленно кружилась минуты по две.

Впрочем, она, Катя, совсем не виновата в этой проклятой канители: не успевал их обслуживать кран. Бадья не подчинялась ее воле, бадья господствовала над нею и сама зависела от той механики, которой управлял машинист. Тросы крутились под тяжестью бадьи, как веревки, и каждую минуту должны были лопнуть, обглоданные друг другом, — вот так, как на третьем блоке. Девчата со страхом смотрели вверх и разбегались в разные стороны, прижимаясь к стенкам опалубки. И становилось еще страшнее, когда такелажник взвывал в высоте:

— Сто-оп!.. Береги-ись!..

2

Катя приходила домой измученная, с изнурительной дрожью в ногах и руках. Она умывалась, разговаривала с матерью, но не запоминала своих слов, садилась за стол, что-то ела, пила чай, потом ложилась в кровать. Подходила мать, гладила ее по волосам и что-то участливо говорила ей.

Лежала Катя с закрытыми глазами и думала: что же делать, как же быть дальше? как выйти из этого отчаянного провала? как спастись от позора? Дрожали и бешено закручивались в веревку тонкие тросы, и огромным волчком вертелась бадья. Она внезапно обрывалась и падала на Катю. Подбегала мать, и Катя инстинктивно хватала ее за руки.

— Ведь ты же совсем надсадилась, Катюшенька... Брось ты эту каторгу!..

— Ах, мама, если бы ты могла понять... Мне очень тяжело, мама...

И плакала, прижимая к лицу руку матери.

— Ты бы поговорила с отцом, Катенька... Чего ты таишься?

Катя раздражалась и отталкивала ее руку.

— Вовсе не таюсь, мама... Откуда ты взяла? При чем тут папка? Ни он, ни Осокин и даже сам Балеев ничем не могут помочь... Ты думаешь, что только я одна мучаюсь и тоскую? Все. Сотни. Максюк хорохорится... Это — притворство... Он тоже мечется дома...

Мать терпеливо стояла перед нею и гладила ее волосы.

Катюша поворачивалась к стенке.

— Ну, уходи, мамочка... Я буду спать... Ты обо мне не беспокойся, старушка...

Она закрывала глаза, и опять перед нею начинала реять и кружиться бадья, а над бадьей, в синеве, очень высоко плыли журавли. Да, она увидела их сегодня. Играли стальные блоки над колыхающимся ромбом и жирно чернели мазутом. И Катя сжимала зубы от боли: свивающиеся канаты пронизывали ее, ущемляли руки и ноги и начинали кружить ее, раскачивая из стороны в сторону. Если бы остановить их, если бы расправить и раздвинуть их!.. Это можно сделать только там, в высоте, и здесь, в этом проклятом чумазом ромбе. И, словно исполняя ее желание, тросы расширялись и взлетали ввысь двумя сверкающими параллельными линиями.

В одну из таких мучительных минут длинный ромб передачи внезапно съежился и распластался широкими крыльями треугольника. Во сне это было или наяву? Катя, потрясенная, села на кровати. Потом соскочила с постели, надела туфли и подбежала к столу. В сумерках она стала искать тетрадку и карандаш, но ей попадались только ненужные вещи. Она зажгла электричество и сразу увидела и карандаш и тетрадку. Она была в одной рубашке, и сквозь тонкую материю просвечивало розовое тело. Торопливо и неряшливо она начала чертить широкие треугольники с прямыми и вдавленными основаниями. Обрывки линии — вверх, линия от вершины — вниз, какие-то кружочки, овалы, перепутанные кривые...

В эту минуту зазвенел голос Алешки Осокина в прихожей:

— Дома ударница? Эй, Катерина, товарищ Бычкова!..

Мать испуганно крикнула из кухни:

— Не ори ты, шишига!.. Заработалась она до смерти...

Катя вскочила со стула и бросилась к кровати.

— Не смей входить, Алексей! Я не одета...

Алешка снисходительно крикнул из-за двери:

— Даю две минуты... Я побеседую с тетей Груней...

Слышно было, как мать сердито ворчала на Алешку, а он весело и вызывающе что-то покрикивал ей в ответ.

С этим подростком Катюша сдружилась еще в школе: он нравился ей своим дерзким характером и озорным умом.

Алешка был практический человек, с большими претензиями и требованиями к жизни: он оспаривал свое право на активное участие в делах стройки даже у отца. При каждом удобном случае напористо вмешивался в разговор взрослых и высказывал свои мнения убежденно и основательно. К отцу своему он относился независимо, с самоуверенным превосходством.

Вошел он к ней бойко, с усмешкой в глазах, и прошагал к столу, как взрослый парень. Он бросил на стул старый отцовский портфель и взглянул на тетрадку.

— Какими это ты великими делами занимаешься, Катерина? Треугольнички, мушки, мазня... Совсем незаметно, что ты когда-то упражнялась по геометрии. Читал, читал, как тебя продирают с песочком...

Лицо у Кати залилось румянцем, а в глазах вспыхнула злость.

— Ты для того и ворвался ко мне, Алексей, чтобы наговорить мне дерзостей?

Алешка невозмутимо заложил руки за спину.

— Я, товарищ Бычкова, заглянул к тебе, чтобы поднять твой боевой дух.

У Катюши задрожал подбородок от смеха.

— Спасибо, товарищ Осокин. Но я в твоей помощи не нуждаюсь. Можешь спокойно идти домой и готовить уроки.

— О тебе, товарищ Бычкова, распространяется нехорошая слава. Хотя ты и стараешься спасти себя какими-то мухами, которых ты малюешь в тетрадке, однако имя твое уже красуется на черной доске... Удостоверься сама...

Катя взбесилась и, бледная, заорала на него:

— Ну, и убирайся отсюда к черту!.. Мальчишка!..

Алешка удивленно взглянул на нее сбоку и улыбнулся.

— Товарищ Бычкова, не кипятитесь, не позорьте любимой родины.

— Глупо, Алексей... Ты не знаешь, как я мучаюсь... Я, кажется, состарилась за эти дни... Ты слышал о тросах?

— Ну слышал. Что же из этого? С этими тросами Максюк-то все-таки тебя бьет.

— Это двумя-то бадьями? Ерунда, Алексей. Тросы режут не только меня. Пойми: нам нужно поднять не пятьдесят, а сто пятьдесят, чтоб выполнить план. С такой передачей в подающей стреле мы провалимся с треском. Все! Понимаешь? На всех участках... Когда боролись за встречный, этого обстоятельства не учли... С этим американским ромбиком мы сядем в лужу. И будет не дело, а мука во всесоюзном масштабе. Вот я и думаю... до обалдения думаю: как же нам раздвинуть эти дроты, чтобы они не крутили канители, а были всегда параллельными. Ну, и вместо того чтобы спать, я вот эти треугольники и малюю...

С сосредоточенным видом, наморщив лоб, Алексей изучал Катюшины треугольники и глубокомысленно гмыкал.

Тетя Груня принесла чай, хлеб, масло, колбасу.

— Ну, кончайте свои упражнения. Хоть дома-то бросьте учиться. Садитесь за стол.

— Правильно твое предложение, тетя Груня. Принимаемся за твое внеочередное задание.

Все вместе начали хлопотать у стола. Алешка сам достал посуду из шкафа.

— Ты, тетя Груня, следуй на выполнение своего хозяйственного плана. Мы тебя не задерживаем.

— Чего ты меня гонишь, грач? Чай, и мне охота послушать, какие вы дела решаете?

Алешка великодушно разрешил:

— Не возражаю, тетя Груня, ставлю тебе даже в плюс. Моя мамаша, наоборот, действует в единоличном порядке.

Алешка налил чай — сначала Катюше, потом тете Груне, а затем уж себе. Катя посмеивалась, подмигивала матери.

— Ах, какой ты умный мужчина, подумаешь! Прямо хоть выдвигай тебя на место папаши — в председатели рабочкома...

— А что ж, товарищ Бычкова? Нам и папашу временами приходится поправлять.

У Катюши блестели глаза.

— Ведь даже воробьям ясно, что все дело — в передаче. И ничего сногсшибательного в твоей мухе нет, товарищ Бычкова. А рисунок твой все-таки дерьмастый...

— Ух, какой ты безжалостный критик!.. Дело вовсе не в рисунке, молодой человек, а в замысле. То, что я предлагаю, — оспорить нельзя. Согласись с этим. Видоизменить старое, чтобы механизм работал по-новому, — это уже переворот, Алексей Осокин. И я убеждена, что моя муха, как ты назвал, победит.

— И чего это вы, Алешенька с Катенькой, все выдумываете? — озабоченно вздохнула тетя Груня. — Учились бы да играли больше. Успеете еще наработаться... Жизнь прожить — не поле перейти... Ох, устанете еще, голубчики, от всякой работы...

Катя неодобрительно взглянула на мать: ей было неловко за нее перед Алешкой.

— Ты, мама, судишь о жизни по прошлому. А сейчас мы работаем радостно...

— Вижу, вижу, дочка; как ты радуешься...

Алешка ухмыльнулся и изрек назидательно:

— Моя мамаша, ежели ухват путляет под казанком, начинает бить его об пол. Да еще веником отхлещет. Этот взгляд на вещи, тетя Груня, называется в физике инерцией.

— Уж больно слова-то у вас необиходные... — обиделась тетя Груня. — Ни подойдешь, ни подъедешь: не то сердиться, не то радоваться...

— А ты, тетя Груня, и сердись и радуйся: верное дело...

Хлопнула выходная дверь: кто-то вошел в кухню. Тетя Груня молча вышла из комнаты.

Оба проводили ее глазами до дверей и почему-то усмехнулись. Алешка вскочил, взял с окна тетрадочку и положил ее перед собою. Отпивая чай, он соображал что-то.

— Караул, граждане! Лопну от хохота... Срамота, а не рисунок.

Отодвинув в сторону стакан, он быстро начертил опрокинутый равнобедренный треугольник со вдавленным основанием, с овальной головкой в вершине и с кружочками на крыльях. От крыльев кверху протянул две прямые линии. Катюша только следила за его ловкой рукой.

Чертеж четко показывал устройство передачи: Алешка внес в рисунок Катюши только более строгое расположение частей — отодвинул блоки и спрятал их под крыльями треугольника да головку внизу увеличил и снабдил красиво изогнутым крюком на тросах.

Катя взяла тетрадку из рук Алешки и, всматриваясь в чертеж, стояла несколько секунд, как в столбняке, ослепленная, охваченная восторженной мыслью.

— Спасибо, Алеша. Очень хорошо сделал. Мне все ясно... до мелочей... Как ты думаешь: не посоветоваться ли с Шепелем?.. А может быть, с Танечкой Братцевой или с Шагаевым?..

— Умнеть начинаешь, товарищ Бычкова... — очень серьезно и рассудительно отметил Алешка. — Если уж консультироваться, то прежде всего, конечно, у Шепеля. Он мыслит по-большевистски.

Катя быстро накинула пальтишко и с листом в руке стремительно бросилась к двери.

Из другой комнаты испуганно вынырнула тетя Груня.

— Ты что же натворил, грач?

Алешка озадаченно смотрел в открытую дверь и презрительно пожимал плечами.

— Этот номер, тетя Груня, называется извлечением корня из хвоста...

3

А Катюша сломя голову бежала на плотину, не чувствуя холода осенних сумерек. Несколько раз она подпрыгивала на бегу и чувствовала, что легка, как птица.

Она долго искала Шепеля в котловане, но встретилась с ним случайно, когда, усталая и грустная, возвращалась домой. Он стоял с Шагаевым, Игнатьем Игнатьичем, около нового деррика, который монтировался на ряжевом основании.

— Товарищ Шепель, — с дрожью в голосе крикнула Катя, — я — к вам.. Страшно давно ищу — с ног сбилась...

Он равнодушно повернулся к ней, потом удивленно поднял брови и улыбнулся.

— К вашим услугам...

Игнатий Игнатьич радостно взмахнул руками и устремился к ней.

— А-а! мой утренний петушок!..

Катя покраснела и смешалась. Ей уже стыдно было показывать рисунок Алешки: чувствовала она себя смешной и глупой перед этими инженерами. Посмотрят они на ее листок из тетради, захохочут и скажут: «Ну, так чем же ты, девочка, хотела нас удивить? Треугольничками? кружочками да точками?.. Поди-ка спать, комсомолочка, а то завтра провалишь свой блок...»

— Ну, ну, Катя... — вдруг необычно ласково спросил ее Шепель. — Что это у вас за бумажка?

— Очень хорошо, что здесь и Игнатий Игнатьич...

А Игнатий Игнатьич морщился от улыбочки и как будто нервничал.

— Смелее, Катёк!.. Чую, что у тебя — радость... Возвещай утро уверенней!..

— Игнатий Игнатьич, — засовестилась Катя, — вы меня совсем сконфузили...

Шепель уже взял у нее лист и стал его внимательно рассматривать. Лист трепыхался на ветру, но Шепель очень ловко перехватывал его пальцами с разных сторон.

— Все-таки что же это у вас? полиспасты? Ага! система блоков... Чего же вы хотите от меня?

— Видите ли, в чем дело, товарищ Шепель... Тут я, конечно, неумело... не так... Но мне не самый чертеж важен, а реконструкция... У нас почему так скверно идет дело? А оттого, что скручиваются тросы... быстро трутся и обрываются... Меняют их через каждые полмесяца... И тут, как вам известно, аварии... Бадьи улетают в реку, бьют опалубки, да и людям достается... А эти канаты должны по-настоящему работать не меньше полгода... Ну, и при такой передаче, когда канатики скручиваются веревкой, бадьи висят над нами, как заколдованные, и кружатся... Ждешь, ждешь — и досадно, больно... Прямо все нервы издерганы... И даже не в этом вся суть, товарищ Шепель, а в том, что если мы останемся при такой системе передачи подающей стрелы, мы плана никак не выполним. Этот проклятый ромб измучил меня: ни на плотине, ни дома места не нахожу. Во сне снится, честное слово... По ночам бредишь... И вот я сообразила: если вместо ромба поставить «муху», то есть треугольник основанием вверх, — что получится? Разумеется, не мне такую технику решать, но мысль моя — верная... Вы должны согласиться... Тут, может быть, ничего нового нет, но ведь другие-то, техники-то, не подумали... мер-то не приняли... Почему? Потому, что их это не касается... А у меня это — вопрос жизни...

Сначала голос ее дрожал от робости перед этим знаменитым и строгим инженером, да еще начальником механизации, но потом она увлеклась, да и поощрительная улыбка Игнатьича подбодрила ее, а тут подстегнула эта ее решимость во что бы то ни стало довести дело до конца. Уже в середине своей речи

сразу окрепла: ей стало легко, и она смело, даже задорно произнесла последние слова. Но когда Шепель равнодушно и медленно сложил вчетверо ее бумажку и положил в карман кожаной тужурки, она испугалась. Игнатьич вдруг рассердился, и воспаленное его лицо исказилось желчным раздражением.

— Этого нужно было ожидать... — пронзительно крикнул он, нажимая на слове «нужно», и Кате показалось, что у него что-то закипело на губах. — Если уж Катя подняла мятеж против наших рационализаторов и механизаторов, то гнать их надо в три шеи... Что я вам говорил, Василий Захарович?..

Шепель отвернулся и бесстрастно посмотрел на огни плотины. Катя в нетерпеливом ожидании не сводила с него глаз. Игнатьич зябко втянул голову в воротник. Ветер был хоть и не сильный, но холодный и сырой. Он трепал платьишко у Кати и полы пальто. Волосы сбивались на лицо, щекотали щеки и хлестали по глазам. Вечер был темный и жесткий; частые огни почему-то слабо освещали и серую громаду электростанции, и скалы, и подъездные пути. Всюду было угрюмо, неприютно и дико, и Катя, давно привыкшая и к камням, и к грязным свалкам материалов, и к ночным ветрам, сейчас вдруг почувствовала себя ничтожной и жалкой. Она ожидала, что Шепель повернется к ней и небрежно скажет:

— Можете идти. Все это хорошо, но это дело — не вашего ума.

С судорогой страдания на лице она взглянула на Игнатьича, но он тоже смотрел в сторону — на деррик и прислушивался к чему-то.

— Надежда есть, Василий Захарович, — сказал он уже спокойно. — Пожалуй, к утру смонтируют.

Шепель зажег спичку, зажал ее в ладони и поднес ко рту. Лицо его вспыхнуло, потухло, опять вспыхнуло, и было похоже, что бородка у него запылала и задымилась.

— К семи часам утра — непременно. Иностранцы будут биты. Вместо декады — в четыре дня. Точно, как часы.

Игнатьич вдруг схватил руку Кати и засмеялся.

— Ну, Катенька, петушок мой, хорошо, что ты догадалась обратиться к Василию Захаровичу: он все меры примет. Можешь быть спокойна.

— Нет, правда?.. — вспыхнула Катя и с надеждой рванулась к Шепелю. А Шепель вынул бумажку, почему-то опять развернул ее и, не взглянув на чертеж, свернул и положил во внутренний карман тужурки.

— Это правда, Василий Захарович?.. — робко спросила она, и ее голосок в эту минуту стал совсем детским. Ей стало сразу нестерпимо холодно, и у нее задрожало не только все тело, но и нутро.

— Ну, не томите моего милого петушка, Василий Захарович...

Шепель быстро повернулся к ней и вежливо спросил:

— Давно вы заняты этой мыслью?

— Да уж с полмесяца с ума схожу...

— Может быть, и поплакали? — пошутил Игнатьич и лукаво подмигнул ей.

Катя сконфузилась. Шепель протянул ей руку и мягко сказал:

— Ваше предложение действительно — не новость...

У Кати замерло сердце. «Я так и знала...»

— Об этом как раз толковали недавно. Но так остро вопрос не стоял. Вы поставили его на ребро, как проблему дня, и выдвинули на первое место общую задачу о скорейшем выполнении всех обязательств. Выходит, что это — не только реконструкция полиспаста, но и факт общественного значения. По сути дела, инициатива и идея реконструкции механизма принадлежит вам одной.

— Неужели полетит моя «муха»?

— Муха? Почему — муха?

— Это я про свой чертежик.

— Вы подумайте, как удачно! — засмеялся Игнатьич. — Муха! Именно — муха.

— Василий Захарович, — уже совсем спокойно и по-деловому обратилась она к Шепелю, — когда же все это осуществится?

— А вы хотите, чтобы сразу? — впервые засмеялся Шепель. — Так не бывает. Надо изготовить конструкцию, испытать... потом — реконструкция стрелы... Придется потерпеть дней пяток, а может быть, и побольше... Не тревожьтесь, первый кран с вашей мухой сдадим вам же первой.

И он быстро пошел вдоль рельсов в мутные сумерки скалистого каньона.

Катя совсем неожиданно для Игнатия Игнатьича бросилась ему на шею и засмеялась сквозь слезы.

4

На плотину Катюша обычно приходила задолго до смены и у блока поджидала девчат. Правда, некоторые из них, как Глашатка, встречались с ней еще на берегу или догоняли друг друга на плотине. Маленькая Анохина Валя всегда приходила последней, с заспанными глазами и несчастным лицом. Над ней девчата подтрунивали и тормошили ее, а она злилась и повизгивала, как зверушка.

— Валентина, признайся, с кем ты крутила романтику?

— Ну, как вы не знаете... она же с корреспондентами гуляет и позирует перед фотографом.

— Ну и ладно... — злилась Валечка. — Сумейте сами увлечь... Нет таланта — и завидуете...

Она действительно страдала одной слабостью: ловила каждого газетчика, заводила с ним словоохотливую беседу и была страшно довольна, когда корреспондент строчил в свой блокнотик интервью, и никогда не забывала сказать:

— Меня зовут Валя Анохина... не забудьте, товарищ писатель...

А около фотографа увивалась всегда кошечкой и каждый день позировала перед аппаратом.

В предрассветном тумане, в приглушенном гуле водопадов, в огненных клубах пара Катюша стояла с девчатами около блока и смотрела на работу комсомольцев. Опалубка уже была почти заполнена вся.

Бычок высотою в сорок два метра стоял готовым. Сейчас плотники во главе с Трифоном Подобедовым приступят к сборке щитов. Сегодня же в пролете между бычками будет опущен каркас, чтобы прекратить доступ воды в водослив.

Дружной артелькой, с утренним сном в припухших лицах, шли ребята бригады Максюка. Парни, смеясь и болтая, посматривали на кран с тяжелым каркасом на тросе. Максюк остановился и что-то прокричал машинисту, махая рукой и скаля зубы.

Комсомольцы из сменной бригады топтались в блоке Катюши и посматривали на девчат злыми глазами.

Катюша казалась больной: она скорбно молчала и страдальчески морщилась. Вздыхая, отходила в сторону, чтобы не расплакаться. А девчата, как нарочно, топтались около нее, тискали, толкали, и это приводило ее в отчаяние.

— Ах, оставьте меня, наконец, в покое! Мне тяжело... Почему вы этого не понимаете?..

Валя Анохина лихо затопала резиновыми сапогами.

— Дорогой бригадир! Что же с нас взять? Мы можем похвалиться только своими кастрюлями...

Ребята рады были придраться к случаю.

— Браво, кастрюли!.. Кастрюли в штанах... кастрюли под парусом...

Эта кличка — «кастрюли» — осталась за девчатами еще с памятных дней летней мобилизации.

Прошла уже целая неделя с тех пор, как она передала Шепелю чертежик своей «мухи», и с того незабываемого вечера она жила еще мучительнее: по-прежнему металась в бессоннице, нервничала, в исступлении кричала на мать по разным пустякам, беспричинно плакала и казалась совсем больной. Раза два бегала в контору Шепеля, но в ужасе останавливалась перед дверью и сама не своя уходила обратно. Встречала на плотине Игнатьича, но спросить его о «мухе» не позволяло самолюбие. Она тогда ничего не сказала Татьяне, хотя и бежала на плотину со всех ног. Уже около блоков ей пришло в голову, что лучше будет,

если никто не узнает о ее «мухе» до поры до времени: люди ахнут, когда увидят эту «муху» на деле. И вот в результате — глухое молчание. Игнатьич и не останавливается перед блоком и как будто не замечает ее. Конечно, ерунда: Шепель забыл о бумажке или выбросил ее. Пошутил над ней, дурой, не сказал ей жестокой правды в глаза, чтобы не огорчать ее, а Игнатьич тонко и умело пошалил с ней. «Петушок! утренний петушок!..» Что за идиотское слово!.. И ей было стыдно смотреть в эти дни на людей, — до боли стыдно. Хорошо, что не проболталась Татьяне, и хорошо, что отцу на его тревожные вопросы о здоровье отвечала односложно и уклончиво...

На плотине — обычная деловая работа. В огненно-голубом тумане прозрачно вздымаются ввысь башни бычков на правом крыле плотины, а на левом — на мостовых перекрытиях — темнеют силуэты кранов. В котловане и в камерах шлюза тысячи каменоломов трудятся над разрушением и расчисткой гранитов. Может быть, и они так же, как и ребята и Катюша с своими девчатами, страдают и волнуются от неудач: ведь там в общей сложности нужно вынуть в течение месяца сотни тысяч кубометров...

Катюша металась по дощатым настилам плотины, по рельсам, натыкалась на вороха досок, металла, щитов, арматуры и вагонных площадок...

Трифон Подобедов с топориком в руках стоял вместе со своими плотниками у блока, улыбаясь морщинками и потряхивая бороденкой.

...Конечно, иначе и быть не могло: кто с ней будет считаться? Комсомолка Катя Бычкова... бригада девчат где-то на правобережном блоке... смешной какой-то треугольник в ученической тетрадке... Они ведь, эти инженеры, как высшие мастера, орудуют всякими чертежными инструментами... А Катя Бычкова? Это кто же такая?.. Ах, бетонщица?.. Сколько ей лет?.. Ага, окончила семилетку... Но ведь мы же давно знаем, что такое равнобедренный треугольник... Передача стрелы?.. Но у нас же ведь есть инженеры... Девице нужно разъяснить, что она изобрела только наперсток...

5

Инженер Корытин с обычной угрюмостью подошел к Татьяне и что-то озабоченно начал ей доказывать. Татьяна сдвинула брови и поугрюмела. К ним подошел Максюк и горячо заговорил, размахивая руками. Корытин скучно и досадливо хмурился на него, и видно было, что он вовсе не желает его слушать.

Катюша стояла у парапета и одиноко страдала. И девчата, и Максюк, и Татьяна, и люди, и громовое дыхание утра были ей невыносимы: если бы сейчас пойти домой и крепко уснуть...

К ней подошел Максюк и что-то говорил ей, смешливо и возбужденно, но она ничего не понимала. Он замолчал и потряс ее за плечо:

— Что с тобой приключилось, Катюха? Больная ты, что ли?

— Отстань!.. Не мешай мне, пожалуйста...

— Да ты пойми, что происходит... Никто не согласен спуститься в бадье к водосливу, чтобы прочистить пазы... Каменщики отказались, соседняя бригада бетонщиков отказалась...

— Ну, а ты?

— А что я? Я ж доказываю им, что здесь ничего нет невозможного. Не отшлифовались, конечно, сезонники. Они привыкли делать то, что другими захватано.

Катюша безучастно смотрела мимо Максюка.

— А этот Корытин, понимаешь, не соглашается: говорит, что совсем не желает попасть под суд...

«Он же совсем неумный и нечуткий парень...» — с обидой решила Катя и отвернулась от Максюка.

— А может, нам спуститься?.. Как ты думаешь, Катерина?

«О чем это он?.. Ему все равно, лишь бы как-нибудь отличиться».

— Я ничего не понимаю, Макс...

— Вот какая ты бестолковая!.. Корытин и Братцева никак не соглашаются... А дело — пустяк: молоток и зубило... спуститься в бадье.

Катюша встала и пошла к Татьяне.

Трифон говорил певучей фистулой, с хитрой улыбочкой:

— Да ведь к чему я, товарищ инженерша... Меня ведь ветром снесет, как осенний листочек... Тут надобно животную тяжеловесную...

Корытин угрюмо бурчал:

— Да бросьте вы его к черту, Братцева! Если я не найду добровольцев, я полезу сам.

— Татьянушка, это же дело на полчаса... Тут же не нужно никакой квалификации. Мы это сделаем с Максом.

Татьяна, к удивлению Кати, сердито оборвала ее:

— Не ерунди, Катерина! Сейчас вам с Максом надо принимать смену. Это вас не касается.

Корытин, серый и злой, ругался, ни к кому не обращаясь:

— Вот чертово положение!.. Никак еще мы не можем побороть партизанщину. А туда же, мировые рекорды... торжественные обещания...

— Ну, что вам стоит, товарищ Корытин, возьмем и попробуем...

Корытин с злой скукой огрызнулся:

— И пробовать нечего. Нам, дорогая моя, молодечество не нужно. Мы дорожим только верным делом и проверенным действием.

Максюк потянул Катюшу за рукав и мигнул ей: пусть, мол, они здесь спорят и препираются, а мы пойдем и сами это дело состряпаем.

Трифон Подобедов шел за Катюшей и Максюком и со слезливой улыбкой прислушивался к их разговору. Он вытягивал дряблую шею и изумленно пошлепывал себя ладонями по ляжкам.

— Хм, дела-то какие!.. Кудри мои, стружки золотые...

Над пролетом бычков стоял чумазый от мазута и угля кран с пустой бадьей. В кабине было темно и дымно.

Такелажник стоял, опираясь спиною на тележку крана, и спал с отвислой нижней челюстью. Во сне лицо его посерело и казалось измученным.

В среднем котловане, глубоко внизу, шла гулкая работа: издали чувствовалась многолюдная толпа, далекие крики, вой перфораторов, лязгающий грохот и звон механизмов. Где-то, за холмами, как далекий гром, глухо рокотали взрывы.

Прибежали девчата. Глаша хватала за рукав Катюшу и лепетала:

— Ты, Катюшка, это оставь... Я не могу... Это, Катерина, безумие...

— Это верно, — согласился Максюк. — Катерине лезть нечего... Мы это выполним вместе с Трифоном.

Он подхватил Трифона под руку и потащил к пролету. Плотник одурел от страха и стал вырываться.

— Нет, соколик... Нет, сынок, дорогой... боюсь я... Боюсь я этой пучины до невозможности...

Катя разбудила такелажника и машиниста. Они долго не понимали, в чем дело.

С печально тяжелыми веками такелажник промычал:

— К чертовой бабушке!.. Спать хочу... Я стою две смены... Один — на бюллетень, другой — на плетень... Я не желаю...

Максюк сдвинул кепку на затылок и скомандовал:

— Такелажник, бадью!.. На прочистку пазов... Строгое распоряжение прораба Корытина...

Такелажник вытаращил на него красные глаза, но вдруг размяк и потянулся.

— А где этот самый Корытин?

— Вот там... видишь, у блока... и Братцева там...

— Эх, помешали вы мне подремать, грешники... Мóчи нет... Запорошило очи... и веки — по пуду... как у Вия... — и упавшим голосом покорно запел: — Давай бадью, машинист...

Максюк передал инструменты Катюше и впрыгнул в бадью. Лица у девчат были испуганные, тревожные, настороженные.

Машинист высунулся из кабины, черный и потный, как негр. Такелажник, слепой от дремоты, уныло пропел:

— Вира-а!

И почему-то со злым равнодушием прибавил:

— Вот и отдувайся... холостые за женатых...

А Трифон стонал, шлепая руками по бедрам:

— Ой-бой, такелажник, гляди, как бы чего не вышло... Разве это мыслимо?.. Не майнай ты, голах!.. Налим — глаза налил...

— А ну-ка, ты... Трифон в дыру запихан... к чертовой бабушке!..

Бадья тихо поднялась над головами девчат и плавно поплыла к пролету. Она дрожала под ногами Кати, и эта дрожь струилась по телу, как электрический ток. На мгновение Катюша встретилась с глазами Макса, и оба они почему-то смущенно улыбнулись. Снизу кричали девчата:

— Берегись, ребята!.. Катя!.. Максюк!.. Осторожнее... Глядите в оба...

Катюша помахивала им рукой. Максюк стоял, повернувшись к ним спиной, и позванивал инструментами.

Крики девчат вдруг замерли, и Катюша ощутила мягкое замирание внутри. Бадья очень тихо опускалась вниз.

Был миг, когда Кате хотелось крикнуть в ужасе: «Не могу! Я отказываюсь».

Но Максюк весело посвистывал, глядел вниз, в упруго струистую спину несущейся воды, и лукаво подбадривал Катюшу:

— Веселей, Катеринка!..

Медленно ползла вверх шершавая мокрая стена бычка с отпечатком досок. Отпечатки были очень четки: заметны были даже мельчайшие слои дерева, сучки и мелкая рябь распиловки. И эта стена тоже уползала вверх. Открылся воздушный пролет, и далеко внизу бушевала вода взрывами брызг и пара. А дальше в просторах разлива сверкала река. Вон гранитные островки посредине реки, и на одном из них — круглая башенка, похожая на маяк.

Катюша заглянула вниз через край бадьи, и у нее до тошноты закружилась голова: мрачно и жутко приближалась коричневая поверхность, горбатая, выпученная, с пересекающимися струйками, со щепочками и

мелким сором. Вверху было тихо, и Катя знала, что оттуда смотрят все с замирающим сердцем. Кто-то из девчат пискнул, точно от боли, и Кате показалось, что это вскрикнула Глаша: должно быть, она не выдержала и отпрянула от пролета.

Почему они так долго майнают? Надо остановить бадью — вода уже близко. А самое страшное — это скрежет троса, который скручивается веревкой.

Максюк крикнул испуганно и, как показалось Катюше, оглушительно:

— Сто-оп!..

Наверху закричали разноголосо, не поймешь что, и голоса гулко завыли между бочками.

Мягкий и сильный удар снизу рванул бадью в сторону и повернул ее на полный оборот.

— Черти! Дьяволы! Вира-а!..

Бадью дернуло вверх, но подъема Катя не заметила. Видела только, как стена бычка летела прямо на нее и как-то неуклюже свернула вбок.

Второй удар рванул с такой громовой силой, что Катюшу чуть не выбросило из бадьи. Пальцы ее впивались в железную дугу, не ощущая боли, и Катя не сознавала, что она держится на весу. Помнила только, как вихрем взлетели брызги и окатили ее холодным ливнем. Максюка она уже не видела, — должно быть, он лег на дно бадьи.

— Максюк!.. Держись!..

Но Максюк не ответил ей.

Бадью вдруг перевернуло набок ударом волны и вьюгой брызг. В последних вспышках сознания Катюше почудилось, что ее руки отрывает от дуги бадьи какая-то страшная сила. И в этот же миг она увидела смертельно выпученные глаза Максюка, оскал его зубов, потом судорожный взмах руки, и все исчезло в вихрях брызг и пара.

Очнулась она спокойно и тихо. Над нею голубело небо, и небо жгло ее лицо жаром и колючим светом. Над нею склонялось много лиц; они смотрели пристально и потрясенно. Около нее на коленях стояла Глаша и визгливо плакала. Наплывом склонялось почти грозное лицо Татьяны.

— Ну, и хорошо... очнулась... живая...

— А Максюк?.. Где Максюк, девочки?

Кошмарные вихри воды, мелькнувший взмах руки с судорожно растопыренными пальцами... Нет, этого случиться не могло, этому нельзя поверить...

Она быстро села и схватила руки Татьяны.

— Говори мне, пожалуйста, Танечка... он жив, да?.. Я хочу видеть его...

И ей показалось, что все отпрянули от нее, а Татьяна отвела в сторону лицо.

Валечка Анохина ласкала ее и уговаривала:

— Он, Максюк, Катериночка, там... Ты не тревожься, милая...

— Врешь, Валька!.. Говори сейчас же, что с ним такое...

Татьяна подняла ее под руку.

— Ну, вставай!.. — и с угрозой крикнула куда-то в сторону: — Как же ты смел майнать, когда не было распоряжения?..

И только в ту минуту, когда Катю подняли на ноги, она заметила такелажника. Он стоял в стороне, синий от страха, вытирал руки о комбинезон и плаксиво гримасничал.

Катюша пронзительно крикнула и рыхло поползла вниз. Ее посадили на доски, и Татьяна прижала к себе ее голову:

— Не реви! Знала, что делала...

Катюша плакала, захлебываясь слезами, беспомощная и убитая. Плакали и девчата.

Корытин стоял поодаль, мутный и серый, точно его схватила лихорадка.

Только сейчас Катюша заметила Трифона. Он сидел на бревнах, обхватив облезлую голову жилистыми руками, и, низко склонившись к коленям, качался из стороны в сторону и бормотал, как пьяный:

— Эх, Максимка, Максимка!.. Что же это делается!.. Ах, ребятишки, ребятишки, ребятишки! И я — старый черт... Мне бы это надо... Мне бы надо... Не ему бы... а мне бы, старому дураку...

Он так и не пошел к щитам. Его бригада собирала опалубку без него. Он бродил по плотине бесприютный

и всхлипывал. На окрики не отвечал, а потом долго стоял у блока Катюши, сморкался, не отрываясь смотрел на девчат и даже не пошевельнулся, когда такелажник заорал на него: бадья чуть не раскроила ему голову. Потом он внезапно исчез. Говорили потом, что в барак он явился уже ночью, пьяный; потом один сидел за столом, стонал, как больной, плакал, сипел жалобные песенки и просил у всех прощения. На плотине он больше не появлялся.

VII. МАЛЕНЬКИЕ БУРИ

1

Феня и Кольча не давали о себе вестей, и Татьяна не знала, куда их забросила судьба.

Однажды она встретила Сеньку-цыгана, и он сообщил, что послал Кольче большую поэму и получил от него замечательное письмо. Ей стало грустно. В последние дни перед отъездом Феня очень нервничала, избегала ее и чем-то была озабочена. А потом вдруг врывалась к ней по нескольку раз в день и почему-то разговор сводила на Ватагина и враждебно злословила.

Татьяна удивлялась и не могла понять, откуда у Фени эта внезапная ненависть к Мирону. Однажды она пристыдила ее за это, но Феня озлилась и крикнула:

— Он застрелил у меня отца... гнусно и подло... И вообще я узнала его хорошо... Он — не тот, за кого я его принимала...

Сенька встретил Татьяну в сквере и еще издали заулыбался ей сконфуженно. Черные глаза его были печальны.

— Кольча просит, чтобы я всем пламенный привет передал... Хорошо, что письмо от него получил: тоска наехала... хоть со стройки беги... Одни меня стихи и спасают...

— Ты хоть бы, Семен, пришел ко мне и прочел свои поэмы... Ты с Вакиром не сблизился?

— Вакир — не по мне: он — гордый.

— Как там Феня? Ничего о ней Кольча не пишет?

— Кольча лежал в больнице раненый...

— Почему — раненый?

— Несчастье там у них... нападение было...

— Ну, а с Феней ничего не случилось?

— Не знаю. От нее тоже привет...

И пошел, погруженный в себя, далекий и чужой. Он казался одиноким и сиротливым.

Она справилась о нем у Вакира, когда он по обыкновению пришел к ней в свободный вечер.

— Он малохольный какой-то, — пренебрежительно отозвался Вакир, — не живет, а мечтает. Цыган метит, как бы удрать в свой табор.

— Семен говорит, что ты — гордый: смотришь на него сверху вниз.

— Такой уж большой вырос... А малыши всегда в обиде на взрослых...

— У тебя, Вакир, появилась новая черта: безапелляционность суждений.

— Твое воспитание, Тибра... А потом ведь опыт жизни укрепляет твердость убеждений.

— Ух, как пышно!..

— От души, дорогая Тибра...

— Не забудь, Вакир, что ты, как и я, как и тысячи нам подобных, спаслись от гибели и выросли только благодаря помощи людей вроде нашего Шастика.

— Не следует тушить и огня нашей души, Тибра...

— Я только хочу, Вакир, чтобы ты не упускал из виду самого существенного из твоей биографии...

Татьяна волновалась, что редко случалось с ней, а Вакиру это почему-то нравилось.

Татьяна с плотины пришла домой измученная. Гибелью Максюка была очень расстроена. В комнате одной стало страшно. Вышла в сад, но и там было тягостно. Она возвратилась и легла на кровать. До галлюцинаций представила себе, как погиб Максюк, как подняли полумертвую Катю...

Она встала и в смятении прошлась по комнате.

А когда немного успокоилась, ей очень захотелось чаю, но не было сил заставить себя взяться за дело. Она умылась, и ей стало легче.

Звонок.

Татьяна открыла дверь. Перед ней стоял Мирон.

— Гость легкий, Татьяна Ивановна, — не засидится. Разрешите зайти перед отъездом.

— Очень рада, Мирон Васильевич.

Он был в хорошей гимнастерке защитного цвета и в ярко начищенных сапогах. Портфель и кепку он бросил на стул, а сам стал посредине комнаты и с удовольствием окинул ее хозяйским взглядом.

— Хорошо. Жилье у вас ясное.

Он взял обе руки Татьяны и пожал их осторожно, точно опасался сделать ей больно. После отъезда Фени он ни разу не заходил к ней, и его появление показалось ей странным. Несомненно, оно вызвано сегодняшними событиями на плотине... Но он смотрел на нее весело, тепло, с той молодой радостью, какая бывает при встречах с близкими друзьями.

— Я зашел проститься с вами, Татьяна Ивановна. Сегодня ночью еду в Москву. Едет и Балеев вместе с девочкой Шепеля и Верой Сергеевной. Возвратимся, должно быть, дней через двадцать...

Он вынул из кармана трубку и резиновый мешочек с табаком. Татьяна пригласила его сесть, но он как будто не слышал ее. Ей показалось, что он забылся на мгновение, и глаза его похолодели и стали недобрыми. Она встревожилась и покраснела: ясно, он пришел к ней не за тем, чтобы проститься, а с какой-то другой, более важной целью.

— Какие у вас будут поручения, Татьяна Ивановна?

— Никаких, Мирон Васильевич.

— Скромно. А Паша вон часики наказала. Кстати: вы что-то говорили насчет вашей научной работы. Какие-то у вас затруднения... Может быть, я помог бы вам?

— Нет, Мирон Васильевич. Рукопись находится у меня. Я над ней понемножку работаю. Правда, кое-

кто из исследовательского института берет меня на испуг. Но это несерьезно и смешно. Чаю хотите?

— Некогда. Сейчас убегаю.

Он набил трубку и зажег спичку.

— Позавидуйте мне: обязательно побываю в Художественном театре и у Вахтангова.

— Завидую дружески, Мирон Васильевич. Но вы хотели сказать что-то другое?..

Он засмеялся.

— В душе читаете?

— Чувствую.

— Ну, так вот... Не беспокойтесь насчет этого несчастного случая... Пожалуйста. Вы здесь ни при чем...

Татьяна возмутилась:

— Зачем вы мне это говорите, Мирон Васильевич? Ведь вы же прекрасно знаете, что к этому событию я имею самое непосредственное отношение.

Он посмотрел на нее с пытливым удивлением, как будто впервые заметил, что она не способна понимать самых простых вещей.

— Жалко, конечно, парня... Нелепый случай... Следствие ведется... С Корытиным я уже говорил...

— Но Корытин категорически запретил спускаться ребятам.

— Я знаю это. Но он, как дежурный прораб, не подготовил и не расставил людей.

Он помолчал, а потом жестко подчеркнул:

— Я не доверяю Корытину.

И вдруг опять засмеялся.

— Испугались? Потеряли мужество? Это как будто не в вашем характере.

Татьяна холодно ответила:

— Вы ошибаетесь, Мирон Васильевич. Я только требую, чтобы это дело было разобрано без всякого лицеприятия.

— Разумеется.

Мирон прошелся по комнате и раза два провел ладонью по голове. Этот жест давно уже знала Татьяна: Мирон чем-то был озабочен... И она поняла, что вот теперь-то он и стал перед самым трудным вопросом,

который ему необходимо разрешить. Он и пришел-то к ней именно потому, что его мучил этот вопрос.

— Вакир — это настоящее имя или маска?

Татьяна взяла линейку со стола и согнула ее в кольцо.

— Я не интересовалась этим, Мирон Васильевич.

— Такого имени нет.

— А вам не все равно, какое он имя носит? Почему это вас занимает?

Мирон опять прошелся по комнате и пососал трубку, но она уже погасла и сердито похрипывала.

— Вы не знаете, кто его родители?

— Он неохотно говорил о них. К отцу он до сих пор питает непримиримую ненависть.

С той первой ночи, когда Вакир ночевал у Мирона, Татьяна заметила, что Вакир краснел, когда она заговаривала о Мироне, и старался переводить разговор на другое. А однажды демонстративно ушел от нее с злыми глазами. Но вчера сам сказал ей с непонятным раздражением:

— Ватагин мне покровительствует. Он, кажется, неплохой человек. Но я могу поссориться с ним и с тобой.

Ватагин действительно проявлял к Вакиру какой-то особый интерес. Но почему-то Вакир избегал его. Татьяна догадывалась, что этот интерес вызван не столкновением между ними в первый вечер встречи (об этом Татьяна узнала от Вакира), а тоской Мирона по сыне.

— Я знаю вас, Татьяна Ивановна, как прямого и правдивого человека.

— Не льстите мне, Мирон Васильевич.

— Надеюсь, что вы ничего не замалчиваете?

— С какой же стати? Какие у вас основания заподозривать меня во лжи?

— Умолчание — не ложь, а невысказанная правда.

Он взял портфель, молча пожал ей руку и задержал свой взгляд на ее лице.

Заходило солнце, и весь противоположный берег горел красным огнем. Пахло прохладным осенним тлением — горьковатым ароматом опадающих листьев

и картофельной ботвой. Татьяна прошлась по дорожке вокруг сада, между густых зарослей подстриженной акации. Небо было стальное — холодное и твердое. Вспыхнули электрические звезды в дымных далях, и сейчас же ослепительно заиграла колючими ресницами лампочка на улице, высоко на столбе. За огромным окном, задрапированная до половины белой занавеской, — комната Фени. Феня смотрела на нее, кудрявая, похожая на мальчишку, ожидающими глазами. Где она теперь? Должно быть, в поле, среди ометов соломы, пахнущей парным молоком. Она сидит у костра, в кругу колхозников и колхозниц, покрытых пылью и обрывками колосьев, разговаривает с ними, смеется и сама похожа на колхозницу, комсомолку. Может быть, она тоже думает в эту минуту о ней, о Татьяне...

За забором по липовой аллее разболтанными шагами прошел какой-то взволнованный человек и горячо упрекал кого-то:

— ...и если ты... если ты умный распорядитель... ну... так запиши же в свой системник... в системник свой запиши...

Кажется, он был навеселе.

Пронеслась мимо легковая машина.

2

Молодая женщина в белом беретике набекрень, в легоньком сером пальтишке бойко впорхнула в калитку и побежала по дорожке навстречу Татьяне. Еще издали было заметно, что она возбуждена, сильно торопится. Размахивая руками и закинув голову назад, она неслась прямо на Татьяну и, казалось, донельзя обрадовалась, когда увидела ее.

— Здравствуй, Танечка!..

Ее лицо показалось Татьяне знакомым. Она сдержанно улыбнулась ей. Не успела она опомниться, как женщина смачно чмокнула ее в губы. Это было неприятно и немного смешно.

— Ведь я же, Танечка, давно тебя знаю...

— А я вас не помню...

— Ну, где же тебе помнить!.. Агаша я... Агаша Репей...

— Да, да, теперь вспомнила. Мне Паша о тебе рассказывала, как ты воевала с ней насчет яслей — не хотела ребенка своего отдавать...

— Ну, вот... а теперь я — ух, какая!.. С Пашей я очень даже сердцем скипелась... Бегу к жене вашего тут инженера Старателева...

Она пошла впереди Татьяны, закидывая голову назад. Татьяна, невольно подчиняясь, пошла вслед за нею. Агаша вбежала на веранду и подмигнула ей.

Навстречу им открылась дверь в квартиру Старателева, и Елена Дмитриевна, полнотелая, завитая, с крайним изумлением смотрела на Агашу и на Татьяну.

— Ах, Танечка, это — к вам?.. А я думала...

Агаша засмеялась и живо вскрикнула:

— Именно к вам, Елена Дмитриевна. Танечка мне только дорогу проложила...

Елена Дмитриевна радушно пригласила:

— Ну, пожалуйте... Очень рада...

Агаша смело впорхнула в дверь.

— В кои-то веки в гостях у приятных людей побывать...

В ярко освещенной приемной, с зеркалом на стене над столиком, против вешалки, все сгрудились в кучу.

— Познакомьтесь, Елена Дмитриевна. Это—Агаша Репей, наша боевая пролетарка.

«Зачем я говорю эту пышную ерунду?» — упрекнула она себя, но хотелось сказать еще более нарядные слова, чтобы поднять Агашу в глазах Елены Дмитриевны.

— Очень приятно...

Прошли в гостиную, полную зелени. На полу мягкий ковер, налево — диван и кресла в чехлах, столик с большим букетом цветов в фарфоровой вазе; направо — пианино, шезлонг, шифоньерки.

— Очень у вас приятно, Елена Дмитриевна... — похвалила Агаша. — Жить надо да радоваться...

— Ничего... — улыбнулась хозяйка и взглядом спрашивала Татьяну, что это за странный визит. —

Только я больше одна: знакомств мало... Дети, хозяйство, заботы... и времени нет... Садитесь, пожалуйста!

Агаша ласково засмеялась.

— Вот и у меня то же было: как будто и делать нечего, а дня не хватало — ребенок, стирка, кухня... Голова кружилась... И жить было некогда... А ведь молодость-то нам один раз дается...

— А что же делать?

— Ну, точь-в-точь я так же спрашивала!.. А вот Паша мне доказала, что жизнь-то не в этом...

— А в чем же, по-вашему? — снисходительно справилась Елена Дмитриевна.

— Как в чем? — удивилась Агаша. — Уж, конечно, не в том, чтобы сидеть взаперти да дни отсчитывать. Дом домом, а надо, чтобы и люди тебе цену знали. Теперь я очень даже хорошо чувствую, что значит за себя отвечать. Гордость-то не в том, что живешь сытно да спокойно, а в том, что среди людей ты не последняя.

Елена Дмитриевна слушала ее с любопытством и мило прищуривалась. Горячая рассудительность Агаши и ее простодушие были забавны и привлекательны. Должно быть, она пришла к ней с каким-нибудь пустяком — предложить лотерейные билеты Осоавиахима или записать в члены Мопра!

— Ах, Агаша! — с сожалением вздохнула Елена Дмитриевна. — Не все на это способны... У каждого — свой характер...

Агаша вспыхнула от негодования, схватила руки хозяйки.

— Что вы, что вы, Елена Дмитриевна! Дорогая моя!.. Все, все способны... А вам особливо говорить так стыдно: вы — образованная... Такие люди, как вы, — золото...

Елена Дмитриевна сконфузилась и покраснела. Гости стояли, и она стояла, чувствуя, что ей — хорошо, интересно с ними.

— Танечка, что же вы молчите?

Татьяна любовалась Агашей и сама слушала ее с удовольствием. В словах этой простой женщины она

чувствовала большую искренность. Видно было, что эти мысли не внушены ей, не навязаны со стороны, а выношены самой.

— Молчу потому, — ответила Татьяна, — что умнее Агаши не скажешь. Вы намерены спорить с ней?

Елена Дмитриевна испуганно замахала ручками.

— Нет, нет, боже сохрани. Все верно, только не для меня.

— Почему же для других верно, а для вас нет?

— Ах, не будем об этом... — заволновалась Елена Дмитриевна. — Жизни своей я изменить не могу.

Она отошла к пианино, взяла лежавшую на нем книгу и стала торопливо перелистывать страницы.

— Это вы напрасно, Елена Дмитриевна... — порываясь к ней, пылко говорила Агаша. — Конечно, жизнь менять трудно... Но ведь это потому, что привыкаешь... Я по себе скажу: жизнь жизнью, а главное дело — страшно от привычки отказаться...

Помолчали. Елена Дмитриевна чувствовала себя неловко. Она вежливо обратилась к Агаше:

— Может быть, вы скажете о цели вашего визита?

— А мы ведь, Елена Дмитриевна, и разговор-то об этом ведем...

— Я вас не понимаю, извините...

Елена Дмитриевна в ужасе раскрыла глаза. Этот ужас Старателевой, должно быть, показался Агаше смешным, она улыбнулась.

— Что ж тут непонятного? Хочу завербовать вас на работу.

— Как? как?

В это время в комнату вошел Старателев в пижаме, с газетой в руках.

— А-а... дорогая соседка! Здравствуйте! Очень польщен!

Татьяна молча поздоровалась с ним за руку и отрекомендовала Агашу. Старателев, высокий, с дряблым, сухим лицом, с полуседым ершиком, подозрительно взглянул на Агашу и кивнул ей головой — небрежно, как-то вбок, виском.

— Прошу садиться...

И сам прошел к шезлонгу и сел в него, закрывшись газетой. Елена Дмитриевна смутилась и метнула на мужа злой взгляд: ее шокировало небрежное его отношение к гостям.

— Это кого тут хотят вербовать?..— насмешливо прогудел он из-за газеты.

Агаша весело ответила:

— Да уж не вас, конечно, товарищ Старателев.

Татьяна одобрительно улыбнулась ей.

Старателев опустил газету и с удивлением взглянул на Агашу.

Елена Дмитриевна страдала.

— Я не могу...— в замешательстве пролепетала она.— Это не по мне... Никуда я не пойду из дому... У меня — дети, на мне хозяйство...

— Ну-у...— утешала ее Агаша.— У всех хозяйство... На что же тогда домработница?.. А если маленькие дети — у нас на этой стороне есть замечательный детский сад...

— Никогда!

— И я вот говорила: никогда! С Пашей воевала. Десять раз проверила, пока сдалась...

Старателев резко оборвал ее из-за газеты:

— Моя жена не пойдет. Вы ошиблись адресом, уважаемая.

Агаша осмотрела его сбоку и с достоинством отрезала:

— Я не с вами разговариваю, товарищ Старателев, а с Еленой Дмитриевной. Не вмешивайтесь, пожалуйста, в наши дела.

Старателев опустил газету и изумленно поднял брови.

— Однако...

Елена Дмитриевна беспомощно озиралась.

Татьяна стояла, опираясь о стену, а Агаша свободно и независимо посматривала на хозяев.

— Так вот, Елена Дмитриевна, я и пришла к вам узнать: согласны ли вы вместе с другими помогать строительству?

Елена Дмитриевна с улыбкой пожала плечами.

— Что за вопрос? Разумеется...

— Вот и хорошо... — обрадовалась Агаша. — Так и запишем.

— Постойте!.. — взмолилась Елена Дмитриевна. — Но ведь я же и так помогаю... Создать мужу уютную обстановку, ухаживать за ним — это же не простое дело...

— Что ж, я не против этого... — добродушно согласилась Агаша. — Да только дело-то поставлено у вас так, что вы нашей жизни никаким боком не касаетесь.

— Но у меня ни знаний, ни квалификации нет.

— Батюшки!.. да мы вам сегодня же работу дадим... что угодно: культработа, или общественное питание, или курсы...

Старателев встал.

— Елена не пойдет. Эту ерунду вы бросьте.

Агаша сердито уставилась на него.

— Это как — ерунду?

— Давайте прекратим этот разговор... Я сам волен решать вопросы моего домашнего быта. Прошу покорно!

Татьяна направилась к двери.

Но Агаша с недоумением и упреком всматривалась в лицо Старателевой.

— Как же это выходит, Елена Дмитриевна? Значит, в инженерской-то среде хуже, чем у рабочих? Ведь вон даже в колхозе баб в председатели выбирают. Где же у вас, Елена Дмитриевна, самолюбие-то? Что же прикажете? Значит, мне так и доложить на собрании?

Елена Дмитриевна волновалась и боролась с собою. Что-то вроде беспокойной мысли блеснуло у нее в глазах. Ей было стыдно за мужа. Вспомнила неоднократные ссоры с ним из-за всяких домашних мелочей, его оскорбления, свои слезы.

Старателев бросил газету и пошел к двери.

— Довольно. Я не позволю своей жене оставлять дом.

Но Агаша вдруг повернула линию по-другому.

— Думайте сами, Елена Дмитриевна. Я вас не неволю. Я пришла к вам только узнать... интересуетесь вы или нет нашей стройкой... свой вы человек или чужой. Только и всего.

— Вы так ставите вопросы...— совсем смутилась Елена Дмитриевна.— Настоящий ультиматум.

— Это, Елена Дмитриевна, не я ставлю вопросы. Это жизнь наша каждого из нас ставит в такое положение.

Когда Агаша надевала пальто, Елена Дмитриевна шмыгнула в дверь за мужем.

— Я сейчас, на минутку...

И в комнате началась перебранка.

Агаша, уже одетая, стояла у дверей с Татьяной и шептала:

— У образованных-то и хамство завитое...

Они вышли в сад. Было уже совсем темно, и небо было усыпано звездами.

— Молодчина, Агаша! — сказала Татьяна, прощаясь с нею. — Я на тебя насмотреться не могла...

— Трудно, Танечка, узлы развязывать и тенеточки разрывать. Я ведь понимаю... Сама пережила...

Они расстались как подруги.

— Куда же ты теперь, Агаша?

— А к мадам Кряжич.

— Что ты, Агаша! Это же мертвяк... Зачем она тебе нужна!..

— А как же, Танечка! Она — немка: языку учить будет.

Татьяна засмеялась.

— Успехи-то твои как будто сомнительны...

Агаша победоносно вздернула голову.

— Здесь-то?.. Танечка дорогая, здесь дело-то уж само сделается... Я за эту дамочку совсем даже спокойна...

И она торопливо побежала по тротуару, размахивая полами пальтишка.

Татьяна долго смотрела ей вслед, пока она не скрылась во тьме, и направилась в другую сторону — к плотине.

3

Агаша открыла калитку перед домом Кряжича и быстро пробежала по аллейке, прихорашиваясь на ходу. Она уверенно поднялась на крыльцо с ослепительной лампочкой над дверью и так же уверенно нажала кнопку звонка.

В ожидании она обернулась назад и посмотрела на шарообразные липы, на яблони с белыми стволами и на фиолетовую, красную и белую пену астр на рабатках. Вся стена дома была покрыта диким виноградом. Вспомнила о своей светлой квартирке с садиком перед окнами. И у них с Мишей хорошо. Она уговаривает Пашу поселиться в квартире Хабло, чтобы быть рядом и чувствовать друг друга. Но Паша и слышать не хочет — волнуется даже. В этой квартире поместился Баранников с женой и двумя мальчатами и находит, что квартира для них — велика. Баранников — рабочий парень. Теперь он инженер, а давно ли был токарем по металлу? Уже на другой день Баранников позвал их с Мишей в гости на новоселье, и они как-то сразу пришлись друг другу по душе: и общие слова нашлись, и общие интересы, и о строительских делах и людях говорили, с полуслова понимая друг друга.

Баранников даже за столом обнял Репея.

— Терпкий ты человечина, Репей...

А Миша сразу нашелся и крикнул от сердца:

— Не может быть иначе, Егор Данилыч: я настоен на рабочих дрожжах.

Агаша хотела уже надавить кнопку в другой раз, но за стеклянными дверями вспыхнуло электричество. К ней шагала девушка в кружевной наколке и белом фартуке. Она полуоткрыла дверь и недружелюбно спросила:

— Вам кого?

— Я — к Маргарите Эрнестовне.

— А по какому делу?

И оборонительно стала в дверях, осматривая Агашу недоверчиво и строго. Агаша тоже оглядела ее и усмехнулась.

— Ну, я, родненькая, рапортовать тебе не уполномочена. Раз пришла, значит по делу. Приглашай-ка, дружок!

И, мягко оттолкнув девушку, весело впорхнула в дверь. Девушка покраснела, оскорбленно сверкнула глазами и опять смерила Агашу с головы до ног.

— Ты чего глядишь-то на меня, милок? Аль у меня что не в порядке?

Девушка пожала плечами, а потом вдруг улыбнулась.

— Служишь-то давно здесь?

— Больше года, пожалуй.

— А раньше где работала? По нарпиту, что ли?

— На фабрике-кухне.

— Чего сюда-то сбежала? Слаще, что ли?

— Да, сама бы попробовала... Узнала бы, откуда солнце всходит...

— Я-то попробовала бы, да ты-то вот, дружок, предпочла тихое гнездышко, барыньку и всякие тютельки.

Девушка обидчиво насупилась и спрятала руки под фартук.

— Рыба ищет, где глубже...

— Имечко-то твое как?

— Любовью зовут... Люба.

— Веди-ка меня, душечка, к своей барыне-то.

— У нас так сразу нельзя. Я сперва доложу...

— Ну, и доложи, раз с этого у вас начинается...

В приемной много было зелени: и пальмы, и фикусы, и даже целое лимонное дерево в кадке. Лимоны висели почти на каждой ветке. Это особенно понравилось Агаше, и она не удержалась, потрогала пористо-зеленые плоды. Потом поднесла пальцы к носу и понюхала: да, настоящие лимоны. Решила: обязательно достать лимонное деревцо и поставить у себя в комнате.

В квартире Кряжича была застоявшаяся тишина. Даже Люба не нарушала этой тишины своими шагами: она ходила в мягких тапочках. Только сейчас вспомнила об этом Агаша и отметила, что Люба и говорить-то старается тихо, с оглядкой. И Агаше стало смешно,

когда она догадалась, что Люба просто струсила от ее слишком бесцеремонного громкого вторжения. Агаша вспомнила о своей недавней домашней жизни, о своих маленьких хлопотах в кухне, в комнатках, — со стряпней, со стиркой белья, с уходом за Никандром, с беганьем с ребенком на руках по магазинам. Теперь Никандр — в детских яслях. Миша и она питаются в участковых столовых, белье сдает каждую декаду в общественную прачечную... Правда, сначала было как-то неуютно, неприятно, больно: обеды были невкусные, чужие, неприглядные. Никандр в яслях казался сиротой, и на него без слез нельзя было смотреть, белье пахло плесенью. А дома по вечерам квартира казалась грустной. Но и это забылось в живой и неожиданно увлекательной работе. С первого же дня она, хоть и неумело, хоть и растерянно, должна была уламывать жен рабочих, сбивать на собрания, с дрожью во всем теле выступать перед ними, спорить, организовывать их для большой и маленькой работы на плотине, на шлюзе, в бараках, на комбинатах. А сейчас вот надо включить в культурную работу жен инженеров.

Люба вышла из комнаты на цыпочках и, со смехом в глазах, подмигнула Агаше: ну-ка, мол, иди, пощупай нашу недотрогу...

— Войдите, пожалуйста!..

Рита казалась нездоровой: ее лицо, обильно обсыпанное пудрой, было похоже на маску. Она еще издали встретила Агашу холодным вопросом:

— Что вам угодно?

Она стояла посредине комнаты, неприветливая, прямая, с откинутой назад рыжей головой.

— Хочу поговорить с вами, Маргарита Эрнестовна...

— Но я вас не знаю... и очень удивляюсь...

Агаша подошла к ней и засмеялась.

— А вы не удивляйтесь. Разве к вам и зайти нельзя? А у нас это — просто, ежели есть интерес.

— Какой может быть у вас интерес?

— Большой интерес, Маргарита Эрнестовна. Вы должны помочь нам в работе.

— В работе? — в ужасе отшатнулась Рита. —

В какой работе? Вы ошиблись: я никакой работы не желаю, нам это не нужно.

Не хотелось говорить, не хотелось возиться с этой барыней: охватывала беспричинная усталость. И верно, на кой черт она нужна? На нее и глядеть-то противно.

Агаша нахмурилась, и в глазах у нее блеснула злость.

— Извините, пожалуйста: я к вам пришла не для того, чтобы услужить вам, Маргарита Эрнестовна. У нас, ежели желаете знать, ценятся не услуги, а заслуги. Услуги у нас называются — помочь товарищу, а заслуги — замечательный труд. Вот и у вашего мужа, товарища Кряжича, есть эти заслуги. Для нас уметь работать — высшая честь.

Маргарита Эрнестовна опешила и оскорбленно покраснела — не скрыла этого и пудра на лице.

— Но позвольте...—высокомерно оглядывая Агашу, сказала она с презрительной усмешкой. — Какое вы имеете право входить сюда и учить? Прошу оставить эту комнату. Меня никто не заставит работать. Достаточно того, что у вас работает мой муж...

— Погодите, Маргарита Эрнестовна... Вы послушайте...

— Я вас слушать не хочу... Я распоряжаюсь собою, как желаю...

У Агаши потемнели глаза от ненависти.

— Эх, чего уж там, Маргарита Эрнестовна... Ничего-то вы не понимаете...

Рита повернулась к ней спиной и небрежно сказала:

— До свиданья! Ауфвидерзеен!.. — и требовательно позвала: — Люба!..

Агаша вышла из комнаты. Люба проводила ее до калитки.

— Уходи-ка отсюда, девка. Кому ты только служишь... Как тебе не стыдно!..

Агаша расстроилась от встречи с этой немкой. Живет эта кукла целые годы во тьме, без воздуха, в затхлой пыли и понятия не имеет о том, какие яркие дни горят за окнами ее душного гнезда... Ей чужды радости труда, а волнения борьбы ей неведомы. И такие

существа могут еще жить в наши дни!.. Живут и будут еще жить, пока не исчезнут последние паразитки... Вот откуда эти роскошные моды, намалеванные губы и фальшивые брови!.. Надо бороться с этим добровольным рабством, беспощадно бороться...

VIII. РАДОСТЬ

1

В общежитии было несколько секций, и в каждой секции квартиры располагались от площадки лестницы веером: по бокам — трехкомнатные, а прямо — двухкомнатные. На втором этаже обе комнаты занимали Корытин и Паша. Корытин был всегда занят на плотине. Домой приходил почему-то хмурый и озабоченный. Как-то Паша насмешливо напала на него, когда открывала ему дверь (он никак не мог сладить с замком):

— Хоть бы спасибо сказали, Корытин. Что бы вы без меня сделали?

Он мрачно пробасил:

— Извиняюсь. Прошу получить благодарность на будущее.

— Чего вы злитесь?.. Глядите веселее.

— Сердиться мне нечего, да и веселиться нет особых оснований.

— Веселятся без особых оснований. Для этого достаточно иметь общительный характер.

Он усмехнулся, проходя мимо нее к вешалке.

— Скучно вы живете, Корытин.

— Я работаю. Мне скучать нельзя... Нас душит календарь.

Однажды часов в одиннадцать вечера неожиданно явился Гудим. Не снимая картуза и пальто, он прошел в комнату и медленно оглядел ее, что-то соображая.

— Хорошая комната. Площадь — на двоих. Ванная есть?

— Конечно, есть.

— Знаю, что есть.

— Чего же ты спрашиваешь?

Он открыл дверь в ванную и включил свет. Пахнуло влажной духотой от объемистой матово-белой чаши ванны. Подумал, пошлепал ладонью по глянцевой колонке и вышел.

— Выпьем чаю, Гудим. У меня есть свежее варенье.

— Значит, есть досуг, чтобы варить варенье.

— Почему бы и не сварить себе варенья?.. Вишневое, Гудим... Принесла Домаша.

— Чаю не хочу, а варенья положи на ломоть хлеба.

Паша обрадовалась, подхватила Гудима и потащила к себе в комнату.

— Разденься!

— Некогда раздеваться.

— Человечина! Ведь это же — неуважение к хозяйке: в пальто, в картузе... Уж не в калошах ли ты?.. Поговорим же по-человечески... чучело! Кабернэ хорошим угощу.

Гудим улыбнулся, и в этой улыбке Паша увидела что-то похожее на детскую застенчивость.

— Ну, раз у тебя кабернэ, говоришь, тогда можно на минутку раздеться. Хм, варенье и кабернэ...

— Водки нет, Гудим...

— Водки не пью. Посижу минут пять: некогда.

Он разделся и прошел в комнату. Чувствовал он себя непривычно и стеснительно: не знал, как держать себя с Пашей. А ее приветливый голос, радостный блеск очков и гостеприимная хлопотня смущали его: для него это было необычно, ново, как трогательное воспоминание о далеких днях. Она ухаживала за ним и была возбуждена — не сидела на месте, пылала и говорила неустанно. Она налила ему стакан вина, положила в блюдечко варенья и даже подвинула две тарелки — с фруктами и конфетами.

— Гудим, ты, пожалуйста, попробуй все. Ты сделаешь мне большое удовольствие.

Гудим удивленно посмотрел на нее, точно обнаружил в ней что-то очень хорошее, приятное, и засмеялся.

— Давай с тобой, милый Гудим, выпьем за молодость.

Гудим взял стаканчик и взглянул одним глазом на рубиновый огонек в вине.

— Это можно.

Они чокнулись и встретились взглядами.

Он выпил до дна, деловито, уверенно, с сознанием необходимости опорожнить стаканчик. Она — до половины.

— Выдаешь себя, Погадаева... — Со строгим упреком он ткнул пальцем в ее стакан. — Самое важное — доводить дело до конца.

Паша хотела налить ему еще стакан, но он решительно указал пальцем на то место, где стояла бутылка.

— Водвори обратно!

— Ну, съешь яблоко.

Он взял яблоко и погладил его, потом пытливо посмотрел ей в лицо.

— Я к тебе мимоходом. У трамвайщиков был.

— Голубчик Гудим, я очень тронута. Зачем ты это говоришь?

— После переселения из поселка мы как-то не успели проверить жилищные условия товарищей. Ты что-то жаловалась...

— Совсем не жаловалась... Только оторвали меня от вас... вы — на той стороне, а я — в соцгороде.

— Переселяйся в мою комнату. Завтра пришлю грузовик.

— Нет, Гудим. Из этой комнаты не уйду. Мне она стала очень дорога.

Он понимающе кивнул ей и опять улыбнулся.

— Значит, чувствуешь себя хорошо?

— Замечательно, Гудим! Если бы ты знал, что я переживаю в эти дни...

В жизни человека бывают такие минуты, когда в молчании постигаешь людей глубже и проникновеннее. Таких мгновений не выразишь словами. Слова могут даже таить в себе ложь и разрыв. То же самое переживала сейчас и Паша. Когда она увидела по глазам Гудима, что он знает ее тайну, ей очень хотелось

рассказать ему о своей любви, о беременности, которую она обнаружила недавно. Но сейчас же поняла, что слова — ни к чему, когда чувствуешь друг друга интимнее в недоговоренности.

— Если ты будешь иногда навещать меня, Гудим, — вот так, как сегодня, — я буду совсем счастлива.

И с сожалением вздохнула.

— Ах, если бы ты женился, Гудим!

— Такая нагрузка — не по мне. В этом деле я — плохой организатор.

Он встал из-за стола и направился в прихожую. Потом остановился и протянул ей руку.

— А твои материнские чувства я понимаю... Это я насчет нашего летнего разговора... помнишь на плотине?.. Быть матерью — ответственная обязанность.

— И счастье большое, Гудим...

— Может быть... Но быть отцом не всякому дано.

Он натянул шинель и старательно надел фуражку.

— А мне кажется, что ты, Гудим, был бы хорошим отцом...

— В этом не уверен, поэтому не желаю приносить несчастья человеку. Опыт был. Неудачный.

— Какой ты славный, Гудим!..

Он повернулся к двери, взялся за головку задвижки и заскрежетал ею. Попробовал раза два и внимательно осмотрел замок.

— Туго. Надо маслом смазать.

2

Как раз в этот момент зазвенел звонок. Гудим отворил дверь и столкнулся на пороге с Цезарем. Неожиданное появление поразило даже Гудима. Паша вспыхнула и отшагнула назад.

— Цезарь, голубчик! Очередная внезапность.

Гудим вышел и прихлопнул дверь.

Цезарь постоял у порога и прислушался.

— Раздевайся, Цезарь.

— Разреши так...

Но все-таки плащ снял. Он молча прошел в комнату и присел к столу. Лицо его было строго и бледно. Он волновался, но старался это скрыть. Паша провела ладонью по его волосам, но он и этого не заметил.

— У меня как будто новоселье сегодня, Цезарь. Выпей вина.

Он благодарно кивнул ей.

Паша налила ему кабернэ и села к столу напротив. Он приветственно поднял стаканчик и отпил несколько глотков.

— Я решил, Паша, зайти к тебе по совершенно исключительному поводу.

— Подожди, Цезарь, ты слишком торопишься. Надо сначала выпить вместе со мной.

Она протянула ему свой стакан с недопитым вином. Он тоже поднял и чокнулся с нею.

— Я пила с Гудимом за молодость, а с тобой выпью за сердечную дружбу.

— За правдивость, Паша.

Паша поставила стакан, не отрывая глаз от Цезаря. Он пил маленькими глотками и думал.

— Ты не сердишься, что я пришел так поздно?

— Наоборот. Я в восторге.

Он сразу начал рассказывать с серьезным и вдумчивым лицом, хотя на нее не смотрел, а как будто говорил сам с собою:

— Представь себе такую историю, Паша. Нужно взорвать мост — взорвать во что бы то ни стало. Схватят всех — дело погибло, и люди погибли. Взрыв моста обеспечивает успешность большой боевой операции, иначе — отступление, дальнейшие жертвы и, может быть, разгром. Один политком вызвался взорвать мост с двумя бойцами. Пошли. Мост — в руках врага. Дело удалось довести до последнего, решающего момента: оставалось зажечь шнур. В это время хватают двоих, а третий бросается в реку. Красноармеец струсил, ослабел, стал просить пощады. Политком, доставленный в штаб противника, оказался офицером, которого даже опознали и на радостях облачили в погоны и опоясали оружием. Когда привели красноармейца, он застрелил его собственной рукой. Дикое ликование. Ну, потом —

пьянка, веселье до зари. На рассвете мост был взорван. Как ты оценишь этот сюжет? Можно ли оправдать действия политкома?

— Да, Цезарь...

— А убитый им товарищ?

— Но если иначе нельзя было поступить? Помоему, политком рассудил правильно: товарищ его был уже обречен, оставлять его врагу — опасно. В том-то и заслуга, что он сумел обмануть врага, хотя и дорогой ценой. Я только не пойму, к чему ты клонишь.

Цезарь болезненно улыбнулся.

— Видишь ли... тут психологический вопрос: мой герой до сих пор подавлен душевно.

Паша равнодушно — так показалось Цезарю — заметила:

— Твой герой знал, на что шел и что совершал. Он предвидел это... все предвидел и, очевидно, заранее обдумал свои действия.

Глаза ее за очками казались острыми и холодными.

— Но гвоздь вопроса в том, Паша, что конец рассказа у меня не вытанцовывается. Политком не сообщил в своем рапорте об убийстве товарища. Он сказал только, что мост взорван с большими жертвами, и — точка. О подробностях же умолчал. Сначала был болен, а потом уже затаил в себе. Вот в чем изюмина сюжета.

Паша не смотрела на Цезаря — избегала его взгляда. Щеки ее покрылись красными и бледными пятнами, очки сверкали неприветливо.

— Что это значит? Создавать какую-то тайну и переживать ее в самом себе. Что за путаник твой герой!.. Я чего-то здесь не понимаю, что-то ты не договариваешь, Цезарь... Зачем ты мне это рассказывал?

Она с судорожной улыбкой бросила на него короткий взгляд, и он заметил, что глаза ее вздрагивали. Но от одного того, что он высказался и Паша поняла его (видел, что поняла), ему стало легче. Правда, он терзал себя за нерешительность, за маскировку, за игру словами; все-таки у него не было мужества выразить себя открыто, кратко, без подходца, — все-таки он

прятался за жалкие слова, за иносказания, за третье лицо...

— Кстати, Цезарь, почему ты никогда не носишь ордена?

Паша уже потухла и как будто тяготилась им. А он чувствовал, что сделал какую-то ошибку, что не так он говорил с Пашей, что она восприняла его исповедь неверно: несомненно, она увидела в нем кого-то другого.

Он сделал невероятное усилие, чтобы выдержать ее взгляд, и вздохнул.

— Я подумаю, Цезарь... Действительно, сложный сюжет... Я сейчас только поняла, как трудно быть художником...

Оба замолчали, стесняя друг друга. Он застыл от ожидания каких-то значительных ее слов, а она смотрела на скатерть и теребила ее пальцами. Им казалось, что сидели они так очень долго.

Цезарь встал, и Паша увидела, что глаза его горели сухим, обжигающим жаром. Ах, вот почему в них каждый день тлело страдание...

— Я ведь могу ошибаться, Цезарь. Тебе надо поговорить с Гудимом, а еще лучше — с Мироном или Чумаловым...

— Подумаю...

— Ты не болен, Цезарь?

— Кажется, болен.

— Туберкулезом?

— Нет. Противоречиями.

3

Паша открыла окно, легла грудью на подоконник и стала смотреть вниз, на тротуар.

Было по-осеннему свежо и звездно, по-осеннему пахло горькими листьями. Молодые деревья на бульваре сверкали тонкими ветками под ослепительными электрическими фонарями. Окна противоположных домов были освещены вразброс оранжевыми и зелеными огнями, а другие льдисто темнели: люди, вероятно, уже

спали — рано вставать на смену. Магазины в нижних этажах мерцали обширной пустотой, освещенной матовыми шарами, и там четко и безжизненно, с геометрической правильностью, чеканились в далях древесно-желтые прилавки и расцветали красиво убранные полки. Мостовая тускло отражала огни: она была чисто вымыта и еще не совсем просохла. Мягко носились машины друг другу навстречу.

По тротуарам и по бокам мостовой бродили приодетые парни и девушки. Быстро прошли, должно быть с плотины, две толпы рабочих с громким говором и спором.

Цезарь вышел из подъезда, постоял немного на тротуаре, оглядывая улицу, точно решал, в какую сторону пойти. Потом быстро пересек мостовую и остановился на том тротуаре.

В серой кепке, в плаще, он зябко засунул руки в карманы и, сутулясь, пошел быстрыми шагами к Дому общественных организаций.

Паша закрыла окно и стала раздеваться.

«Почему он скрыл?.. Зачем он это сделал?» — возмущалась она и чувствовала не злобу, а участие к Цезарю.

Зачем он играл перед нею роль какого-то любителя-беллетриста?.. Вдруг он не тот, за кого она его принимает? Вдруг он враг, скрытый под маской дорогого товарища? Ведь Хабло тоже изображал из себя большевика, и, если бы она не опознала его, если бы в этом не помогли ей Репей и Емельян, он, может быть, и сейчас производил бы диверсионную работу. И Паша испугалась этой мысли.

Она взяла трубку телефона и услышала далекий голос Гудима:

— Партком. В чем дело?

— Слушай, Гудим, Цезарь — не у тебя?

— Не был. А что?

— Жалею, что ты не остался. Он сообщил мне необыкновенные вещи.

— Личные?

— Как будто личные, но с большими оговорками.

— Ну, ладно... Потом расскажешь...

Паша легла в постель и сразу же ощутила приятную истому, точно она выполнила какую-то тяжелую физическую работу или прошла верст сорок. Думала она о Цезаре, а сердцем ликовала и наслаждалась собственным, тайным своим счастьем.

Обнаружила она в себе эту радость недавно. Ожидала, следила за всеми изменениями в своем организме, но ничего не замечала. Первый месяц прошел так же, как и все предыдущие месяцы ее жизни. Но однажды, когда Мирон жил еще в своей деревенской хибарке внизу, в старом поселке, она пришла к нему, неожиданно подхваченная им ночью на плотине. Он был очень возбужден и нетерпелив, и ей было хорошо оттого, что он крепко и грубо обнимал ее. Он был с ней нежен, любовно внимателен и проводил почти до самого ее дома. Но на другой день был угрюм, резок и сосредоточен. И в глазах его она видела самоосуждение. В последующие дни он обращался с нею постарому: шутил, прислушивался на бюро к ее словам, уважительно оценивал их значительность, — но в строгом лице его и тугом взгляде она встречала грозный окрик: «Довольно!» А она с ликующим протестом отвечала на его взгляды: «Нет!»

В поликлинике знакомая женщина-врач, черненькая Софья Абрамовна, ответила на ее объяснения както даже неприветливо:

— Подождем с месяц. Теперь еще рано.

И вот этот месяц прошел, и она уже без врача знала, что забеременела. Пошла же она к ней потому, что хотела услышать авторитетное подтверждение этого события. И Софья Абрамовна подтвердила ей решительно, просто и деловито.

А потом сама однажды пришла к ней ночью — мимоходом, кстати, как оговорилась она с лукавой улыбкой. Они толковали с ней о разных посторонних вещах, и, только уходя, Софья Абрамовна спросила:

— Ну, как ваше самочувствие?

Сблизились они быстро и сердечно. Эта густобровая маленькая женщина, с усиками и заботливым голосом, стала ей родным человеком: ведь она одна —

свидетельница ее тайны. Эта тайна откроется людям без ненужных слов.

Как-то незаметно у Паши появилась потребность разговаривать с женщинами о детях, о родах, о кормлении младенцев, о материи для рубашечек и, главное, о тех ощущениях, которые переживают беременные женщины.

Каждую ночь в постели она чувствовала себя новой: ей казалось, что в ней ежедневно происходят какие-то неуловимые перемены. Нет, она не та, какой была месяц, декаду назад, вчера. *Там* прорастает, пускает корни, формируется неощутимая жизнь: это она сама и — не она. Это живоносная частица его, который непреоборимо далек и неразрывно с ней связан навеки. Да, она стала иной и будет изменяться каждый день вместе с новым рождением. Может быть, это и вызывает в ней особый интерес и влечение к другим женщинам-матерям — к женщинам, имевшим счастье рожать. И ей было всегда страшно, она бледнела от гнева и возмущения, когда при ней женщины и девушки, не стесняясь, говорили об абортах, как о самых будничных вещах. Что это такое? Для нее даже мысль об аборте страшна, а они бесстыдно болтают об этом, как о чем-то неизбежном и само собою разумеющемся.

Нет, она, Паша, знает и глубоко чувствует, что такое любовь. Это не только самозабвение и счастье от обладания мужчиной, это великая ответственность перед собой и людьми и огромная обязанность, муки, бессонные ночи в заботах о здоровье, о росте, о воспитании человека.

Пусть *он* будет далек, пусть возненавидит ее, а потом исчезнет в недостижимых далях, — она будет богата и прекрасна как женщина и мать.

...С Агашей она сошлась очень близко и тепло. А полюбила ее Агаша с того памятного вечера, когда они вместе с Мироном приезжали к ним проведать больного Репея. Агаша не любила горластых женщин, которые подражали мужчинам и голосом и волосом и убегали из дому, бросая и детей и семью на произвол судьбы. Но Паша пленила ее своей материнской неж-

ностью к Никандру. Она потом сама приехала к ней на машине, взяла ее с ребенком и повезла осматривать ясли. Эти ясли были недалеко: до них можно было бы дойти пешком. Но Пашина заботливость растрогала Агашу до слез. У здания яслей Паша первая выпрыгнула из машины, взяла на руки Никандра и с упоением смотрела ему в личико. И с ней, Агашей, обращалась почтительно и ласково, точно она, Агаша, была какая-то важная птица.

В яслях Агаше понравились чистота, праздничность, обилие света и воздуха, белоснежные кроватки и чистоплотные няни. Эти женщины, похожие на белых голубей, тоже обращались с ней ласково и почтительно. Они облачили и ее и Пашу в белые халаты и повели по всем комнатам. Они рассказывали, как ухаживают за младенцами: когда кормят их и моют, когда укладывают спать, когда выносят на воздух, как учат матерей обращаться с детьми и следить за собой. Агаше было страшно оставить Никандра в этом доме младенцев. Но Паша сама передала мальчика на руки чистенькой и симпатичной девушке и заставила Агашу остаться здесь, чтобы проследить за всеми процедурами, через какие пройдет ребенок.

Так она вместе с ней и провозилась в яслях часа два. А когда они выходили на улицу, Агаша остановилась у подъезда и расплакалась. Паша смеялась, называла ее глупенькой дикаркой и сердито упрекала:

— Ты — пролетарка, жена большевика: ты должна первая показать пример нашим женщинам...

Агаша всхлипывала и казалась несчастной.

— Ты думаешь, что Репей похвалит тебя за твои слезы?

— Ах, оставь, не уговаривай меня, Паша! При чем тут Репей? Я знаю, что скажет Репей... Ты не рожала и не знаешь...

И вот теперь Агаша первая помощница Паши, энтузиастка детских яслей и садов, и горячий агитатор, и организатор жен рабочих и служащих.

...Неотвратимо подступает тошнота... Паша надела туфли и взглянула в окно, где покачивались от ветра

фонари и паутинно вспыхивали ветви деревьев. Тошнота схлынула и растаяла. Она хотела опять лечь: села на кровать и подняла одеяло, но ей опять стало дурно. И, когда она потом легла в постель, обессиленная и немножко больная, ее мгновенно охватила дремота.

...Весной у нее будет ребенок... Милый мальчик!.. Нет, это будет девочка с голубыми глазками, как у Кати. Она сумеет повести ее в жизнь... Она назовет ее Ольгой... Большая Ольга не узнает ее тайны... Есть тайны, которые открывать невозможно. А законны ли тайны интимные? Может быть, это тоже пережиток в сознании людей? Вероятно, при коммунизме не будет ни одной, даже глубоко личной тайны; тогда люди научатся читать даже скрытые мысли друг у друга и уважать их. Нет, тогда не будет ошибок ни в делах, ни в поведении людей... Может быть, эти интимные тайны неизбежны сейчас и законны, как самозащита?

...Цезарь похож на брата Софрона... похож своим углубленным, горячим взглядом. Как она это до сих пор не заметила?.. Когда он поднимает глаза, они ярко вспыхивают и сразу же угасают. Только у Софрона эта вспышка переходила в стальной блеск. Софрон тогда же чувствовал, что он обречен. А она в те дни была отравлена враждой к нему из-за Иннокентия: Софрон первый из них увидел под маской Иннокентия провокатора Хабло. Она верила в Иннокентия, а он предал товарищей... И она сама только чудом спаслась от гибели... Ага, почему она сама скрыла это от партии? Может быть, такие большие и маленькие тайны дымятся в душе у каждого — и у Мирона, и у Гудима, и у Глеба Чумалова?.. Имеет ли она право после этого жестоко обвинять Цезаря? Что такое ее жизнь? Она еще не рассказала даже себе своей биографии — не отчиталась перед собой в пройденном пути... Не думалось об этом: вся она была в настоящем.

Паша дремала, вздрагивала, просыпалась и опять засыпала. Неожиданно вспомнила Софрона — вздрогнула и проснулась. Замечталась о будущем мальчике... нет, девочке... и опять забылась. Проплыла Ольга в пытливом взгляде — и Паша очнулась опять. Брат Со-

фрон, товарищи в подполье... враги... Иннокентий, преображенный в Хабло.

Нет, не уснуть... Ветер разыгрывается за окнами. Слышно, как он свистит и бушует в деревьях бульвара. Где-то хлопнула рама, и со звоном полетели стекла на мостовую.

4

Сквозной договор был в центре внимания всего сорокатысячного коллектива. Он был отпечатан и распространен на всех объектах по бригадам, и каждый рабочий получил его на руки.

Рабочие спорили по каждому пункту и в обеденные перерывы в столовых, и по дороге домой, и даже во время работ, и на производственных летучках, и дома, в семье. На улицах соцгорода, в поселках, в магазинах и кино только и слышно было, как люди толковали о паровозах и думпкарах, о загрузке бетонного и дробильного заводов, о подъемниках, об организации труда на скальных выемках, о грехах отделов эксплуатации и механизации, о проверке людского состава. Много было скептиков и среди инженеров и среди рабочих. Но подавляющее большинство настроено было торжественно: у всех были серьезные и вдумчивые лица, как перед большими событиями. Впервые в эти часы каждый понял, что жизнь ставит перед ним прямые, неотвратимые вопросы: кто ты? знаешь ли ты, какой счет предъявляет тебе страна? можешь ли ты оправдать те надежды, которые на тебя возлагаются?

На всех участках шли спешные подготовительные работы: приводились в порядок подъемники, паровозы, механизмы заводов, чистились станки, убирался мусор, проверялись пути и крепились рельсы, тщательно обследовались думпкары, электропроводка и пневматика. Монтировалась «муха» на стрелах кранов и дерриков. На всем пространстве строительства, от горизонта к горизонту, готовились к сигнальному вою сирены, в одиннадцать часов ночи, когда должны были вступить в дело новые смены. Кто-то сказал на плотине, что это ожидание похоже на пасхальную ночь,

когда люди готовятся к первому удару большого колокола. Сейчас же этот голос оспорили другие голоса: церковный, мол, колокол сдан уже в переплавку, теперь у нас — атеизм. Из поселков, из соцгорода, из близлежащих колхозов шли колоннами добровольческие отряды рабочих, красноармейцев, женщин и колхозников. Красноармейцы, рабочие и женщины шагали с оркестрами, а колхозники — с гармоньями и песнями. Все эти отряды сейчас же исчезли в огромных пространствах котлована, шлюзового канала обеих гаваней и в кратере аванкамеры.

На работу «мухи» прибежали смотреть с соседних блоков. Пришел сам Шлиппе с Кряжичем. Кряжич пристально рассматривал «муху», трогал руками, гладил тросы, потом вместе со Шлиппе подходили к парапету, долго вглядывались в пропасть и молча следили за полетом бадьи. А бадья неслась вниз легко и плавно, уменьшаясь в воздушной глубине.

Около крана широким полукругом стояли плечом к плечу рабочие разных квалификаций: грязные бетонщики в комбинезонах, слесаря в теплых куртках, электромонтеры. Люди приходили и уходили, но толпа не таяла, а как будто стала еще гуще. Все с сосредоточенным любопытством смотрели на карусельное вращение стрелы и особенно на ширококрылую «муху». Многие подбегали к парапету и наблюдали за полетом бадьи. Здесь же, впереди всех, у блока, стоял Алешка и держал себя самоуверенно, но на него никто не обращал внимания, а некоторые даже отталкивали его:

— Ну, чего здесь околачиваешься, курносый? Пошел домой, уроки учи.

Но Алешка с горящими глазами смотрел на стрелу и первый устремился к парапету.

— Дорогу, граждане!..

В толпе хохотали.

— Чей это парнишка-то? Вот активист какой!..

— Завтра с сиреной — круглая норма — сто... С ума сойти!.. Эх, прямо как невеста под венцом... бадья-то...

— Это кто тут — под венцом? Хоть бы сказал: комсомолка на парашюте...

— А я не видал, как это комсомолка... Врать не буду — не видал... Чего знаю, то и лепортую...

Лобастый парень в кепке на затылке, со свежими брызгами цемента на комбинезоне и сверкающей зеленой жижей на резиновых сапогах, бегал кругом, расталкивая толпу, и кричал в восторге:

— Ну, теперь мы Америку в лоск...

Все очарованно следили за работой стрелы. Кран звенел, рычал, хрипел, труба выбрасывала черный дым, и кабина пламенела от ярких вспышек в топке котла. Кран вращался бойко, весело и покачивался при падениях бадьи. Татьяна стояла между блоками и краном и смотрела на часы.

— Четыре минуты — на полный оборот подъема!.. — крикнула она такелажнику.

Такелажник крикливо повторил слова Татьяны, обернувшись к кабине.

После всех пережитых испытаний Катя стала крепче, сильнее. Она уже смеялась над собой, прежней школьницей, хохотуньей-девчонкой.

Никогда еще она не переживала такого счастья, такой бури в душе, как сегодня, в эти часы испытания «мухи». Вот она, эта «муха», вцепилась своими крыльями в тросы. Такелажник, забавный, пыльный, безбровый парень, празднично легок и плавен в движениях. Он, как дирижер оркестра, одухотворен, и руки его музыкальны, и поет он задушевно:

— Вира-а!..

Когда девчата опоражнивали бадью и она вирала ввысь, Катюша поднималась из блока по лесенке и, шлепая по доскам «кастрюлями», бежала к парапету. За нею и над нею неслась в воздухе бадья. Катюша не отрывала от нее глаз и провожала до того момента, пока не замирала на месте стрела. Такелажник махал рукой, и бадья вместе с «мухой» беззвучно летела вниз, в воздушную пропасть. Катюша смотрела на это стремительное падение бадьи, и у нее кружилась голова. Бадья легко, невесомо уносилась в огненную глубину, и канаты гудели в трепете и дрожи, сливаясь далеко внизу в одну линию. И у Катюши было спокойно и твердо на душе: тросы надежны,

параллели не перекашиваются, бадья, раскаленная электричеством, как будто улыбается ей снизу. Какой крошечный паровозик внизу, и как смешно он чихает паром!..

Милая, родная «муха»! Сколько надежд, отчаяния, мучительной борьбы нужно было пережить за этот ряд дней, чтобы ты так чудодейственно зажужжала на серебряных тросах. Ты трепещешь, как живая, легкая и могучая... В тебе пульсирует горячая кровь Катюши. В тебе—в твоих стальных крыльях и играющих блоках — боль и радость, страдание и гордость этой беспокойной девушки. И, любуясь тобою, она нежно улыбается тебе. Только теперь она, Катя, поняла, что счастье рождается из борьбы, из слез, из бессонных ночей, из бунта в моменты отчаяния. Вот недавно ее клеймили в газете, над ней издевались, имя ее трепали и на собраниях комсомольцев: сначала ставили ее в пример и печатали фотоснимки, а потом ругали как зарвавшуюся хвастунью. Правда, Васяй относился к ней с прежним дружеским участием и всегда встречал ее с улыбкой в глазах:

— А, Катек!.. Здорово, дорогая!..

Но как горько было слышать и переносить презрение и насмешки товарищей на собраниях и в мимолетных встречах!..

И никто не знал, что с ней происходило дома, когда она ложилась на кровать. Ей казалось порою, что жизнь ее кончена, что ей остается броситься в водослив за Максюком, что впереди — ничего нет, кроме позора.

И вот, когда «муха» летала где-то в безвестности, однажды ночью подсел к ней отец. Она, как в бреду, непрерывно чертила карандашиком свою «муху» и царапала детским почерком: «проклятая муха»... «чертова муха»... Посасывая трубочку, отец смотрел на ее художество и усмехался.

— Вот что, дочка... ты бы изложила мне, как и что... чего-то будто несуразно у тебя обернулось...

Она ничего не ответила и уронила голову на тетрадку.

— Дураков у нас сейчас немало. Это, пожалуй, дочка, неплохо: дураки плодятся, чтобы умные не спали... Без дураков умный не плакал бы...

— Ах, если бы ты знал, папка, как мне тяжело!.. Ну, за что? За что?

— За дело... А дело борьбы не только слезами поливается, но часто, бывало, и кровью... Старики это хорошо знают...

Катюша подняла голову, отмахнула волосы назад, и глаза ее, залитые слезами, глядели на отца с мольбой и надеждой.

— Ведь я же, папка, борюсь... Ты же знаешь, как мы работаем... Я не понимаю, как можно этого не видеть... Это же — дикая несправедливость.

Бычков по-прежнему спокойно и вдумчиво усмехался и сопел своей трубочкой.

— Ничего... покипятись... побунтуй... скорее вырастешь... Хе, несправедливость!.. Дикая она или культурная — это дела не меняет. С этим зверем мы как будто справляемся. А вот, дочка, нечуткость и бездушие — это уж вредительство...

Катюша уже не плакала. Она с изумлением слушала отца и смотрела на него широко открытыми глазами. Она никогда еще не слышала от него таких слов, — он впервые говорил с ней серьезно. Она чувствовала, что он уважает ее и беседует с нею, как с равной. И — главное: он сам подошел к ней первый и заговорил о том, что мучило и изнуряло ее за последние дни.

Катя вспомнила об этой задушевной беседе с отцом, когда любовалась своей «мухой».

Теперь всякий дурак любуется этой «мухой»... А почему эти же люди в самые отчаянные моменты старались обессилить ее и вывести из строя? Некоторые из них и сейчас хотят показать, что «муха» повисла помимо Катюши, что ее бригада надорвется от этой рационализации... Ошибаетесь, дорогие товарищи!..

Пускай сейчас явятся американцы—пускай полюбуются и вытянут свои каучуковые физии. Они хвалились, что их рекорды недостижимы, что только им принадлежит мировое первенство. Что же они сейчас

скажут, когда удостоверятся, что бригада Катюши и ее кран перекрыли рекорды американцев в два раза?..

И она размечталась: вот об ее успехах узнает сам товарищ Серго. Он улыбнется и скажет: «Замечательная девушка. Надо ее поддержать». Ее «муха» полетит на все стройки, и всюду рабочие будут говорить: «Это изобрела Катюша Бычкова. Пошлем ей благодарность...»

...Она вздрогнула. Кто-то ласково взял ее за плечи и повернул к себе. Мягкая борода Шлиппе защекотала лицо. Он смотрел на нее лукаво, весело и, подняв брови, расчесывал пальцем свою шелковую бороду.

— Ну, милая девушка... От души поздравляю вас. Какую вы штуку придумали... а! Уж не я буду, если не сделаю вам подарка... Не забывайте потом дедушку...

Он совсем не был похож на главинжа. Он нигде не проявлял себя, хотя и считался опытным строителем, не подчеркивал своей внушительности: никого не стеснял, всех одобрял и отличался ото всех только своей жизнерадостной бородой.

Катя ткнулась лицом в его пальто.

IX. НОЧНЫЕ ТЕНИ

1

Сверкая фарами, машина понеслась по шоссе, вниз к старому поселку. Вскоре она блеснула огнями на склоне холма и скрылась на повороте к железнодорожному мосту.

Шалнин сидел вместе с шофером и молчал. Мрачно молчал и Корытин. Он так и не понял, почему его сняли с дежурства и повезли в город. Всегда замкнутый, тяжелый характером, он был сейчас особенно угрюм. Братцева сменила его охотно и даже попросила не беспокоиться. Дело не в том, что его сняли

с работы в неурочный час (это и раньше бывало), а в том, что на плотине идет монтаж «мухи» — новой конструкции передаточных блоков на стреле крана. «Муха» эта вызвала большое волнение среди бетонщиков и в отделе механизации. По свойственной ему недоверчивости ко всяким нововведениям, эту «муху» встретил он хмуро. Еще с юности и со студенческих времен он с благоговением относился ко всяким механизмам. Он принимал их как абсолютные, раз навсегда данные конструкции. Они подавляли и пленяли его своим совершенством, законченностью, строгой целесообразностью и математически стройной связью деталей. Если эти механизмы часто портились или работали с перебоями, Корытин объяснял это только тем, что люди не знают машин, не умеют с ними обращаться, не преданы им до конца. «Машина идеальна, — думал он, — а человек — порочен». Поэтому он ненавидел всех рационализаторов и изобретателей, считал их выскочками и доморощенными Эдисонами. По его мнению, их просто надо было гнать со строительства, как вредных людей. Какой-то рабочий, какая-то мастеровщина только изуродует инструмент или машину, — пристроит какую-нибудь скобу, шишку, болванку на расейский манер, — а потом сгоришь со стыда перед иностранцами. И когда профсоюзники в отчетах с особым ударением говорили о росте массового движения изобретателей и приводили цифры реализованных предложений, он испытывал странный внутренний протест и озлобление.

И вот на днях, в часы его дежурства, на подъемнике, который обслуживал бригаду бетонщиц Катюши Бычковой, и начали испытывать «муху». Глупее всего было то, что инициатива насчет этой «мухи» приписывалась той же Катюше. В довершение всего на испытание пришел сам Шлиппе вместе с Кряжичем и Шепелем. Они, кажется, искренне заинтересовались этой чепухой. Шепель несколько раз приказывал вирать и майнать и очень глубокомысленно, с обычной неподвижностью в лице повторял:

— Прекрасно. Единственная на свете муха, которая полезна для человека.

И уже совсем не ждал от него того поступка, который он совершил на глазах у всех. Он подошел к Катюше, обезумевшей от счастья, и поцеловал ее в обе щеки:

— Умница, умница! У меня, видите ли, тоже есть дочка ваших лет — Анечка. К сожалению, больна... туберкулез ног...

— Спасибо вам, Василий Захарович... И главное за то, что сами приняли близко к сердцу... Без вас все полетело бы к черту... Досада какая!.. Если бы знали, что у вас — дочка, мы бы к ней всей бригадой нагрянули...

— К сожалению, опоздали: она отправлена в Москву, а оттуда, вероятно, увезут куда-нибудь на юг, в туберкулезник.

И он сразу же отвернулся и пошел к крану.

...Обиженный и злой, Корытин сидел рядом с Самородовым и бесился: этот жизнерадостный валет был невыносим своей болтовней и вертлявостью.

Это был веселый, легкий человек и в своей приемной, за письменным столом, перед целой батареей телефонов, чувствовал себя на высоте власти. Весь коричневый — и волосы коричневые, парикмахерски прилизанные, и лицо, густо забрызганное веснушками, и коричневый костюм, — Самородов упивался своей ролью поверенного в делах начстроя. Он как будто был создан для этой адъютантской должности: доступный, общительный, он умел тонко, незаметно, лукаво показать свою власть над людьми и сортировать их по рангам и по положению, какое занимал каждый в производстве. С рабочими он обычно говорил как будто по-свойски, с грубоватой простотой, но небрежно, не глядя на них, с неясной улыбкой в глазах. Он обрывал свои слова внезапно, точно забывал о том, с кем говорил, и обращался к другому или брал одну из трубок телефона. С инженерами у него был тоже разговор на особый лад: вежливый, сдержанный, но снисходительно-панибратский. Все знали, что только он один волен решать, кому можно открыть двери в кабинеты Балеева и Чумалова. Он мог держать людей в приемной часами и мог разре-

шить войти в строгие комнаты вне очереди. Инженеры заискивали перед ним, льстили, почтительно называли его «дорогим товарищем» или по имени-отчеству.

Инженер, с почтенной сединой, с большим стажем, заслуженный специалист, умоляюще ловил его взгляд:

— Я вас прошу, дорогой товарищ Самородов, доложить Викентию Михайловичу...

Самородов небрежно обрывал его:

— Викентий Михайлович не может вас принять.

— Но дело не терпит отлагательства... Вопрос — исключительного значения... Это ведь очень далеко, мостовой участок... трястись оттуда... терять дорогое время...

— Ничем не могу помочь. Но вам необходимо поставить на вид: вы плохо организуете время и не умеете пользоваться телефоном...

И живо обращался к другому, не менее заслуженному инженеру. А первый сконфуженно и грустно мялся около его стола. Рабочие входили к Самородову, по обыкновению, независимо и уверенно:

— Чумалов у себя?

Самородов, не отвечая, брал трубку и дул в блестящий диск микрофона. С присущей ему благосклонной улыбкой он приветственно тряс рукой и оставлял рабочего беспомощно топтаться на месте. Потом порывисто поднимался и, не обращая внимания на людей, с бумажками в руках, шел к двери Балеева или Чумалова и скрывался там. Посетители терпеливо ждали, переговариваясь и переругиваясь шепотом, или, скучая, слонялись по комнате.

Кое-кто из рабочих пытался поднять бурю, когда появлялся с сияющей улыбкой Самородов:

— Слушай, Самородов: долго будешь пáрить в своей бане?

— А в чем дело? — не угашая улыбки, недоумевал он.

— Как это в чем дело? Прошло полчаса, а мне опять приходится начинать от печки. Я спрашиваю у тебя: здесь Чумалов?

— Ну, здесь, у себя. Занят — не принимает.

— Да ты понимаешь, какое у меня дело?.. Дышать нельзя...

— А ты не дыши.

— Да чем он занят?

Самородов обрывал рабочего смехом:

— Он мух ловит, как ты.

— Как это — мух? Чего ты зубы скалишь, скажи, пожалуйста...

Рабочий серел от гнева. Он пыхтел и направлялся к двери кабинета Чумалова.

Но не успевал сделать двух-трех шагов, как гибкая рука Самородова брала его под мышку:

— Порядочек, дорогой мой, порядочек... Посиди, потерпи, полезно.

Рабочий злобно махал рукой и уходил с ругательствами. А Самородов смотрел ему вслед, играя зелеными глазами и напевая чувствительным тенорком: «У самовара я и моя Маша...»

...Уютно развалившись в машине, он и сейчас напевал этот фокстротец, а Корытин пыхтел и с ненавистью слушал сипловатый его голосок. Неслись за стеклами лимузина последние белостенные бараки строительства, ярко освещенные электричеством, плыли далекие россыпи огней на комбинатах и в соцгороде. Впереди бездонной тьмой чернела ночь. В освещенной дымной полосе летела навстречу мостовая шоссе.

— Чего сопишь, Корытин? Отчего ты всегда такой мрачный, товарищ прораб?

— Мне грустно оттого, что весело тебе... — с злой иронией прогудел Корытин.

— В первый раз слышу от тебя остроумное слово, да и то краденое.

— Умей красть так, чтобы пустить в дело с коэффициентом полезного действия.

— Мудро, товарищ прораб, но скучно. А скучный ты оттого, что завистлив и бездарен. Тебе надо загореться страстью к какой-нибудь девочке... ну, скажем, вроде твоей соседки Погадаевой...

Шалнин заикал от смеха, но ничего не сказал. А Самородов балагурил с серьезностью и глубокомыслием скомороха:

— Любовь дает зарядку, дорогой мой. От страсти люди твоего темперамента начинают реветь быками. Будь мужественным — отними эту деву от Ватагина.

— Чего-о?.. — пораженный, взвыл Шалнин. — Позволь... ведь ты же врешь, как крокодил...

— Крокодилы умеют только кушать людей, которые врут, а сами лишены этого дара. Надо знать зоологию, Шалнин, тогда ты не будешь сплетничать перед человечеством.

Шалнин обиделся и отвернулся.

Корытин уважал Пашу, хотя и мало общался с нею: он видел ее всегда чистой, строгой женщиной. Люди мало его интересовали: он к ним не испытывал никакого любопытства и привязанности, но ценил в человеке честность, ум и добропорядочность. Ватагина он ставил высоко и чувствовал его силу как руководителя масс и как человека.

Хотя он, Корытин, по существу не выносит Ватагина и даже ненавидит его, но, объективно рассуждая, Ватагин — принципиальный человек и в своем поведении может служить образцом для всех.

— Ты бы лучше помолчал, Самородов: ты мизинца их не стоишь, а туда же лезешь со своим копытом.

И, покачав головой, показал пальцем на шофера.

— Да об этом же все воробьи чирикают, рыцарь печального образа...

— Да, такие воробьи, как ты...

— Нет, это же замечательно!.. — Лицо Шалнина, сухое, скопческое, ликовало и блаженно улыбалось.

Самородов, довольный тем, что привел в смятение даже такого тупицу, как Шалнин, лукаво и загадочно ухмылялся. Он хорошо знал, что, если внезапно ошарашить человека неожиданной новостью, — неважно, будет ли это созданная им ложь, или подслушанная сплетня, или досужая догадка, — человек сразу теряет самообладание. Чувствовалось, что в этой головокружительной брехне есть какая-то преднамеренность,

какая-то непонятная цель — своего рода продуманная программа.

— Да, кстати, Корытин: вот девочка... Братцева Танечка...

И он поцеловал кончики своих пальцев.

— Я бы из-за нее с удовольствием поменялся с тобой местами...

— Не трогай Братцеву, Самородов!

— Дорогой мой, — с грустным убеждением пропел Самородов, — эта великолепная женщина, к моему прискорбию, — дезертир с уголовщинкой. Вот что-с... Некий человек предъявил мне сегодня документик... ох, печальный... криминальный... и скандальный... — закончил он речитативом куплетиста.

На Шалнина это не произвело никакого впечатления: он сидел неподвижно и безучастно. Но Корытин рванулся к Самородову и возмущенно крикнул:

— Этого не может быть! Колоколь своим языком, но знай меру!

— Что с тобой, достойнейший прораб?

— Ты лжешь, Самородов. Татьяна Ивановна не из тех, которые безнаказанно спускают всякие мерзости. При мне о Братцевой — ни слова, знай это.

Самородов презрительно выпятил губы и, со смехом в глазах, оглядел Корытина:

— Пожалуйста, не укуси.

— Ты сообщил ей об этом?..

— Зачем же волновать девочку? Я прежде всего — джентльмен.

— Ты — свинья, а не джентльмен.

Самородов вынул из внутреннего кармашка пиджака зеркальце и протянул Корытину.

— Погляди в стеклышко: очень помогает от нервов — успокаивает.

Корытин отшвырнул от себя руку Самородова и вцепился в плечо шофера:

— Давай обратно!

Шофер затормозил машину, но Самородов и Шалнин возмутились и наперебой закричали:

— Что за дурацкие капризы!.. Мы должны быть в городе вовремя... Валяй быстрее!

— Тогда остановитесь: я пойду пешком.

Шалнин повернулся к Корытину, и желтое лицо его исказилось испугом и злобой. Машина понеслась дальше.

Корытин тяжело откинулся назад и мрачно онемел.

«У самовара я и моя Маша...»

2

Машина остановилась у райкома партии. В этом трехэтажном здании помещался также и райисполком. Огней на улице не было, — она освещалась надворными нумерованными фонарями и светом из окон домов. На здании райкома нечленораздельно рычал громкоговоритель, который, кажется, был слышен по всему городу.

Было по-осеннему холодно и сыро. Дул ветер, и начал моросить дождь.

Шалнин приказал шоферу поставить машину в гараж горсовета и никуда не отлучаться.

Все трое подождали на тротуаре, когда отъедет машина, и пожаловались на ненастную погоду. Шалнин был в кожаном глянцевом пальто, в кожаном картузе и крагах, а Корытин — в своем обычном рабочем костюме: теплая куртка, сапоги, теплая старая кепка.

Когда машина скрылась за углом, они пошли не в райком, а по улице — вверх по пологому подъему.

Было около восьми часов, когда они постучали в дверь к Ситному. Сквозь щели ставней виден был огонь в комнате. Дверь открыл сам Ситный.

Он указал на вешалку, на которой рыхло обвисали два пальто, фуражка и очень добротная кепка с широкой тульей.

«Заграничная...» — с завистью подумал Шалнин.

— Дождь начинается...— почему-то некстати усмехнулся он. — Холодно. Настоящая осень.

Плоское, скуластое лицо Ситного сильно смахивало на лицо китайца.

Корытин чувствовал себя нехорошо: мутила тревога оттого, что поехал сюда вместе с людьми, которых он не уважал. Для чего нужно было идти на квартиру к Ситному? Если тут были партийные дела, то почему эти дела не обсудить в райкоме? Что за конспирация? Почему нельзя было подъехать на машине прямо к квартире Ситного?

Прошли в комнату — просторную и пустую. А оттого, что на столе тускло горела лампа под полотняным желтым абажуром, комната казалась грязной и душной. На стене перед кроватью висел старенький ковер и на нем — охотничье ружье, ягдташ, револьвер в желтой кобуре и кавказский пояс с кинжалом.

По комнате задумчиво ходил, заложив руки за спину, маленький толстенький человек в дорогом сером костюме, в свежем воротничке с шелковым фиолетовым галстуком. Волосы на голове — полуседые, коротко остриженные, полное лицо чисто выбрито. Он повернулся к вошедшим и блеснул выпуклыми внимательными глазами.

— Познакомьтесь...— нехотя промямлил Ситный. — Это товарищ Забодаев... Надеюсь, знаете.

Да, Забодаева, конечно, Корытин знал, хотя никогда не видел в натуре. Вот он какой, этот Забодаев! Внушительного мало. Он представлял себе его высоким, мускулистым, а он, оказалось, коротконогий уродец, с пятачком вместо носа. Этот Забодаев когда-то был одним из лидеров троцкистской оппозиции. При разгроме троцкистско-зиновьевского блока был исключен из партии, а потом покаялся, напечатал в газете истерическую исповедь. В этой исповеди он громил контрреволюционный блок и расправлялся с собой беспощадно, проклиная те дни, когда стал на преступный путь борьбы с генеральной линией партии. После этого о нем не было слышно года два. Говорили, что он работает не то в Госплане, не то в Тяжпроме.

Эта встреча была неожиданной для всех. Шалнин сразу же с подобострастной улыбкой подошел к Забодаеву.

— Очень, очень счастлив, что увидел... что имею удовольствие пожать вашу замечательную руку...

— Чем же она замечательна? — польщенный, спросил насмешливо Забодаев и, не ожидая ответа, протянул руку Корытину.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищи!.. Знаменитые люди... Гиганты строите... социализм в одной стране...

Потом сразу же повернулся к Ситному и крикнул высоким, надтреснутым тенорком:

— Итак, товарищ Ситный?.. До поезда осталось три часа. Утром я должен быть на рудниках... Ну-с?.. Время дорого...

Забодаев сел отдельно, сбоку стола, Шалнин и Корытин — по одну сторону, а Ситный с Самородовым — по другую, напротив. Забодаев испытующе прищурил глаза и оглядел всех молча и проницательно. Потом сразу нахмурился, оперся локтями о стол и погладил обеими руками волосы. Затем вынул из кармана пенсне и втиснул его в переносье.

Корытин сидел за столом, мрачно вглядываясь в свои смуглые руки. Обида, унижение, которые пережил он за эти дни, мучили его постоянно. Эту боль он не мог забыть даже в часы напряженной работы. Как самолюбивый человек, он остро чувствовал отчужденность от партийцев своего участка: они относились к нему настороженно. А когда встречались, то старались пройти мимо. Гудим вообще не замечал его, а Ватагин в тот час, когда погиб комсомолец Максюк, подошел к нему и с убийственным спокойствием сказал:

— Тебе нужно освежиться, Корытин. Ты ничего не имеешь против командировки на Север?

— Мне все равно, товарищ Ватагин, где работать: если я больше буду полезен на Севере, можно и туда.

— Прежде всего это будет более полезно для тебя лично: там воспитывают и выправляют людей неплохо.

Впервые в тот миг Корытин почувствовал мстительную вражду к этому человеку. Она отравляла его кровь и не давала ему покоя. Свою ненависть он перенес и на Гудима, и на Пашу, и на Цезаря, и на

партийцев плотины. Но вместе с этой ненавистью он никак не мог побороть в себе уважения к Мирону и помимо воли готов был защищать его от всяких оскорбительных против него наговоров и нападок.

Шалнин только и пережевывает свои бесконечные обиды. Он все время жалуется, что его преследуют, помыкают им на каждом шагу и нарочно маринуют в такой дыре, как отдел экономики труда. Самородов же просто не может жить без авантюр. Ситный — другое дело: в продолжение этих двух лет он вел против Ватагина неустанную, затяжную борьбу. Он действовал всеми мерами и средствами, чтобы дискредитировать партруководство стройки: снимал ценных работников-партийцев, посылал штрафных, опороченных, пьяниц, бездарных и нечистых на руку людей. Во время прорыва он сумел поставить на бюро райкома вопрос о неспособности Ватагина руководить парторганизацией. Правда, тогда он не добился решения о снятии Ватагина, но Ватагин был опорочен достаточно. Самое же главное в том, что создался антагонизм между районным руководством и руководством объединенного строительства. Этот антагонизм углубляется и ширится. Дубяга уже не может равнодушно слышать фамилии Ватагина, потому что Ватагин однажды пытался разоблачить его при людях в правом уклоне. После этой стычки Дубяга уже не стеснялся открыто заявлять, что сплошная коллективизация ведет деревню к разрушению, что план хлебосдачи и осеннего сева в тех размерах, какие предписаны краем, невыполнимы. Приезжал к Дубяге Гудим, и у них произошел резкий разговор. Впрочем, бурно держал себя только Дубяга, а Гудим невозмутимо задавал вопросы. Он справился, что предпринимает райком, чтобы предотвратить погромы на селе и защищать товарищей от бандитов. Вот и Кольча с Феней подвергались нападению громил...

— Значит, загнули, наглупили ребята... — обозленно оборвал его Дубяга. — Очевидно, провоцировали колхозничков...

— Ты так думаешь? — рассеянно спросил его Гудим.

— А как же иначе?

Корытин слышал голос Ситного, но слов не понимал. Когда Ситный назвал фамилию Корытина, последняя фраза прозвучала четко и бесстрастно:

— На бетонировке едва ли возможно дать выше шестидесяти подъемов, а по сверхплану число подъемов за смену должно быть не менее ста двадцати. Так, кажется, Корытин?

— Было так, — угрюмо отозвался Корытин. — Но очень возможно, что сейчас не только сто двадцать, но и сто пятьдесят будут реальны.

Ситный подозрительно повернулся к нему.

— Тем хуже для фактов... — проворчал он. — Но всякая бешеная цифра построена на катастрофе... Пока это — закон.

Забодаев опять надел пенсне и брезгливо вытянул и без того длинную верхнюю губу. Он оглядел всех с издевочкой, с тонкой усмешечкой в пепельных глазах и застучал пальцами по столу.

— Мелко, мелко-с, друзья!.. — раздраженно заворчал он. — А положение очень сложное... Не надо закрывать глаз на то, что успехи во всех областях несомненны. Бурный рост коллективизации — факт бесспорный. Авторитет партии и правительства растет и укрепляется. Другой вопрос: будет ли построен социализм в одной стране? Индустриальная база уже создана, этого нельзя отрицать. Деревня машинизируется. Мы разгромлены как внутрипартийная оппозиция. Опровергать все это — разговор для бедных.

Он умолк, снял пенсне и угрожающе взглянул по очереди на каждого. Все молчали. Ситный кряхтел от нетерпения:

— Так что же остается делать? Слагать оружие, капитулировать?

Забодаев встал и, взяв Ситного под локоть, отвел в сторону. Они стояли спинами к остальным, но видно было, что Забодаев сурово и жестко внушал что-то Ситному. Потом он громко закончил:

— Это имейте в виду. Отвечаете головой.

Ситный с досадой огрызнулся:

— Какой же может быть разговор?.. Это же ясно, как божий день.

Они сделали вид, что разговор у них был невинный, даже улыбка мерцала на лицах, загадочная и удовлетворенная. Забодаев благодушно, но безапелляционно, обращаясь только к Ситному, заявил:

— Смысл поставленных мною вопросов сводится не к капитуляции, не к разоружению, а наоборот — к активизации борьбы. Противодействие должно быть равно действию. Но для того, чтобы противодействие вылилось в наступление, необходимо, чтобы наша сила имела качественные преимущества. То есть: при настоящих условиях она должна быть строго законспирирована, чрезвычайно оперативна, ударна и разнообразна в своих проявлениях. Все средства хороши, кроме неэффективных. Чтобы понять это, надо абсолютно отрешиться от мысли, что мы — оппозиция. Ее уже давно нет: мы боевая организация, которая свирепо борется с существующей политической и экономической системой. Мы смертельные ее враги. И наша сила в том, что и в стране и за рубежом мы имеем поддержку и опору. Поэтому наша тактика — это гибкость, находчивость, маскировка, использование доверия противника. Прежде всего опасайся самого себя: ты сам себе первый предатель. Так называемая искренность, честность, правдивость — свойство рабов. Но для нас это прием, а не добродетель. Организуя вокруг себя все недовольные элементы, крепко и надежно связывайтесь с такими людьми, как Стрижевский. Таких же, как инженер Кряжич, заставьте служить вам, играя на их оппозиционности. Шлиппе надо взять страхом: это — политический идиот. Кряжича надо бить за Бубликова. Важно использовать женщин. Жена Кряжича — это находка; она — немка. Самородов и Шалнин неплохо работают, но этого мало. Надо вербовать людей на всех участках стройки. Не забывать, что страна в грозном окружении: война разразится скорее, чем думают. Разгром так называемой коммунистической России неизбежен.

Забодаев поиграл пенсне и спрятал его в кармашек жилетки. Он был доволен своей речью: говорил

внушительно, сильно, четко. Почтительное молчание этих людей было достаточным доказательством его авторитетности.

Шалнин сидел как мертвец. Ситный тонко улыбался, выставив большие верхние зубы. А Самородов был необычно серьезен и важен: это был уже не шут и не болтун, а умный и опытный заговорщик. И голос у него изменился — певучий тенорок превратился в строгий баритон.

— Вы нам не сказали ничего нового, — возразил он недовольно. — Ситный, очевидно, недостаточно подробно вас информировал. Поучать нас нечему. Мы сами могли бы поучить кое-кого. Я — в претензии на Ситного: он неповоротлив и не доводит дела до конца. В деревне работа провалена, а Дубягу не сумел окончательно прибрать к рукам. Его работа нас не удовлетворяет. Приходится действовать помимо него.

Ситный поднял на него мутные глаза и усмехнулся.

— Отчета в своих действиях я давать тебе не обязан.

Самородов холодно засмеялся.

— Заставим.

Ситный больше не возражал.

Забодаев весело улыбнулся.

Корытин сидел неподвижно и таращил глаза, как оглушенный бык. Он не узнавал ни Самородова, ни Ситного: оба они казались ему фантастическими и страшными существами.

Он не помнил, когда ушел Забодаев, не помнил, говорил ли он еще что-нибудь, или сразу же юркнул в ночь, как подобает заговорщику. Корытин был в состоянии странного паралича, похожего на обморок или на леденящий испуг. Так бывает в кошмаре, когда ночной ужас перед неотразимой таинственной тенью убивает волю к сопротивлению: мертвеют руки и ноги и нет голоса, чтобы крикнуть о помощи. Но минуты, которые переживал Корытин, были реальны, будничны, и эти минуты отражались в глазах уродливыми мордами и оскалом огромных зубов Ситного.

— Какого черта притащили вы этого идиота!.. Забодаев сразу угадал... Он взял в залог мою голову...

Но чей это голос, уверенный, угрожающе спокойный? Неужели это Самородов? Нет, это не пешка, не фигляр, не легкомысленный болтун, а диктатор, атаман, перед которым и Ситный — мозгляк, хотя он, как видно, и выполняет роль доверенного лица Забодаева.

— Твоя голова — не дороже арбуза. А голова Корытина наверняка размножится дюжиной нужных для нас других голов. Ты испугался и озираешься. Надо будет помуштровать тебя. Наш риск стоит этой ставки: он попал в цель. Тебе кажется, что наш прораб — идиот, но ты ошибаешься. Он сейчас только невменяем, только в столбняке, как кузнечик перед богомолом. Он воображал до сих пор, что он честен, прям и последователен, но совсем не замечал, что даже такое дрянцо, как Шалнин, толкал его на такие провокации, как выступление на собрании актива или предумышленное молчание на партсобрании, когда он должен был потребовать слова. Теперь уже Корытин не существует для себя: он — наш покорнейший слуга. Я это говорю потому, что он слушает, как труп. А с этого дня он будет знать, что над его головой есть и другие головы, которые следят за каждым его шагом и видят его сокровенные мысли, если они у него еще ворошатся под черепом...

Ужаснее всего было то, что эти оборотни не обращали на него никакого внимания, точно перед ними он сидел загипнотизированным или пленником, попавшим в засаду. Они нахально добивали его и в глаза издевались над ним. Да, он действительно оказался идиотом: легковерно попал в капкан и запутался. Влип. Идти напролом, чтобы вырваться из их рук? Но это значит встретить мерзейшую рожу Самородова, который направит на него дуло револьвера и уложит его на месте, напевая: «У самовара я и моя Маша...», или зубастую улыбку Ситного, который холодно схватит его за горло...

Нет, только бы выбраться отсюда, только бы очутиться опять на своем месте — на стройке, в своей комнате... лишь бы только увидеть Пашу Погадаеву... Выскользнуть мышью, покорно, панически, лицемерно,

отдаваясь им, как бессловесная жертва, чтобы освободиться от этих людей, от этого кошмара... Лишь бы... но до какого предела освободиться?.. А дальше?.. Ведь кошмар-то не здесь, не в этой конуре Ситного, а там... всюду... Теперь там стиснут его и эти люди, и другие, неизвестные ему, но близкие по работе... Головы, которые будут следить за каждым его шагом, подслушивать его слова и мысли... Влип... Попал в паутину... Когда? в какой несчастный день?.. Даже такое дрянцо, как Шалнин, диктует ему... Этот дурак и завистник Шалнин?..

— Ну-с, прелестнейший прораб... поехали!.. — вдруг заиграл, как и раньше, веселый тенорок Самородова и томно запел: «У самовара я и моя Маша...»

«У, гады подлые! и от них зависит человеческая судьба!..»

3

Обратно ехали молча. Корытин хотел сесть впереди, вместе с шофером, но его грубо оттолкнул Шалнин. Самородов сел только тогда, когда Корытин завалился в угол лимузина.

За окнами бездонно чернел дождливый мрак. Окна плакали, и сползающие по стеклу капли искрились от матового плафончика наверху.

Самородов уютно лежал в мягком углу и напевал сипленьким фальцетом какой-то фокстротик. Он закрывал глаза, наслаждаясь покоем. И Корытина почему-то тянуло наблюдать за ним. Он косился на него и видел, что этот сукин сын доволен и улыбается своим преступным мыслям.

Опытные прохвосты!..

Он, Корытин, легковерно подчинился бездушному голосу Шалнина, когда тот официально передал по телефону требование Ситного явиться сегодня в восемь часов в город. Впрочем, на такие вызовы он ведь и раньше ездил в райком. В данном случае он, как всегда, подчинился без возражений. Обычно этот вызов или сообщал ему секретарь партколлектива, или звонили из парткома. Он не удивился, что Ситный,

как заворг, вызывал его через Шалнина. Какие у него, Корытина, могли быть сомнения?

При чем тут он? Эти двое подлецов, вероятно, следят за ним и торжествуют, что он тоже теперь связан с ними как заговорщик.

Он всегда открыто выражал свои мысли. Так было и на последнем собрании актива. Он говорил и делал так, как думал. Если люди — будь это Ватагин, Шепель, Братцева, будь это тысячи рабочих — ошибались или забывали о самых простых, давно доказанных истинах, — он никогда не стеснялся доказывать, что истина никогда не стареет. Таблицу умножения и буквы алфавита нельзя истребить как объективный факт. Таблицы же норм и производственных формул не могут быть произвольными: иначе все полетело бы к черту, и инженерное искусство было бы нелепой ненужностью, как хвост на брюхе, как зубы на спине. Законы техники — это абсолютные истины. С юношеских лет Корытин привык иметь дело с вещами и со строгими расчетами в производстве. Сначала он работал на железной дороге ремонтным рабочим, потом на мостах десятником. Он тогда почувствовал что-то вроде благоговения перед инженерами, которые представлялись ему необыкновенными людьми — могучими в своих знаниях. Тогда у него одна была мечта — поступить на рабфак, потом — во втуз и приблизиться к ним, добиться обладания этими таинственными знаниями. Он и в гидротехническом институте никак не мог освободиться от слепого подчинения авторитетам. Все их суждения принимал на веру: эти люди не могли ошибаться. Преклонение перед старой технической интеллигенцией — профессорами, специалистами на стройке — осталось у него, как страх слабого перед сильным. В институте был усидчив, работоспособен, дорожил каждым часом, жил сурово, почти аскетически. Ненавидел тех, кто ходил с «хвостами», кто не прочь был пошататься по пивным, кто «донжуанил» с девчатами. С мрачной настойчивостью он требовал исключения их из института как людей, не достойных быть в среде студенчества. Особенно преследовал тех размашистых и самоуверенных парней, которые всту-

пали в спор с преподавателями, стараясь вывести их на чистую воду как политически безграмотных людей и выявить их реакционные взгляды. А в те годы многие профессора авторитетно заявляли с кафедры, что наука — это область, свободная от политики, что «методы науки несовместимы с методами марксизма». И, когда поднимался между ними и студентами бурный спор в аудиториях и коридорах, Корытин кричал:

— Учиться надо, а не зарываться! Развязали языки, а сами еще ни черта не смыслите ни в марксизме, ни в теоретической механике. А туда же рацеи разводите...

Студенты набрасывались на него с еще большей яростью, чем на профессоров. Во время борьбы партии с троцкистско-зиновьевским блоком Корытин прямо заявил, что, по его расчетам и трезвым размышлениям, социализм в одной стране построить невозможно. И пошел развивать троцкистско-зиновьевские «теории» и «доказательства». Среди студенческого партактива бушевала буря.

Его тогда не исключили, а вынесли строгий выговор. Около него оказались единомышленники — несколько студентов, к которым он питал молчаливую симпатию за их работоспособность и успеваемость. Потом к ним затесался со стороны какой-то молодой, но седенький, постоянно улыбающийся коротышка, уводил их к себе на квартиру и, угощая пивом, разливался соловьем. Он сыпал цитатами из книг и брошюр, которые он ворошил на столе. Но больше всего ядовито похохатывал, издеваясь над усилиями партии и правительства направить железнодорожный транспорт. Он приводил ошеломительные цифры провала погрузок, убийственные проценты разрушения паровозов, вагонов и путей. Планы угледобычи рисовались им в уродливо смешном виде, потому что, по его словам, угледобыча падает катастрофически, и не ВСНХ регулирует добычу, а сами шахтеры... Он ораторствовал об утопичности осуществления широкой индустриализации страны, когда финансы трещат по всем швам. План индустриализации как фундамент для по-

строения социализма — фикция: голыми руками построить, мол, этот фундамент нельзя.

Корытину все это казалось неопровержимым: что можно возразить против фактов и цифр, которыми орудовал седенький карлик? Но в душе он возненавидел этого пищалку, который с каким-то садическим наслаждением расправлялся с родной страной, и в голосе и во всей его повадке было презрение к рабочему классу и крестьянству и какая-то мстительная злоба к партии и правительству.

Корытин как-то спросил его:

— Значит, своими силами и ресурсами мы ничего сделать не можем?

— Какими силами, какими ресурсами? Где эти силы и ресурсы? Глупости.

— Как где? Совершили же мы Октябрьскую революцию?

— Напрасно совершали. Взять в руки власть еще не значит победить. При политике самоизоляции мы все равно будем раздавлены. А при отсутствии внутрипартийной демократии мы стремительно летим в пропасть.

— Значит, полная капитуляция?

Корытин почувствовал, что лично оскорблен, потому что он тоже сын рабочего класса, а не папы римского. Задыхаясь от ненависти к этому юркому человеку, он встал, натянул на глаза кепку и спросил:

— Вы член партии?

— Ясно.

— Партбилет имеете?

— Что за вопрос?.. — почему-то иронически улыбался седенький.

— Ну, так вот... Извольте выложить свой партбилет и вручить его секретарю вашей парторганизации. Честно и открыто заявите ему: я, мол, враг партии, не признаю, мол, программы ВКП(б) и плюю на рабочий класс.

Студенты окружили их и с замиранием сердца ждали, чем кончится этот с виду спокойный скандал.

— Ну, положим, я этого не сделаю...

— Почему?

— Потому что партбилет дает мне возможность бороться внутри партии за свою линию.

— То есть, попросту, взрывать партию? Таких людей я называю изменниками.

Корытин повернулся и, не прощаясь, вышел из комнаты.

В тот же вечер он написал заявление в бюро ячейки: сообщил о своих посещениях вместе с другими студентами седенького человека и заверил бюро, что он безоговорочно подчиняется генеральной линии, но просил помочь ему разобраться в некоторых неясных вопросах программы партии на данном этапе.

С тех пор он не примыкал к оппозиции, но свои «трезвые» мысли высказывал не раз и всегда добавлял, что он плохой мечтатель и не видит никакого смысла в том, чтобы ловить в небе журавлей будущего, а предпочитает крепко стоять на земле настоящего: достаточно ему того, чтобы выполнять ежедневную оперативную работу по специальности.

После собрания актива, когда его прогнали с трибуны, а потом партгруппа исключила из партии как троцкиста, он понял, что с этого дня он потерял в глазах всех партийцев и многих беспартийных всякое доверие. Если на него и не будут глядеть как на врага, то он уже для них чужой человек. И ему впервые стало страшно от внезапного своего одиночества. Только Братцева и Паша не изменили к нему своего отношения. Как и раньше, Татьяна встречалась с ним на плотине и в конторе Шепеля с обычной дружеской ясностью в глазах и говорила с ним подробно о состоянии работ на их участке. А Паша иногда отворяла ему дверь квартиры с веселой шуткой и милой назойливостью. Несколько раз он порывался поговорить с Пашей, но не решался, да и мешало упрямое его самолюбие.

А теперь вот и эта возможность отрезана.

Надо во что бы то ни стало предупредить Братцеву...

Медленно и неслышно проехали мост в частых металлических переплетах по сторонам. С грохочущим гулом настигал их поезд — рельсовый путь шел на-

верху, на крыше. Слева, где сидел Корытин, за переплетами ферм, ослепительно рассыпались бесчисленные огни плотины, шлюзового канала и соцгорода. А на плотине и на берегах, загроможденных строительными лесами, белостенными зданиями мастерских, контор, складов, заводов — всюду клубились блистающие облака пара. Направо, по другую сторону моста, была мглистая тьма, и в этой тьме, откуда-то из непроглядной дали, мерцали одинокие капли огоньков.

Перед зданием управления Корытин попросил шофера остановиться, но Самородов звонко и весело крикнул:

— Ничего подобного. К квартире Шалнина...

Корытин озлился и хотел открыть дверцу машины, но вдруг застыл от какой-то внезапной мысли. Он повернулся к Самородову и, оскалив зубы, спросил:

— Водка будет?..

Самородов задушевно пропел:

— Прелестный прораб! Все будет к твоим услугам: Шалнин поставит и водки и хвост селедки... И даже утолит твой благородный эстетический голод — будет играть на гитаре...

Корытин сцепил зубы и откинулся в угол машины.

X. ПЕРЕПОЛОХ

1

К Татьяне подошел человек в кожаной куртке, в кожаном шлеме с опущенными наушниками.

— Это вы — гражданка Братцева?

У Татьяны почему-то беспокойно дрогнуло сердце. Этого человека она никогда не встречала на плотине, а его лицо, грубоватое, квадратное, было непроницаемо. Он похож был на проезжего партработника, который воспользовался свободным часом, чтобы бегло ознакомиться со стройкой.

— Это я — гражданка Братцева.

Он немного растерялся, но сразу оправился.

— Извиняюсь... Неприятно, конечно... Но...

— В чем дело?

Он вынул из кармана книжечку и, озираясь, ткнул ей в лицо.

— За вами... Из угрозыска... Распоряжение — доставить...

— Вы ошибаетесь, товарищ. Вы приняли меня за кого-то другого.

— Окончательно извиняюсь. Я обязан не ошибаться.

Около них с невинным видом стоял Алешка и с праздным любопытством оглядывал человека в кожаном шлеме. Татьяна заметила, что он нетерпеливо подмигивал ей и едва заметно кивал головой на кран.

— Что вам угодно, пионер? — строго обратился к нему человек в шлеме.

— Ничего. Смотрю, какие у вас длинные уши.

— Отойди подальше.

— Мне не тесно.

Алешка вызывающе засунул руки в карманы штанов и с надломом в голосе предупредил:

— Имей в виду: я сейчас всю плотину на ноги поставлю...

Татьяна подошла к нему и привлекла к себе.

— Что ты, милый!.. Как это можно будоражить людей из-за пустяков?

— Я знаю, в чем дело... Есть и пустяки — серьезные...

Татьяна строго сказала:

— Прошу тебя, Алексей, не глупить. Пожалуйста, не нарушай порядка. Это — недоразумение. Будь уверен, я скоро возвращусь.

Алешка отшагнул в сторону.

— Это даром не пройдет... Пожалуйста!..

Человек старался быть незаметным: он делал вид, что с любопытством наблюдает за работой крана.

— Я тебя, мальчоныш, должен захватить с собой.

— Да ну-у... — беззаботно пропел Алешка. — Ишь ты, какой рыболов!.. Попробуй-ка!..

Бледный, с острой враждой в глазах, он попятился назад и долго следил за Татьяной и человеком в шлеме, пока они не скрылись за вагонами.

Всю дорогу Татьяна молчала и думала: почему она понадобилась угрозыску? Что за таинственное преступление совершено ею? Неужели еще преследуют призраки прошлого? Ведь с тех пор прошло одиннадцать лет — целая эпоха, за эти годы былая босячка и беспризорница умерла. А тут опять «шухер» и, может быть, — черт их разберет! — запрут в домзак...

По дороге встречались ей люди — знакомые рабочие, техники, — кланялись ей, но не догадывались о ее беде: обычная прогулка с заезжим человеком, каких бывает уйма на всех участках работ. Если бы все эти люди узнали вдруг, что она арестована и идет под конвоем, все пришли бы в необычайное волнение, — вся плотина поднялась бы, как один человек. Впрочем, как знать...

Шли они узкими проходами, среди вагонов, лесоматериалов и беспорядочных куч ржавой арматуры, досок, щитов, спускались по лестницам, пробирались в толпе рабочих, потом опять поднимались, карабкались по отвалам камней, мимо сверкающей огнями электростанции, оглушенные звоном и грохотом клепальных молотков на раковинах турбин. И Татьяне на мгновение казалось, что все это уже далеко от нее, что она вдруг стала чужой здесь. И ей нестерпимо хотелось скорее пройти всю эту залитую огнями и засыпанную людьми трудовую суматоху. Ей было стыдно и мучительно.

Здесь что-то не так... Не может быть, чтобы угрозыск легкомысленно, без всяких оснований мог сорвать ее с работы. Очевидно, есть какое-то серьезное дело. Но какое? Что-нибудь из забытого прошлого? Может быть, какая-нибудь провокация?..

«Нечего зря нервничать... — вдруг успокоилась она. — Все будет ясно на месте. Через час я уже буду смеяться над этой нелепостью...»

Около управления стояло два автомобиля. Человек подошел к заднему и стукнул в окно шоферу, потом открыл дверцу и показал рукою в пустоту. Накрапы-

вал дождь. Астры на клумбах мокро искрились и тяжело склонялись к земле.

— Куда же вы меня везете?

— Да уж не беспокойтесь: доставим, куда надлежит.

Это уж совсем похоже на таинственное приключение. Главное, никто не будет знать, куда она исчезла. Выхватили, секретно посадили в автомобиль и повезли. Все будут поражены и взволнованы. Черт знает, какой будет ералаш!.. И, когда она возвратится, она уже будет не прежняя, не обычная Татьяна. За нею уже будут следовать шепот и сплетня.

2

«Вот и опять я правонарушительница... — усмехнулась она. — Погонят под охраной... А там, пока суд да дело, посижу в домзаке. В домзаке я еще никогда не сидела... И домзак надо пережить, хотя и с опозданием...»

Если бы узнал Вакир... Но откуда он узнает о ее напасти? На стройке так много людей и событий, что этот случай может взволновать только небольшой участок. Алешка мог сообщить только Катюше и отцу. А Катя беспомощна. Осокин позвонит Гудиму и Шлиппе, узнает и Кряжич. Но какой толк? Шлиппе не примет никаких мер: он по своей эпикурейской беспечности только посочувствует и сейчас же забудет. Кряжич забунтует, но бунт его будет буря в стакане воды. Как досадно, что нет ни Ватагина, ни Балеева, ни Чумалова...

Откуда все-таки свалилась на нее эта внезапная беда? Может быть, эту подлость учинили ей уважаемые ученые люди из исследовательского института? Правда, она презирала их, — среди них были авантюристы и политиканы, — но не допускала мысли, что они отважатся преследовать ее, а тем более мстить таким неслыханным образом. Достаточно того, что они травили ее целый год, порочили, клеветали и шантажировали. Они вынудили ее бросить институт и

уехать сюда, на стройку. Она успела забыть об этих людях и отдохнуть от них в работе. Неужели они и здесь нашли ее, чтобы окончательно с ней расправиться? Все может быть: от этих мерзавцев всего можно ожидать...

Года два назад, будучи аспиранткой одного из исследовательских институтов, Татьяна прилежно изучала на предприятиях новые формы социалистического труда. Она старательно собирала документальный материал, беседовала с рабочими, проводила долгие часы в цехах, изучала многотиражки, заводские журналы, доклады, записки и составила целую библиотеку по вопросам организации труда. Тема ее работы была одобрена, и Татьяна принялась за нее с большим воодушевлением. Кроме профессора, тщенького старичка с жиденькой бородкой, и седовласого экономиста-партийца, консультантами у нее были десятки сведущих людей и на заводах и в крайплане. О работе ее заговорили в институте. Впрочем, профессор ворчливо предупредил ее, что предмет ее труда лишен научной базы: если, дескать, и можно допустить у нас элементы социалистического производства, все же они не могут служить серьезным основанием для теоретического исследования, — из песка нельзя возвести крепкого здания. Какие нормы и какие законы можно здесь установить? Седой же экономист, живой и насмешливый, очень пылко обрадовался, когда она обратилась к нему за консультацией. Критикуя тезисы ее работы, он красноречиво развивал ей под покровом пышных революционных фраз и «теорию равновесия», и механистическое положение о «трудовой кооперации людей во времени и пространстве», и «теорию фаз», и прочие премудрости. Татьяна возражала ему, а потом заявила, что ей просто смешно и стыдно слушать уважаемого ученого. Чтобы правильно развить свои тезисы, она, Татьяна, может стоять только на незыблемой почве марксистско-ленинской диалектики. Экономист с веселым недоумением развел руками и воскликнул: «Но ведь и я же стою на этой почве. А вы спорите без достаточного знания философии и экономики». Незаметно к ней прилип один из молодых

«теоретиков» — Скрыня, маленький, юркий человек, с быстрыми глазами и пулеметным языком. Он пламенно восхищался ее смелым подвигом, рассыпался в комплиментах, часто при всех называл ее «будущим светилом», вовлекал ее в подробное обсуждение содержания ее книги, давал советы, вносил коррективы. Несколько раз он неожиданно заходил к ней в общежитие, неустанно льстил ей, с энтузиазмом говорил о ее талантливости. К ее изумлению, среди товарищей утвердилось мнение, что Скрыня — соавтор ее книги. А на одном из собраний он размашисто заявил, что работа Братцевой — типический пример нового метода научного творчества — коллективного сотрудничества. Первоначальная ее концепция была будто бы неясной, противоречивой, неубедительной. Только, дескать, благодаря его активному участию книга, надо полагать, будет полноценным вкладом в политико-экономическую науку. Татьяна запротестовала и отвергла его претензии на соавторство. После этого вокруг ее имени создалась тяжелая атмосфера. Скрыня сколотил около себя тесный кружок таких же крикливых и прытких молодых людей. Они травили ее, третировали, шельмовали, не стеснялись говорить о краже, о присвоении чужих мыслей.

Так как работа ее вчерне была уже закончена, публика забеспокоилась еще сильнее. Ей предложено было сдать рукопись в институт и ждать разрешения ее конфликта. Затравленная, она не сумела найти себе поддержки, и, больная, не сообщая никому, внезапно уехала на стройку, вызвавшая Феней.

И вот прожила она здесь год, — работала сначала техником, а потом — сменным прорабом. Здесь она по-новому увидела то, что оформляла в тезисах своей научной работы: нормы и показатели не даются готовыми, а создаются людьми, не одни голые механизмы решают дело, а организованная целеустремленность и вдохновение людей. Она чувствовала это на себе, не говоря уже о Кряжиче, Балееве, Агаше, Катюше с девчатами и бесчисленном множестве других.

За этот год она накопила большой опыт, узнала много такого, чего не слышала от профессоров и не

вычитала из книг. И она поняла, что только непосредственная работа в производстве, свой личный труд, требующий находчивости, распорядительности, творческой предприимчивости, и масса непредвиденных мелочей и неожиданностей дают подлинное, глубокое знание.

Татьяна заново перерабатывала рукопись, перечеркивала, уничтожала целые параграфы и главы и развивала новые тезисы. Потом бросала рукопись в стол, рылась в архиве управления, выписывала целые вороха цифр и таблиц, беседовала с Игнатием Игнатьевичем. Его-то впервые она и познакомила со своей рукописью. Он пришел в восторг от ее темы и попытки оформить ее в новую, оригинальную книгу, но сказал не стесняясь, со свойственной ему тонкой насмешечкой, что до гениальности ей еще очень далеко, что, прежде чем сделать простую и полезную научную работу, надо ей самой пройти от аза до ижицы все виды труда и помочь своими молодыми силами и просвещенным умом осуществлять новые методы, неразрывно связанные с техникой безопасности. Балеев же и Кряжич, занятые оперативной работой, не торопились изучить ее рукопись: очевидно, они посмотрели на нее как на ученическое упражнение. Однако Балеев посматривал на Татьяну с любопытством, которое заставило ее краснеть. Он даже заметил ей однажды летом, что ее работа заинтересовала его. Но с тех пор ни разу больше с ней не разговаривал. Она не думала скоро браться за рукопись: наступили дни боев за новый план, за новые показатели и нормы, за новую, стройную организацию труда.

И вот как раз в этот момент она так глупо и возмутительно очутилась перед обрывом.

Не то от волнения, не то от однообразного хода машины Татьяна ослабела. Мысли вспыхивали и угасали. Образы прошлого наплывали на впечатления этих дней, путались, исчезали и опять появлялись. Если бы узнал Вакир... В последнее свидание он ушел от нее с ненавистью в глазах. Он злобно кричал, когда она сообщила ему, что Мирон говорил о нем в день отъезда в Москву: «Я знаю его проблемочку... Экспериментиками с ним занимаетесь... Зачем меня подсу-

нула ему?.. Да, у его парнишки дергается голова... Но мне до этого нет дела, и я вовсе не обязан по этому признаку быть его сыном...» — «Вакир, ведь это понятно... Он очень много страдал и пережил...» — «Ишь ты, какая гуманница...» Странно, почему «гуманница», что за смешное слово?.. Он кричал в бешенстве: «А мы не страдали?.. Мы не переживали?.. Мы не умирали от голода, и холода, и бесприютности?..» Почему он враждебно избегает Мирона? И почему у него опять воскресло то лицо, которое угасло в годы их совместной жизни в колонии?.. «Ты первая надела на меня маску...» — мстительно сказал он ей в этот последний вечер и скрылся, дергая головой. Эта жгучая вспышка должна была произойти: она ждала ее, потому что он чувствовал около нее Кряжича...

Что сейчас с Кряжичем? Он, должно быть, мечется, как безумный...

Что бы сказал ей в эту минуту Шастик? Это его глаза — золотые, веселые, знающие... Он сказал бы: «Самое неотразимое оружие у нас — это правда. Правда никогда не обороняется, а только нападает».

Вероятно, это так. Ведь преднамеренная правда — уже не правда, а фальшь. Правда ее слов на активе вдохновила массы. «Вы выступали хорошо, строго, крепко...» — сказал ей Ватагин, и в глазах его она увидела душевную взволнованность, которая не забывается. Кряжич тоже сказал тогда правду, и у Вакира дрожали слезы на глазах...

3

А в это время Алешка уж нажимал все пружины. Он дождался, когда Катюша сдала свой блок сменной бригаде, и отозвал девчат в сторону. Катюша сначала и ухом не повела на его таинственные знаки. Она искала глазами Татьяну и досадовала:

— Где же, наконец, Братцева? И табельщика нет... Что за безобразие!..

Алешка подхватил ее под руку и зажал ей рот.

— Заткни сирену и слушай!..

— Пошел ты к черту, Алешка! Мне нужны данные...

Девчата валились с ног: они не интересовались ни данными, ни Алешкой. Чего треплется здесь этот бездельник?

— Данные твои — не крысы: не разбегутся. А искать Татьяну Ивановну я тебе запрещаю.

— Это уж верх нахальства, Алешка...

Алешка смотрел на нее злыми глазами.

— Ты меня будешь слушать или нет?

— Можешь говорить... пожалуйста...

— Ну, так вот... Татьяну Ивановну сперли у вас из-под носа — арестовали...

— Да ты ошалел, Алексей?..

Но похудевшее, строгое лицо Алешки ошеломило Катюшу.

Она онемела от ужаса, а потом робко улыбнулась: ей еще чудилось, что Алешка провоцирует ее по обыкновению.

Девчата испуганно окружили их.

— Что такое?.. Да не может быть!.. Это же неслыханно...

— А ну, прекратите свой звон, кастрюли!.. — прикрикнул на них Алешка. — Сейчас же, Катерина, — к Паше!.. Живо!.. А я к себе — на берег... Папку возьму за бока...

Катюша была так поражена, так разволновалась, что даже не в силах была спорить с Алешкой и расспросить его о подробностях. Этот проныра всегда знает, где его место, всегда является вовремя и своими зоркими глазами видит то, что самой Кате бывает невдомек.

Скрывшись в тени крана, он через минуту вынырнул на свет за ярусами щитов. Засунув руку в карман, он шел легко и бойко.

Катя побежала на берег, в соцгород. Усталости она уже не чувствовала.

В чем же дело? Что за головокружительная нелепость?.. Как это понять?.. Разве можно допустить, чтобы Танечка могла совершить какое-то преступление?..

Рабочие и работницы посматривали с удивлением на Катюшу, которая неслась со всех ног, бухая резиновыми сапогами. Волосы у нее выбивались из-под кепки, и лицо было красное и встревоженное.

...Как же она не догадалась, дура такая?.. Ведь Танечка расплачивается за ту катастрофу... Она не позволяла Катюше браться не за свое дело, но они с Максюком захватили бадью самоуправно. Тут виновата только она одна — Катюша. Почему же ее оставили в покое, — устранили от ответственности, а за нее должна отвечать Татьяна? Почему-то и Корытина сняли сегодня с работы в середине дежурства. Он тоже в городе. Значит, привлекают их обоих. Будет следствие, возьмутся и за нее. Ах, черт бы побрал ее, идиотку проклятую! Все это произошло только потому, что она была сумасшедшая: с одной стороны — затормозили «муху», с другой стороны — катастрофически падала кладка бетона... Потом эта постоянная травля ребят... мучительные заметки в газете... Назло хотела тогда показать свое геройство. Вот и показала, гадюка!.. А теперь за нее должны отвечать и Корытин и Танечка.

Она застонала в отчаянии:

— Ах, сволочь ты! сволочь косматая!..

Она бежала по дорожке среди отвалов земли и камней, карабкалась по лестницам, пролетала мостики через канал, через железнодорожные выемки, натыкалась на людей, которые огрызались ей вслед, утопала в густых облаках пара (пробегали поезда внизу) и очнулась только среди простора широкой улицы. Проносились мимо автомобили. В грифельном здании общественных организаций кое-где горели огни. До боли в глазах пронзительно сияли лампы в окнах редакции газеты. Там, вероятно, уже строчат статьи и заметки насчет ее «мухи». Сегодня эту «муху» снимали фотографы с разных сторон и в разных положениях, а репортеры ловили Катюшу и в блоке и у парапета. Может быть, завтра, после восторженных статей о ее «мухе», об исключительных по рекордам цифрах подъемов, они опять поднимут

кампанию против нее как прямой виновницы гибели несчастного Максюка...

Нервная, живая, восприимчивая, Катюша больно переживала всякие большие и маленькие невзгоды. Она падала духом и опять бунтовала, билась, как птица в клетке, и опять уверенно и вызывающе поднимала голову. Теперь ей казалось, что выхода нет и никуда нельзя убежать — да и мерзко, позорно бежать. Главное, все для нее погибло на плотине, и единственное место, которое ожидает ее, — это тюрьма. А потом — суд, и, вероятно, показательный... И на скамью подсудимых она потянула и Татьяну и Корытина. Она не видела ни улицы, ни огней, не слышала ни людского говора, ни рева автомашин. Ее больно толкали на тротуаре, и она толкалась. Потом бессознательно сошла на мостовую. Кто-то схватил ее за плечо. Она очнулась и испугалась: грудь в грудь стоял перед нею милиционер в серой каске и держал у рта «сверчок». Стояли они оба как раз посредине перекрестка.

— Почему вы, гражданка, идете посредине улицы? Отчего тротуар игнорируете? Я даю свистки, а вы — ноль внимания.

— Товарищ милиционер!.. честное слово...

— Что значит — честное слово?

— Я сейчас сумасшедшая, товарищ милиционер. Видите, я прямо с блока... Катастрофа там, и я несусь без памяти к Паше Погадаевой.

— Это не влияет на правила уличного движения.

Вдруг он насторожился, выпрямился и, повернувшись спиною к Катюше, замахал руками. Требовательно гудели машины. Катюша рванулась и побежала обратно к вереницам людей, которые пересекали улицу. Она услышала позади себя свисток, но не оглянулась. И когда обгоняла пешеходов и повернулась к милиционеру, увидела, что милиционер смеялся и грозил ей белым пальцем перчатки. И тут она нечаянно обнаружила, что щеки ее залиты слезами и слезы щекочут нос и подбородок. А может быть, это капли дождя?

Дом, в котором жила Паша, остался позади. Вот как она расстроилась!..

В чем дело в конце концов? Ведь еще ничего не известно, ничего не ясно. Из-за чего, собственно, она распустила нюни? Насочинила, нагромоздила себе всякого вздору, и — на тебе! — залихорадило... Да ведь она же не одна,— ведь у ней сильное окружение: Паша, отец, Осокин, Васяй, Шепель и — сомнения нет— Гудим. Надо только драться... надо только вызволить Татьяну и Корытина... Если вся эта суматоха из-за Максюка, то она готова и дальше страдать за него, но она не уйдет из блока, хотя бы это стоило ей жизни. Никто не знает, как она переживала гибель Максюка: она не спала ночей и рвала на себе волосы, у ней ужас что делалось в душе... Недаром она стала такая нервная... Хорошо, что природа не отказала ей в уме и характере: она перенесла эти муки, потому что в таком гигантском деле, как всесоюзная стройка, нельзя обойтись без жертв.

Катюша поднялась по лестнице и позвонила в квартиру Паши. Не успела она отнять пальца от кнопки, как дверь распахнулась и на площадку вышла Софья Абрамовна.

Через ее плечо Катюша встретилась с глазами Паши. Паша удивленно подняла брови и сверкнула очками. Софья Абрамовна быстро обернулась и отступила в сторону.

— Это к вам, Паша, медвежонок-то? Ух, какие плотинные запахи!.. Ну, так я зайду на днях...

И она легко, как девочка, побежала вниз по лестнице.

— Катька! Каким это тебя ветром занесло? Вся-то в грязище, непутевая...

Катя вошла в коридорчик и остановилась у двери.

— Паша, вынеси мне стул или табуретку. Умираю от усталости... Я не войду к тебе такая... Я прямо из блока...

— Ну, нечего тут!.. В каком бы ты виде ни была, ты мне одинаково дорога.

И она подхватила ее под руку. На ходу чмок-

нула ее в щеку, забрызганную зелеными каплями цемента.

— Ручищи-то, матушки мои!.. Иди хоть умойся. Чаем напою, закусить дам.

— Ничего мне, Паша, не надо, и умываться не буду.

— Ну, ты дурака не валяй! Я тебе не девочка, чтобы ты со мной капризничала. Чего примчалась такая красивая? На тебе лица нет...

Катя села на стул у стола и сняла кепку. Волосы у нее рассыпались золотом. Глаза лихорадочно блестели, лицо в красных пятнах.

— Паша, сейчас Татьяну арестовали.

— Что-о?.. Отдышись хоть немного...

— Арестовали... и я даже не знаю, кто!.. Это такое безобразие!.. Ты пойми, Паша: разве это возможно?..

— Чушь какая-то, Катюша. Ты чего-то плетешь ерунду...

У Кати вдруг задрожал подбородок:

— Да что ты, Паша, маленькая, что ли?.. Русским же я тебе языком говорю... Если это связано с той катастрофой... с Максюком... так я заявляю: Татьяна здесь ни при чем... Если кто должен отвечать, так это я...

— Нет, это что-то другое: дело не в Максюке.

— Но и Корытина тоже вызвали в город — сегодня в семь часов...

— Кто вызвал Корытина? Куда вызвали? Путаешь ты с больной головы. Дело идет не о Корытине, а о Татьяне.

— У меня в голове масса мыслей, Паша...

— И ни одной умной... Надо уметь мыслить, а не ерундить.

— Так ты, Паша, уверена, что это не связано с Максюком?.. — обрадовалась Катя.

— Да, дела... — раздумчиво пробасила Паша и некоторое время молча стояла, соображая что-то. — Ну, ничего. Покушать тебе надо. Сейчас дам ветчинки и заварю чаю.

— Не надо мне ничего, Паша! — раздраженно крикнула Катя. — Мне и думать об этом противно.

— Не хочешь, капризничаешь — не надо. Тогда вот яблоко возьми. Что? Изобью, Катька!.

И она поставила перед Катей тарелку с яблоками. Катя взяла яблоко и вонзила в него зубы. И, как только ощутила терпкий его аромат и ядреную сочность, сразу же почувствовала и жажду и голод.

— Паша!

— Ну, чего еще?

Паша прижала ее головку к груди и ласково пошлепала по щеке.

— Дуреха ты моя!..

— Паша, а «муха» сегодня дала подъем в три с половиной минуты... Это значит, что за смену мы дадим сто двадцать, сто тридцать подъемов... В два раза больше старого максимума... И знаешь что? Дай я тебя поцелую... Мне хочется сейчас сказать тебе, Пашенька, такое слово, чтоб — на всю жизнь...

В это время заскрежетал крючок в английском замке и крякнула дверь.

— Вот тебе и Корытин. Мы сейчас и его привлечем к делу.

Паша подошла к распахнутой своей двери и выглянула в прихожую.

— Вы мне нужны, товарищ Корытин. Зайдите на минутку.

Корытин, к удивлению Паши, сам устремился к ней. Он вошел в комнату молча, не здороваясь, и как будто совсем не заметил Катюши. Сел он как-то нетерпеливо, точно и вся цель-то его состояла в том, чтобы поскорее добраться до стула. Он был мрачен, измучен, но возбужден до крайности. Кате сначала показалось, что Корытин пьян, но потом почувствовала, что он в смятенье, — почувствовала, вероятно, потому, что сама переживала то же самое.

— Мне не удалось своевременно предупредить вас, товарищ Погадаева... — сказал он, как всегда, угрюмо. — Братцеву я уже не застал на плотине...

Катя слушала его, затаив дыхание. Паша очень осторожно взяла стул и села против него.

— Значит, вы, товарищ Корытин, не были арестованы? — не стерпела Катя.

— Подожди, Катюха! — отмахнулась Паша. — Вопросы — потом.

— По дороге в город я узнал об опасности, которая грозила Братцевой.

— Но она же арестована... — опять не сдержалась Катя и подошла к Корытину.

— Сядь ты, пожалуйста! — рассердилась Паша.

— Я знаю... Собственно, не знаю, но я не застал ее...

Он сконфуженно улыбнулся.

— Но я же говорю вам... — не унималась Катя. — Это такое головотяпство...

— С кем вы ездили, товарищ Корытин? — ласково спросила Паша. — Вы извините меня за любопытство, но это как раз имеет прямое отношение к делу.

— Товарищ Погадаева, я хотел поговорить с вами... Как вы знаете, ячейкой я исключен из партии... В связи с этим и по некоторым другим обстоятельствам, я должен... Мне именно с вами хотелось поговорить... Но сейчас я не в состоянии...

— Чтобы Танечка была преступницей — я никогда не поверю!.. — возмущенно крикнула Катюша. — Никогда в жизни... Это какая-то подлая авантюра!..

— Зачем же вы в город-то ездили? Вас даже с работы сняли...

— Нас вызвал Ситный — меня, Шалнина и Самородова.

— А-а... в райком? — успокоилась Паша. — По какому же делу вызвал вас Ситный?

— Мы были в гостях у Ситного...

— Ну, что ж, это вполне законно. Только какая же была необходимость снимать вас с дежурства?

Корытин страдал и с большим трудом выносил вопросы Паши. Голос его охрип, и во рту пересохло.

— Неожиданно приехал в город наш общий приятель. Время у него было только между поездами... Давно не видались.

Паша не отрывала глаз от лица Корытина, но он избегал ее взгляда и мутно смотрел в сторону. А Паша с чутким любопытством следила за каждым его дви-

жением, за губами, за морганием век, за странными судорогами на шее.

— Как, разве у вас есть с Самородовым и Шалниным общие приятели? Вот не ожидала! Значит, Самородов — ваш старый товарищ?

— Нет. А разве не бывает общих знакомых у людей, которые не знают друг друга?

— Конечно, бывают, и нередко. Но меня интересует одно... Вы извините, товарищ Корытин... вы даже можете не отвечать на мои вопросы...

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Погадаева...

Корытин совсем смешался, вспотел и беспомощно мял кепку в руках.

— Видите ли, я это все насчет Братцевой... Откуда вы узнали об угрожающей ей опасности?

— От того же Самородова...

— Но почему же Самородов не предупредил Гудима?.. или меня?

Корытин побледнел и встал.

— Потому что... потому что Самородов, если хотите знать, — подлец...

Катя тоже вскочила со стула и с злым лицом крикнула:

— А вы?..

— Что — я?.. — Корытин оглядел ее с ног до головы. — Вы хотите сказать, Бычкова, что я — тоже подлец?

— Почему же вы не приняли мер?.. Катаетесь с приятелями к приятелю... а в это время... За кого же вас прикажете считать?..

— Я прошу вас, Бычкова, не говорить мне дерзостей...

— Подожди ты, наконец, Катя! — строго приказала Паша, отмахиваясь от нее рукой. — Сядь, пожалуйста!..

И совсем другим голосом, — мягко, спокойно, — обратилась к Корытину:

— Ну, хоть бы от Ситного позвонили, что ли...

— Нельзя было... Этой воможности я был лишен...

— И с Ситным не посоветовались?

— Тем более...

— Ничего не понимаю, товарищ Корытин... — с холодным недоумением сказала Паша, искоса изучая его своими строгими очками. — Ничего не понимаю... Какая-то загадочная ерунда... Объясните мне толком: почему Самородов конспиративно сообщил именно вам о неизбежности ареста Братцевой... и почему, собственно, он — подлец?

Корытин медленно надел кепку, засопел и хрипло ответил:

— Он — подлец и негодяй.... Он — на все способен... Это надо иметь в виду... Больше пока ничего не могу сказать...

— Ну, хорошо... — усмехнулась Паша. — Это ваше дело... Кто же этот ваш приятель? Простите за любопытство...

— Забодаев...

— Забодаев? тот самый?

— Он — начальник главка. Что же тут удивительного?

Он направился к двери, и по его спине видно было, что он изнурен, надорван, разбит. Паша проводила его в прихожую, потом быстро возвратилась и крепко притворила дверь.

— С парнем что-то стряслось... — прошептала она. — Эта поездка, по-видимому, стоила ему дорого.

— Он виляет... — враждебно отрезала Катя. — Он ни одного слова правды не сказал... Он — трус. Я ему ни капли не верю.

Паша озабоченно думала о чем-то.

— Я поеду с тобой, Паша.

— Куда это?

— Как куда? В город. За Танечкой.

— Не выдумывай. Ты должна сейчас же идти спать: измоталась вся.

— Я не могу сейчас спать. Пока Танечка не вызволена, я не найду места и глаз не сомкну.

— Я беру все на себя, Катюха. Иди домой. Я тебе все сообщу завтра утром. Я ручаюсь, что Татьяна будет уже на работе.

— Ты даешь мне слово, Паша?

— Что за вопрос? Я сама к тебе зайду.

В коридорчике раздался звонок.

Паша вышла и отворила дверь. Человек в кожаной куртке и кепке, с шоферскими очками над козырьком, старообразный, но молодой, без подбородка (снесло на гражданской войне), радостно улыбнулся навстречу Паше:

— Товарищ Погадаева, пожалуйте: вас просит товарищ Кряжич.

Это был шофер Кряжича.

— Что это значит?

— В город. Николай Николаевич говорит, что по делу Братцевой.

— Хорошо. Я сейчас.

— Ах, как мне хочется поехать с вами!.. Пашенька, ну, я прошу тебя — возьми меня с собою...

— Это в комбинезоне-то? Ты в уме?

— Ну, и что же!.. Я с шофером сяду...

— Хорошо, поедем. Только не пеняй потом... Заболеешь — что тогда будет?..

— Даю тебе честное слово — не заболею...

Паша засмеялась и толкнула ее к двери.

4

...В окне Татьяниной комнаты огня не было. Значит, еще не пришла? Это было необычно. Вакир остановился у калитки в раздумье. Потом решил удостовериться. Дверь в коридор была заперта. Он позвонил.

— Кто это? — пугливо спросил женский голос.

— Татьяна Ивановна дома?

— А вы кто?

— Ее товарищ — Вакир.

Вышла с тревожным лицом Елена Дмитриевна и с опаской взглянула на дверь в комнату Татьяны. Она приложила ладони к щекам и в страхе зашептала:

— Вы понимаете, товарищ Вакир... Пришел человек в коже и спрашивает: «Где гражданка Братцева?» Я говорю: «На плотине». А он так подозрительно посмотрел и на дверь и на меня... Потом — вы подумайте... взялся за ручку и начал дергать... Хотел было

уйти, но подумал, закурил и заглянул в скважину. Я, знаете ли, стою, а он мне сердито так: «Уходите к себе в комнату, гражданка!» Я скрылась, а потом минут через пять отворяю дверь, а его и след простыл... — Она зябко сгорбилась и засунула ладони под мышки. — Я убеждена, что это — неспроста. Очень подозрительный человек. Право, товарищ Вакир, не грозит ли что Танечке?.. Вы бы предупредили ее.

Вакир подошел к двери в комнату Татьяны и осмотрел ее внимательно и хмуро. Он подумал, потом приложил пальцы к кепке и быстро пошел к выходу.

Елена Дмитриевна выглянула из двери на дорожку сада и с удовольствием последила за Вакиром. Высокий, с широкой спиной, он шел, чуть-чуть загребая правым плечом, как сильный человек.

Вакир широкими, стремительными шагами пошел в управление: там он скорее добьется толку или у секретаря Самородова, или свяжется по телефону с Васяем. Но, не заходя в управление, он быстро пошагал на плотину.

На виадуке стояло несколько молодых инженеров, которые теснились около Кряжича. Кряжич взволнованно говорил что-то и вскрикивал яростно: «Это нетерпимое безобразие!»

Вакир остановился и прислушался. Как-то без рассуждений он решил, что разговор шел о Тибре.

— Я сейчас же еду в город... — задыхаясь от негодования, говорил Кряжич. — Только что звонил Осокин...

Вакир не стал больше слушать и повернул обратно. Надо идти к Емельяну. Только он может распутать этот узел. Емельяна он встречал раза два на стройке, и он почему-то очень ему понравился. Однажды, проходя по электростанции, Емельян ни с того ни с сего обнял его за плечи и спросил дружески:

— Физкультуришь?

— Физкультурю и пилотирую.

— Ну? И пилотируешь? Дорогой мой, да мы здесь и аэроклуб организуем. Где же это ты пилотировал?

— В трудовой коммуне.

— Да, да, как же, знаю. Это где? Ах, у Шастика?

Добрый паренек... Мы с ним вместе под началом Феликса Эдмундовича были...

— Дядя Шастик — отец родной...

— В бане паришься?

— Бывало. У нас там баня своя.

— Ага! Как, бишь, звать-то? Да, да, Вакир... как же! — обрадовался Емельян, точно он давно уже знал Вакира, только запамятовал его имя.

В баню пока что они не ходили, но Вакир сразу почувствовал в нем душевного человека. Он немножко странный, внезапный какой-то, но в нем есть что-то теплое, как в Шастике.

Отделение Емельяна помещалось в двухэтажном каменном доме, за квартал от управления строительства. Перед фасадом нарядным ковром расстилались клумбы и рабатки с поблекшими цветами и очень сочной зеленью газона. Осень в этом году была теплая и приятная. Только деревья в парках и скверах уже блестели золотом и огнем. Сегодня был первый день холодного и слезливого ненастья.

Вакир ожидал, что ему придется долго добиваться свидания с Емельяном: думал, что будут выяснять его личность, недоверчиво обхаживать его. Но красноармейцы встретили его по-простецки. Тот, который обычно ходил всюду с Емельяном, с готовностью сказал:

— А я товарищу Емельяну сейчас доложу. Так зовут-то Вакир, говоришь? Приметное имечко — для памяти удобное. Ты это из татар, что ли?

— Вроде как бы...

— То-то и я примечаю... Что ж, это здорово...

И пошел в кабинет Емельяна, поблескивая ремнями, кобурой и сапогами. В дежурке было чисто, опрятно, никто не курил, а прямо на стене — на бумажке — красивыми буквами старательно нарисовано: «Курить безусловно воспрещается».

Красноармеец вышел из кабинета и, не закрывая двери, широко улыбнулся.

— Шагай, братишка!..

Емельян медленно шел ему навстречу, приветливо поднимая руку. Он даже лукаво подмигнул и, не

здороваясь, подхватил его под локоть. В своем простом кабинете с портретами в дубовых рамах Ленина и Дзержинского он показался Вакиру высоким и коренастым. Впервые отметил Вакир, что лицо Емельяна рябоватое, и от этого он показался еще более простым и близким.

— Ну, как воюешь?.. Слышал, слышал... А я, брат, получил от Шастика писульку... Хоть он тебе привета не шлет, но писулька такая, что привет слать излишне.

— А что?.. — встревожился Вакир. — Костит, что ли?.. Я ведь, товарищ Емельян, остался здесь... В его глазах я ведь, пожалуй, невозвращенец...

Емельян засмеялся и похлопал его по спине.

— Да нет, по письму-то он не столь папаша, сколь мамаша... Зато привет шлет Братцевой.

— Дядя Шастик — такой человек...

У Вакира дрогнул голос, и он махнул рукой.

Емельян почему-то пристально смотрел на него и посмеивался.

— А ты садись-ка...

Емельян потянул его вниз за рукав и сам сел на стул, против него.

— Я, товарищ Емельян, и пришел-то насчет Братцевой...

— Ну, ну, говори, послушаю...

«Значит, не он...» — обрадовался Вакир.

— Я обнаружил, что ее арестовали...

— Кто же это так любовно обошелся с ней?

— Все ахают, а ни черта не знают.

— Так. Значит, он ахнуть не успел, как на него медведь насел...

Емельян замкнулся и потух. Вакиру почудилось даже, что ему стало скучно.

Емельян встал, нажал кнопку на стене и прошелся по комнате. Вошел красноармеец, который докладывал ему о Вакире.

— Мешков, позвони-ка в охрану и узнай: кто стоял на карауле... Когда это было? Выясни точно: кто прошел по своему пропуску и кто выходил обратно с инженером Братцевой. Моментом!

— Есть, товарищ начальник.

Емельян остановился перед Вакиром и лукаво улыбнулся.

— Так, значит, пилотировал?

— У меня была мечта, товарищ Емельян, — летать. Эту мечту разбудила во мне Тибра.

— А кто эта Тибра? — строго спросил Емельян.

— Как кто? Я же о Братцевой говорю...

— Это здорово: Тибра. А мечтать... что же... Мечта, это, брат, — полет. Надо, милок, всегда подниматься выше действительности, чтобы охватить ее всю, в безграничных ее далях. Не то ценно, что ты крепко стоишь на ногах, что у тебя есть надежная опора, а то дорого, что ты возносишь эту действительность. Знаешь, куда направить путь. А путь только один — в царство свободы, через мир чудес...

— Меня, товарищ Емельян, полеты очень захватывают. Будто совсем ты другой, заново родился. На земле у меня много было разных нелепостей...

— А как же? Без нелепостей пока нельзя.

— Можно, товарищ Емельян.

— Не можно, неуч... обязаны жить без нелепостей. Должна быть священная ненависть к нелепостям. Потому что всякая нелепость — это уродство. Тут у нас недавно парнишку из бадьи вырвало водой у самого водослива. Парнишка-то с девицей в этой бадье спускались в бездну, а им, должно быть, казалось, что они поднимаются в безбрежную высь. Можно и в пропасть спускаться, лишь бы было сознание высокой цели. Ну, и погиб, значит. Нелепости, вроде дезорганизации труда, неуважения к людям, рабского отношения к вещам, несут в себе страдание и смерть.

— Я знаю эту историю... Не за это ее... Тибру-то?

— Нет, тут есть какие-то организаторы нелепостей. Не забывай, что нет более страшного и гнусного врага, как нелепости. Есть нелепости-пережитки, а есть система нелепостей.

Вошел Мешков и бодро отрапортовал:

— Товарищ начальник, стоял на посту Деревянкин. Он пропустил агента городского угрозыска, который прошел обратно вдвоем с инженером Братцевой.

Емельян одобрительно кивнул головой и отмахнулся.

— Так вот-с какие дела, дорогой Вакир...

Он присел около Вакира, потрогал его мускулы, ущипнул за бок и шлепнул ладонью по коленке.

— Хорошо сделан. И отлично, что прошел школу борьбы. Быть человеком — это большая и радостная ответственность. Гордись! Человек рождается для борьбы... Только! Гореть, освещая путь в будущее... Вот как, скажем, Фарадей, Маркс, Ленин...

— Ну, куда же это!.. — вскрикнул Вакир, но Емельян продолжал, не слушая его:

— А ты думал, как?.. Человек обязан не стареть, а с каждым часом становиться моложе. Иначе не появляйся на свет, черт тебя подери...

Емельян даже встал от гнева и опять ушел за стол, на свое место. Он бросил на Вакира угрожающий взгляд...

— Ты для этого и социализм строишь, неуч...

Он взял книгу и, не взглянув на нее, в негодовании отложил в сторону.

Зазвонил телефон. Емельян подбросил трубку к уху, и Вакиру показалось, что ему до отвращения не хотелось брать ее.

— Да. Хорошо. Зайди ко мне через полчаса.

Емельян бросил трубку, и вдруг глаза у него лукаво засмеялись.

— Я, товарищ Емельян, желаю немедленно освободить Тибру...

— Ступай и освобождай.

Вакир быстро встал и запахнул пальто.

— Башка! Сообрази: сам — против нелепостей, а первый делаешь нелепость. Ты знаешь, что такое система розыска? С какими глазами ты явишься туда? Ты же с разлету ударишься о стенку, как муха о стекло. Неуч! Иди домой. Завтра утром можешь со своей Иброй чай пить.

Он опять нажал кнопку и сказал Мешкову, который отворил дверь:

— Позвони, товарищ Мешков, чтобы сию же минуту — два стакана чаю и два бутерброда. Скинь пальто! — приказал он Вакиру.

Емельян с любопытством поглядел ему в глаза, точно обнаружил в нем что-то новое и неожиданное. Потом начал быстро писать на бумажке.

— Кто твой отец?

— Не скажу, товарищ Емельян.

— Ну, и не говори... — равнодушно сказал он, делая росчерк, и опять нажал кнопку на стене. — Товарищ Мешков, передай срочную телефонограмму.

И, когда вышел Мешков, Емельян прошелся по комнате и засмеялся, останавливаясь перед Вакиром.

— Код у тебя плохой: Тибра, Вакир, Моссельпром...

Вакир встретился с его глазами и покраснел. Покраснел и возмутился. Он не сдержался и сгрубил:

— Ну, и пусть твое открытие остается при тебе...

— Что это за игра?

— Я знаю, что значит ненавидеть. Годами жил этим. А теперь — тяга исследовать...

— Ишь ты, исследователь какой! Трус ты, не исследователь. Смылся, как крысенок, и все время удирал от людей. Исследователь! Исследователи — смелые, доблестные люди, победители, а трусы никогда еще ничего не совершали и не открывали. Ну, что ты исследовал, какие у тебя подвиги?

— Я, если ты хочешь знать, товарищ Емельян, совершил то, что тебе никогда и во сне не снилось.

— О? Ну-ка, ну-ка?.. — оживился Емельян и с насмешливым ожиданием засунул руки в карманы.

— Ты меня не нукай. Я был за пределами, а теперь сам в центре жизни.

Емельян совсем развеселился. В зрачках его вспыхнули горячие огоньки.

— Ты только хвастаться горазд... неуч!.. Центр жизни...

Вакир успокоился, но лицо его было упрямо и насуплено.

— Мне нечего хвастаться. Я привык Шастику доказывать делом и поступком. Я жадный, товарищ Емельян, и узнал по-настоящему, что надо жить гордо.

— Вот, вот!.. — обрадовался Емельян. — Вот в чем главное. Об этом-то и надо говорить...

В комнату вошла женщина в белом халате, с подносом в руках.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Федор Васильевич

ГЛАДКОВ

Собрание сочинений, т. 3

Редактор *А. Ноткина*
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
Г. Гончарова
Корректор *Л. Чиркунова*

Слано в набор 25/III 1958 г. Подписано
в печать 7/VII 1958 г. Бумага $84\times108^{1}/_{32}$
15 печ. л. = 24,6 усл. печ. л. 23,06 уч. изд. л.
Тираж 75 000. Зак. 3024.
Цена 9 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза,
Ленинград, Измайловский пр., 29

